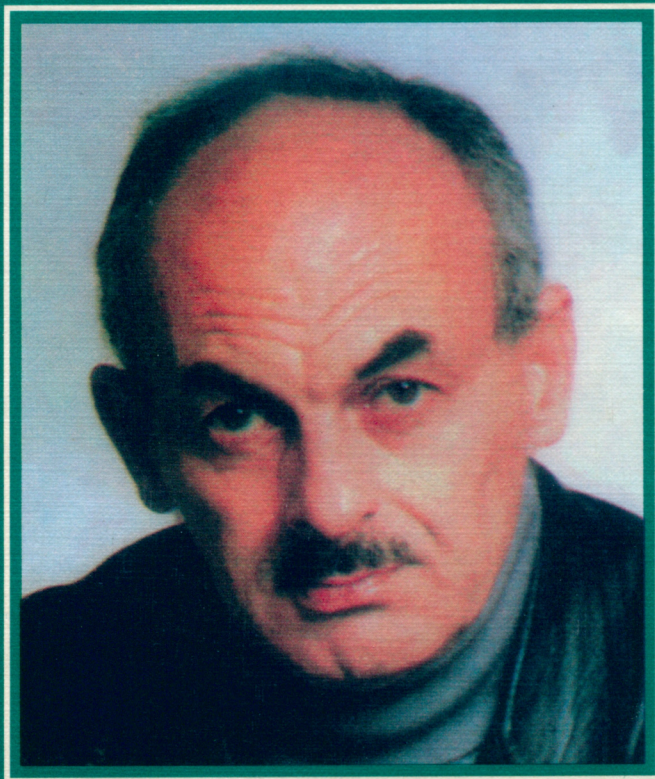


ЗЕРКАЛО

XX ВЕК

Бүләт Окүдүжава



Бүләт
Окүдүжава

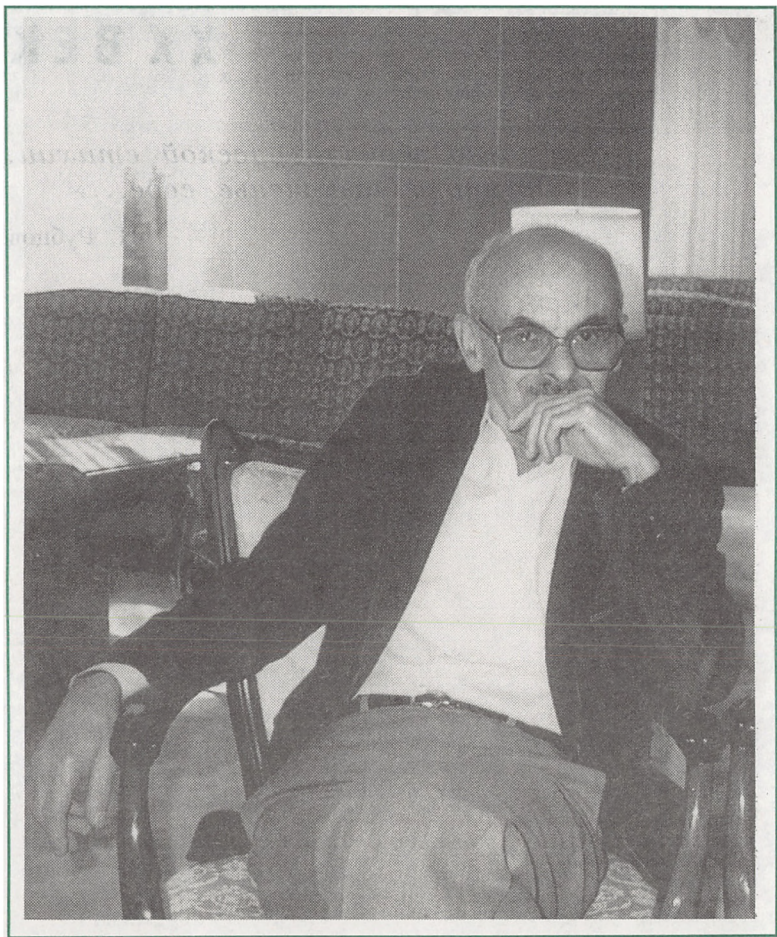
ЗЕРКАЛО

XX ВЕК

ЗЕРКАЛО XX ВЕК

*«Словно зеркало русской стихии,
Отстояв назначенье свое...»*

Н. Рубцов



Бурлат

Окундэрава

СТИХИ
Рассказы
Повести

Екатеринбург
У-Фактория
1999

ББК 84Р7

О 52

Составитель Л. Быков
Оформление В. Брагина, А. Мохина

Булат Окуджава

О 52 Стихи. Рассказы. Повести. Переиздание.—
Екатеринбург: изд-во «У-Фактория», 1999.— 576 с.

*Книга создана при участии
Фонда Булата Окуджавы*

На 5-й странице использован автограф Булата Окуджавы

ББК 84Р7

© О.В. Арцимович (Окуджава), 1998

© ООО «У-Фактория», серия,
составление, оформление,
1998

ISBN 5-89178-083-6

ISBN 5-89178-078-X (серия)



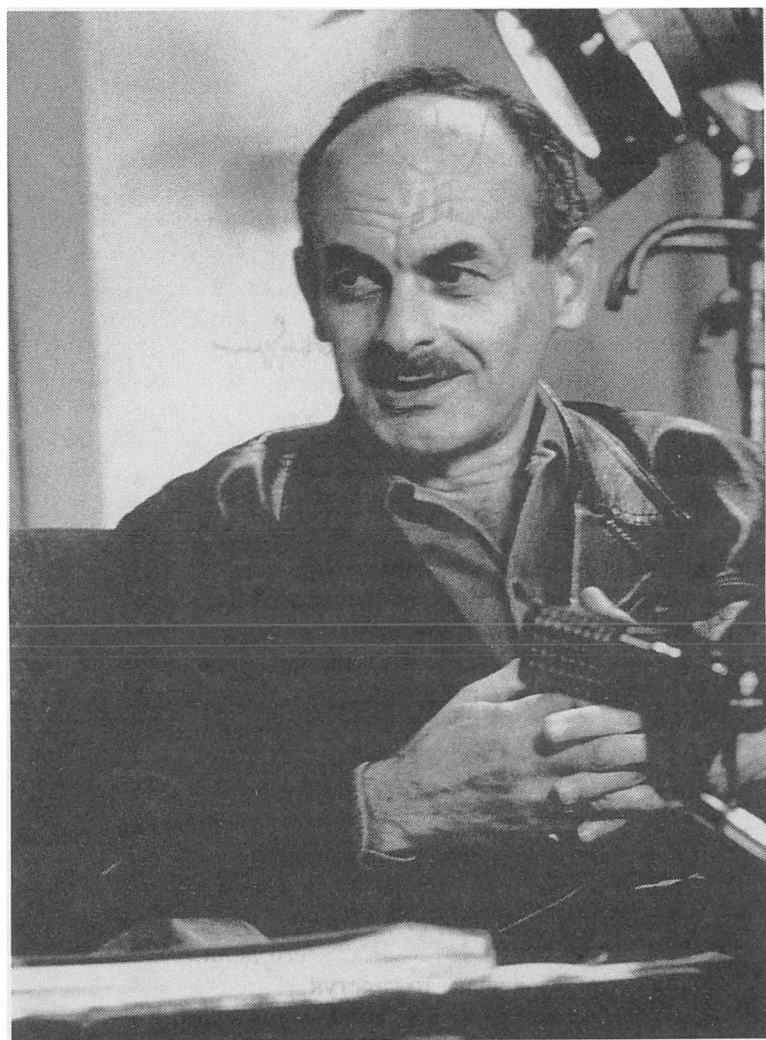
Вот странный инструмент
для созиданья строчек,
которых в первый миг никто
понять не хочет.

Вот странный инструмент:
два уха, два зрачка,
изгиб надменных губ и шепоток
сверчка.

Под ним внизу — сама конструкции
основа —
в ней действует душа, разогревая
слово.

Меж ними — коридор, на нем,
его дея, —
то крестик, то кадык, то галстук,
то петля.

январь, 1994



Булат Окуджава

**МЕЖ ПЕСНЕЙ
И СУДЬБОЮ**

Стихи

КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ

Вл. Мотылю

В раннем детстве верил я,
что от всех болезней
капель Датского короля
не найти полезней.
И с тех пор горит во мне
огонек той веры...
Капли Датского короля
пейте, кавалеры!

Капли Датского короля
или королевы —
это крепче, чем вино,
слаще карамели
и сильнее клеветы,
страха и холеры...
Капли Датского короля
пейте, кавалеры!

Рев орудий, посвист пуль,
звон штыков и сабель
растворяются легко
в звоне этих капель,
солнце, май, Арбат, любовь —
выше нет карьеры...
Капли Датского короля
пейте, кавалеры!

Слава головы кружит,
власть сердца щекочет.
Грош цена тому, кто встать
над другим захочет.
Укрепляйте организм,

принимайте меры...
Капли Датского короля
пейте, кавалеры!

Если правду прокричать
вам мешает кашель,
не забудьте отхлебнуть
этих чудных капель.
Перед вами пусть встают
прошлого примеры...
Капли Датского короля
пейте, кавалеры!

1964

* * *

Мгновенно слово. Короток век.
Где ж умещается человек?
Как, и когда, и в какой глуши
распускаются розы его души?
Как умудряется он успеть
свое промолчать и свое пропеть,
по планете просеменить,
гнев на милость переменить?
Как умудряется он, чудак,
на ярмарке

поцелуев и драк,
в славословии и пальбе
выбрать только любовь себе?
Осколок выплеснет его кровь:
«Вот тебе за твою любовь!»
Пощечины перепадут в раю:
«Вот тебе за любовь твою!»
И все ж умудряется он, чудак,
в ярмарке

поцелуев и драк,
в славословии и гульбе
выбрать только любовь себе!

1964

* * *

Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем,
у каждой эпохи свои подрастают леса...
А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем
поужинать в «Яр» заскочить хоть на четверть часа.

Теперь нам не надо по улицам мыкаться ощупью.
Машины нас ждут, и ракеты уносят нас вдаль...
А все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков,
хотя б одного, и не будет отныне... А жаль.

Я кланяюсь низко познания морю безбрежному,
разумный свой век, многоопытный век свой любя...
А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему
и мы до сих пор все холопами числим себя.

Победы свои мы ковали не зря и вынашивали,
мы все обрели: и надежную пристань, и свет...
А все-таки жаль — иногда над победами нашими
встают пьедесталы, которые выше побед.

Москва, ты не веришь слезам — это время проверило.
Железное мужество, сила и стойкость во всем...
Но если бы ты в наши слезы однажды поверила,
ни нам, ни тебе не пришлось бы грустить о былом.

Былое нельзя воротить... Выхожу я на улицу.
И вдруг замечаю: у самых Арбатских ворот
извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается...
Ах, нынче, наверное, что-нибудь произойдет.

1964

ПРОЩАНИЕ
С НОВОГОДНЕЙ ЕЛКОЙ

Синяя крона, малиновый ствол,
звяканье шишек зеленых.
Где-то по комнатам ветер прошел:
там поздравляли влюбленных.
Где-то он старые струны задел —
тянется их перекличка...
Вот и январь накатил-налетел,
бешеный, как электричка.

Мы в пух и прах наряжали тебя,
мы тебе верно служили.
Громко в картонные трубы трубя,
словно на подвиг спешили.
Даже поверилось где-то на миг
(знать, в простодушье сердечном):
женщины той очарованный лик
слит с твоим празднеством вечным.

В миг расставания, в час платежа,
в день увяданья недели
чем это стала ты нехороша?
Что они все, одурели?!
И утонченные, как соловьи,
гордые, как гренадеры,
что же надежные руки свои
прячут твои кавалеры?

Нет бы собраться им — время узнать,
нет бы им всем — расстараться...
Но начинают колеса стучать:
как тяжело расставаться!

Но начинается вновь суета.
Время по-своему судит:
И в суете тебя сняли с креста,
и воскресенья не будет.

Ель моя, Ель — уходящий олень,
зря ты, наверно, старалась:
женщины той осторожная тень
в хвое твоей затерялась!
Ель моя, Ель, словно Спас-на-крови,
твой силуэт отдаленный,
будто бы след удивленной любви,
вспыхнувшей, неуголенной.

1966

СТАРЫЙ КОРОЛЬ

В поход на чужую страну собирался король.
Ему королева мешок сухарей насушила
и старую мантию так аккуратно зашила,
дала ему пачку махорки и в тряпочке соль.

И руки свои королю положила на грудь,
сказала ему, обласкав его взором лучистым:
«Получше их бей, а не то прослывешь пацифистом,
и пряников сладких отнять у врага не забудь!»

И видит король — его войско стоит средь двора:
пять грустных солдат, пять веселых солдат и ефрейтор.
Сказал им король: «Не страшны нам ни пресса, ни ветер!
Врага мы побьем и с победой придем, и ура!»

И вот отгремело прощальных речей торжество.
В походе король свою армию переиначил:
веселых солдат интендантами сразу назначил.
А грустных оставил в солдатах — авось ничего.

Представьте себе, наступили победные дни.
Пять грустных солдат не вернулись из схватки военной,
ефрейтор, морально нестойкий, женился на пленной,
но пряников целый мешок захватили они.

Играйте, оркестры! Звучите, и песни, и смех!
Минутной печали не стоит, друзья, предаваться:
ведь грустным солдатам нет смысла в живых оставаться,
и пряников, кстати, всегда не хватает на всех.

1961

* * *

Не верю в бога и судьбу.

Молюсь прекрасному и высшему
предназначению своему,
на белый свет меня явившему...

Чванливы черти, дьявол зол, бездарен бог —

ему неможется.

О, были б помыслы чисты!

А остальное все

приложится.

Верчусь, как белка в колесе,

с надеждою своей за пазухою,
ругаюсь, как мастеровой,
то тороплюсь, а то запаздываю.

Покуда дремлет бог войны —

печет пирожное пирожница...

О, были б небеса чисты!

А остальное все

приложится.

Молюсь, чтоб не было беды,

и мельнице молюсь,

и мельнице,

воде простой, когда она из золотого крана вырвется.

Молюсь, чтоб не было разлук,

разрух,

чтоб больше не тревожиться.

О, руки были бы чисты!

А остальное все приложится.

* * *

Нацеленный глаз одинокого лося.
Рога в серебре, и копыта в росе.
А красный автобус вдоль черного леса,
как заяц, по белому лупит шоссе.

Шофер молодую кондукторшу любит.
Ах, только б автобус дошел невредим...
Горбатых снопов золотые верблюды
упрямо и долго шагают за ним.

Шагают столбы по-медвежьи, враскачку,
друг друга ведут, как коней, в поводах,
и птичка какая-то, словно циркачка,
шикарно качается на проводах.

А лес раскрывает навстречу ворота,
и ветки ладонями бьют по лицу.
Кондукторша ахает на поворотах:
ах, ей непривычно с мужчиной в лесу!

Сигнал повисает далекий-далекий.
И смотрят прохожие из-под руки:
там красный автобус на белой дороге,
у черного леса, у синей реки.

ДВА ВЕЛИКИХ СЛОВА

Не пугайся слова «кровь» —
кровь, она всегда прекрасна,
кровь ярка, красна и страстна,
«кровь» рифмуется с «любовь».

Этой рифмы древний лад!

Разве ты не клялся ею,
самой малостью своею,
чем богат и не богат?

Жар ее неотвратим...

Разве ею ты не клялся
в миг,

когда один остался
с вражьей пулей

на один?

И когда упал в бою,
эти два великих слова,
словно красный лебедь,

снова

прокричали песнь твою.

И когда пропал в краю
вечных зим, песчинка словно,
эти два великих слова
прокричали песнь твою.
Мир качнулся.

Но опять
в стуже, пламени и бездне
эти две великих песни
слились так, что не разнять.
И не верь ты докторам,
что для улучшения крови
килограмм сырой моркови
нужно кушать по утрам.

1962

НОЧНОЙ РАЗГОВОР

— Мой конь притомился.

Стоптались мои башмаки.

Куда же мне ехать?

Скажите мне, будьте добры.

— Вдоль Красной реки, моя радость,

вдоль Красной реки,

до Синей горы, моя радость,

до Синей горы.

— А как мне проехать туда?

Притомился мой конь.

Скажите, пожалуйста,

как мне проехать туда?

— На ясный огонь, моя радость,

на ясный огонь,

езжай на огонь, моя радость,

найдешь без труда.

— А где же тот ясный огонь?

Почему не горит?

Сто лет подпираю я небо ночное плечом...

— Фонарщик был должен зажечь,

да, наверное, спит,

фонарщик-то спит, моя радость...

А я ни при чем.

И снова он едет один

без дороги во тьму.

Куда же он едет,

ведь ночь подступила к глазам!..

— Ты что потерял, моя радость? —

кричу я ему.

И он отвечает:

— Ах, если б я знал это сам...

1962

* * *

В чаду кварталов городских,
среди несметных толп людских
на полдороге к раю
звучит какая-то струна,
но чья она, о чем она,
кто музыкант — не знаю.

Кричит какой-то соловей
отличных городских кровей,
как мальчик, откровенно:
«Какое счастье — смерти нет!
Есть только тьма и только свет
всегда попеременно».

Столетия строгого дитя,
он понимает не шутя,
в значении высоком:
вот это — дверь, а там — порог,
за ним — толпа, над ней — пророк
и слово — за пророком.

Как прост меж тьмой и светом спор!
И счастлив я, что с давних пор
все это принимаю.
Хотя, куда ты ни взгляни,
кругом пророчества одни,
а кто пророк — не знаю.

1963

* * *

Сестра моя прекрасная, Натела,
прошли года, а ты помолодела —
так чист и ясен пламень глаз твоих...
Возьми родную речь, горбушку хлеба,
и эти облака, и это небо
и раздели на нас, на шестерых.

Вот заповедь ушедшего поэта,
чья песня до конца не спета.
Сестра моя, все — только впереди!
Пускай завистникам пока нейметя...
Галактион когда-нибудь вернется,
он просто задержался по пути.

Средь океана слов и фраз напрасных,
не столь прекрасных, сколько безопасных,
как острова лежат его слова,
спешит перо как будто пред грозюю...
Его глаза подернуты слезюю:
поэты плачут — нация жива.

1967

РАЗМЫШЛЕНИЯ ВОЗЛЕ ДОМА,
ГДЕ ЖИЛ ТИЦИАН ТАБИДЗЕ

Берегите нас, поэтов. Берегите нас.
Остаются век, полвека, год, неделя, час,
три минуты, две минуты, вовсе ничего...
Берегите нас. И чтобы все — за одного.

Берегите нас с грехами, с радостью и без.
Где-то, юный и прекрасный, ходит наш Дантес.
Он минувшие проклятья не успел забыть,
но велит ему призванье пулю в ствол забить.

Где-то плачет наш Мартынов, поминает кровь.
Он уже убил надежды, он не хочет вновь.
Но судьба его такая, и свинец отлит,
и двадцатое столетье так ему велит.

Берегите нас, поэтов, от дурацких рук,
от поспешных приговоров, от слепых подруг.
Берегите нас, покуда можно уберечь.
Только так не берегите, чтоб костями нам лечь.

Только так не берегите, как борзых — псари!
Только так не берегите, как псарей — цари!
Будут вам стихи и песни, и еще не раз...
Только вы нас берегите. Берегите нас.

* * *

П. Луспекаеву

Ваше благородие госпожа
разлука,
мне с тобою холодно — вот
какая штука.

Письмецо в конверте
погоды — не рви...
Не везет мне в смерти,
повезет в любви.

Ваше благородие госпожа
чужбина,
жарко обнимала ты, да мало
любила.

В шелковые сети
постой — не лови...
Не везет мне в смерти,
повезет в любви.

Ваше благородие госпожа
удача,
для кого ты добрая, а кому
иначе.

Девять граммов в сердце
постой — не зови...
Не везет мне в смерти,
повезет в любви.

Ваше благородие госпожа
победа,
значит, моя песенка до конца
не спета!

Перестаньте, черти,
клясться на крови...
Не везет мне в смерти,
повезет в любви.
1967

* * *

Б. Ахмадулиной

Я сидел в апрельском сквере.
Предо мной был божий храм.
Но не думал я о вере,
я глядел на разных дам.

И одна, едва пахнуло
долгожданною весной,
вдруг на веточку вспорхнула
и уселась предо мной.

В модном платьице коротком,
в старомодном пальтеце,
и ладонь под подбородком,
и загадка на лице.

В той поре еще безвестной,
обозначенной едва:
то ли юная невеста,
то ли поздняя вдова.

Век мой короток, не жалко.
Он длинней и ни к чему.
Но она — петербуржанка
и бессмертна посему.

Шли столетья по России,
бил надежды барабан.
Не мечи людей косили —
слава, злато да обман.

Что ни век — все те же нравы,
ухищренья и дела,
а она вдали от славы
на Васильевском жила.

Знала счет шипам и розам
и безгрешной не слыла,
всяким там метаморфозам
не подвержена была...

Но когда над Летним садом
возносилась луна,
Михаилу с Александром,
верно, грезилась Она.

Но в дороге и в опале,
и крылаты и без крыл,
знать, о Ней лишь вспоминали
Александр и Михаил.

И загадочным и милым
лик Ее сиял живой
Александр с Михаилом
перед пулей роковой.

...Эй вы, дней бывших поэты,
старики и женихи!
Признавайтесь, кем согреты
ваши перья и стихи?

Как на лавочке сиделось,
не стесняйтесь говорить;
как на барышень гляделось,
чтобы душу усладить.

Как туда вам все летелось
во всю мочь и во всю прыть...
Как оттуда не хотелось
в департамент
уходить!

Я ПИШУ
ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

В. Аксенову

В склянке темного стекла
из-под импортного пива
роза красная цвела
гордо и неторопливо.
Исторический роман
сочинял я понемногу,
пробиваясь как в туман
от пролога к эпилогу.

Были дали голубы,
было вымысла в избытке,
и из собственной судьбы
я выдергивал по нитке.
В путь героев снаряжал,
наводил о прошлом справки
и поручиком в отставке
сам себя воображал.

Вымысел не есть обман.
Замысел — еще не точка.
Дайте дописать роман
до последнего листочка.
И пока еще жива
роза красная в бутылке,
дайте выкрикнуть слова,
что давно лежат в опилке:

каждый пишет, как он слышит.
Каждый слышит, как он дышит.
Как он дышит, так и пишет,
не стараясь угодить...

Так природа захотела.
Почему?
Не наше дело.
Для чего?
Не нам судить.

1975

* * *

Восемнадцатый век из античности
в назиданье нам, грешным, извлек
культ любви, обаяние личности,
наслаждения сладкий урок.

И различные высокопарности,
щегольства безупречный парад...
Не ослабнуть бы от благодарности
перед ликом скуластых наяд!

Но куда-то все кануло, сгнуло
под шершавой ладонью раба...
Несчастливую карточку вынуло
наше время и наша судьба.

И в лицо — что-то жесткое, резкое,
как по мягкому горлу ребром,
проклиная, досадуя, брезгуя
тем уже бесполезным добром.

Палаши, извлеченные наголо,
и без устали — свой своего...
А глаза милосердного ангела?..
А напрасные крики его?..

* * *

Вот комната эта — храни ее Бог —
мой дом, мою крепость и волю.
Четыре стены, потолок и порог,
и тень моя с хлебом и солью.

И в комнате этой ночью порой
я к жизни иной прикасаюсь.
Но в комнате этой, отнюдь не герой,
я плачу, молюсь и спасаюсь.

В ней все соразмерно желаньям моим —
то облик берлоги, то храма, —
в ней жизнь моя тает, густая как дым,
короткая как телеграмма.

Пока вы возносите небу хвалу,
пока укоряете время,
меня приглашает фортуна к столу
нести свое сладкое бремя.

Покуда по свету разносит молва,
что будто я зло низвергаю,
я просто слагаю слова и слова
и чувства свои излагаю.

Судьба и перо, по бумаге шурша,
стараются, лезут из кожи.
Растрacены силы, сгорает душа,
а там, за окошком, все то же.

РАБОТА

Жест. Быстрый взгляд. Движение души.
На кончике ресницы — влага.
Отточены карандаши,
и приготовлена бумага.

Она бела, прохладна и гладка.
Друзья примолкли сиротливо.
А перспектива так сладка
в зеленом поле объектива.

Определяю день и час,
события изобретаю,
как ворон, вытаращив глаз,
над жертвою очередной витаю.

Нелепо скрючена рука,
искажены черты и поза...
Но перспектива как сладка!
Какая вызревает проза!

Уж целый лист почти совсем готов,
и вдруг как будто прозреваю:
как нищ и беден мой улов,
не те цветы ищу я и срываю.

И жар ловлю не от того огня,
и лгу по мелочам природе...
Что стоит помолиться за меня?
Да нынче вам не до молитвы вроде.

И вновь: Я. Злость. И трепет у виска.
И пот... Какой квартет отличный!
А перспектива так близка,
и сроки жизни безграничны.

* * *

Убили моего отца
ни за понюшку табака.
Всего лишь капелька свинца —
зато как рана глубока!

Он не успел, не закричал,
лишь выстрел треснул в тишине.
Давно тот выстрел отзвучал,
но рана та еще во мне.

Как эстафету прежних дней
сквозь эти дни ее несу.
Наверно, и подохну с ней,
как с трехлинейкой на весу.

А тот, что выстрелил в него,
готовый заново пальнуть,
он из подвала своего
домой поехал отдохнуть.

И он вошел к себе домой
пить водку и ласкать детей,
он — соотечественник мой
и брат по племени людей.

И уж который год подряд,
презревши боль былых утрат,
друг друга братьями зовем
и с ним в обнимку мы живем.

1966

Бүлэт Окцуджава

* * *

О чем ты успел передумать, отец расстрелянный мой,
когда я шагнул с гитарой, растерянный, но живой?
Как будто шагнул я со сцены в полночный
московский уют,
где старым арбатским ребятам бесплатно судьбу раздают.

По-моему, все распрекрасно, и нет для печали причин,
и грустные те комиссары идут по Москве как один,
и нету, и нету погибших среди старых арбатских ребят,
лишь те, кому нужно, уснули, но те, кому надо, не спят.

Пусть память — нелегкая служба, но все повидала Москва,
и старым арбатским ребятам смешны утешений слова.

1957

ПИСЬМО К МАМЕ

Ты сидишь на нарах посреди Москвы.
Голова кружится от слепой тоски.
На окне — намордник, воля — за стеной,
ниточка порвалась меж тобой и мной.
За железной дверью топчется солдат...
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь — он ведь за народ.

Следователь юный машет кулаком.
Ему так привычно звать тебя врагом.
За свою работу рад он попотеть...
Или ему тоже в камере сидеть?
В голове убогой — трехэтажный мат...
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь — он за весь народ.

Чуть за Красноярском — твой лесоповал.
Конвоир на фронте сроду не бывал.
Он тебя прикладом, он тебя пинком,
чтоб тебе не думать больше ни о ком.
Тулуп на нем жарок, да холоден взгляд...
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь — он за весь народ.

Вождь укрылся в башне у Москвы-реки.
У него от страха паралич руки.
Он не доверяет больше никому,
словно сам построил для себя тюрьму.
Все ему подвластно, да опять не рад...
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь — он за весь народ.

1975

МОЙ ОТЕЦ

Он был худощав и насвистывал старый,
давно позабытый мотив,
и к жесткому чубчику ежеминутно его
пятерня прикасалась.
Он так и запомнился мне на прощанье, к порогу
лицо обратив,
а жизнь быстротечна, да вот бесконечной ему
почему-то казалась.

Его расстреляли на майском рассвете, и вот он уже
далеко.
Все те же леса, водопады, дороги и запах акации острый.
А кто-то ж кричал «Не убий!» одинокий... И в это
поверить легко,
но бредили кровью и мезтью святою все прочие
братья и сестры.

И время отца моего молодого печальный развеяло прах,
и нету надгробья, и памяти негде над прахом склониться
рыдая.
А те, что виновны в убийстве, и сами давно уже все
в небесах.
И там, в вышине, их безвестная стая кружится,
редея и тая.

В учебниках школьных покуда безмолвны и пуля,
и пламя,
и плеть,
но чье-то перо уже пишет и пишет о том, что пока
безымянно.
И нам остается, пока суд да дело, не грезить,
а плакать и петь.
И слезы мои солонны и горячи. И голос прекрасен...
Как странно!

1987

* * *

Давайте придумаем деспота,
чтоб в душах царил он один
от возраста самого детского
и до благородных седин.

Усы ему вырастим пышные
и хищные вставим глаза,
сапожки натянем неслышные,
и проголосуем все — за.

Давайте придумаем деспота,
придумаем, как захотим.
Потом будет спрашивать не с кого,
коль вместе его создадим.

И пусть он над нами куражится
и пальцем грозит из тьмы,
пока наконец не окажется,
что сами им созданы мы.

* * *

Стоит задремать немного,
сразу вижу Самого.
Рядом, по ранжиру строго,
собутыльнички его.

Сталин трубочку раскурит —
станут листья опадать.
Сталин бровь свою нахмурит —
трем народам не бывать.

Что ничтожный тот комочек
перед ликом всей страны?
А усы в вине намочит —
все без удержу пьяны.

Вот эпоха всем эпохам!
Это ж надо — день ко дню,
пусть не сразу, пусть по крохам,
обучала нас вранью.

И летал усатый сокол,
целый мир вгоняя в дрожь.
Он народ ценил высоко,
да людей не ставил в грош.

Нет, ребята, вы не правы
в объясненьи прошлых драм,
будто он для нашей славы
нас гонял по лагерям.

С его именем ходили
(это правда) на врага,
но ведь и друг дружку били
(если правда дорога).

А дороги чем мостили?
А за все платили чем?
Слишком быстро все простили,
позабыли между тем...

Нет, ребята, хоть упрямы
демонстрации любви,
но следы минувшей драмы
все равно у нас в крови.

Чем история богата,
тем и весь народ богат...
Нет, вы знаете, ребята,
Сталин очень виноват.

1961

* * *

Собрался к маме — умерла,
к отцу хотел — а он расстрелян,
и тенью черного орла
горийского

весь мир застелен.

И, измаравшись в той тени,
нажравшись выкриков победных,
вот что хочу спросить у бедных
пока еще бедны они:

собрался к маме — умерла,
к отцу подался — застрелили...
Так что ж спросить-то позабыли,
верша великие дела:
отец и мать нужны мне были?..
...В чем философия была?

1983

* * *

Не слишком-то изыскан вид за окнами,
пропитан гарью и гнилой водой.
Вот город, где отца моего кокнули.
Стрелок тогда был слишком молодой.

Он был обучен и собой доволен.
Над жертвою в сомненьях не кружил.
И если не убит был алкоголем,
то, стало быть, до старости дожил.

И вот теперь на отдыхе почетном
внучат лелеет и с женой в ладу.
Прогулки совершает шагом четким
и вывески читает на ходу.

То в парке, то на рынке, то в трамвае
как равноправный дышит за спиной.
И зла ему никто не поминает,
и даже не обходят стороной.

Иные времена, иные лица.
И он со всеми как навеки слит.
И у него в бумажнике — убийца
пригрелся и усами шевелит.

И, на тесемках пестрых повисая,
гитары чьи-то в полночи бренчат,
а он все смотрит, смотрит, не мигая,
на круглые затылочки внучат.

1966

ПЕСЕНКА

Король ушел на пенсию,
отставлен от двора.
Сменить свою профессию
пришла ему пора.

От трона королевского
он обалдел сполна,
и тут не спросишь: не с кого —
такие времена.

Король ушел на пенсию
под дудку и свирель,
и завершилась песнею
вся эта канитель.

Кричит в восторге публика,
таращит мир глаза:
«Да здравствует республика!»
Такие чудеса.

Нет карнавала радужней.
Но в той толпе, как врос,
стоит тиранчик завтрашний,
засунув пальчик в нос.

Никто и не спохватится:
пред ними даль светла...
Да время быстро катится...
Такие, брат, дела.

1987

* * *

Не будем хвастаться, что праведно живем,
а разойдемся скромно по домам.
А что останется потом,
когда мы все порем,
пусть это будет памятником нам.

И если грянет правды торжество,
пусть это будет памятником нам.
Все станет ясно: кто — кого
и почему, и для чего...
А нынче разойдемся по домам.

1979

* * *

Черный ворон сквозь белое облако глянет —
значит, скоро кровавая музыка грянет.
В генеральском мундире стоит дирижер,
перед ним — под машинку остриженный хор.
У него — руки в белых перчатках.
Песнопенье, знакомое с давешних пор,
возникает из слов непечатных.

Постепенно вступают штыки и мортиры —
значит, скоро по швам расползутся мундиры,
значит, скоро сподобимся есть за двоих,
забывать мертвецов и бояться живых,
прикрываться истлевшею рванью...
Лишь бы только не спутать своих и чужих,
то проклятья, то гимны горланя.

Разыгрался на славу оркестр допотопный.
Все наелись от пуза музыки окопной.
Дирижер дирижера спешит заменить.
Те, что в поле вповалку (прошу извинить),
с того ворона взоров не сводят,
и кого хоронить, и кому хоронить —
непонятно... А годы уходят.

Все кончается в срок. Лишней крови хватает.
Род людской ведь не сахар: авось не растает.
Двое живы (покуда их вексель продлен),
третий (лишний, наверно) в раю погребен,
и земля словно пух под лопатой...
А над ними с прадедовых самых времен —
черный ворон, во всем виноватый.

* * *

Осудите сначала себя самого,
научитесь искусству такому,
а уж после судите врага своего
и соседа по шару земному.

Научитесь сначала себе самому
не прощать ни единой промашки,
а уж после кричите врагу своему,
что он враг и грехи его тяжки.

Не в другом, а в себе побеждайте врага,
а когда преуспеете в этом,
не придется уж больше валять дурака —
вот и станете вы человеком.

* * *

Ю. Даниэлю

Не успел на жизнь обидеться —
вся и кончилась почти.
Стало реже детство видеться,
так, какие-то клочки.

И уже не спросишь, не с кого.
Видно, каждому — свое.
Были песни пионерские,
было всякое вранье.

И по щучьему велению,
по лесам и по морям
шло народонаселение
к магаданским лагерям.

И с фанерным чемоданчиком
мама ехала моя
удивленным неудачником
в те богатые края.

Забываются минувшие
золотые времена;
как монетки утонувшие,
не всплывут они со дна.

Память пылью позасыпало?
Постарел ли?

Не пойму:
вправду ль нам такое выпало?
Для чего и почему?

Почему нам жизнь намерила
вместо хлеба — отрубей?..
Что Москва слезам не верила —
это помню.

Хоть убей.

Будит Оксиджава

* * *

Поздравьте меня, дорогая: я рад, что остался в живых, сгорая в преддверии рая среди маршалов и рядовых, когда они шумной толпою, в сиянии огненных стрел, влекли и меня за собою... Я счастлив, что там не сгорел.

Из хроник, прочитанных мною, в которых —
судьба и душа,
где теплится пламя бывшее условно, почти не дыша,
являются мне не впервые, как будто из чащи густой,
то флаги любви роковые, то знаки надежды пустой,

то пепел, то кровь, а то слезы — житейская наша река.
Лишь редкие красные розы ее украшают слегка.
И так эта реченька катит, и так не устала катить,
что слез никаких и не хватит, чтоб горечь утрат оплатить.

Судьба ли меня защитила, собою укрыв от огня!
Какая-то тайная сила всю жизнь охраняла меня.
И так все сошлось, дорогая: наверно, я т а м не сгорел,
чтоб выкрикнуть з д е с ь, догорая, про то, что другой
не успел.

* * *

Ах, что-то мне не верится, что я, брат, воевал.
А может, это школьник меня нарисовал:
я ручками размахиваю, я ножками сучу,
и уцелеть рассчитываю, и победить хочу.

Ах, что-то мне не верится, что я, брат, убивал.
А может, просто вечером в кино я побывал?
И не хватал оружия, чужую жизнь круша,
и руки мои чистые, и праведна душа.

Ах, что-то мне не верится, что я не пал в бою.
А может быть, подстреленный, давно живу в раю,
и кущи там, и рощи там, и кудри по плечам...
А эта жизнь прекрасная лишь снится по ночам.

* * *

Ах, оркестры духовые,
голоса победные!
Наши судьбы роковые,
а надежды бедные.

Ах, оркестрики-оркестры,
мы на все готовы.
Провожают нас невесты,
а встречают вдовы.

ПРОВОДЫ У ВОЕНКОМАТА

Б. Биргеру

Вот оркестр духовой. Звук медовый.
И пронзителен он так, что — ах...
Вот и я, молодой и бедовый,
с черным чубчиком, с болью в глазах.

Машут ручки нелепо и споро,
крики скорбные тянутся вслед,
и безумцем из черного хора
нарисован грядущий сюжет.

Жизнь музыкой бравурной объята —
все о том, что судьба пополам,
и о том, что не будет возврата
ни к любви и ни к прочим делам.

Раскаляются медные трубы —
превращаются в пламя и дым.
И в улыбке растянуты губы,
чтоб запомнился я молодым.

* * *

Все глуше музыка души,
все звонче музыка атаки.
Но ты об этом не спеши:
не обмануться бы во мраке,
что звонче музыка атаки,
что глуше музыка души.

Чем громче музыка атак,
тем слаще мед огней домашних.
И это было только так
в моих скитаниях вчерашних:
тем слаще мед огней домашних,
чем громче музыка атак.

Из глубины ушедших лет
еще вернее, чем когда-то, —
чем звонче музыка побед,
тем горше каждая утрата,
еще вернее, чем когда-то,
из глубины ушедших лет.

И это все у нас в крови,
хоть этому не обучали:
чем выше музыка любви,
тем громче музыка печали,
чем громче музыка печали,
тем чище музыка любви.

* * *

Шарманка старая крутилась,
катилось жизни колесо.
Я пил вино за вашу милость
и за минувшее за все.

За то, что в прошлом не случилось
на бранном поле помереть,
а что разбилось — то разбилось,
зачем осколками звенеть?

Шарманщик был в пальто потертом,
он где-то в музыке витал.
Моим ладоням, к вам простертым,
значенья он не придавал.

Я вас любил, но клялся прошлым,
а он шарманку обнимал,
моим словам, земным и пошлым,
с тоской рассеянной внимал.

Текла та песня как дорога,
последних лет не торопя.
Все звуки были в ней от бога —
ни жалкой нотки от себя.

Но падали слова убого,
живую музыку губя:
там было лишь одно от бога,
все остальное — от себя.

ВОСПОМИНАНИЕ О ДНЕ ПОБЕДЫ

Была пора, что входит в кровь, и помнится, и снится.
Звенел за Сретенкой трамвай, светало на Мясницкой.
Еще пожар не отгудел, да я отвоевал
в те дни, когда в Москве еще Арбат существовал.

Живые бросились к живым, и было правдой это,
любили женщину одну — она звалась Победа.
Казалось всем, что всяк уже навек отгоревал
в те дни, когда в Москве еще Арбат существовал.

Он нашей собственностью был, и мы клялись Арбатом.
Еще не знали, кто кого объявит виноватым.
Как будто нас девятый вал отныне миновал
в те дни, когда в Москве еще Арбат существовал.

Какие слезы на асфальт из круглых глаз катились,
когда на улицах Москвы в обнимку мы сходились —
и тот, что пули избежал, и тот, что наповал, —
в те дни, когда в Москве еще Арбат существовал.

АРБАТСКОЕ ВДОХНОВЕНИЕ,
ИЛИ ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕТСТВЕ

Посвящаю Аитону

Упрямо я твержу с давнишних пор:
меня воспитывал арбатский двор,
все в нем, от подлого до золотого.
А если иногда я кружева
накручиваю на свои слова,
так это от любви. Что в том дурного?

На фоне непросохшего белья
руины человеческого жилья,
крутые плечи дворника Алима...
В Дорогомилово из тьмы Кремля,
усы прокуренные шевеля,
мой соплеменник пролетает мимо.

Он маленький, немытый и рябой
и выглядит растерянным и пьющим,
но суть его — пространство и разбой
в кровавой драке прошлого с грядущим.
Его клеветы топчутся в крови...
Так где же почва для твоей любви? —
вы спросите с сомнением, вам присущим.

Что мне сказать? Я только лишь пророс.
Еще далече до военных гроз.
Еще загадкой манит подворотня.
Еще я жизнь сверяю по двору
и не подозреваю, что умру,
как в том не сомневаюсь я сегодня.

Что мне сказать? Еще люблю свой двор,
его убогость и его простор,
и аромат грошового обеда.
И лгну душой к заветному Кремлю,
и усача кремлевского люблю,
и самого себя люблю за это.

Он там сидит, изогнутый в дугу,
и глину разминает на кругу,
и проволочку тянет для основы.
Он лепит, обстоятелен и тих,
меня, надежды, сверстников моих,
отечество... И мы на все готовы.

Что мне сказать? На все готов я был.
Мой страшный век меня почти добил,
но речь не обо мне — она о сыне.
И этот век не менее жесток,
а между тем насмешлив мой сынок:
его не облапошить на мякине.

Еще он, правда, тоже хил и слаб,
но он страдалец, а не гордый раб,
небезопасен и небезоружен...
А глина ведь не вечный материал,
и то, что я когда-то потерял,
он в воздухе арбатском обнаружил.

1980

* * *

Старики умирать не боятся.
Им геройски погибнуть не труд.
Только нечего зря распалиться:
все равно их на фронт не берут.

Умирают в боях молодые,
хоть не хочется им умирать, —
лишь надежды свои золотые
оставляют меж нами витать.

И бесшумная их эскадрилья
наводняет и полдень и мрак...
Тени черные, белые крылья,
и от глаз не укрыться никак.

* * *

Ф. Искандеру

Быстро молодость проходит, дни счастливые крадет.
Что назначено судьбою — обязательно случится:
то ли самое прекрасное в окошко постучится,
то ли самое напрасное в объяття упадет.

Так не делайте ж запасов из любви и доброты
и про черный день грядущий не копите милосердье:
пропадет ни за понюшку ваше горькое усердье,
лягут ранние морщины от напрасной суеты.

Жаль, что молодость мелькнула, жаль, что старость
кратка.

Все теперь как на ладони: лоб в поту, душа в ушибах...
Но зато уже не будет ни загадок, ни ошибок —
только ровная дорога до последнего звонка.

* * *

Живые, вставай-подымайся,
будь счастлив, кто снова живой,
на первый-второй рассчитайся,
ряды поредевшие сдвой.

Чисты ваши тонкие руки,
ясна ваших глаз синева.
Цена на минувшие муки
ничтожна, как дым и слова.

Чем дальше от юности дерзкой,
тем ближе мы к черной земле,
и отсветы бури вселенской
лежат как печать на челе.

И все неподатливей струны,
и с каждой минутой трудней
увидеть в усмешке фортуны
улыбку надежды своей.

Но если сержанта былого
из тьмы появляется лик,
душа моя, честное слово,
опять замирает на миг.

И если учитель ворчливый
к доске предлагает пройти,
иду я, как мальчик счастливый,
и верю, что все — впереди.

* * *

После дождичка небеса просторны,
голубей вода, зеленее медь.
В городском саду — флейты да волторны.
Капельмейстеру хочется взлететь.

Ах, как помнятся прежние оркестры,
не военные, а из мирных лет!
Расплескалася в улочках окрестных
та мелодия... А поющих нет.

С нами женщины. Все они красивы.
А черемуха — вся она в цвету.
Может, жребий нам выпадет счастливый:
снова встретимся в городском саду.

Но из прошлого, из былой печали,
как ни сетую, как там ни молю,
проливается черными ручьями
эта музыка прямо в кровь мою.

РАЗГОВОР С СЫНОМ

Мой сын, твой отец — лежебока и плут
из самых на этом веку.
Ему не знакомы ни молот, ни плуг,
я в этом поклясться могу.

Когда на земле бушевала война
и были убийства в цене,
он раной одной откупился сполна
от смерти на этой войне.

Когда погорельцы брели на восток
и участь была их горька,
он в теплом окопе пристроиться смог
на сытую должность стрелка.

Не словом трибуна, не тяжкой киркой
на благо родимой страны —
он все норовит заработать строкой
тебе и себе на штаны.

И все же, и все же не будь с ним суров
(не знаю и сам почему),
поздравь его с тем, что он жив и здоров,
хоть нет оправдания ему.

Он, может, и рад бы достойней прожить
(далече его занесло),
но можно рубаху и паспорт сменить,
да поздно менять ремесло.

1974

Булат Окуджава

* * *

Совесь, благородство и достоинство —
вот оно, святое наше воинство.
Протяни ему свою ладонь,
за него не страшно и в огонь.

Лик его высок и удивителен.
Посвяти ему свой краткий век.
Может, и не станешь победителем,
но зато умрешь как человек.

* * *

В день рождения подарок преподнес я сам себе.
Сын потом возьмет, озвучит и сыграет на трубе.
Сочинилось как-то так, само собою
что-то среднее меж песней и судьбою.

Я сижу перед камином, нарисованным в углу,
старый пудель растянулся под ногами на полу.
Пусть труба, сынок, мелодию сыграет...
Что из сердца вышло — быстро не сгорает.

Мы плывем ночной Москвою между небом и землей.
Кто-то балуется рядом черным пеплом и золой.
Лишь бы только в суете не доигрался...
Или зря нам этот век, сынок, достался?

Что ж, играй, мой сын кудрявый, ту мелодию в ночи,
пусть ее подхватят следом и другие трубачи.
Нам не стоит этой темени бояться,
но счастливыми не будем притворяться.

Бунат Окуджава

* * *

У Спаса на кружке забыто наше детство.
Что видится теперь в раскрытое окно?
Все меньше мест в Москве, где можно нам погреться,
все больше мест в Москве, где пусто и темно.

Мечтали зло унять и новый мир построить,
построить новый мир, иную жизнь начать.
Все меньше мест в Москве, где есть о чем поспорить,
все больше мест в Москве, где есть о чем молчать.

Куда-то все спешит надменная столица,
с которою давно мы перешли на «вы»...
Все меньше мест в Москве, где помнят наши лица,
все больше мест в Москве, где и без нас правы.

КРАТКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ

Не укрыть, не утаить, а, напротив, пусть несмело,
тайну сердца, тайну жизни вам доверить я хотел,
откровенный свой рассказ прерывая то и дело,
ночь пока не отгорела, дождь пока не отшумел.

Но за этот подвиг мой без притворства и коварства
и за это вдохновенье без расчета и вранья
слишком горькая на вкус, как напрасное лекарство,
эта поздняя надежда отказалась от меня.

И осталось, как всегда, непрочитанное что-то
в белой книге ожиданий, в черной книге праздных дел...
Тонких листьев октября позолота. Жить охота,
жизнь пока не облетела, свет пока не отгорел.

* * *

Дама ножек не замочит,
друг мараться не захочет,
и на свалку спишут старый двор.
Защитите его, струны,
от изменчивой фортуны.
Наша жизнь — короткий разговор.

Что ж вы дремлете, ребята:
ведь осколки — от Арбата!
А какая улица была!
Разрушители гурьбою
делят лавры меж собою.
Вот какие в городе дела.

Ни золота и ни хлеба
ни у черта, ни у неба,
но прошу я без обиняков:
ты укрой меня, гитара,
от смертельного удара,
от московских наших дураков.

Пусть мелодия простая,
но, из сердца вырастая,
украшает наше ремесло.
Ты прости меня, гитара,
может, я тебе не пара,
просто мне с тобою повезло.

* * *

Не сольются никогда зимы долгие и лета:
у них разные привычки и совсем несхожий вид.
Не случайны на земле две дороги — та и эта,
та натруживает ноги, эта душу бередит.

Эта женщина в окне в платье розового цвета
утверждает, что в разлуке невозможно жить без слез,
потому что перед ней две дороги — та и эта,
та прекрасна, но напрасна, эта, видимо, всерьез.

Хоть разбейся, хоть умри — не найти верней ответа,
и куда бы наши страсти нас с тобой ни завели,
неизменно впереди две дороги — та и эта,
без которых невозможно, как без неба и земли.

* * *

В нашей жизни, прекрасной и странной,
и короткой, как росчерк пера,
над дымящейся свежее раной
призадуматься, право, пора.

Призадуматься и присмотреться,
поразмыслить, покуда живой,
что там кроется в сумерках сердца,
в самой черной его кладовой.

Пусть твердят, что дела твои плохи,
но пора научиться, пора
не вымаливать жалкие крохи
милосердия, правды, добра.

Но пред ликом суровой эпохи,
что по-своему тоже права,
не выжувать жалкие крохи,
а творить,
засучив рукава.

* * *

Отчего ты печален, художник —
живописец, поэт, музыкант?
На какую из бурь невозможных
ты растратил свой гордый талант?

На каком из отрезков дороги
растерял ты свои медяки?
Все надеялся выйти в пророки,
а тебя занесло в должники.

Словно эхо поры той прекрасной,
словно память надежды былой —
то на Сретенке профиль твой ясный,
то по Пятницкой шаг удалой.

Так плати из покуда звенящих,
пот и слезы стирая со щек,
за истертые в пальцах дрожащих
холст и краски, перо и смычок.

О ВОЛОДЕ ВЫСОЦКОМ

О Володе Высоцком я песню придумать решил:
вот еще одному не вернуться домой из похода.
Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил...
Как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа.

Ненадолго разлука, всего лишь на миг, а потом
отправляться и нам по следам по его по горячим.
Пусть кружит над Москвою охрипший его баритон,
ну а мы вместе с ним посмеемся и вместе поплачем.

О Володе Высоцком я песню придумать хотел,
но дрожала рука и мотив со стихом не сходился...
Белый аист московский на белое небо взлетел,
черный аист московский на черную землю спустился.

1980

* * *

Как наш двор ни обижали — он в классической поре.
С ним теперь уже не справиться,
хоть он и безоружен.

Там Володя во дворе,
его струны в серебре,
его пальцы золотые, голос его нужен.

Как с гитарой ни боролись — распаялся струнный звон.
Как вино стихов ни портили —
все крепче становилось.

Кто сначала вышел вон,
кто потом украл вагон —
все теперь перемешалось, все объединилось.

Может, кто и ныне снова хрипоте его не рад,
может, кто намеревается подлить в стихи еля...
Ведь и песни не горят,
они в воздухе парят,
чем им делают больнее — тем они сильнее.

Что ж печалиться напрасно: нынче слезы лей не лей,
но запомним хорошенько и повод, и причину...
Ведь мы воспели королей
от Таганки до Филей,
пусть они теперь поэту воздают по чину.

* * *

Ю. Киму

Ну чем тебе потрафить, мой кузнечик?
Едва твой гимн пространства огласит,
прислушаться — он от скорбей излечит,
а вслушаться — из мертвых воскресит.

Какой струны касаешься прекрасной,
что тотчас за тобой вступает хор
таинственный, возвышенный и страстный
твоих зеленых братьев и сестер?

Какое чудо обещает скоро
слететь на нашу землю с высоты,
что так легко, в сопровожденье хора,
так звонко исповедуешься ты?

Ты тоже из когорты стихотворной,
из нашего бессмертного полка.
Кричи и плачь. Авось твой труд упорный
потомки не оценят свысока.

Поэту настоящему спасибо,
руке его, безумию его
и голосу, когда, взлетев до хрипа,
он неба достигает своего.

* * *

В. Фогельсоцу

Витя, сыграй на гитаре,
на семиструнной такой,
если, конечно, в ударе,
если она под рукой.

Дай я чехол с нее скину
и как букет поднесу...
Было: свистели нам в спину,
будто бы в позднем лесу.

Этого долгого свиста
нету в помине уже.
Нынче мы все гитаристы —
не наяву, так в душе.

Пальцы притронулись к первой,
тихо откликнулась медь...
...Только бы нотки неверной
нам невзначай не пропеть.

Пальцы касаются баса,
будто в струне той изъян...
...И до последнего часа
буду я верен друзьям.

Пальцы по всем заскользили,
трели сливая и гром...
...Тех, что добры с нами были,
брат мой, помянем добром.

Витя, сыграй на гитаре,
на семиструнной такой,
если, конечно, в ударе,
если она под рукой.

КАБИНЕТЫ МОИХ ДРУЗЕЙ

Что-то дождичек удач падает не часто.
Впрочем, жизнью и такой стоит дорожить.
Скоро все мои друзья выбьются в начальство,
и, наверно, мне тогда станет легче жить.

Робость давнюю свою я тогда осилю.
Как пойдут мои дела — можно не гадать:
зайду к Юре в кабинет, загляну к Фазилю,
и на сердце у меня будет благодать.

Зайду к Белле в кабинет, скажу:

«Здравствуй, Белла!»

Скажу: «Дело у меня, помоги решить...»
Она скажет: «Ерунда, разве это дело?...»
И конечно, сразу мне станет легче жить.

Часто снятся по ночам кабинеты эти,
не сегодняшние, нет; завтрашние, да:
самовары на столе, дама на портрете...
В общем, стыдно по пути не зайти туда.

Города моей страны все в леса одеты,
звук пилы и топора трудно заглушить:
может, это для друзей строят кабинеты —
вот построят, и тогда станет легче жить.

1974

* * *

На полотне у Аллы Беляковой,
где темный сад немного бестолковый,
где из окна, дразня и завораживая,
выплескивается пятно оранжевое,
где все имеет первозданный вид
и ветви как зеленая оправа,
где кто-то бодрствует, а кто-то спит
в том домике, изображенном справа, —
там я бываю запросто в гостях,
и надобности нет о новостях
выспрашивать дотошно и лукаво.

По лесенке скрипучей в сад схожу
и выгляжу, быть может, даже хмурым;
потом сажусь и за столом сижу
под лампою с зеленым абажуром.
Я на виду, я чем-то удручен,
а может, восхищен, но, тем не мене,
никто, никто не ведает,

о чем

я размышляю в данное мгновенье,
совсем один в той странной тишине,
которую вселенная объята...

И что-то есть, наверное, во мне
от старого глехо* и от Сократа.

* Глехо — крестьянин (груз.).

* * *

А. Володину

Что-то знает Шура Лифшиц:
понапрасну слез не льет.
В петербургский смог зарывшись,
зерна истины клюет.

Так устроившись удобно
среди каменных громад,
впитывает он подробно
этих зерен аромат.

Он вонзает ноги прочно
в почвы лета и зимы,
потому что знает точно
то, о чем тоскуем мы.

Жар души не иссякает.
Расслабляться не пора...
Слышно: времечко стекает
с кончика его пера.

* * *

Почему мы исчезаем,
превращаясь в дым и пепел,
в глинозем, в солончаки,
в дух, что так неосязаем,
в прах, что выглядит неленым, —
нытики и остряки?

Почему мы исчезаем
так внезапно, так жестоко,
даже слишком, может быть?
Потому что притязаем,
докопавшись до истока,
миру истину открыть.

Вот она в руках как будто,
можно, кажется, потрогать,
свет ее слепит глаза...
В ту же самую минуту
Некто нас берет под локоть
и уводит в небеса.

Это так несправедливо,
горько и невероятно —
невозможно осознать:
был счастливым, жил красиво,
но уже нельзя обратно,
чтоб по-умному начать.

Может быть, идущий следом,
зная обо всем об этом,
изберет надежней путь?
Может, новая когорта
из людей иного сорта
изловчится как-нибудь?

Бунат Окуджава

Все чревато повтореньем.
Он, объятый вдохновеньем,
зорко с облака следит.
И грядущим поколениям,
обоженным нетерпеньем,
тоже э т о предстоит.

ДЕРЗОСТЬ,
ИЛИ РАЗГОВОР ПЕРЕД БОЕМ

— Господин лейтенант, что это вы хмуры?
Аль не по сердцу вам ваше ремесло?

— Господин генерал, вспомнились амуры —
не скажу, чтобы мне с ними не везло.

— Господин лейтенант, нынче не до шашней:
скоро бой предстоит, а вы всё про баб!

— Господин генерал, перед рукопашной
золотые деньки вспомянуть хотя б.

— Господин лейтенант, не к добру все это!
Мы ведь здесь для того, чтобы побеждать...

— Господин генерал, будет нам победа,
да придется ли мне с вами пировать?

— На полях, лейтенант, кровию политых,
расцветет, лейтенант, славы торжество...

— Господин генерал, слава для убитых,
а живому нужней женщина его.

— Черт возьми, лейтенант, да что это с вами?
Где же воинский долг, ненависть к врагу?!..

— Господин генерал, посудите сами:
я и рад бы приврать, да вот не могу...

— Ну гляди, лейтенант, каяться придется!
Пускай счесть с тобой трибунал сведет...

— Видно, так, генерал: чужой промахнется,
а уж свой в своего всегда попадет.

* * *

Памяти А.Д. Сахарова

Когда начинается речь, что пропала духовность,
что людям отныне дорога сквозь темень лежит,
в глазах удивленных и в душах святая готовность
пойти и погибнуть, как новое пламя, дрожит.

И это не есть обольщение или ошибка,
а это, действительно гордое, пламя костра,
и в пламени праведном этом надежды улыбка
на бледных губах проступает, и совесть остра.

Полночные их силуэты пугают загадкой.
С фортуны не спросишь — она свои тайны хранит.
И рано еще упиваться победою сладкой,
еще до рассвета далече... И сердце щемит.

* * *

Все забуду про тревогу,
про пожары и про лед.
Все припомню понемногу,
когда времечко придет.

Все оставлю за порогом,
чтоб резвиться без хлопот.
Все сойдется в доме строгом,
когда времечко придет.

Все, что, кажется, бесплодно
разбазариваем мы,
когда времени угодно,
вдруг проявится из тьмы.

Никому уже не вычесть
из реестра своего
пусть ничтожных тех количеств,
что пришлось на одного.

Пусть, хоть много или мало,
составляющих судьбу,
без которых не пристало
место занимать в гробу.

* * *

Я умел не обольщаться
даже в юные года.
Но когда пришлось прощаться,
и, быть может, навсегда,

тут уж не до обольщений
в эти несколько минут...
Хоть бы выпросить прощенье,
знать бы, где его дают.

Не скажу, чтоб стал слезливей
с возрастом, но всякий раз
кажется, что мог счастливей
жеребий выпросить у вас.

Впрочем, среди великолепий,
нам дарованных судьбой,
знать, и вам не выпал жребий
быть счастливее со мной.

* * *

Строка из старого стиха слывет ненастоящей:
она растрочена уже да и к мольбам глуха.
Мне строчка новая нужна какая-нибудь послаще,
чтоб начиналось из нее течение стиха.

Текут стихи на белый свет из темени кромешной,
из всяких горестных сует, из праздников души.
Не извратить бы вещей смысл иной строкой поспешной.
Все остальное при тебе — мужайся и пиши.

Нисходит с неба благодать на кущи и на рощи,
струится дым из очага... И колея в снегу...
Мне строчка новая нужна какая-нибудь попроще,
а уж потом я сам ее украшу, как смогу.

Текут стихи на белый свет, и нету им замены,
и нет конца у той реки, пока есть белый свет.
Не о победе я молю: победы все надменны,
а об удаче я молю, с которой спроса нет.

Пугает тайною своей ночное бездорожье,
но избежать той черной мглы, наверно, не дано...
Мне строчка новая нужна какая-нибудь построже,
чтоб с ней предстать перед Тобой мне не было б грешно.

Текут стихи на белый свет рекою голубою
сквозь золотые берега в серебряную даль.
За каждый крик, за каждый вздох заплачено любовью —
ее все меньше с каждым днем, и этого не жаль.

ЗВЕЗДОЧЕТ

Что в подзорные трубы я вижу,
поднимаясь на башню во мгле?
Почему так печально завишу
от чего-то бывшего во мне?

И, смотря с высоты виновато
на уснувшую пропасть Арбата,
отчего так поспешно и вдруг
инструмент выпускаю из рук?

Спят в постелях своих горожане,
спят с авоськами, спят с гаражами,
спят тревожно на правом боку...
Изготовилось тело к прыжку.

Вон из пятен ночного тумана
появляется вдруг вдалеке
моя стройная старая мама —
чемоданчик фанерный в руке.

Он, пожалуй, минувшая мода,
но внутри, словно в дебрях комода,
что давно развалиться готов,
фотографии прежних годов.

Память, словно ребенок, ранима
и куда-то зовет и зовет...
Все печально, что катится мимо,
все банально, что вечно живет.

И живу я вот с этой виною
на двадцатом ее этаже
между тою и этой войною,
не умея спуститься уже.

* * *

Переулоч Божественным
назван мной для чего?
Чтобы слогом торжественным
возвеличить его?

Для того, чтоб из вымысла
на московскую твердь
как волной его вынесло
посиять, пошуметь?

Видно, прозвище прежнее
без опоры в судьбе:
так, пустое, небрежное,
ни тебе — ни себе.

Видно, прежнее прозвище —
как чужак меж людьми:
у него не допросишься
ни воды, ни любви...

А в сегодняшнем имени
есть сиянье из тьмы,
что-то доброе, сильное,
что утратили мы.

Просто есть в нем для города
не на год, не на час
что-то вечное, гордое,
словно это про нас.

Булат Окуджава

* * *

Дома лучше (что скрывать?),
чем на площади холодной:
здесь хоть стулья да кровать,
там — всего лишь флаг бесплодный.

Здесь, хоть беден, хоть богат,
остаюсь самым собою.
Здесь я — барин, там — солдат,
и разлука за спиною.

1958

* * *

О.В. Волкову

Гомон площади Петровской,
Знаменка, Коровий вал —
драгоценные обноски...
Кто их с детства не знавал?

Кто Пречистенки не холил,
Божедомки не любил,
по Варварке слез не пролил,
Якиманку позабыл?

Сколько лет без меры длился
этот славный карнавал!
На Покровке я молился,
на Мясницкой горевал.

А Тверская, а Тверская,
сея праздник и тоску,
от себя не отпуская,
проводжала сквозь Москву.

Не выходят из сознания
(хоть иные времена)
эти древние названья,
словно дедов имена.

И живет в душе, не тая,
пусть нелепа, да своя,
эта звонкая, святая,
пордевшая семья.

И в мечте о невозможном
словно вижу наяву,
что и сам я не в Безбожном,
а в Божественном живу.

ДЕТСТВО

Я еду Тифлисом в пролетке.
Октябрь стоит золотой.
Осенние нарды и четки
повсюду стучат вразнобой.

Сапожник согнулся над хромом,
лудильщик ударил в котел,
и с уличным гамом и громом
по городу праздник пошел.

Уже за спиной Ортачала.
Кура пролегла стороной.
Мне только лишь три отстучало,
а что еще будет со мной!

Пустячное жизни мгновенье,
едва лишь запомнишь его,
но всюду царит вдохновенье,
и это превыше всего.

В застолье, в любви и коварстве,
от той и до этой стены,
и в воздухе, как в государстве,
все страсти в одну сведены.

Я еду Тифлисом в пролетке
и вижу, как осень кружит,
и локоть родной моей тетки
на белой подушке дрожит.

ДЕРЖАВИН

Запах столетнего меда,
слова и золота вязь...
Оды державинской мода
снова в цене поднялась.

Сколько ценителей тонких,
сколько приподнятых крыл!..
Видишь, как зреет в потомках
имя твое, Гавриил?

Будто под светом вечерним
встало оно из земли...
Вот ведь и книжные черви
справиться с ним не смогли.

Стоит на миг оглянуться,
встретиться взором с тобой —
слышно: поэты клянутся
кровью твоей голубой.

Мнился уже обреченным
утлый огарок свечи...
Золото резче на черном.
Музыка звонче в ночи.

Гуще толпа у порога,
тверже под ними земля...
Нет, их не так уж и много.
Да ведь и всё от нуля.

* * *

Читаю мемуары разных лиц.
Сопоставляю прошлого картины,
что удается мне не без труда.
Из вороха распавшихся страниц
соорудить пытаюсь мир единый,
а из тряпья одежды обветшалой —
блистательный ваш облик, господа.
Из полусгнивших кружев паутины —
вдруг аромат антоновки лежалой,
какие-то деревни, города,
а в них — разлуки, встречи, именины,
родная речь и свадеб поезда;
сражения, сомнения, проклятья,
и кринолины, и крестьянок платья...
Как медуница перед розой алой —
фигуры ваших женщин, господа...
И не хватает мелочи, пожалуй,
чтоб слиться с этим миром навсегда.

ПАМЯТИ ОБУХОВОЙ

Е. Камбуровой

Когда б вы не спели тот старый романс,
я верил бы, что проживу и без вас,
и вы бы по мне не печалились и не страдали.
Когда б вы не спели тот старый романс,
откуда нам знать, кто счастливей из нас?
И наша фортуна завиднее стала б едва ли.

И вот вы запели тот старый романс,
и пламень тревоги, как свечка, угас.
И надо ли было, чтоб сник этот пламень тревоги?
И вот вы запели тот старый романс,
но пламень тревоги, который угас,
опять разгорелся, как поздний костер у дороги.

Зачем же вы пели тот старый романс?
Неужто всего лишь, чтоб боль улеглась?
Чтоб боль улеглась, а потом чтобы вспыхнула
снова?

Зачем же вы пели тот старый романс?
Он словно судьба расплескался меж нас,
всё, капля по капле, и так до последнего слова.

Когда б вы не спели тот старый романс,
о чем бы я вспомнил в последний свой час,
ни сердца, ни голоса вашего не представляя?
Когда б вы не спели тот старый романс,
я умер бы, так и не зная о вас,
лишь черные даты в тетради души проставляя.

* * *

Мне не хочется писать
ни стихов, ни прозы,
хочется людей спасать,
выращивать розы.

Плещется июльский жар,
воском оплывает,
первой розы красный шар
в небо уплывает.

Раскрываются цветы
сквозь душистые травы
из пчелиной суеты
для чести и славы.

За окном трещит мороз
дикий, оголтелый —
расцветает сад из роз
на бумаге белой.

Пышет жаром злая печь,
лопаются плитки,
соскользают с гордых плеч
лишние накидки.

И впадают невпопад
то в смех, а то в слезы
то березы аромат,
то дыханье розы.

То раскидистая тень,
то крови кипенье,
рифма «лень» и рифма «пень»,
пень и терпенье...

* * *

От нервов ли, от напряженья,
от жизни, что вся наугад,
мне слышится крови движенье,
как будто далекий набат.

Мне слышится пламени рокот.
Пожар полыхает земной.
И тут ни багры не помогут,
ни струи воды ледяной.

Сокрытый от праведных взоров,
разлит, словно море, в душе,
и бравая брань брандмайоров,
увы, бесполезна уже.

Он с каждой минутой все пуще,
все явственней он и слышней
над лесом, над лугом, над пушей,
над улицей жизни моей.

Булат Окуджава

* * *

Взяться за руки не я ли призывал вас, господа?
Отчего же вы не вслушались в слова мои, когда
кто-то властный наши души друг от друга уводил?..
Чем же я вам не потрафил? Чем я вам не угодил?

Ваши взоры, словно пушки, на меня наведены,
словно я вам что-то должен... Мы друг другу не должны.
Что мы есть? Всего лишь крохи в мутном море бытия.
Все, что рядом, тем дороже, чем короче жизнь моя.

Не сужу о вас с пристрастьем, не рыдаю, не ору,
со спокойным вдохновеньем в руки тросточку беру
и на гордых тонких ножках семеню в святую даль.
Видно, все должно распасться. Распадайся же... А жаль.

* * *

Сижу на опушке лесной,
гляжу на цветы луговые.
Вот венчик ромашки резной,
ее лепестки роковые.

Отсчитаны нечет и чет,
и силы земные початы,
и грозное время течет,
не зная ни сна, ни пощады.

Вот знойный горит горицвет.
Осоки блистанье стальное...
В душе моей горе и свет,
а там уж — и все остальное.

МОЕ ПОКОЛЕНЬЕ

Всего на одно лишь мгновенье
раскрылись две створки ворот,
и вышло мое поколение
в свой самый последний поход.

Да, вышло мое поколение,
усталые сдвоив ряды.
Непросто, наверно, движенье
в преддверии новой беды.

Да, это мое поколение,
и знамени скромн наряд,
но риск, и любовь, и терпенье
на наших погонах горят.

Гудят небеса грозовые,
сливаются слезы и смех.
Все — маршалы, все — рядовые,
и общая участь на всех.

ЧЕРНЫЙ «МЕССЕР»

Вот уже который месяц
и уже который год
прилетает черный «мессер» —
спать спокойно не дает.

Он в окно мое влетает,
он по комнате кружит,
он как старый шмель рыдает,
мухой пойманной жужжит.

Грустный летчик как курортник...
Его темные очки
прикрывают, как намордник,
его томные зрачки.

Каждый вечер, каждый вечер
у меня штурвал в руке,
я лечу к нему навстречу
в довоенном «ястребке».

Каждый вечер в лунном свете
торжествует мощь моя:
я, наверное, бессмертен,
он сдастся, а не я.

Он пробоинами мечен,
он сгорает, подожжен,
но приходит новый вечер,
и опять кружится он.

И опять я вылетаю,
побеждаю, и опять
вылетаю, побеждаю...
Сколько ж можно побеждать?

1961

* * *

Неистов и упряма,
гори, огонь, гори.
На смену декаблям
приходят январь.

Нам все дано сполна —
и горести, и смех,
одна на всех луна,
весна одна на всех.

Прожить лета б дотла,
а там пускай ведут
за все твои дела
на самый страшный суд.

Пусть оправдания нет,
и даже век спустя...
Семь бед — один ответ,
один ответ — пустяк.

Неистов и упряма,
гори, огонь, гори.
На смену декаблям
приходят январь.

1946

* * *

Над глубиной бездонных вод,
над атлантической громадой
взлетает солнечный восход,
рожденный райской канонадой.

Внизу — Европа в облаках,
а тут — пушкарь. Он знает дело:
горит фитиль в его руках —
и птица райская взлетела.

Гордись, пушкарь, своей судьбой —
глашатай света и свободы, —
покуда спорят меж собой
внизу эпохи и народы.

Пока твой свет с собой зовет,
пока чисты твои одежды...
Ведь что мы без твоих щедрот,
без покаянья и надежды?

* * *

Распахнуты дома. Безмолвны этажи.
Спокойным сном охвачены квартиры.
Но к зимней печке ухо приложи —
гудят за кладкою mortarы.

Гуляет тихий вечер по земле,
беспечный... Но в минуту роковую
толченый перец в склянке на столе
готов напомнить пыль пороховую.

Стоит июль во всей своей красе.
За поворотом женщина смеется.
Но шаг — и стратегическим шоссе
тропинка к дому обернется.

По улицам, сливая голоса,
неотличимы брат от брата,
текут и строятся полки и корпуса,
которым не даровано возврата.

Где родились мы? Под звездой какой?
Какие нам определяют силы
носить в себе и ярость, и покой,
и жажду жить, и братские могилы?

* * *

На полянке разминаются оркестры духовые
и играют марш известный неизвестно для чего.
Мы пока еще все целы, мы покуда все живые,
а когда нагрянет утро — там посмотрим кто кого.

И ефрейтор одинокий шаг высокий отбивает,
у него глаза большие, у него победный вид...
Но глубоко, так глубоко, просто глубже не бывает,
он за пазухою письма треугольные хранит.

Лейтенантик моложавый (он назначен к нам комбатом)
смотрит в карту полевую, верит в чудо и в успех.
А солдат со мною рядом называет меня братом:
кровь, кипящая по жилам, нынче общая для всех.

Смолкли гордые оркестры — это главная примета.
Наготове все запасы: крови, брани и свинца...
Сколько там минут осталось... три-четыре до рассвета,
три-четыре до победы... три-четыре до конца.

* * *

От войны войны не ищут.
У войны слепой расчет:
там чужие пули рыщут,
там родная кровь течет.

Пулька в золотой сорочке
со свинцовым животом...
Нет на свете злей примочки,
да кого спросить о том?

Всем даруется победа,
не взаправду — так в душе.
Каждый смотрит на соседа,
а соседа нет уже.

Нас ведь создал бог для счастья
каждого в своем краю.
Отчего ж глухие страсти
злобно сводят нас в бою?

Вот и прерван век недолгий,
и летят со всех сторон
письма, словно треуголки
Бонапартовых времен.

* * *

Не каждому поэту удача выпадает.
Не каждому поэту читателей хватает,
но каждому поэту пути иного нет...
Конечно, если это не лапоть, а поэт.

Артиста — не начальство — фортуна выбирает.
Он в честь нее стократно за век свой умирает,
из передряг злодейских душой выходит чист...
Конечно, если это не лапоть, а артист.

От сотворенья к судьям течет людское племя.
Судья закону служит, хоть тяжело это бремя,
грабителей карая, хулителей щадя...
Конечно, если это не лапоть, а судья.

Солдат идет с винтовкой, врага он не боится.
Но вот какая странность в душе его творится:
он пушки ненавидит, и войнам он не рад...
Конечно, если он не лапоть, а солдат.

* * *

Над площадью базарною
вечерний дым разлит.
Мелодией азартною
весь город с толку сбит.

Еврей скрипит на скрипочке
о собственной судьбе,
а я тянусь на цыпочки
и плачу о себе.

Снует смычок по площади,
подкрадываясь к нам,
все музыканты прочие
укрылись по домам.

Все прочие мотивчики
не стоят ни гроша,
покуда здесь счастливики
толпятся чуть дыша.

Какое милосердие
являет каждый звук,
а каково усердие
лица, души и рук,

как плавно, по-хорошему
из тьмы исходит свет,
да вот беда, от прошлого
никак спасенья нет.

* * *

А. Кушнеру

Хочу воскресить своих предков,
хоть что-нибудь в сердце сберечь.
Они словно птицы на ветках,
и мне непонятна их речь.

Живут в небесах мои бабки
и ангелов кормят с руки.
На райское пение падки,
на доброе слово легки.

Не слышно им плача и грома,
и это уже на века.
И нет у них отчего дома,
а только одни облака.

Они в кринолины одеты.
И льется божественный свет
от бабушки Елизаветы
к прабабушке Элисабет.

* * *

Клубничины сорваны с грядки.
Они треугольны и сладки.
Белеют внутри семена —
придут еще их времена.

Но, прежде чем кануть в забвенье,
свершают они омовенье
под каплями чистой росы
в рассветные эти часы.

Душисты бока их тугие,
мундиры на них дорогие,
расшиты они в пух и прах
с узорами на обшлагах.

Их жаркая почва рождает,
их музыка сопровождает,
вливает в них пламя свое...
Да жаль: мы не слышим ее.

* * *

Вот музыка та, под которую
мне хочется плакать и петь.
Возьмите себе оратории,
и дробь барабанов, и медь.
Возьмите себе их в союзники
легко, до скончания дней...
Меня же оставьте с той музыкой:
мы будем беседовать с ней.

* * *

Мне не в радость этот номер,
телевизор и уют.
Видно, надо, чтоб я помер —
все проблемы отпадут.

Ведь они мои, и только.
Что до них еще кому?
Для чего мне эта койка —
на прощание пойму.

Но когда за грань покоя
преступлю я налегке,
крикни что-нибудь такое
на грузинском языке.

Крикни громче, сделай милость,
чтоб на миг поверил я,
будто это лишь приснилось:
смерть моя и жизнь моя.

* * *

Под Мамонтовкой жгут костры
бродяги иль студенты...
Ах, годы детства так пестры,
как кадры киноленты!

Еще не найдена стезя
меж адом и меж раем,
и все пока в живых друзья,
и мы в войну играем.

Еще придет пора разлук
и жажда побороться.
Еще все выпадет из рук —
лишь мелочь подберется.

Но это все потом, потом,
когда-нибудь, быть может.
И нету сведений о том,
что Время нам предложит.

Еще придет тот главный час
с двенадцатым ударом,
когда добром помянут нас
и проклянут задаром.

Еще повеет главный час
разлукой ледяною,
когда останутся от нас
лишь крылья за спиною.

* * *

Чувствую: пора прощаться.
Все решительно к тому.
Не угодно ль вам собраться
у меня, в моем дому?

Будет ужин и гитара,
и слова под старину.
Я вам буду за швейцара —
ваши шубы отряхну.

И, за ваш уют радея,
как у нас теперь в ходу,
я вам буду за лакея
и за повара сойду.

Приходите, что вам стоит!
Путь к дверям не занесен.
Оля в холле стол накроет
на четырнадцать персон.

Ни о чем не пожалеем,
и, с бокалом на весу,
я последний раз хореем
тост за вас произнесу.

Нет, не то чтоб перед светом
буйну голову сложу...
Просто, может, и поэтом
вам при этом послужу.

Был наш путь не слишком гладок.
Будет горек черный час...
Дух прозренья и загадок
пусть сопровождает нас.

ПОЖЕЛАНИЕ ДРУЗЬЯМ

Ю. Трифонову

Давайте восклицать, друг другом восхищаться,
Высокопарных слов не надо опасаться.

Давайте говорить друг другу комплименты —
Ведь это все любви счастливые моменты.

Давайте горевать и плакать откровенно:
То вместе, то поврозь, а то — попеременно.

Не будем придавать значения злословью,
Поскольку грусть всегда соседствует с любовью.

Давайте понимать друг друга с полуслова,
Чтоб, ошибившись раз, — не ошибиться снова.

Давайте жить, во всем друг другу потакая,
Тем более, что жизнь — короткая такая!

1975

* * *

По Грузинскому валу воинственно ставя носок,
ты как будто в полете, и твой золотой голосок
в простодушные уши продрогших прохожих струится.
Но хотя он возвышен, и ярок, и чист, и высок,
не успеешь моргнуть — а уже просочился в песок,
и другими уже голосами гордится столица.

Как чиновна она, неприступна она, брат, с крыльца,
и не сходит уже позолота с ее, брат, лица,
так что в тесном квадрате двора поспевай, брат, вертеться.
Где уж годы беречь, если сыплются дождичком дни,
и тяжки и горьки, как свинцовые пульки они,
и ложатся один за другим возле самого сердца.

И фортуна твоя, подбоченясь, глядит из окна,
ослепленная мыслью, что ей перспектива видна
меж домов и дворов... Будто это и есть перспектива.
И дорога твоя от рожденья — то мир, то война,
и привычные с детства горят вдоль нее письмена:
то «Вернись!», то «Ступай!», то «Прости!»,
то «Прощай!», то «Счастливо!».

По Грузинскому валу к финалу рабочего дня,
заломив козырек, ошалев от обид и вранья,
независимый облик храня, прогуляться неплохо...
Навостриться бы мне разводить своих братьев плечом,
научиться бы мне, чтобы так не жалеть ни о чем,
да, как видно, уже не успеть до последнего вздоха.

Бунат Окуджава

* * *

У поэта соперников нету
ни на улице и ни в судьбе.
И когда он кричит всему свету,
что он не о вас — о себе.

Руки тонкие к небу возносит,
жизнь и силы по капле губя.
Догорает, прощения просит:
это он не за вас — за себя.

Но когда достигает предела
и душа отлетает во тьму...
Поле пройдено. Сделано дело.
Вам решать: для чего и кому.

То ли мед, то ли горькая чаша,
то ли адский огонь, то ли храм...
Все, что было его, — нынче ваше.
Все для вас. Посвящается вам.

* * *

По какой реке твой корабль плывет
до последних дней из последних сил?
Когда главный час мою жизнь прервет,
вы же спросите: для чего я жил?

Буду я стоять перед тем судом —
голова в огне, а душа в дыму...
Моя родина — мой последний дом,
все грехи твои на себя приму.

Средь стерни и роз, среди войн и слез
все твои грехи на себе я нес.
Может, жизнь моя и была смешна,
но кому-нибудь и она нужна.

* * *

Малиновка свистнет и тут же замрёт,
как будто я должен без слов догадаться,
что значит все это и что меня ждет,
куда мне идти и чего мне бояться.

Напрасных надежд долгожданный канун.
Березовый лист на лету бронзовеет.
Уж поздно. Никто никого не заменит...
Лишь долгое эхо оборванных струн.

СЕНТЯБРЬ

Чем дальше от Москвы, тем чище дух крестьянства,
тем голубей вода, тем ближе к небесам.
Гармоники лесной завидно постоянство,
и гармониста чуб склоняется к басам.

Мелькают пальцы в ряд, раскованно и споро,
рождается мотив в сентябрьском огне,
и синие глаза как синие озера...
Но бремя тяжких дум на их песчаном дне.

Как сладко в том раю, чужих невзгод не зная.
Чем ближе к небесам — тем ненаглядней твердь.
И плачет о своем гармоника лесная,
и на ее слезу попробуй не ответь.

* * *

Поэтов травили, ловили
на слове, им сети плели;
куражась, корнали им крылья,
бывало, и к стенке вели.

Наверное, от сотворенья,
от самой седой старины
они как козлы отпущенья
в скрижалях земных учтены.

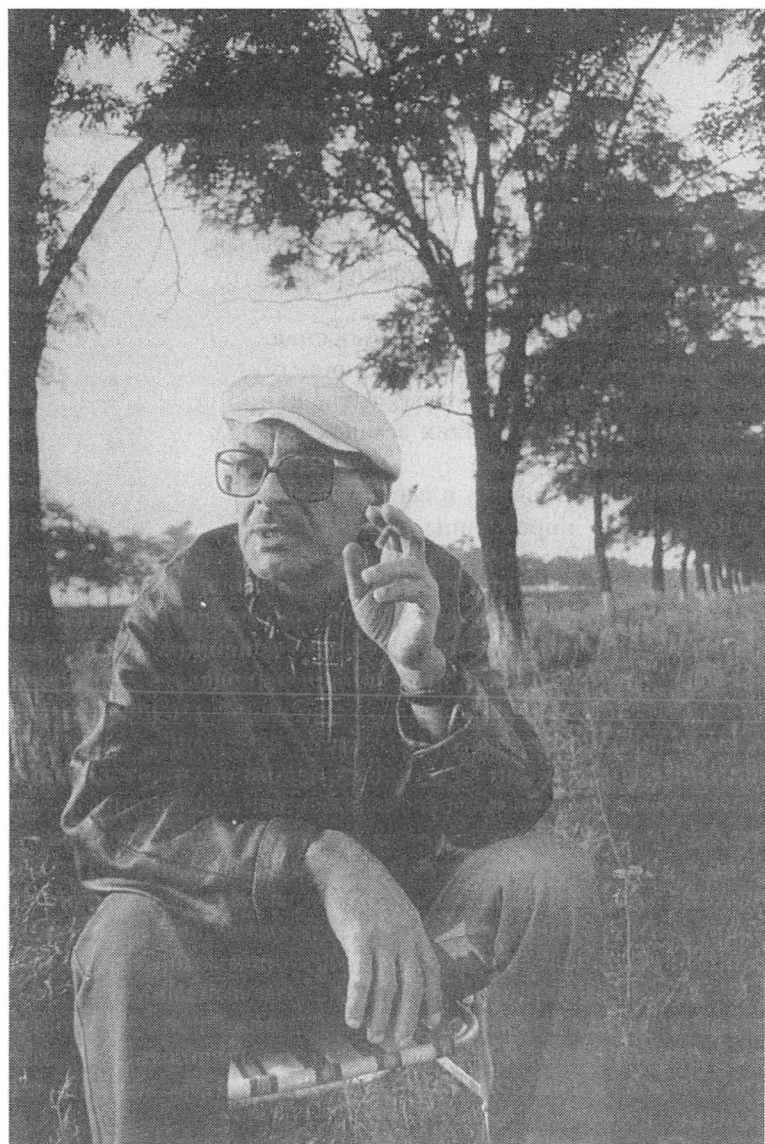
В почете, и все ж на учете,
и признанны, но до поры...
Вот вы рядом с ними живете,
а были вы с ними добры?

В трагическом их государстве
случалось и празднествам быть,
и все же бунтарство с мытарством
попробуй от них отделить.

Им разные тракты клубили,
но все ж в переделке любой
глядели они голубыми
за свой горизонт голубой.

И слова рожденного сладость
была им превыше, чем злость.
А празднества — это лишь слабость
минутная. Так повелось.

Я вовсе их не прославляю.
Я радуюсь, что они есть.
О, как им смешны, представляю,
посмертные тосты в их честь.



Булай Оксоджава

**КАПРИЗЫ
ФОРТУНЫ**

рассказы

УТРО КРАСИТ НЕЖНЫМ СВЕТОМ...

Рассказ

*Посвящаю моему дяде Николаю
и памяти моей тети Сильвии*

Прошлое, давно прошедшее, минувшее, бывшее, история — какие торжественные понятия, перед которыми, наверное, следует стоять с непокрытой головой. Да неужели, думаю я, такое уж это прошлое? Такая уж это история? Да ведь это было совсем недавно: лето в Тбилиси, жара, позднее утро. Мы как раз собирались уезжать к морю. Я и дядя Николай перетряхивали чемоданы. Тетя Сильвия отбирала летние вещи. Мне было семнадцать лет. Вдруг отворилась дверь, и вошла без стука наша соседка. Мы шумно ее приветствовали. Она сказала белыми губами:

— Вы что, ничего не слышали?

— Слышали, — сказал дядя Николай, — столько чего слышали... А что вы имеете в виду?

— Война, — сказала она.

— А-а-а, — засмеялся дядя Николай. — Таити напало на Гаити?

— Перестань, — сказала тетя Сильвия. — Что случилось, дорогая?

— Война, война... — прошелестела соседка. — Включите же радио!

По радио гремели военные марши. Я выглянул в окно — все было прежним.

— Вот что, — сказала тетя Сильвия дяде Николаю и мне, — бегите в магазин и купите побольше масла... Я знаю, что такое война!..

Мы отправились в магазин. Народу было много, но

продукты, как обычно, лежали на своих местах. Мы купили целый килограмм масла.

— Может быть, еще? — спросил я.

— Ты сошел с ума! На нас уже смотрят. Стыдно.

Мы принесли то масло домой. Кто знал, что война так затянется?

По улицам потянулись новобранцы. Среди них были и молодые женщины. Все вдруг переменялось. О море думать не хотелось.

Пришел мой друг, Юрка Папинянец.

— Ну, — сказал он, — в военкомат не идешь?

— Конечно, — сказал я, — пошли.

По дороге я сказал:

— Хорошо бы в один танковый экипаж попасть...

— Хорошо бы, — сказал Юрка.

Маленькое, робкое сомнение пискнуло где-то в глубине и смолкло.

В военкомате дым стоял коромыслом, грохотали сапоги, толпились люди, плакала какая-то женщина, трудно было протолкнуться.

— Чего пришли? — спросил усталый маленький капитан по фамилии Кочаров.

— Да вот пришли, хотим против фашистов воевать... — сказал Юрка. — Хорошо бы в один экипаж.

— Вызовем, вызовем, — сказал капитан. — Идите.

«Вот бюрократ чертов!» — хотел сказать я, но сказал иначе:

— Зачем же вызывать, когда мы сами — вот они? Оформляйте, чего уж тут...

— А ну идите отсюда! — вдруг заорал он.

И мы ушли.

— Наверное, мы неправильно вошли, — сказал я, — что-нибудь не так сказали... Все-таки на фронт просимся, а не на базар...

На следующий день мы отправились снова, но нас опять выгнали. И на третий день тоже, и на четвертый... Но на восьмой нас не выгнали.

— Э-э-э-э, — сказал капитан, — черт вас дери совсем! Надоели, будьте вы неладны...

Я хотел сказать ему, что и он нам надоел тоже, но не сказал. Мы уже привыкли друг к другу, как родственники.

— Куда ты торопишься? — сказал он мне. — Ну куда? Посмотри на себя: ты ведь совсем цыпленок.

— Ничего, — сказал я браво, — легче маскироваться.

— Э-э-э-э, — сказал он, — надоели! — И вручил нам по пачке розовых повесток: — Чтобы к вечеру разнесли. Все!

— А на фронт? — спросили мы.

— Я сказал — все! — крикнул он, багровея, и мы отправились.

Мы ходили по улочкам Сололаки, и по Грибоедовской улице, и по Судебной, и по улице Барнова и спускались за Александровский садик и в переулучки за оперным театром.

В одном из дворов среди низко подвешенных сохнувших простынь и рубашек стояла перед нами еще молодая женщина с большим животом и с мальчиком на руках, и за юбку ее держались две девочки. Все, кто был во дворе, увидев нас, замолчали, поэтому стало очень тихо.

— Кого хотите? — спросила женщина, как будто не расслышала фамилию, которую мы назвали, а сама смотрела не на нас, а на розовую, трепещущую под ветром повестку.

— Мнацаканов Альберт, — сказал я и протянул листок.

— Это мой муж, — сказала женщина. — А что хотите?

— Вы ему передайте и распишитесь...

— Он на заводе... — крикнула она, оглядываясь на соседей.

— Слушай, Офелия, — сказал старик, — бери...

Одной повесткой стало меньше.

Вот так мы ходили по дворам. Месяц, два. Каждый раз мы спрашивали капитана Кочарова:

— Когда же нас-то?

— Вызовем, вызовем, — говорил он резко, — Идите. Все. Надоели...

На улицах появились первые раненые из госпиталей.

Они выбирались погулять, одетые в одинаковые халаты, бритоголовые, перекрещенные бинтами. Бродили по проспекту Руставели, сидели в скверах на лавочках. Мы им завидовали. Патрули их пока не трогали.

Город наполнялся войсками. Помятые грузовики, заляпанные грязью орудия, рваные, мятые гимнастерки на солдатах, офицеры, похожие на солдат. Поползли слухи, что фронт прорван, что в Крыму или где-то в том районе нам пришлось спешно отступать, что было окружение, что многие остались «там». А мы разносили повестки, будь они неладны! И наша отчаянная храбрость, и ненависть к врагу, и героизм, который распирал нас, и все наши удивительные достоинства (мои и Юркины) — все это засыхало на корню.

В один из этих дней появился в нашем доме дядя Борис, младший брат тети Сильвии. От него долго не было известий, и вдруг явился. Он служил водителем грузовика. Я застал его дома, когда он мылся над тазом. На полу валялась его замызганная гимнастерка. В доме пахло потом, бензином, чем-то горелым, невыносимым и восхитительным.

— Что же вы, — сказал я Борису, — взяли и драпанули?

Он ничего не ответил, только отфыркивался.

— Уж, наверное, можно там было где-нибудь зацепиться, что ли, — продолжал я строго. — Испугались, что ли.

— Заткнись, — сказал он, — будь человеком... — И ушел в другую комнату. И там он сбросил с себя оставшееся на нем военное, вытащил из шкафа свой единственный гражданский костюмчик, оделся и пошел из дому. В окно я видел, как он шел по Грибоедовской — медленно, вальяжно, по-тбилиски... Наверное, он надеялся за несколько часов передышки отыскать кого-нибудь из старых своих знакомых шоферов, кто, может быть, еще был в Тбилиси и кто, может быть, уже не надеялся снова увидеть его живым.

Не успел он пройти и двадцати шагов, как я с лихорадочной поспешностью натянул на себя его гимнастерку, галифе, сапоги, пилотку и, распространяя благоухание окопов, выскочил на Грибоедовскую и двинулся к Юрке Папинянцу. Просто так идти не хотелось — я ударил строевым

шагом и так строевым прошел до самых Сололак, козыряя военным и счастливо избежав патрулей...

— Что же делать? — сказал я Юрке. — Когда же мы? Города сдают, земля горит...

— Ничего, — сказал он философски, — все будет.

...Бедный капитан Кочаров! Мы все-таки дожали его в один прекрасный день.

— Ладно, — сказал он, еле сдерживаясь, — черт с вами! Завтра придете с кружкой-ложкой. В 9.00.

— А повестки? — спросили мы.

— Бюрократы! — закричал он. — Какие повестки, когда я вам самим говорю! — Но, увидев наши лица, швырнул розовые листки, отошел к окну и прохрипел оттуда: — Сами будете заполнять, черт вас дерит! Моя рука не виновата, запомните. Сами пишите!

Не было ни военкомата, ни капитана Кочарова, ни стен, ни Тбилиси...

— Послушай, — сказал я Юрке, — я побегу домой, а ты принесешь повестку... Как будто я ничего не знаю.

Я ворвался в дом и сел у окна, посвистывая. Душа ликовала, коленки дрожали, на вопросы домашних отвечал невпопад. Наконец в дверь позвонили, и тетя Сильвия пошла открывать. Не помню, что уж там говорили, какие были восклицания, ссорились, или пели, или Юрку Папинянца вытаскивали вон, или, наоборот, торжественно несли на руках, не помню. Он, видимо, убежал, а тетя Сильвия вошла в комнату с розовой повесткой в руке.

— Повестка? — сказал я как ни в чем не бывало. — Действительно пора. Засиделся...

— Этого не может быть! — крикнула тетя Сильвия, оглядывая меня с подозрением. — Это ошибка. Тебе только семнадцать... Это ошибка. Я сейчас пойду к военному...

— Нет, — сказал я со страхом, — это не ошибка. Разве вы не видите, что происходит кругом?

— Я в свое время, — сказал дядя Николай, — хотел убежать к индейцам... А ты, мальчик, знаешь, куда ты торопишься?

— При чем тут индейцы? — сказал я и сам удивился, как я это сказал.

— Это ошибка, — машинально повторила тетя Сильвия. — Я должна пойти...

— Тетя Сильвия, — сказал я твердо, — не надо идти в военкомат. Я ведь все равно уже решил, вы же это прекрасно понимаете. Сшейте мне лучше вещевого мешок.

Она заплакала. Розовая повестка, покружившись, улеглась на полу.

...Счастливое мгновение! Мы с Юркой получили направление в 10-й ОЗМД (отдельный запасной минометный дивизион). Вечером тетя Сильвия и дядя Николай проводили меня до трамвайной остановки. Трамваи ходили редко, так что я успел все сказать и все выслушать. А потом пришла «десятка» и повезла меня на вокзал. Я стоял на задней площадке, одетый в серые бумажные брюки и футболку. На ногах моих были старые спортсменки. Редкие пассажиры, наверное, думали, глядя на меня, что мальчик собирается в деревню — менять вещи на продукты... Наверное, они так думали, но я не волновался: я-то знал, кто я такой на самом деле!

Мы встретились с Юркой Папинянцем на вокзале. Наш путь лежал в Кахетию, где размещался наш неведомый и замечательный 10-й ОЗМД. Поезда ходили редко. Вагоны брались с боем. Кое-кто умудрялся ехать на крыше. А мы с Юркой даже не пытались врываться в вагон, а сразу влезли на крышу. Было страшно, но до утра вытерпели.

Мы думали, что увидим большой военный городок, где ряды минометов перемежаются с рядами танков, орудий, броневиков, а увидели райское местечко с двухэтажной школой, где размещались штаб и столовая да жили командиры. А совсем недалеко, на старом винограднике, были разбиты парусиновые палатки, в которых предстояло жить нам, солдатам. Командиры и сержанты — все были люди бывалые, кадровые, а солдатами предстояло стать нам — девятиклассникам и десятиклассникам из Тбилиси. Нас съехалось около ста человек. Кто в чем. Шли дни, а об обмундировании никто не заикался. Единственное, что всем нам выдали, были

широкотополье шляпы защитного цвета, предназначавшиеся для горных войск.

Шли дни. Мы обучались минометному искусству с раннего утра до позднего вечера.

— Батарей, смирр-р-на! — кричал сержант Ланцов, и вдруг его взгляд упирался в кого-нибудь из нас, ну, допустим, в меня, и он багровел и командовал: — Акаджав, два шага вперед шаго-о-ом марш! (Он никак не мог привыкнуть к моей фамилии, ему все время казалось, что окончание «ва» должно относиться к женщине.)

И я делал два шага вперед. И он подходил ко мне.

— Что это вы расхлябанный какой! — начинал он грозно. — Не выпались?.. — Но затем на лице проступала скорбь, и он добавлял тихо и обреченно: — А ну, подтянись...

Я подтягивался из последних сил, я делал все возможное, чтобы выглядеть солдатом, но что я мог? Бахрома на моих брюках подступала к коленям, от футболки оставались рукава да кокетливый воротник. Нынешние хиппи взяли бы меня за образец, но они тогда еще не родились, а мы торопились на фронт. Поэтому сержант Ланцов махал рукой и отправлял меня в строй.

Затем звучала команда: «Шагом марш! Запевай!»

Мы дружно ударяли босыми ногами в алазанскую пыль, и я запевал:

Утро красит нежным светом...

Наконец нам раздали настоящие карабины и брезентовые патронные сумки. Был грандиозный праздник.

— Вот видишь, — филисофски заметил Папинянц, — я же говорил: постепенно все будет...

И действительно, вскоре мы познакомились с настоящими гранатами, и наши командиры кинули несколько в овраг. Запахло порохом. Однажды вечером после отбоя нам всем раздали по две гранаты, и по два запала, и по брезентовому чехлу с двумя кармашками для гранат и с двумя отделениями для запалов.

— Значит, так, — сказал сержант Ланцов. — Граната сама не взорвется, но ежели мы в нее вставим запал, вот так, затем выдернем чеку, вот так, тогда можно бросать...

— А можно не бросать? — пошутил кто-то.

— Можно и не бросать, — с усмешкой сказал сержант Ланцов. — Сделайте все, как положено, отойдите во-о-он туда и положите гранату в карман...

Охотников, разумеется, не нашлось.

— Все поняли? — спросил сержант.

— Все! — крикнули мы нервно.

— Учтите, — добавил он, — запал — штука нежная...

А теперь наденьте гранаты на пояс, как положено, и расходись по палаткам спать.

— Прямо с гранатами?!

— Ага, — сказал сержант, — и чтоб не вздумали кто снять.

Я лежал на своем матрасе и боялся дышать. Гранаты упирались в бок.

— Юрка, — спросил я едва слышно, — ты не помнишь, если запал отдельно от гранаты вдруг взорвется, она тоже взорвется или нет?

— Не помню, — прошептал он.

— Ребята, — сказал кто-то, — главное — во сне на нее не лечь. Главное — не давить на нее, проклятую...

— Разве она от давления взрывается тоже? — спросил я.

— Кто ее знает, — ответили из темноты, — а лучше не давить...

Прошло еще некоторое время, и внезапно прекрасным, как это говорится, кахетинским утром повели нас в баню, откуда мы вышли обмундированные с головы до ног. Правда, это тоже была не совсем новая форма, и, может быть, маленькая латочка на левом плече моей гимнастерки была на месте, куда однажды ударила вражеская пуля... Но все равно мы выглядели настоящими солдатами, нам выдали настоящее оружие, и мы были готовы помериться силами с фашистской ордой, и эшелон увозил нас из райского местечка... Вот так это было.

Булат Окуджава

Я рассказал обо всем этом недавно моему знакомому. Мой знакомый, человек пожилой, серьезный, послушал и сказал:

— Наверное, вы не выдумали... Но ведь время какое было — суровое, тревожное, а у вас все какие-то шуточки, смешочки. Вы лучше как-нибудь об этом иначе рассказывайте...

Я пытался, но ничего не вышло: так умею, так помню.

Ну а потом был фронт, и ранение, и госпиталь, и все, что полагается. А после пришла победа. Но о фронте я рассказывать не буду, ибо о нем так много рассказано в книгах и в кино, что я начинаю путать: что — мое, а что — чужое; что было со мной, а что — с другими. Что же касается победы, то, хотя я и не совершил ничего героического и, наверное, был неважным солдатом, особенно рядом с другими замечательными воинами, все-таки живет во мне уверенность, что без меня победа досталась бы труднее.

Апрель, 1975

**ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА,
или Именительный падеж
в творчестве Лермонтова**

Рассказ

Это случилось очень давно.

Тогда я был молод, кудряв, легкомыслен и удачлив, и девочки, которым нынче за пятьдесят, кокетничали со мной напрапалую. Однако история, о которой я хочу рассказать, не имеет отношения ни к девочкам, ни к первой любви.

Наверное, как все в этом прекрасном возрасте, я совершал ошибки, и ошибок было много, но лишь теперь осмеливаюсь в них признаться, ибо пролетели годы и наступило время исповедей. Все встало на свои места, амбиция уже не та, с репутацией все утряслось. Теперь все обо мне самого хорошего мнения, да и о карьере, как говорится, поздно уже беспокоиться. Короче, как любил повторять один древний мудрец, все меня обожают, а с теми, которым я отвратителен, знакомств не поддерживаю. Теперь наконец пришло время вспомнить себя самого, оценить, покрыться холодным потом и воскликнуть: «Да я ли это был?! Я ли совершал все это?!» Когда я появился впервые в той сельской школе, все ахнули: на груди моей сверкал только что возникший в природе университетский значок!

Школа была маленькая, неказистая, в бывшей монастырской трапезной. Место было глухое, отделенное от крупных поселков. Время было трудное: года четыре, как закончилась война. Дипломированных учителей не хватало. Лишь

у двоих были дипломы пединститутов, да и то периферийных, да и то заочных.

И вот в эту школу, в такую-то школу, приехал человек, окончивший столичный университет, фи-ло-лог!

Впрочем, необходимо знать кое-что еще, прежде чем говорить о главном.

Когда я вернулся с фронта и поступил в университет, меня приняли без экзаменов. Тихое восхищенное «ура» сопровождало меня по университетским коридорам. Улыбки и комплименты обволакивали меня и убаюкивали. Стоило мне, например, заявить, что Гоголь — великий русский писатель, как тотчас раздавались аплодисменты в мою честь. В воздухе висело устойчивое мнение, что если молодой человек воевал, значит он — почти уже филолог. На лекции я ходил редко: все было как-то некогда. Меня не наказывали. На всех торжественных вечерах я выступал с воспоминаниями о том, как мы воевали, и это шло в зачет. И главная беда заключалась не в том, что люди, преисполненные радости победы, были чрезмерно снисходительны к одному маленькому представителю победившей армии, а в том, что все это я принял на свой личный счет. А как принял, так оно и пошло... Кое-как доучился, кое-как написал дипломную работу: что-то там такое насчет Маяковского, на сорок страниц натянул, отделался общими фразами. Передавая работу своему руководителю, имел наглость пошутить: боюсь, что со знаками препинания у меня не все в порядке... Говоря о моей работе, он сказал, что работа превосходная, только со знаками препинания не все в порядке. Я понял, что он ее не читал. Меня хвалили, поздравляли, что вот, мол, несмотря на бывшее ранение, все же написал, поработал, использовал множество литературы (библиографический список я катал из энциклопедии). Наконец с дипломом филолога в кармане и с университетским значком на груди, полный, как это говорится, всяческих радужных надежд, выехал я в небольшой областной город. И оказалось, на мою беду, что в этой области я первый человек с университетским образованием. На меня смотрели с интересом и даже с благоговением.

Вот какой человек приехал в область!

Он был молод, кудряв, по тем временам хорошо одет. Он был не то чтобы красив, но симпатичен, и два больших счастливых столичных крыла виднелись за его спиной.

Заведующий облоно пригласил своего зама, и они вместе принялись обсуждать судьбу замечательного гостя. Гость предполагал, что ему поручат по меньшей мере заведование кафедрой в маленьком пединституте этого захудалого городка. Но об этом не было ни слова. Он ждал, что ему предложат быть хотя бы директором самой показательной школы города, но и этого не произошло. Вместо всего этого заведующий облоно сказал, что самое замечательное, если уважаемый филолог отправится в далекую сельскую школу и поработает там учителем, неся свет в массы и приобщая местных учителей к большой университетской науке.

Тут я возмутился и заявил, что лишь в городе мое место, ибо мне... предстоит серьезная работа над диссертацией, наполовину уже сделанной, которая без городской библиотеки невозможна...

Должен вам сказать, что мысль о диссертации пришла мне в голову именно в этот трагический момент. Раньше я об этом почему-то не думал. Я посмотрел на моих собеседников с торжеством, но они не отказались от своего намерения. Да я, кричал я, готовил себя к научной работе, а не к учительствованию! Вы понимаете, что вы мне предлагаете? Да мы, кричали они с благоговением, все понимаем! Мы ведь не в какую-нибудь обыкновенную школу вас направляем!..

Я: Да я ведь фи-ло-лог, а не учительшка какой-нибудь!

ОНИ: Мы гордимся вами! Все вами будут гордиться! Сдалась вам должность рядового учителя в нашем городишке!.. А там — простор.

Я: Но у меня диссертация на выходе!

ОНИ: Какая же тема вашей диссертации?

Я (не колеблясь): Именительный падеж в творчестве Лермонтова!

ОНИ: Чепуха! Там, где вы будете работать, есть темка для диссертации еще почище.

Я: Я не смогу закончить диссертацию в вашей глуши!

ОНИ: Зато там бывал Лев Толстой!..

Тут наступила тишина.

Я (вяло): Что ему там понадобилось?

ОНИ (торопливо): Там в женском монастыре жила его сестра Мария Николаевна. Он гостил у нее перед кончиной. Вы представляете, какой материал?.. Тайна ухода Толстого в ваших руках!

А что, подумал я, обессилев, можно и вправду об этом... или даже повесть... роман какой-нибудь... Да и этот именной падеж — ерунда какая-то...

Короче говоря, часа через два все сладилось, особенно когда при мне заведующий облоно позвонил заведующему району и торжественно объявил, что к ним в район едет учитель с университетским образованием и его надлежит принять хорошо, как следует.

— Не забывайте, — сказал он, — первый в области учитель с университетским дипломом!

Я уселся в маленький переполненный автобусик, потрясая в нем часа три и прибыл в районный центр. Заведующий району, не скрывая радостной улыбки, позвонил директору школы, расписывая меня самыми фантастическими красками. Затем он сам лично проводил меня до шоссе, усадил в кузов случайного попутного колхозного грузовика и пожал мне руку...

Я лежал на мешках с картошкой и думал о себе высокопарно: вот, мол, как все складывается — я единственный в области учитель с университетским... Как это удивительно звучит, что-то в этом есть, как это все замечательно; хорошо, что я поступил именно в университет, и теперь... хорошо, что я поступил на филологический, и теперь... теперь наберу материалов о Толстом, напишу роман, и тогда...

Я глядел на случайных, похожих на меня пассажиров и жалел их за то, что они не догадываются, кто возлежит на мешках рядом с ними.

И вот наконец прибыл я в ту самую школу.

Подумать только, учитель с университетским дипломом, фи-ло-лог!

Учителя встретили его дружелюбно, почтительно. Правда, их сначала несколько коробило, что он слишком уж откровенно все о себе выкладывал, не таился. Но потом привыкли. А он и не думал скрывать, что в учителя попал случайно. Учителем быть, говорит, конечно, благородно, но для этого нужно призвание, а я — филолог, у меня научный склад мышления, мне нужно диссертацию заканчивать... Да и попал я к вам по странной случайности, а может, даже по собственной глупости. Меня с толку сбил ваш областной заведующий. Сочилин или Сучилин — не помню... Тут учителя ахнули: как запросто этот о самом Сочилине говорит! Да как это так он к нему попал?.. А вот так и попал, говорит: открыл дверь, вошел, сел, подумаешь...

Ну надо же! Сочилин... бог. К районному заву попасть — событие, а тут к Сочилину взял и вошел! После Сочилина только и есть что министр просвещения, но это уже мираж, фантазия, а Сочилин свой, областной, недостижимый. Учителя его в два-три года раз видели, да и то мельком, да и то изда-дека, а этот, наш-то, взял и вошел!..

Но все это были лишь цветики, а ягодки маячили в отдалении. Еще не настал срок им созреть, но время — штука стремительная, упаси вас бог не знать этого, как я не знал когда-то.

Начались учебные дни. Учителя говорили мне с подобострастием: счастливы вы! Это ж надо, какие знания, наверное. У вас и методы, наверное, совсем другие... Конечно, говорил я, университет все-таки, а не что-нибудь. Готовили нас основательно... Вы и планы к урокам, говорили они, какие-нибудь особенные составляете, наверное... Да что вы, говорил я, снисходительно улыбаясь, какие планы?.. Зачем это?.. Как же без планов, ахали они, разве без них можно? Да ведь все перепутается... Чудаки, смеялся я, да неужели моих университетских знаний не хватает на какой-то там урок в каком-то девятом классе? Стоило ли университет кончать?.. Правда,

были и такие учителя, которые восторгов мне не выражали, а тихонько говорили меж собой: подумаешь, университет, университет... Кичлив больно, носятся тут с ним, сами не знают чего...

И вот однажды (следите внимательно) подошел ко мне кто-то, сейчас уже и не вспомню кто, и предложил мне выступить с лекцией перед колхозниками. Я очень удивился, что ко мне подходят с такими пустяками, но тот просил так почтительно, что отказать было нельзя, тем более что лекция намечалась через месяц. Через месяц, сказал я, другое дело, а то сейчас я работаю над диссертацией, и времени у меня нет, а через месяц, пожалуйста, хотя ума не приложу, что бы такое им рассказать, поймут ли... Да вы, сказал тот, как-нибудь попроще, конечно. Слушать будут, не сомневайтесь. У нас тут кино редко бывает, так что слушать будут, не сомневайтесь.

Маленький затор произошел при выборе темы лекции (оказывается, ее нужно было определить именно сейчас). Черт ее знает, о чем читать, да и не читал я никогда никаких лекций. Но лицо мое было многозначительно, и глядел я прищурившись в законные дали, и пальцы мои теребили подбородок...

А надо сказать, что перед отъездом в область кто-то подарил мне только что вышедшую книгу «Пушкин в воспоминаниях современников». Я ее иногда почитывал. Там были любопытные истории из жизни Пушкина. Там, например, рассказывалось, как юный Пушкин однажды где-то там в кого-то там влюбился и, когда им пренебрегли, в бешенстве пробежал под палящим солнцем длинный путь, как потом оказалось — верст четырнадцать, что ли! И еще там были всякие занимательные истории из жизни поэта. И вот, вспомнив об этой книге, я сказал, что буду читать, пожалуй, лекцию о Пушкине, о его жизни, и называться лекция будет: «Частная жизнь Александра Пушкина».

На том и расстались.

Шло время. Начались дожди. Потом дожди перемешались со снегом. Потом выпал снег и уже больше не растаял. Иногда на глаза мне попадалась эта проклятая книга

«Пушкин в воспоминаниях современников», и тусклое, едва уловимое желание перелистать ее страницы овладевало мной, но лишь на одно мгновение. Наконец в один прекрасный день рука моей фортуны почтительно, как мне показалось, постучала в мою дверь, и я не смог уловить в том стуке дружеского предостережения.

Был ясный солнечный морозный день, вернее — исход дня. Солнце клонилось за пригорок, за тот самый, куда мне предстояло ехать, чтобы нести свет в массы. У крыльца стояли колхозные сани. Заиндевшая лошадка перебирала ногами. Возница был бородат и приветлив. Настроение у меня было превосходное. Я казался себе счастливым гусаром. Не было ни страха, ни даже волнения. В извечном поединке меж «слыть» и «быть» верх одерживало первое. О мой дорогой университетский значок, соединение белого, синего и золотого! Как я любим и почитаем!

Лошадка бежала резво. Страху не было. Замечательная книга покоилась на моих коленях, тяжеленькая, плотненькая такая — источник вдохновения молодого ученого, кладовая успеха, славы... Страху не было.

В большой старой бревенчатой избе размещался колхозный клуб. После шестикилометрового морозного пути было приятно войти в тепло и ощутить на себе почтительные взоры. Страху не было. На лавках сидели мои слушатели. Были старики и дети. Было много молодых людей. Некоторые сидели парами. На нехитрой сцене стоял длинный стол, покрытый красной выцветшей материей. Сияли керосиновые лампы. Справа от стола возвышалось подобие кафедры. Все как полагается. За столом в одиночестве сидел председатель колхоза. О мой дорогой университетский... Страху не было.

— Ну вот, — сказал председатель, когда я легко взлетел на подмости, — сейчас наш дорогой учитель расскажет нам о частной жизни Александра Сергеевича Пушкина. Послушаем внимательно. — И, оборотившись ко мне: — Часика в полтора уложите?

— Кто его знает, — улыбнулся я, — во всяком случае, буду стараться.

— Да нет, — сказал он, — время у нас есть: сколько нужно, столько и рассказывайте, это я так...

— Ну, может, с полчаса лишнего прихвачу, — пошутил я. — Не взыщите...

Все заулыбались. Контакт был.

Я встал за кафедру. С одной стороны положил перед собой свои часы, с другой стороны — замечательную книгу с завораживающим заглавием «Пушкин в воспоминаниях современников». Страх не было.

— Пушкин — великий русский поэт! — воскликнул я легко, вдохновенно и страстно.

Все со мной были согласны. Глядели на меня, не отводя глаз, как с семейной фотографии. О мой дорогой универ...

«Отчего это я трясусь?» — подумал я.

Я с ужасом даже сейчас вспоминаю эту минуту: страх охватил меня, страх, которого я не испытывал даже на фронте: о чем говорить дальше? Как увязать то, что следует увязать? Если бы передо мной лежал хотя бы маленький, ничтожный клочок измятой линованной бумаги и если бы на нем пусть вкривь и вкось, нелепым почерком, неразборчиво было бы написано, набросано, едва угадывалось бы то, что я вычитал когда-то из этой проклятой книги! Но передо мной была наклонная потертая доска замечательной кафедры и на ней лежала молчаливая книга, тяжелая, словно камень на шее. Я посмотрел на часы — прошло полторы минуты... Теряя сознание, я вспомнил самого лучшего нашего университетского профессора. Как легко он читал свои лекции! Как свободно держался! Его эрудиции хватило бы на десятых лекторов. Он не замечал аудитории, слова лились как стихи.

Я снова посмотрел на часы — прошло полторы минуты.

— Однажды, — сказал я, крепко держась рукой за кафедру, — молодой Пушкин... где-то на юге влюбился... кажется, в цыганку... Она была к нему равнодушна, и он, разозлившись, пробежал по жаре двадцать четыре километра... — слушали меня внимательно, — не метра, а километра...

Стояла тишина. Я вспомнил другого преподавателя

университета. Читая лекции, он вальяжно прогуливался перед нами. Иногда даже казалось, что в руке у него — трость, а в петличке — хризантема.

— Двадцать четыре километра! — выкрикнул я. — Представляете?..

Собравшиеся молчали. Я посмотрел на часы — прошло две минуты. Кто-то робко кашлянул... О, если бы он раскашлялся как следует и надолго! Бывает же такая форма кашля, когда все тело сотрясается, лицо багровеет и грохот стоит необычайный. Или, например, начал бы переговариваться с соседом, сказал бы, например, громко: «Вась, а Вась, чего это он там? Пошли домой...» Тут бы я сказал с насмешкой: «Конечно, слушать о Пушкине — пустая трата времени, лучше завалиться на печь...» Или что-нибудь в этом роде. Но в клубе стояла тишина... А ведь мог здесь оказаться кто-нибудь и выпивший. Взял бы и запел... Тут бы я развел руками и сказал председателю: «Ну, знаете, в такой обстановке не лекцию о великом поэте читать, а молотилку крутить. Я шесть километров ехал сюда по морозу! Вы думаете, это мне нужно? От диссертации время оторвал...» И быстро-быстро сошел бы со сцены — и в двери!

Но в клубе стояла тишина.

— Или, например, такой случай, — сказал я не своим голосом... «Какой случай? Какой случай?» — загудело в голове. Проклятая замечательная книга лежала передо мной, и мои бледные трясущиеся пальцы впились в нее с последней надеждой. Как мог я, идиот, позабыть о ней! Сейчас я загляну в нее, посмотрю туда, быстренько перелистаю, найду... «Какой случай? Какой случай?..» — Или, например, такой случай, — медленно повторил я. — Хорошо известно... — «Что хорошо известно? Что известно?..» Внезапно я наткнулся на имя Натальи Гончаровой. Вспыхнул ослепительный свет. — Пушкин был женат на Наталье Гончаровой! — воскликнул я. — Она была красавица. Перед самой женитьбой он встретился с цыганкой Таней... нет, Стешей... И тут они... — «Что они? Что они?..»

Я посмотрел на часы — прошло четыре минуты.

— Что-то с моими часами, — сказал я председателю.

Он торопливо снял свои и подал их мне. Я положил их рядом со своими. И те, и другие показывали одинаковое время. «Спокойно, — сказал я сам себе. — Сейчас нужно рассказывать, прохаживаясь по сцене», — но рук от кафедры оторвать не смог.

— Одну минуточку, — сказал я, — тут из книжки выпала закладка, и потому.. вот сейчас... значит, так... Это замечательная книга... значит, так... таким образом...

Страницы перелистывались сами, в каком-то им одним известном порядке: Данзас, Вяземский, осень в Болдине, царь... Царь!

— Ага, — сказал я с облегчением. — Вы, конечно, все знаете, что царь Пушкина не любил... Но вы, наверное, не знаете, наверное, не знаете... — «Чего не знаете? Чего не знаете?..» — Он сослал его в село Михайловское... нет, сначала он сослал его в Одессу, где губернатором был граф Воронцов. Воронцов Пушкина не любил и послал его на саранчу... Когда саранча собирается в большом количестве... когда саранча собирается в большом количестве...

Я попытался незаметно отвинтить университетский значок, но не смог, хотел перевернуть страницу книги, но книга не открывалась вообще. Я посмотрел на свои часы — прошло семь минут. На часах председателя было то же самое.

«Нужно было составить план, — осенило меня в этом безумии, — и к каждому пункту плана подыскать примеры. Я бы читал и читал без остановки. Подошел бы ко мне председатель, чтобы напомнить, что время вышло, а из зала крикнули бы: «Пусть читает!»

Я посмотрел на председателя. Он был задумчив, и все остальные тоже. Может быть, они думали в этот момент о графе Воронцове, а может быть, о Наталье. Наверное, никто не думал обо мне, никто не подозревал, как я мечтал, чтобы пол под моими ногами разверзся, чтобы пламя охватило бревенчатый клуб, чтобы кто-нибудь крикнул: «Волки!» — и все бросились бы к окнам, а я сказал бы: «Ну, знаете, в такой обстановке...»

— Может быть, будут какие-нибудь вопросы? — спросил я у председателя как мог спокойно.

— Вы уже закончили? — спросил он без тени удивления.

— Да, пожалуй, и все, — сказал я, не слыша собственного голоса.

Тогда председатель встал и спросил:

— Какие будут вопросы?

Но вопросов не было.

«Хоть бы они бросились на сцену и убили меня!» — подумал я.

— Ну что ж, — сказал председатель, — раз нет вопросов, давайте его убьем!..

Впрочем, это я так подумал, а он сказал:

— Ну что же, если нет вопросов, давайте поблагодарим товарища учителя, — и заплодировал. Его вяло поддержали. А этот молодой, кудрявый, удачливый, с новехоньким университетским значком на груди оглядел зал торопливо, по-заячьи, и его молодые губы дрожали, и пальцы не слушались.

Как он очутился на улице, никто не успел заметить. Шестикилометровый обратный путь лежал через овраги и перелески. Было темно. Вьюжило. И он представил, как, окровавленный, подползает к клубу... Он шел медленно, его покачивало. Внезапно послышался скрип полозьев, и те самые колхозные сани догнали меня.

— Велено домой доставить, — весело сказал бородатый возница, — садись, учитель. Больно ты на ногу скор...

Я уселся в сани и заплакал.

...С тех пор прошло много лет. Тогда я был молод, кудряв и удачлив, и, отвинтив, я бросил в снег свое ромбовидное несчастье, синее, белое и золотое. Быть может, лет через сто ученые его обнаружат и будут долго гадать о судьбе владельца...

Март, 1976

ОТДЕЛЬНЫЕ НЕУДАЧИ СРЕДИ СПЛОШНЫХ УДАЧ

Рассказ

*Посвящаю
Петру Тодоровскому*

Это случилось давно. Я был очень молод. Из сельской школы меня перевели в городскую. И тут жизнь моя внезапно покатила под откос, и я вот-вот должен был погибнуть, но необъяснимое чудо помогло мне спастись.

Я снимал угол в домике на окраине. Стояла гнилая осень. Ученикам я не нравился, и они отравляли мое существование. Друзей еще не было. Жить не хотелось. И вот однажды подошел ко мне в учительской преподаватель физкультуры Петя и сказал:

— Я гляжу, ты все один да один. Может, вечерком под шары сходим? Ну, ресторанчик такой, под шарами...

И мы отправились. Я, Петя и завуч. Это была не очень чистая столовая рядом со школой. Над входом висели два тусклых круглых матовых шара. Мы нашли себе столик. Нам, не спрашивая, подали по граненому стакану с водкой, по кружке пива и по порции котлет с лапшой. Выпили — разговорились. Помню, было хорошо, легко, сердечно. Вывалились оттуда в полночь, обнялись и зашагали по пустынным улицам: провожали друг друга. Что-то такое пели громко, хором. Расставаться не хотелось.

Следующее утро было опять гнилым, гадким. Ученики не жаловались. Но я понимал, что спасение вечером, под шарами. «Под шары идем?» — спросил я Петю. Его обрадовала

моя прыть. Правда, с деньгами вышла легкая неувязка, но меня научили обратиться в кассу взаимопомощи и попросить денег на приобретение, ну, скажем, ботинок... И вот снова были граненые стаканы, пиво, котлеты, и снова мы шли в обнимку, пели, а в промежутках делились опытом...

Утром я подумал: «Вечером — под шары. Какое счастье!..» И так продолжалось несколько месяцев, пока не произошло необъяснимое чудо. И я вернулся к себе самому.

Спустя несколько лет переехал я в Москву и, представьте себе, попал почти в ту же ситуацию. С одной стороны, столица, блеск, всякие вожделения, с другой — гнилая осень, одиночество, ни насиженного места, ни знакомых лиц; а мечталось о дружеском участии, о милых встречах... Женщины проходили мимо, да и не умел я привлекать их внимания, да и одет был крайне невзрачно. И вот решил я, как всякий молодой человек, хорошо одеться.

Однако хорошо одеться в то трудное время было сложно: в магазинах продавались вещи невыразительные, скучные, а мечталось о необычном, а необычное можно было достать лишь в комиссионном магазине, да и то изредка, и стоило оно немалых денег. Начал я копить, добавили родственники, и вот двери комиссионного магазина распахнулись передо мной. Я вошел туда в надежде натолкнуться на неповторимое произведение искусства кройки и шитья. Мне повезло. Я сразу увидел пальто из замечательного драпа цвета перспелой моркови. Примерил — оно было сшито на меня. Оно было теплое, мягкое, облегающее, на блестящей скользкой подкладке. Она была столь прекрасна, что хотелось вывернуть пальто и носить его подкладкой вверх. Пальто было с чужого плеча, но это меня не волновало. Главное, что своим видом, цветом оно соответствовало тогдашнему моему вкусу. Конечно, вкусы меняются. Природа и возраст делают свое дело. В тринадцать лет, например, я воображал себя в черных брюках, в белой сорочке апаш и с фотоаппаратом «лейка» через плечо. А в пятнадцать мне уже хотелось выглядеть похожим на Костю Червонца с нашего арбатского двора: тельняшка, пиджачок, чубчик

из-под кепочки, и обязательно хромовые сапоги гармошкой, и обязательно золотой зуб...

Короче, заглянул я в зеркало. Передо мной стоял уже не прежний сутулящийся от холода человек в потертом полуплаще, а статный независимый молодой мужчина со счастливым румянцем на щеках. В довершение всего пальто стоило дешевле, чем предполагалось, и этот внезапный красавец позволил себе купить шляпу из коричневого велюра, и еще осталось на такси, в котором он отправился к себе на работу.

В те годы я трудился в одном из столичных издательств, которого не называю, ибо, как подсказывал опыт, некоторые люди воспринимают мои нынешние откровения как удар по собственному престижу. Им кажется, что моя откровенность порочит не только меня, но и их, а у меня нет желания травмировать бывших моих сослуживцев.

Итак, приехал я к себе в издательство, вошел в комнату и по взглядам присутствующих понял, что я уже не тот, что был, — иной, иной...

Мой сослуживец, назовем его Виталием, сказал:

— Ба, а ты ничего себе! — И глаза у него повлажнели. — Послушай, а почему бы нам вечерком не выйти на Тверскую?

— И с какой целью? — спросил я рассеянно, но на самом-то деле весь напрягся, напружинился...

— Познакоимся с какой-нибудь достойной красоткой, — сказал Виталий, — проведем время...

Я тут же представил себе эту красотку. У нее были длинные ноги. Светлые волосы струились по плечу. Правильное лицо украшали глубокие серые глаза. Улыбалась она ослепительно. Говорила низким голосом, слегка нараспев. Заканчивала аспирантуру по астрофизике...

— А ты уверен, — сказал я, — что достойные красотки ходят по Тверской, ожидая нас? — Но глухая надежда шевельнулась в моей израненной душе.

Вообще мне страшно было подумать подойти к незнакомой женщине на улице, но Виталий многозначительно улыбался.

Мы встретились у метро «Белорусская». Стояла промозглая осень. Под фонарем на сыром асфальте распласталась моя нервная, элегантная тень. Я решил не продавать себя дешево.

— Послушай, — сказал я, как человек, утомленный опытом, — только, пожалуйста, без всяких пошлостей, хватаний за руку и жалкой лжи...

Он посмотрел на меня многозначительно и ничего не ответил.

До площади Маяковского мы не встретили ничего примечательного. Напряжение мое усиливалось. Где вы, длинноногие мадонны, сочетающие в себе современную красоту, ум Сократа, нравственные богатства и старомодную женственность наших бабушек? Где же вы?

И тут Виталий резко шагнул в сторону.

— Вы одна, и это ужасно, — проворковал он.

Перед нами стояла девушка. У нее было озябшее невыразительное лицо.

— Что-то есть в нашей встрече, — сказал Виталий с профессиональной настойчивостью. — Ведь мы встретились не на балу, а в промозглой осенней полутьме. Какая-то сила свела нас...

— И что же? — спросила она не очень дружелюбно.

— Пойдемте с нами в уют, в тепло, в музыку, в дружескую пещеру... Люди должны быть ближе друг к другу. Познакомьтесь, это мой приятель.

Она отвела мою руку и исчезла.

Я совсем забыл сказать, что нас ждала однокомнатная квартирка Виталия, где была бутылка коньяку, яблоки, торшер, диван и проигрыватель.

Мы пересекли площадь Маяковского. Мимо, дразня нас, проплыла мадонна, недоступная, как звезда. Ее сопровождал некто счастливый и благополучный, хотя, как я успел заметить, он был не так уж и прекрасен.

Затем перед нами возникли две довольно симпатичные красотки.

— Привет, — сказал им Виталий. — Кого я вижу!

Но они прошли мимо.

Однако время не стояло на месте, и площадь Пушкина мы пересекли уже значительно торопливее.

— Кстати, — сказал Виталий, — тебе надо поддерживать меня в разговоре. Ты молчишь, а они начинают бояться. Они думают: кто этот молчаливый красавец? К добру ли он? — И тихо засмеялся.

«Конечно, — подумал я, — это очень унижительно, но ведь где-то кто-то нас ждет? Ведь не может быть, чтобы все были окончательно разбиты на пары!»

— А я где-то читал, — сказал я, — что вообще женщин больше, чем мужчин.

— На земном шаре — да, — засмеялся Виталий, — но не на Тверской.

Мы двигались уже быстрым шагом. Внезапно он коснулся моего локтя:

— А вон идут наши...

Я вздрогнул. Две юные дамы, смеясь о чем-то своем, медленно приближались к нам. Чарующий свет магазинной витрины придавал их облику загадочность и полночную прелесть. Они представляли собой ту классическую пару, которую любили изображать художники на страницах журнала «Нива». Обе высокие, стройные. Блондинка и брюнетка. Юдифь и Брунгильда, сведенные вместе прихотью фортуны.

— А мы вас ждали, — проворковал Виталий, и глаза его наполнились медом.

Красотки остановились, переглянулись и засмеялись, однако вполне дружелюбно. «Наши! Наши!» — ликовал я.

— Знакомьтесь, — сказал Виталий, — мой приятель.

Он широко взмахнул рукой, заключая меня в некий фантастический овал, давая им понять, с кем они имеют дело. Его великодушие не имело границ. Он умалял себя, чтобы мои достоинства проявились с полной силой: «Что я... Я — ничто. Посмотрите на него: как он стоит! Какое на нем пальто! Как благородны его черты!.. Какая шляпа!.. Какая тайна во всем его облике!..»

— Знакомьтесь, не пожалеете, — сказал он, — это

удивительная личность. — В его бодром ворковании все-таки различалось отчаяние.

— Очень сожалею, — сказала брюнетка, — но ваш приятель не в моем вкусе.

Слова брюнетки не произвели на меня впечатления, потому что мне нравилась Брунгильда. Мне вообще всегда нравились блондинки. Видимо, потому, что я сам брюнет. Правда, эта ортодоксальность несколько раз выходила мне боком.

Конечно, тут я должен был что-то ответить, сказать что-нибудь такое... Но слов не было, и, чем больше я напрягался, тем меньше их оставалось в несчастной моей голове.

— Ну, протяни дамам руку, ручку протяни, — сказал Виталий с улыбкой, но мне послышалось в его голосе легкое раздражение.

Не сводя глаз с блондинки, улыбаясь с ученым видом знатока, я протянул к ней ладонь.

— Нет, — вздохнула она, — вы оба не в нашем вкусе...

И они растворились во мраке, а мы обреченно и сосредоточенно помчались по направлению к Юрию Долгорукому.

Тусклые фонари. Изморозь. Легкая дымка грядущей зимы. Неправдоподобный свет витрин. Все казалось призрачным, фантастическим. И наши напряженные, унылые, издерганные тени стремительно пересекали замирающую Москву. Я сдвинул шляпу на затылок, чтобы выглядеть лихо: женщины любят силу, задор, стремительность...

Очередная жертва была благосклоннее прочих; так легко и просто выдала свое имя и, шмыгая острым длинноватым носиком, призналась, что все это ей как-то непривычно, но она рада познакомиться с такими интересными ребятами и будет ждать, когда они ей позвонят... Сегодня? Нет, она идет на дежурство... Завтра бы, а? Она будет сидеть у телефона, и подруга у нее есть...

Я хотел сказать ей, что она не в нашем вкусе, но мне ее стало жалко.

— А знаете что, — сказала она суетливо, — дойдем до почты, я, может, и отпрошусь, а?

Мы пообещали позвонить ей и полетели дальше.

— На таких-то уж не будем размениваться! — крикнул я.

— Да мне, собственно, все равно, — откликнулся Виталий и нервно захохотал: — Стоило ли... Я думаю, стоило ли новое пальто. А ведь еще и шляпа! Велюр!..

Вечер пропадал. Уже виднелась Манежная площадь. Правда, женщин как будто прибавилось. Это утешало. Особенно много их было почему-то на той стороне улицы. Даже отсюда было видно, как они стройны, медлительны, прекрасны.

— Переходим! — распорядился мой друг.

Мы почти перепрыгнули на противоположный тротуар, но он был пустынен, ничто не привлекало взора.

— Зря упустили ту, — прохрипел Виталий, — не так уж и страшна...

Все красотки теперь медленно двигались по той стороне.

— Давай туда, — скомандовал Виталий.

Я перелетел на другую сторону и вновь оказался в пустоте. Зато там, где оставался Виталий, возобновилось шествие. «Ага! — подумал я с торжеством, — наша берет!» Громадными скачками, не касаясь земли, Виталий носился меж телеграфом и Ермоловским театром.

«Как это унижительно, — подумал я. — Что мы делаем?! — А сам носился тоже, придерживая рукой шляпу. — Как стыдно!» — но остановиться не мог.

Так мы добрались до станции метро. Дальше простиралась бесконечность.

— К черту, — сказал я, задыхаясь, — хватит. Идем по домам. Твой профессионализм ни к черту...

— Моя профессия — редактирование рукописей, — шепнул он мрачно.

Пустынный эскалатор уносил нас в преисподнюю. Пальто мое переменило цвет. Исчезли мягкие тона. Оно выглядело крикливо, капризно, истерично, ядовито... Оно стало жестче, фанернее, трудно было пошевелиться...

Едва дыша от усталости и разочарования, мы ввалились в полупустой вагон, и в этом полупустом, полусонном

вагоне как вознаграждение за недавнее отчаяние сама фортуна предстала перед нами в образе длинноногой юной мадонны, весьма изящной и слегка небрежной, с загадкой в больших серых глазах и с ослепительной располагающей улыбкой... В общем, едва мы ввалились в вагон, как тотчас налетели на нее.

— Привет, — сказала она. — Бедные мальчики, какой обалдевший вид!

— А у вас, надеюсь, вечерок прошел славно? — проворковал Виталий.

— У меня он только начинается, — ослепила она.

Возле ее ног стоял большой, распухший портфель. Мы тут же познакомились. Я не сводил с нее глаз. Это была королева.

— Послушай, Виталий, — сказала она, — поддержи-ка зеркальце, вот так, — и принялась орудовать губной помадой. — Знаешь, — сказала она мне, — один тип ждет меня уже больше часа. Представляешь?.. Я проковырялась дома кошмарное время!

— Кто он? — спросил я, холодея.

— Такой же дурачок вроде вас... Это потрясающе!

— Может, плюнем на него? — предложил Виталий.

— Это дурно, — сказала она, — можно быть легкомысленной, но непорядочной никогда.

— Да он же тебе надоел, — сказал Виталий.

— Это правда, — согласилась она. — А что делать?

— А вот мы, например, — сказал Виталий.

Опять торговля, позор, вымогательство!.. Ладно, пусть и она укажет нам наше место... Ее звали Зиной.

— Зин, а Зин, — сказал Виталий, — да не ломай ты голову. Ну, позвонишь ему завтра, и все такое...

Вдруг она засияла:

— Вот дурачки!.. Тогда давайте быстренько позвоним Наташке и поедем ко мне на дачу. Виталик, Наташка тебе понравится.

Она выбрала! Какое счастье! Значит, Виталию — Наташка, а мне — она! И тут она хлопнула меня по плечу:

— Ну, что скажешь, горюшко мое?

— Фантастика! — сказал я, потрясенный. — А знаешь, мы тут облазили всю Тверскую, и все безуспешно, и вдруг — ты!

— Ну надо же! — удивилась она. — У вас что, знакомых девчонок нет?

— Почему же нет? — проворковал Виталий. — Одна свалилась в гриппе, другая в отъезде, третья... надоела... Ну, знаешь, как бывает...

Она была прекрасна в мягком свитере вишневого цвета, в пальто нараспашку... Я тоже распахнулся.

— А Наташка, — спросил Виталий, — она как? Она ничего себе?

— Царица, — сказала Зина, — умрешь.

Вообще был огонь, фейерверк, молния, внезапность, чудо. Все сладилось. Эскалатор выносил нас слишком медленно. Я, надрываясь, нес тяжелый портфель моей дамы.

— Никаких однокомнатных пещер, — командовала Зина, — у нас с бабушкой целая дача. Да вы что, смеетесь?.. Бабку запрем в ее комнате...

Мы вышли у Курского вокзала. Виталия она послала в дежурный гастроном.

— Беги, Виталик, беги, пока не закрыли! И забудь про свою бутылку с коньяком. Вы что, опсихели? Четыре нормальных человека и одна бутылка?! И потом, учти, у меня еды мало, сыру не забудь, колбаски... Беги, беги!

— Слава богу, — сказал я, распоясываясь, — мы остались наедине. Так и ждать приятнее...

— Чудовище, — сказала она, — это ты будешь ждать, а я побегу звонить Наташке.

— И все-таки хорошо, что не мне бежать в гастроном, — сказал я.

— Ах ты, маленький лентяйчик! — засмеялась она. — А ну-ка донеси мой портфель во-о-он до той телефонной будки.

Я радостно подхватил портфель, и мы отправились.

— Теперь, — сказала она, высовываясь из кабинки, —

лети, шалунишка, на прежнее место, а то Виталий нас потеряет, — и помахала мне ручкой.

Она звонила долго. С полчаса. Пришел Виталий, нагруженный бутылками и пакетами.

— Ты не сердись, что она выбрала меня? — спросил я.

— Я не очень привередливый, — засмеялся он. — Наташка так Наташка.

Прошло еще полчаса. Минули вообще все возможные сроки. Вспоминались различные истории о том, как юные красотки завлекали к себе мужчин, напаивали их, потом вваливались их дружки...

— Это отпадает, — сказал Виталий, — нас ведь никуда не завели. В общем, нормальное «Динамо»...

— А ты уверен, что она из «Динамо»? — спросил я.

Он засмеялся и потащил меня к закрывающемуся метро.

— Нам крутанули «Динамо», — пояснил он. — Динамистки пьют, едят на твои деньги, а после ни-ни...

— Это отпадает, — сказал я твердо. — Она была бескорыстна.

На следующее утро, переполненный раскаяниями и гневом на собственную слабость, я отправился в издательство.

Виталий уже сидел за своим столом, свежевыбритый, улыбочивый, благоухающий.

— Хочу тебя обрадовать, — сказал он как ни в чем не бывало, — не успел вчера ввалиться в дом, как позвонила одна дама, зовут Тамара, спросила Люсю...

— И что же?

— Познакомились, договорились на сегодня.

— С меня хватит, — сказал я, усаживаясь за стол.

— А она обещала привести Люсю, — проворковал Виталий.

Я открыл чью-то рукопись, но вместо букв увидел Люсю.

— Нет уж, — сказал, — Люси, Маруси... К черту. Иди к черту.

У Люси были длинные ноги, вишневый свитер обтягивал ее прелестную фигурку, серые глаза смеялись. Она

с успехом училась на археолога, но это не мешало ей заниматься парусным спортом и любить Верлена. У нее был иронический склад ума, а когда я попросил пришить мне к пиджаку пуговицу, она и это сделала легко и с изяществом.

— Ну как? — спросил Виталий.

— К черту, — я был тверд. — Мадонны на улице не валяются.

Весь вечер в душе моей бушевали бури. Я освистывал себя и унижал. Я вспоминал о себе самое дурное. Кстати, и ту историю в провинции, под шарами. «Неужели, — думал я, — этого мало? Неужели я не гожусь для лучшего?!»

Позвонил Виталий и сказал:

— Значит, так, тут ко мне неожиданно нагрянули родственники, поэтому сгоняй за девочками сам, заезжайте за мной, а я тут пока управлюсь, и мы дунем куда-нибудь в ресторан...

— Ладно, хорошо, — почти крикнул я торопливо, — только у меня с деньгами...

— Деньги есть, — сказал он, — все в порядке.

Я сорвал с вешалки свое новое пальто. Оно было оранжевого цвета с легким голубым отливом; надел шляпу, глянул в зеркало и подумал: «Чего им еще нужно?»

Возле станции метро «Смоленская» бушевали страсти. Здесь было место свиданий. Здесь ждали, встречали, отчаивались и возносились. На душе у меня было мерзко, но, подчиняясь неведомой силе, я, словно орел-стервятник, кружил и кружил в счастливой толпе. Через несколько минут я уже хорошо ориентировался в этой суматохе, я сжился с обществом и понял, что это не безумная стихия, а разумное логическое движение природы. Уходили одни, появлялись другие. Самые красивые ждали недолго: их кавалеры не опаздывали; те, что похуже, были терпеливей, но и их не обходила удача. У меня было сложное положение: я не знал ни Люси, ни Тамары. Я спрашивал почти всех подряд, но все оказывались чужими. «Очень хорошо, — подумал я, — очередной розыгрыш. Зато я могу уйти к черту!» Конечно, можно было бы встать на ступеньки и крикнуть оттуда: «Люся,

Тамара, ау!..» Но меня бы подняли на смех, потому что представьте себе: это пальто, эта шляпа, эти усики — и ау-у!..

Наконец все разбились на пары и перед станцией метро остались двое; я и какая-то приземистая девица в мешковатом пальто и берете. Мы долго и недружелюбно оглядывали друг друга. Я подошел к ней. Это была Тамара. «Если Тамара такая, то какая же Люся?» — подумал я и решил плюнуть на все и исчезнуть, но почему-то не смог. Вскоре к нам присоединилась и Люся — маленькая толстушка с русской челкой.

— Ну ладно, — сказала Тамара мрачно, — поехали за Виталием. Вот такси.

Честно говоря, я предполагал добраться до Виталия на метро, но спорить не решился. Мы доехали до Калужской заставы. Девочки остались в машине. В лифте я решил, что сейчас самое время задать деру, но не смог. Виталий лежал на диване совершенно пьяный. Гостей уже не было. Какая-то старуха подтолкнула меня к двери:

— Давай, давай отседова!

— Виталий! — крикнул я.

— Ку-ку, — сказал он, не открывая глаз.

— Мы приехали, — крикнул я, — у меня нет денег...

— Ку-ку, — сказал Виталий, а я очутился за дверью.

Выходя из подъезда, я подумал, что теперь-то самое время убежать, но пошел к машине.

— В ресторане и без Виталия хорошо, — сказала Тамара. — Давай, шеф, в гостиницу «Ленинградская», там ресторан что надо.

Денег у меня какая-то жалкая мелочь, едва на такси. Тамара мрачно молчит: чем-то я ей отвратителен. Люся вздыхает и иногда произносит отдельные слова вроде: «А вот комиссионка...», или «А здесь Санька живет...», или «Гляньте, дура какая, по лужам бежит!..»

— Боюсь, что мест в ресторане, как всегда, не будет, — сказал я.

— А ты не бойся, — сказала Тамара, — швейцару дашь — и будет.

«Надо бежать, — подумал я, утирая холодный пот, — то есть даже не бежать, а выйти из машины и спокойно уйти... Гуляйте сами...»

Молодая женщина сидела в машине рядом. В полутьме она казалась прекрасной. Надо ведь что-то сказать ей полупшепотом, взять за руку, чтобы она оттаяла. У нее тоже трудное положение: кто я, зачем?.. Я прикоснулся к руке Тамары, она ее отвела. Такси остановилось у ресторана. Толпы не было. С неба сыпалась какая-то гадость. Я расплатился почти всем, что у меня было. Осталась ерунда на бутылку самого дешевого сухого. Хоть бы нас не выпустили!

Громадный мраморный зал ресторана был почти пуст. Играл оркестр. Метрдотель очень любезно завел нас в отдельную кабину. Я утирал пот. И тут же перед нами возник молодой официант.

— Так, — сказал я лениво и по-хозяйски, — я думаю, что нам хватит бутылочки сухого вина и немного яблок, что ли... Будем танцевать.

Он хотел было идти, но Тамара его остановила.

— Погоди, шеф, погоди, — сказала она, и ее пальчик с облезающим маникюром забегал по меню, — давай так... неси семгу, колбаски вот этой... Помидорчики есть? Давай тоже, сыру давай тоже. Это на закуску... Да, еще салатику захвати...

— Что-то ты размахнулась, — засмеялся я.

— А что ж, голодными сидеть? — сказала Люся.

— Теперь, — сказала Тамара, не обращая на меня внимания, — давай так: водочки графинчик похолодней, ну, сам знаешь, ситро... Теперь горячего... горячего... давай котлеты по-киевски...

— Кофе? — спросил официант бесстрастно.

— Ну да, — сказала Люся, — и мороженого.

Он ушел. Мы сидели молча. Люся выглянула за занавеску.

— Танцуют, — сказала она, — одна пара. Танцевать не умеют, а тоже... А юбку какую надела, умора... Погляди, Тамар.

— Да ладно, — сказала Тамара.

— Ну и Виталий,— сказал я, чтобы поддержать разговор, — хорош.

— Да ладно, — сказала Тамара, — Виталий, Виталий... Сидишь и сиди.

«Что же делать!» — подумал я, но тут появился официант, и наш стол затрещал. Он, мерзавец, не забыл принести и мою бутылку сухого, и яблоки, и еще по собственному почину вазу с дорогими конфетами и сказал, обращаясь, конечно, к Тамаре:

— Думаю, не помешает. Для общей красоты.

— Сойдет, — сказала Тамара.

Я разлил водку, и мы выпили. И тут же по второй. Я посмотрел на себя со стороны: ничтожество. А в девчонках что-то было: во-первых, бесцеремонность — они прямодушны и бесхитростны, современные; во-вторых, и внешне... такие вострушечки. У Тамары маленькие острые зубки, маленькие острые глазки, тонкие губы — характер; а Люся вообще прелесть — раскраснелась, хохочет, уплетает за обе щеки...

Мы выпили еще. Музыка гремела замечательно. Ах, будь что будет!..

— Пошли танцевать, — распорядилась Тамара, и мы затоптались перед оркестром.

Танцевала она очень обстоятельно, сосредоточенно, поделовому, словно выбирала блюда в меню. Я попробовал прижаться к ней, но она сказала:

— Не взнуздal, а поехал?

В то же время, когда один из танцующих кивнул ей, она широко и игриво ему заулыбалась. Это придало мне смелости.

— Завтра увидимся? — спросил я воркующим шепотом. — Только без Люси, ладно?

Она вскинула на меня свои маленькие ледяные глазки и сказала:

— Не взнуздal, а поехал?

«Ничего себе!..» — подумал я.

Мы вернулись в свою кабинку, но тут начался новый танец.

— Теперь с Люсей, — приказала Тамара.

Танцующих прибавилось. Люся сама прижалась ко мне. Я затанцевал лихо, всех расталкивая.

— И этих толкни! — просила она, и я толкал.

Мы славно натолкались. Она была так же далека от совершенства, как и ее подруга, но в ней было что-то человеческое, и потому я спросил воркующим шепотом:

— Люся, а хорошо бы завтра встретиться, а?

— Не шутишь? — засмеялась она.

— Только без Тамары, ладно?

— А ты не шутишь?

Потом я снова танцевал с Тamarой, потом с Люсей, и еще с Тamarой, и опять с Люсей...

— Ну как, договоримся на завтра? — спросил я Люсю.

— Не взнуздал, а поехал?

Мы воротились в кабину. Тамара обстоятельно доедала киевскую котлету.

— А икру-то не заказал, — сказала она, — пожалел.

Тут я увидел в центре стола на тарелке громадную порцию икры. Люся расхохоталась.

— Вот так-то, — сказала Тамара и потянулась ложкой к икре.

Вдалеке маячил официант. Я подошел к нему и покаялся.

— Сейчас милицию позову, — сказал он спокойно, — акт составим.

Я предложил ему часы и задаток, но он был неумолим.

— Послушай, — сказал я, — у меня новое пальто, заграничное. Ты его возьми пока, а завтра я его у тебя выкуплю. Пожалуйста...

Мы прошли в гардероб. Пальто было вишневого цвета с зеленым отливом. Оно ему понравилось. Я нахлобучил шляпу и направился к выходу.

— Девочек-то своих позабыл, — сказал он по-свойски.

— Они не мои, — сказал.

— «Динаму» крутанули? — посочувствовал он.

— Нет, — сказал я, — я сам этого хотел.

На улице было холодно. Шел первый снег.

ИСКУССТВО КРОЙКИ И ЖИТЬЯ

Рассказ

В деревне перед началом учебного года у меня была на зиму студенческая куртка из какого-то старорежимного истершегося драпа. В такой куртке можно было зимовать в Тбилиси, да и то с трудом, но калужская зима, которая в октябре уже напоминала о себе, с такой курткой расправилась бы легко — и это ощущалось. Что было делать молодому учителю? Хорошо тем, у которых родители, родственники, щедрые и сердечные. А у меня не было никого. Поэтому я набрал, где только смог, шестьсот рублей (по нынешним временам — шестьдесят) и отправился в Перемышль, наш районный центр. Мне повезло. В магазине продавались зимние пальто, и стоили они всего четыреста пятьдесят. Я взял пальто на размер больше, вернулся в деревню обладателем собственной зимней шубы, а оставшиеся сто пятьдесят рублей раздал кредиторам. Что же собой представляло это пальто, эта шуба, это спасительное убранство? Конечно, в природе существовали наряды и получше. Я к ним, бывало, прикасался в трамваях и гардеробах, я ощущал их мягкие теплые волны, их формы, подчеркивающие достоинства и скрывающие недостатки. Их благородные и разнообразные цвета ласкали глаз. Они были легки, как пух, и жарки, подобно раскаленной печке. Мое же пальто было совсем иным. Его материал тоже назывался драпом, но напоминал листовую фанеру, которую почти невозможно согнуть и плохо обработанную, о которую можно было содрать кожу. Этот драп ткали вместе с соломой, веточками и отрубями, и, бывало, просиживая в каких-нибудь приемных или на вокзале в ожидании поезда, я коротал время, выщипывая из него этот

строительный материал, собирая его в горсть. Горсть по горсти. Кроме этого, пальто было подбито простеганной ватой, напоминая матрац. Изысканно распахнуть его было невозможно. Его можно было только раскрыть, да и то с трудом, словно плохо смазанную двустворчатую дверь, раскрыть, войти в него, просунуть в рукава руки и с треском захлопнуть полы. Каково было мне? Но я, представьте, чувствовал себя счастливым, потому что первые же холода засвидетельствовали отменную непробиваемость драпового панциря. Я был счастлив и потому, что уложился в собственный бюджет, который в те времена составлял шестьсот восемьдесят рублей, и потому, что на мне было какое-никакое, а пальто вместо потертой куртки. И это пальто с валенками и шапкой-ушанкой придавало мне устойчивость, солидность и вес.

На фотографии, сохранившейся с тех времен, мы сняты на фоне полуразвалившегося шамординского собора. Мой новый друг, Сысоев Семен Кузьмич, его жена, Зоя Петровна, и я. Они сидят на обломках собора, а я стою в своем новом несгибаемом пальто, в валенках и шапке, и на лице моем написано благоговение. Я солиден и значителен.

Ну, хорошо, моя радость, что же ты будешь делать с этой солидностью в этом не самом совершенном наряде, раяя руки при малейшем прикосновении к драпу, не сгибаясь, едва переставляя деревянные ножки, гудящие под тяжестью ватной брони? А что я должен делать? Мне тепло, непроницаемо, надежно. Конечно, если бы... но тут не до изысков, и если у нас в городе, то есть у вас в городе, некоторые позволяют себе роскошь не походить одеждой на других и приобретают заграничные тряпки, то мне, нам здесь не до того, мы все здесь заняты делом, и, может быть, это и есть та самая духовность, о которой вы там только разглагольствуете, а мы здесь ее вырабатываем и тем способствуем...

Теперь о Семене Кузьмиче.

Это был еще довольно-таки молодой человек, среднего роста, с растопыренными ушами, жилистый, с внезапной непредсказуемой улыбкой на маленьком скуластом лице. Он был директором небольшой школы механизации, обучал

трактористов. К нам, учителям средней школы, относился с глубоким почтением, наверное, потому, что Зоя Петровна преподавала математику в седьмых классах нашей школы, да и сам он причислял себя к работникам просвещения и любил говорить: «У нас, значит, в просвещении...» Ну вот, видимо, и моя причастность к просвещению вызывала его симпатию, и я это сразу почувствовал: как человек на тебя смотрит, как с тобой разговаривает — это же всегда чувствуешь. И я к нему потянулся тоже — по сердцу ли, по одиночеству ли, но потянулся. Его очень потешала и трогала моя слабая осведомленность в житейских делах. Покровительствовать было для него удовольствием. Когда я проявлял свою непрактичность, попадал впросак, он звонко заливался и с радостью начинал поучать. Он был человеком хозяйственным, сельским, из этих мест. Он во всем любил добротность, основательность в том смысле, как понимал это сам. Рубля лишнего не потратит, а сам то и дело навязывал взять у него в долг... «Да хоть насколько. Ты, главное, не тушуйся, Булат Шалч. Привыкнешь к деревне. Это вам, городским, сначала трудно, а потом обжившись, коровку заведешь...» — «Ну да, коровку! — лукавил я. — Вот это да!..» Хотя, признаться по чести, в деревне задерживаться не собирался. Но мне нравилось ему подыгрывать, вот я и лукавил, разыгрывая простачка, такого городского балбеса, чем разжигал его страсти... «А что ж? — заливался он. — И заведешь коровку, помни мои слова. А иначе как же? А откуда молочко, сметанка?.. Зой, гляди на чудака! А сливки?» — «Ну, разве что сливки, — говорил я, — сливки это да... Меня маленького заставляли пить сливки с миндальным пирожным...» Это его почему-то сердило. «С пирожным, с пирожным...» — говорил он обиженно.

Мне, одинокому, было у них хорошо. Это был хлебосольный дом, и, когда меня приглашали, была возможность посидеть в сытном тепле, в комнате, почти городской по виду. Происходило это чаще всего так: вваливался ко мне запорошенный снегом Сысоев, с досадой оглядывал мою дымящую печку, тусклую лампочку в потолке и говорил: «Да ладно книжки

читать, все не перечитаешь, — и похохатывал от собственного остроумия. — Айда к нам — чайку попьем». И мы шли по сугробам.

В его доме тотчас появлялась водка, и домашние огурчики со смородиным листом, и капустка, и помидорчики, и рассыпчатая картошка, и розовое сало, и крутые яички, а иногда и холодец. Мы рассаживались. Сысоев производил все приличествующие моменту движения: потирал руки, передергивал плечами, ухал, ахал, чертыхался, заливался — был счастлив.

И так до конца и не мог понять, чем я ему мил. Кроме того, что я кончил университет и был учителем, так же как и его жена, о чем я уже говорил, видимо, и мое грузинское происхождение, экзотика, что ли, все это усугубляло, и усики мои, и еще одно обстоятельство: дело в том, что это был пятидесятый год, а в те времена везде маячили разнообразные изображения моего усатого соплеменника. Не могу сказать, чтобы я был его особенным почитателем, да и родители мои находились в местах отдаленных, но Сысоев перед ним благоговел и, может быть, как-то там, в туманном своем сознании, связывал воедино мое происхождение со своим кумиром. Не знаю, насколько точны мои наблюдения, но об этом еще предстоит говорить.

И вот мы сидели в самый разгар января, опрокидывая рюмочки и похрустывая огурчиками под аккомпанемент метели. И Сысоев, как обычно, учил меня жить, а я тогда подумал, что, если бы побольше денег, у меня были бы не эти грязно-серые дубовые валенки, которые мне посчастливилось купить на козельской толкучке, а белые чесанки, легкие, теплые и пружинистые, и не солдатская шапка-ушанка украшала бы мою голову, а мохнатое великолепие из выделанной овчины, а может быть, даже из волка. За деньги все можно... Не надо мне вашей коровки и сливок, а если бы купить пять кубометров сухих березовых дров вместо сырой осины, щедро раздаваемой учителям...

— Да ты, Шалч, погоди, — сказал Сысоев. — Вот чудило... Зой, ты глянь-ка... Чудило ты, ей-богу.. Да ты на-копи, и я подкину...

— Не нужна мне ваша коровка, — сказал я. — Что я, пастух, что ли? Я все-таки в университете...

— А у нас-то в просвещении знаешь как? Ага... Приноровиться нужно...

— Легко вам говорить, — сказал я, — у вас во-о-он хозяйство какое: и огурчики, и шуба, и трактор...

— Ух ты! — рассердился он. — Ну, Шалч, тебя не пере-говоришь, все тебе не так... Да я тебе трактор дам, ну... Куда ты на нем?

— Да ладно тебе, Семен, — сказала Зоя, — чего привя-зался? Вон человек себе пальто из одних отрубей купил, а ты сливки, сливки...

Тут наступила пауза. Потом он сказал, рассмеявшись:

— А чего?.. Мы можем и кожаное пошить, в два счета...

— Ка-ко-е?

— Эх ты, университет! — всхлипнул он. — Какое... А вот такое, слушай, чего я скажу...

Кстати, это мое новенькое непробиваемое пальто можно поставить посреди комнаты, и оно так и останется стоять, не переломится и не оползет, а будет стоять, словно несторае-мый шкаф. А кожаное?..

Что мыслит себе этот деревенский волшебник? Это что, кожа старой свиньи, грубо выделанная, та самая, из которой шили железные сапоги, что мне в армии и не достались? Какую кожу представляет он себе, разглядывая меня без лукавства, всерьез, даже с грустью?

— Ну-ка, ну-ка, — посмеиваюсь я, — расскажи, Семен Кузьмич, что это за кожа? Буйволиная? Свиная?..

— Зачем буйволиная? — обиделся он. — Кожа как кожа, из которой пальто шьют.

— Ну что это? — спросил я. — Старый кабан?

— Ух ты! — И погрозил пальцем. — Зой, а Зой, ты только глянь на него... Старый кабан, старый кабан...

— А из чего же? — не сдался я. — Из хрома?

— Зачем же из хрома? — сказал он едко. — Из хрома сапожки шьют, а мы и из шевра можем.

— Из шевро? — не поверил я.

— Из шевра, — подтвердил он.

Походило на правду. Он сердился.

Я решил ему потрафить и слукавил, бог меня простит. Я спросил, тараща наивные глаза:

— Да разве из шевро пальто бывает? Его же мало, ну перчатки там...

Он залился, обрадовался, что вот есть же дурачок, которого приятно и просветить. Мы выпили еще по одной.

— Значит, так, — наставительно сказал он, — из шевра пальто шьют. Я ведь уже для себя самого прицелился, а теперь, может, и вместе.

— Да не верю я! — крикнул я, холодея. — Да разве это здесь возможно?

— А вот возможно! — крикнул он с наслаждением. — Возьмем и пошьем!

— Да кожу-то где взять? — крикнул я, догадываясь, что это не треп.

— А ты слушай, слушай! — крикнул он и хитро прищурился. — Аль не веришь?

— Да вы слушайте, Булат Шалвович, — сказала Зоя строго. — Уж если Семен Кузьмич чего говорит, значит, так и будет.

— Ага! — залился он.

— И что? У нас будет в руках шевро, и мы пошьем...

— Ну?..

Я разволновался, и мне было приятно морочить ему голову, подогреть его и притворяться идиотом. Я видел, как ему радостно открывать мне неведомое, верховодить, подтрунивать над моим невежеством, опекать...

Я растрогался и сказал, чтобы его посмешить, потешить:

— Между прочим, если мое пальто новое поставить посредине комнаты...

Но он шутки не понял, а сказал с осуждением:

— Зачем же его на пол ставить? Пальто полагается на плечики и в гардероб...

Шуток он не понимал. Как-то я встретил его на улице и сказал по городской привычке: «А вот идет молодой многообещающий директор». Он поглядел на меня мрачно и сказал: «А я вам ничего не обещал». Вот и теперь та же вата.

— Ладно, — махнул я рукой, — а с кожей-то как?

И тут он посвятил меня в поразительный по своей доступности проект. Все складывалось одно к другому: в марте почему-то, оказывается, на деревне режут телят, словно спешат принести их в жертву таким, как я, жаждущим облечься в кожаные покровы. Шкуры, естественно, обдирают и продают по самым доступным ценам. Мы покупаем и ведем их в Калугу к знакомому скорняку. Через месяц нам вручают выделанное шевро, и нам остается только найти мастера по пошиву. Максимум через три месяца, а то и раньше — на нас великолепные обновы.

Так фантастично завершилась наша очередная трапеза. Едва все это свалилось на меня, как во мне началась привычная вибрация от нетерпения. Меня залихорадило. Я уже видел в своих руках эти немыслимые шкурки. Я даже верил, что могу и сам, не дожидаясь скорняцких милостей, которые то ли они есть, а то ли их нет, выделать этот телячий дар с помощью соли и этого... Что там еще нужно? Спирт? Уксус? Выскоблю ножом лишнее, выщиплю по волоску в нерабочее время, после уроков, по ночам, до самого рассвета, черт подери! И вот наконец мягкое, лоснящееся, переливающееся, ароматное, черное, тускловатое развешу по комнате в преддверье ножниц и иглы.

В нынешние времена, когда на каждом третьем — кожаное пальто, или пиджак, или брюки, трудно вообразить размеры богатства, которое свалилось в мои руки. А тогда, только обладая изощренным воображением, можно было попытаться пофантазировать о кожаной одежде, а уж иметь ее — нечего было и мечтать. Мне выпала удача изредка видеть это на одиноких счастливицах. Я даже до этого дотрагивался. Тонкий аромат, смесь духов и светлого будущего,

достигал моего обоняния прежде, чем я это видел. Эти таинственные возбуждающие волны предвещали появление чего-то прекрасного, и наконец возникало оно. Оно напоминало шелк на вид и на ощупь. Оно переливалось, было послушным, облегалo тело, придавая ему изысканность и элегантность; оно сияло в толпе, подобно драгоценному камню среди булыжников, и несло на себе печать заграничного благополучия и признаки причастности к особому клану отмеченных капризной фортуной. Кроме всех этих внешних благородных достоинств существовал целый ряд достоинств чисто практических, о которых нельзя умолчать. Это было прочно. Смазанное касторовым маслом, оно приобретало большую эластичность и не боялось воды. Грязь с него исчезала мгновенно, стоило прикоснуться влажной ваткой, а если же оно мялось, то вскоре само же восстанавливало былые формы и не нуждалось в утигое. Чего же боле?

Все ждали марта с нетерпением, но никто не ждал так, как я. С приходом же его лихорадка моя достигла предела. Я замучил Сысоева вопросами и сомнениями. Он терпеливо отшучивался.

В один прекрасный мартовский день, уже на исходе месяца, в день, озаренный солнцем, украшенный звоном капели и журчанием ручьев, в дверь моей одинокой отсыревшей кельи сильно постучали. На пороге стоял незнакомый мужичок.

— Шкурки телячьи вы заказывали? — спросил он.

— Ах, ах! — закричал я. — Заказывал! Заказывал!

— Ну, стало быть, получайте. Все шесть.

Шесть! Шесть моих шкур! Еще не выделанных, но уже моих!..

— Как договаривались, — сказал мужичок, — по семьдесят ры.

Я быстро помножил: шестью семь сорок семь? Или нет. Это шестью шесть тридцать шесть, шестью семь...

— Четыреста двадцать, — спокойно сказал он, и получил свои деньги, и сбросил тюк с саней, и уехал.

Тюк оказался тяжеленным. Я втащил его в дом и развернул трясущимися руками. Отвратительное зловоние тронутого разложением мяса распространилось по комнате. Шесть сырых скользких шкур лежали передо мной. Моя мечта начала пропитываться зловонием. Однако вовремя явился Сысоев и спросил, празднично улыбаясь:

— Ага, принесли? Ну видишь, Шалч?.. Я ему, дурню, полчаса втолковывал, где ты живешь. Ну вот, значит, теперь понеслось... Теперь просолить надо, а не то погниют. — И ушел.

Я провозился целый вечер, раздобывая соль, присаливал, присаливал, упаковывал покомпактней, наконец скатал, обмотал какими-то тряпками, веревкой, подержал на весу — страшная тяжесть — и уволок в кладовку. После долго мыл руки и проветривал комнату. Настроение немного сникло, но надежды все еще бушевали во мне.

Все это происходило именно так, как я описываю. Нет ли у вас ко мне недоверия? Мне и самому иногда все это кажется придуманным, настолько я выгляжу суетным и малосимпатичным. Я что, не умел тогда относиться к лишениям с равнодушием и стойкостью? И благодарная гордая отрешенность не покрывала моего розовощекого лица? Неужели я и впрямь был так жаден и завистлив и внешнее убранство играло такую роль в моей жизни? Особенно тяжелы были последние дни перед отправлением к мифическому калужскому скорняку. Теперь я думаю, что несоответствие меж нищенскими обстоятельствами, в которых мы все, и особенно я, находились в том трудном пятидесятом году, и открывавшимися вдруг возможностями, их головокружительная близость — все это вызывало во мне позорную, на нынешний взгляд, лихорадку. Но легко судить себя того из нынешних благополучных времен, это вздорное занятие я оставляю читателям, а сам тороплюсь навстречу Сысоеву, как и договаривались, однажды в субботу, после занятий, в самых последних числах марта.

Он подъехал на тракторе, свежий и улыбчивый, а я тем не менее всю ночь не сомкнул глаз и теперь был бледен. Но

я лихо вынес из своих тайников драгоценный, непомерно тяжелый сверток. Трактор должен был провезти нас километра два с половиной по чудовищной весенней грязи до большой дороги. И он повез. Мы выгрузились в назначенном месте и устроились в ожидании какого-нибудь попутного грузовика, так как никаких других средств передвижения тогда не существовало. Дорога эта была далеко не из главных, поэтому путешественники могли рассчитывать лишь на чудо.

Часа через три налетели ранние сумерки. Дорога была пустынная. Слава богу, в моем непробиваемом было тепло, а Семену Кузьмичу в его добротном становилось неуютно. Он пританцовывал, я стоял, прислонившись к столбу, и оба мы молчали. Не знаю, о чем думал он. Я же смаковал в своем воображении уже заученную наизусть картину: вот я привычно и легко облакаюсь в кожаное пальто. На мне кепка светло-серого материала... Представляете? Черное кожаное пальто и светло-серая кепка? Ну, еще какое-нибудь непременно кашне... Я медленно иду по московскому тротуару, распространяя тревожащее толпу благоволие. Да, я иду... Вы спросите: и что же? А ничего. Я просто иду.

Наконец, когда сумерки начали густеть, невероятный попутный грузовик, набитый полугнилой картошкой, повез нас к Перемышлю. Мы сидели на картошке, отворотившись от резкого встречного ветра. До районного центра было более тридцати километров по выбитой горбатой дороге, по бывшему Козельскому тракту, по моим нервам и моим костям.

До Перемышля мы доползли часа за два без приключений. Уже в полных сумерках. Там нам повезло: мы сравнительно быстро договорились со следующим грузовиком, идущим прямо до Калуги. Перегацили свои тюки и тронулись. И еще тридцать километров по такой же унылой дороге. Пусть меня простят калужане: для их эта дорога, наверное, прекрасна. И леса вокруг прекрасны, и поля. Но мне-то что было до всего этого во тьме, на каких-то мешках, в открытом кузове, в тряской машине, под ледяным ветром.

Начало подмораживать. Закаленный крестьянин Сысо-

ев откровенно коченел, а счастливый сибарит в своем непробиваемом пальто благодарил судьбу за удачную покупку. Это у вас там, в городе, что ни говори, а есть возможность в подъезд забежать и погреться возле батареи, а у нас здесь, в открытом кузове под режущим ветром... Вот вы над нами смеетесь в своих метро и автобусах и так самоутверждаетесь за наш счет, пока мы здесь коченеем и не покладая рук производим молоко, сливки, картошку и прочее, чтоб было чем вам наполнить брюхо...

И вот когда показались огни Калуги и снова в воздухе повеяло ароматом выделанной кожи, Сысоев прокричал сквозь стянутые холодом губы:

— А моста-то нет! Придется вплавь, Шалч!

— Как это вплавь?! — крикнул я из глубины шубы.

— Значит, сами в воду, — визгливо захохотал он, — а шкуры в руке, чтобы не замочить.

— Так ведь лед на Оке идет! — крикнул я, и жгучий ветер ворвался ко мне под шубу.

— Это хорошо! — крикнул он. — На льдинах и поплывем!

Мы остановились возле того места, откуда в обычное время начинается понтонный мост. Из-за ледохода мост был убран. Во тьме, озаренные неясным светом звезд и городских фонарей с того берега, с шорохом, скрежетом и скрипом мимо нас шли льдины одна за другой. Грузовик развернулся и ушел. Еще несколько печальных теней смутно вырисовывались у кромки воды.

— Не надо было ехать, — сказал я, — куда же мы теперь?

— А теперь, Шалч, ежели не хочешь в воду лезть, — залился Сысоев, — надо лодочку поискать. Может, кто и перевозет.

Было к полуночи. Мы продрогли. От голода кружилась голова. Наши злополучные заледеневшие тюки покоились во тьме под ногами. Но я еще был жив, и я бы не обменял драгоценного зловонного груза на тарелку горячего борща и подержанные крылья, которые вернули бы

меня в мой дом. Калуга посверкивала на том берегу, и ее мозолистая рука держала меня за горло, и, хоть и потускневший, мерцал еще в сознании образ благополучного молодого человека в черном кожаном пальто и светло-серой кепке, и ради этого я был готов на еще большие подвиги, и даже ледяная Ока не казалась мне непреодолимой. Маленький Сысоев не предавался мрачным раздумьям, он семенил по зловещему берегу, исчезал во тьме, возникал вновь и наконец окликнул меня из смутной плоскодонки: «Давай тюки, Шалч!» Это восклицание прозвучало, как «Дай руку, брат!». И я, подобно Геркулесу, изловчился, напрягся, оба пудовых тюка дотащил до лодки и рухнул вместе с ними на ее мокрое дно. Пожилой хозяин оттолкнулся веслом, и мы закружились меж льдин во мраке.

— Эй, земляк! — крикнул Сысоев. — А почему нынче потонуть?

— Дорого не возьму, — ответил лодочник, — сиди знай!

Уже на середине реки я обнаружил, что лодка медленно, но верно заполняется водой. Мои валенки погрузились по щиколотки. Я поднял промокший тюк и держал его в руках, словно большого ледяного младенца. Ничего, думал я, на фронте и не такое бывало. Берег приближался, но вода поднималась быстрее и темно-синие льдины ударили в борта. Как умудрялся лодочник проскальзывать меж ними! Теперь я вспоминаю, что мы все трое кричали, пересиливая грохот и скрежет, выкрикивали самые высокие классические образцы матерщины погоде, Оке, каждой надвигающейся льдине и Калуге, не торопящейся нам навстречу, и веслу, и воде в лодке, и шкурам, и этой жизни, и нашим мечтам... И все-таки я еще был тверд, и силуэт мой, элегантный и значительный, все еще маячил на московском тротуаре.

Был ли во мне страх? Безумие было. Хотелось победить. О если бы эта энергия и эти силы направлялись на великие дела! Какое количество великих дел возвысило бы человечество! Но в том-то и штука, что не было для меня тогда более великого, чем то, что я выполнял... Да и кто знает, что такое великое, пока оно не совершено?

Но мы успели выскочить из почти захлебнувшейся лодки и ступили на калужскую твердь.

— Эх ты! — сказал Сысоев лодочнику. — Мог бы дырочки-то залатать. Ведь потопли бы...

— Некогда, — сказал лодочник, — все ехать желают.

— А ты за деньги и утопить готов, — сказал Сысоев.

— А чего же отказываться? — засмеялся лодочник. — Весна-то в году раз бывает...

Мы долго тащились с тюками в гору, выбиваясь из сил. Калуга давно уже спала. И скорняк спал. Ока бушевала далеко внизу. И гостиница называлась «Ока» — старая, мрачная, с облетевшей штукатуркой, но, когда мы наконец вползли в нее, пуча по-рыбьи глаза, я задохнулся от густого тепла и мирной тишины.

Да, была тишина. И пожилая администраторша за своей конторкой казалась ангелом-спасителем. Пад ее золотистой головой кумир Сысоева с погасшей трубкой в руке удивленно взирал на нас из рамки.

Помню, как я протягивал администраторше деревянные ладони, и не мог вымолвить ни слова, и не слышал, о чем, жалко улыбаясь, говорил ей Сысоев. Может быть, рассказывал ей свою жизнь, не очень легкую и не самую удачную, о том, как он жил на этом свете, через что прошел, и вот теперь ему не хватает кровати во всем этом великолепном разрушающемся старом здании. И она смотрела мимо, отрешенно и привычно, с видом человека, привыкшего к тому, что от него теперь зависит и жизнь наша, и смерть.

Что уж он ей там говорил! Но он показывал ей то на меня, то на портрет генералиссимуса, и вдруг она оживилась и даже ответила, что-то человеческое промелькнуло в ее божественных чертах, и наконец нам было позволено устроиться в самом конце коридора на крашеном полу, до рассвета — не позже, и помню, я был сражен неучливой добросердечностью дежурной, выбравшей нам место возле горячей батареи. Мы расстелили мое замечательное пальто, разулись, засунули валенки за батарею и улеглись рядом, приложив ступни к горячим трубам; и накрылись пальто Сысоева и начали

стремительно уходить из этого мира... От тюков поднимался легкий парок, зловоние просачивалось сквозь упаковку, но мы были уже далеко от этих мест.

Утром нас разбудили брезгливые голоса. Мы молча одевались, посапывая, наслаждаясь теплом просохших валеков, беспрестанно твердя про себя благодарения гостиничной дежурной. В конце концов, нас могли и не впустить, а впустив, выдворить, но мы остались, и место возле жаркой батареи словно специально было забронировано для нас и наших тюков с будущим шевро. Видимо, она все-таки сумела распознать в этих полных бродягах людей, полезных для общества. И вот она сберегла наши жизни, нарушая внутренний распорядок.

Теперь оставалось самое простое: добраться до скорняка. Мы оба, сильные и молодые, вновь подогреваемые своей мечтой, сгибаясь под тюками, не успевшими просохнуть, отправились по известному адресу. Впрочем, адреса не было. Была замечательная память Сысоева, и едва мы прошли по улице Ленина, пересекли улицу Кирова, как эта замечательная память приступила к действию.

— Значит, так, — сказал Сысоев, — теперь у этой церкви направо, — мы свернули, — теперь во-о-он до того голубого забора, — подсказал он, — два квартала, и будет колонка для воды... — и точно: колонка, покрытая ледяной коркой, возникла перед нами, — от нее налево и прямо до магазина, — миновали и магазин, еще не успевший открыться, — теперь, значит, так, от магазина направо, так, во-о-он до тех деревьев...

Шли, задыхаясь, останавливались передохнуть, пытались шутить, делали вид, что веселимся, что все — трын-трава, вздор: эта ночь, Ока, ледоход, гостиница. По утреннему морозцу явственно пахло уже выделанными шкурами. Еще никто не просыпался: не было ради чего. Лишь мы одни бодрствовали в этом мире, непреклонно приближаясь к своей великой цели. И вот она внезапно открылась за каким-то очередным поворотом, открылась, и мы замерли на мгновение.

— Значит, так, Шалч, — сказал Сысоев, отдуваясь, — теперь, значит, все. Эвон он, домик, стоит. — И залился: — Стоит, чего ему сделается? Теперь, Шалч, я схожу поразведаю...

И он удалился, а я, прислонившись к дереву, застыл над тюками, и горячий пот стекал по моему высокому лбу. И я подумал о чуде. Что, если оно случится: ну, допустим, у этого скорняка залежались уже готовые шкурки, и он просто обменяет их на наши, и нам не надо будет снова ждать?..

Минут через десять вышел Сысоев, широко ухмыляясь.

— В самую точку попали, — сказал он, — ждет. Ну, Шалч, будет тебе шевро.

Он сам оттащил тюки в дом вместе с задатком, и мы были свободны.

— В конце апреля получим шкурки, — захохотал Сысоев, вернувшись, — готовь остальные деньги, Шалч.

— Сошьем пальто и поедем в Москву? — спросил я.

— А чего ж? — залился он. — Пусть смотрят...

...Как я дожил до конца апреля, не передать. Я, конечно, боролся с недугом, честно и настойчиво, но безумие (впрочем, безумием это не назовешь), но жажда, охватившая меня, утолялась едва-едва. Моя пересохшая душа, как пересохшее горло, требовала своего, и все усилия усмирить ее, успокоить, утешить, умиловить ни к чему не приводили. Как я выжил, известно одному богу. Почему это происходило со мной? Как ответить? Времена были трудные для большинства. Помню, что я был стоек. Никто меня в детстве не баловал, и направленность моей души была несколько иной. Почему же мне жаждалось выглядеть с иголочки? Не потому ли, что мне... что я... что такие, как я... то есть мы... Не потому ли, что мы... Кем я хотел выглядеть? Казаться, быть? Бог свидетель: я презирал пижонов. Чего же я жаждал?.. Мои родители были там. И хотя сын за отца... и тому подобное, но горестный отсвет катастрофы лежал и на мне, и мне ли было замирать при одной мысли о возможном превращении в импозантного красавца?

Не понимаю.

Накануне первого мая (в довершение всего) у меня выдалась бурная ночь. Первого мая с утра мы всей школой должны были собраться на праздничный митинг. Вечером накануне я осмотрел свой единственный костюм. Это был старый костюм моего дяди, подаренный мне, когда я вернулся с войны. За годы студенчества он заметно сдал. Теперь брюки внизу порвались и замахрились, и пиджак коробился и блестел на спине и локтях. В отчаянии я намеревался броситься в ножки Зое Петровне, упросить ее, женщину, своими ловкими ручками привести мою единственную одежду в приличествующий празднествам вид, но я спохватился слишком поздно: было за полночь. Наверное, ничего бы особенного не произошло и мои ученики и коллеги, привычные и не к таким лишениям, не предали бы меня позору. Но ведь оглядывали бы с печалью и сочувствием и, чего доброго, собрались бы в складчину, чтобы поддержать мою репутацию молодого симпатичного учителя грузинского происхождения с городским вкусом, с любовью к прекрасному... И вот я стиснул зубы, напрягся, взял в руки ножницы, иголку с ниткой и принялся за работу. Как я изловчился справиться со старым, расплывающимся материалом, не желающим больше жить, — не знаю. Он мучил меня и подставлял мне те места, к которым следовало бы прикоснуться ножницами, и швы терялись в складках и ускользали, и игла вонзалась далеко от намеченного места, но к утру я вышел победителем, и, когда я отпарил утюгом ветхую ткань, она благородно затускнела, и почти совсем новехонький костюм висел передо мной. Я не спал ни минуты, но удача окрыляла.

Много ли нужно? Что еще нужно, если ощущаешь себя человеком? Иди, раскованный и гордый, в свой класс, на свою палубу, на шторм, на гибель...

И вот в самом начале мая, когда празднества уже отшумели, и все зазеленело вокруг, и страшный мартовский ледоход выглядел игрушечным, и моя непробиваемая шуба висела на гвозде за ненадобностью, тогда заглянул ко мне Сысоев, с наигранным ужасом, как всегда, оглядел мою комнату и сказал, потирая руки:

— Ну, Шалч, готовься. Завтра, значит, на зорьке и тронемся, помолвившись. — И захохотал, счастливый, что принес мне долгожданную добрую весть.

Мы снова ехали в Калугу уже налегке под майским солнышком, и я видел, что дорога и впрямь хороша, то есть не шоссе, а обрамление, этот классический среднерусский пейзаж, эти вполне былинные леса и долины, покрытые легким туманцем. Ехать было радостно, и перспектива ночевки в затхлом гостиничном коридоре уже не удручала, тем более что перспектива в виде выделанной кожи была окрыляющая. Оказывается, думал я, не так уж трудно переждать, пересилить нетерпение. От этого огня не умирают, думал я, никнут и горбятся — это да, но не умирают, а с другой стороны, это, может быть, даже укрепляет нервы и душу, и черная кожа облечет уже не хилого и капризного учительишку с тонкими ножками, а воина, человека, личность... Стоит помучиться, думал я, подпрыгивая в кузове на ухабах.

Мы переехали мост, вновь наведенный после того ужасающего ледохода, и теперь он гордо поскрипывал под грузовиками, и желтая вода уже опавшей Оки дружелюбно терлась о понтоны, и наступающий вечер был ласков и милостив.

— Теперь, — сказал, посмеиваясь, Сысоев, — идем, Шалч, по прежнему маршруту.

И мы бодро зашагали по улице Ленина под зеленеющими деревьями, пересекли улицу Кирова, дошли до церкви, свернули направо...

— Надо было поскорее, — сказал Сысоев. — Скоро стемнеет — ищи тогда...

Впереди показался знакомый голубой забор. От него мы прошли, как и полагалось, два квартала, но... колонки для воды не было.

— Погоди, — сказал Сысоев, — я помню, что два квартала...

— Да мы уже все четыре пробежали, — сказал я, сдерживая начавшуюся лихорадку.

— Але, — сказал Сысоев случайному прохожему, — тут, кажись, колоночка должна быть?

— Колоночка? — задумался прохожий. — Здесь ее сроду не было. Вон на той улице, на параллельной, верно, на углу, а здесь ее не было...

— Да мы не по той улице кварталы отсчитывали, — сказал я.

— Ах ты господи! — изумился Сысоев. — А как же забор голубой?

— Может, и там забор голубой, — сказал я, — пойдём-ка на ту улицу, Семен Кузьмич, если там есть колонка, значит, та самая улица...

Мы побежали. Темнело быстро. Тревоги не было — лихорадило. На параллельной улице обнаружили наконец колонку. Оглянулись для верности, но теперь не видно было голубого забора. Пробежали уже по этой улице обратно два квартала, три, четыре... Вот и крашенный забор, но цвет уже не различить. Вроде бы голубой, а может быть, и зеленый, и коричневый. Толстая женщина стояла у калитки.

— Здравсьте, — сказал Сысоев, — какого цвета у вас забор, что-то не разберу?

— А вам зачем? — спросила она.

— Да тут, значит, спор у нас вышел, какого цвета забор...

— Ну синий, — сказала она.

— А может, голубой? — обрадовался я.

— Зачем же голубой? — рассердилась она. — Синий и синий.

Мы отошли немного.

— Знаешь, — сказал Сысоев бодро, — придется нам, Шалч, вернуться опять на улицу Ленина и уж тогда еще раз аккуратненько обратно... А то мы с тобой разлимонились, значит: весна, тепло, вот мы сейчас, вот мы уже, как все просто... А оно и не просто.

Мы вернулись к гостинице «Ока» и медленно двинулись обратно. Улицу Кирова пересекли уже в темноте. Редкие фонари были слабыми помощниками. Дошли до церкви. От нее свернули направо. Пока все было правильно. Наконец возник голубой забор, тот самый, истинный. Даже в темноте

отчетливо просматривалась его голубизна. Медленно, крадучись миновали два квартала, и... колонка стояла на своем месте! Мы ее потрогали, погладили, из крана капала вода. Теперь уже было проще: налево до магазина. Прошли, но магазина не обнаружили. Вместо магазина простиралась аккуратная площадка. Улица была пустынна. Мы стояли, тяжело дыша.

— Надо было хоть адрес записать, — сказал я раздраженно, — полные идиоты.

— Не тушуйся, Шалч, — сказал Сысоев мрачно, — найдем.

— Может, в справочное обратиться? — спросил я. — Как его фамилия?

— А черт его знает, — нервно засмеялся Сысоев. — Степан Егорыч, и все...

Вдруг послышались торопливые шаги и из-за угла вынырнул мужчина.

— Але, — радостно сказал Сысоев, — погоди, дорогой...

Увидев нас, мужчина отскочил в сторону.

— Да ты не бойся! — взмолился Сысоев. — Где он, магазин, который здесь стоял?

Мужчина отступил на несколько шагов.

— Але, — сказал Сысоев жалобно, — тебя же спрашивают, ну чего ты?..

— В справочном спрашивай! — крикнул мужчина и побежал по улице.

— Вот черт! — сказал Сысоев. — Заблудились мы, что ли?

— Давай снова попробуем, — без надежды предложил я, — от самой гостиницы.

Но это уже был чистый вздор, и мы, пораскинув, решили отправиться на вокзал и пересидеть там до утра.

На вокзале тускло освещенный ресторан работал круглые сутки. Единственный поезд на Москву отправлялся через час, и веселье было в самом разгаре. Впрочем, веселье — это громко сказано: было шумно, звонко, разухабисто, хмельно. Пахло подгоревшим маслом, прошлогодней капустой.

Табачный дым висел над столами... Нет, это вспоминается так, потому что я теперь не люблю вокзальные рестораны, подвыпивших швейцаров и официантов, постоянную суету: от поезда к столу, от стола к поезду. Теперь не люблю. А тогда, видимо, любил. А что было делать? После деревни, сырой холодной комнаты, желтой лампочки под потолком — и вдруг этот зал, и люди, и звонкие подносы, и можно заказать, отменить, развалиться, пошутить, презрительно оглядеть зал, соседей или, наоборот, сладко улыбнуться. Я плачу — а вы подавайте. Никто обо мне ничего не знает. Все, словно в бане, равны. Были бы деньги. Теперь я не люблю вокзальные рестораны. Теперь уже нет надобности самоутверждаться, стараться выглядеть, и тому подобное. А тогда хоть и было так же: и вонь, и суета, и подвыпивший швейцар у дверей, — но воспринималось как карнавал...

И сквозь раскрытую дверь виден был на стене в клубах табачного дыма привычный портрет в золоченой раме.

Швейцар долго не хотел нас впускать, просто так, нипочему, и мы жалко и без обиды толкались у дверей, и горбились, и слейно ему улыбались, одуреая под тяжестью собственных горбов. Он долго унижал нас, но чем дальше, тем вожденней поглядывали мы на ресторанные столы, за которыми можно было бы и распрявиться. Наконец он смилостивился. И мы вошли в зал. Это теперь можно, как это называется, качать права и призывать к ответу, тогда же шутки такого рода были опасны: мы ведь хорошо видели, как милиционер с малиновым околышем дружески похлопывал швейцара по плечу, когда проходил мимо, словно они свояки, кумовья, а может быть, даже братья...

Мы заказали графинчик водки и по порции котлет с лапшой.

— Ну, Шалч, — проговорил Сысоев, откинувшись, — кто сказал, что жизнь плохая?

И я кивнул ему согласно, потому что мне и впрямь было хорошо.

Мы выпили, свет стал ярче, я подошел к ресторанной двери, не сгибаясь. На мне было черное кожаное пальто и

светло-серая кепка, и швейцар распахнул дверь передо мною. Я похлопал его по плечу...

Я доел котлеты, и мне захотелось ликера с кофе... Теперь я ликеров терпеть не могу, эта сладкая влага мне отвратительна, но тогда мне казалось, что ликер с кофе — это так высоко, тонко, аристократично, и подите вы со своими котлетами неизвестно из чего и с лапшой, от которой склеиваются внутренности!..

И я заказал ликер и кофе. И мне принесли рюмку ликера и чашечку черного пойла, но все же... Сысоев, хотнув, придвинул к себе графинчик с водкой. В этот самый момент к нашему столу подошли двое — мужчина и женщина — и уселись на свободные места. Они были крепко навеселе, особенно женщина, но тут же заказали поллитра и по порции кислых щей. Женщина долго всматривалась в меня, потом выговорила с трудом: «Усики...» — и показала черные зубы.

— Помалкивай, — сказал ей мужчина и объяснил нам: — В Архангельск везу, на лесозаготовки...

— Ее одну? — удивился я.

— Зачем одну? — усмехнулся мужчина. — Их тут много наwerbовал... вот и везу... А вы кто ж будете?

— Мы местные, — сказал Сысоев и кивнул в мою сторону: — А он грузин...

— Грузин? — удивился мужчина.

— Ага, — сказал Сысоев и снова кивнул уже на портрет...

Женщина спала, положив голову на скатерть. Мужчина выпил и вдруг заплакал.

— Але, — сказал Сысоев, — что это ты?

— Письмо ему написать хочу, — сказал мужчина, — чтоб разобраться во всем...

— В чем же? — спросил я.

— Эх ты... — снова заплакал мужчина, — да у нас там вредители в начальниках... понятно?

— Пиши, пиши... — сказал Сысоев и кивнул на портрет в золоченой раме, — он им даст...

— Конечно, — сказал я.

— Да я не умею, — захныкал мужчина, — как это письмо писать? С чего начинать?.. Не умею... А то еще не так чего-нибудь...

— Давайте я напишу, — вызвался я, — вы мне факты, фактики, а уж я сделаю...

— Он сделает, — сказал Сысоев, — он грузин, он университет закончил...

Как там все это в точности происходило, сейчас уже не помню. Он бормотал что-то, я записывал. Зачем это мне нужно? — думал я, а сам все записывал, записывал, пока кто-то не произнес над моей головой:

— Ваши документы, гражданин...

Милиционер в малиновой фуражке тянул мне ладонь. Женщина спала. Мужчина смотрел дикими глазами. Сысоев зарумянился и сказал тоненько:

— Ой, мне в туалет надобно, я сейчас...

Я выложил на широкую милицейскую ладонь все, что у меня было. Он подхватил мой блокнот и велел мне следовать за ним.

— Не трожь... — прохрипел мужчина, — не трожь, говорю...

И меня повели.

В дежурной комнате сидел капитан с желтым помятым лицом. Милиционер разложил перед ним мои бумаги и сказал:

— Вот, товарищ капитан, гражданин сидел с пьяным и чего-то у него выспрашивал и записывал... Сам не ел, не пил...

— Ну что? — спросил капитан.

— Как это не ел, не пил, — сказал я, слабея, — я съел котлеты с лапшой и ликер выпил...

— А что записывал? — спросил капитан.

— Видите ли... — сказал я.

— Давай его туда, — сказал капитан и кивнул на боковую дверь.

Я вошел в маленькую грязную комнату с лавкой, и дверь захлопнулась, щелкнул замок.

Шесть квадратных метров. Тусклая лампочка над входом. На окне решетки, за решеткой майская ночь. За дверью — чужой равнодушный офицер... Несколько минут назад мне хотелось выглядеть человеком. Разве это было несправедливо? Да зачем, зачем мне понадобилась эта дурацкая кожа! Я обманывал сам себя, думал я, играя в эту игру с деревенским совратителем, не верил и играл — и вот доигрался... Теперь, когда выяснят, что мои родители... потом усмехнутся понимающе и недобро... Я, конечно, отвечу словами того человека, который везде: в мыслях, в воздухе, в разговорах, в позолоченных рамах. Я, конечно, повторю, как магическое заклинание, сказанное им однажды, что, мол, сын за отца не отвечает... да ведь и яблоко от яблони... и это тоже надо учитывать, ибо это тоже народная мудрость, а народ не ошибается... Теперь, в наши времена, какой-нибудь молодой человек в подобной ситуации спросил бы с легкой усмешкой ничего не боящегося члена общества: «А почему, собственно, я не могу записывать, что желаю?..» Что ответил бы ему усталый капитан? Действительно, ну достал блокнот, ну записывал. Что дальше?.. Но это теперь... А тогда... Куцый пиджак, и чертовы усики, и рюмка ликера, и пьяный бред о каких-то вредителях, и все это в то самое время, когда, как мы знали, сотни и тысячи закамуфлированных злодеев шныряли среди нас, записывая, выпытывая, отравляя, взрывая... Помню, как на лекции о коварстве иностранных разведок лектор сказал: «Западный агент, к примеру, в ресторане выпивает по глоточку и не закусывает. Это бросается в глаза...»

Если бы я сидел в своей деревне, не поддавшись на провокации Сысоева, ничего этого не было бы: ни лихорадки, ни вожделения, ни мучительной дороги в кузове грузовика, ни плавания среди льдин, ни унижения в гостинице, ни этого чудовищного ликера и пьяных рож, ни зарешеченных окон и перспективы насильственного путешествия куда-нибудь подальше, надолго, навсегда... «Где ваши родители?» — «Видите ли...» И все. Потому что жалким словам было не под силу перебороть существовавший стереотип. Зачем мне понадобилось это проклятое пальто?..

Наступал рассвет. Кажется, я плакал. Тихо, для самого себя. Я еще надеялся, что произойдет чудо: усталый капитан забудет обо всем, выслушает меня без интереса, махнет рукой, и я ринусь на улицу, сбегу к Оке, на первом же попавшемся грузовике укачу в деревню, домой, сварю суп из молодой крапивы и пшена, засну и проснусь в другом мире.

В этот момент там, в предбаннике, что-то загрохотало, треснуло, и хриплый голос проорал: «Не трожь, тебе говорят?..» Кого-то там вталкивали, втискивали в двери, а он упирался и орал: «Сталин где?! Куда подевали?..» Это был тот архангельский вербовщик, допившийся до горячки. Он искал меня и топил меня окончательно, перепутав в своем помутневшем сознании мои тщедушные усики с теми, всемирными, и он топил меня, топил, приговаривая к дальней дороге, пьяная сволочь...

— Заткнись, сволочь! — крикнул я сквозь слезы, но никто не мог меня услышать, и на чудо нечего было рассчитывать.

За окном быстро светало. Вскоре и вовсе наступило майское утро, зазвучали шаги счастливых прохожих... Если бы не это шевро!.. Затем отворилась со скрипом дверь, и меня пригласили в предбанник к дежурному. Я стремительно шагнул вместе с kloкочущим в горле криком: «Товарищ капитан, я умоляю вас... это все недоразумение!.. Честное слово, я не виноват!.. Это он виноват, этот пьяный негодяй, болтун... Спросите у наших... Я хотел сшить кожаное пальто... я как дурак пережидал до утра... я думал... Это Сысоев меня надоумил, а сам убежал. Честное слово, я умоляю вас!..»

За барьером сидел молодой незнакомый лейтенант. Он повертел мои бумаги и спросил бесстрастно:

— Проспались?

— Я не спал, — сказал я, просительно улыбаясь.

— Лавка жесткая? — брезгливо усмехнулся он.

Через окно виднелся перрон. Там стояли пассажиры. Цветы распускались на газоне. На вывеске было написано «Хлеб».

— Я всю ночь думал, что неправильно поступил, — сказал я.

Он протянул мне мои бумаги.

— А теперь что? — спросил я, не веря.

— Пить надо поменьше, — сказал он, — идите.

...От вокзала до понтонного моста я добежал за какие-нибудь десять минут, ни разу не оглянувшись. На берегу Оки на свежем бревне сидел Сысоев. Я присел рядом, тяжело отдуваясь. Мы молчали. Он рисовал на песке веточкой домик. Доканчивал, стирал и вновь начинал, но уже с большим совершенством. Я стал рисовать тоже.

Так текло время. Попутных машин не было. Желających ехать прибавилось.

— Ты чего, Семен Кузьмич, испугался? — спросил я, не поворачиваясь к нему.

— Зачем испугался! — сказал он сквозь зубы. — Вовсе нет... Вот машину жду.

Мы снова помолчали.

— А чего вам там говорили? — вдруг спросил он, стирая очередной домик.

— Ничего, — сказал я, — вернули бумаги, и все...

— Ух ты, и все! — засмеялся он. — Фамилию-то небось записали?

— Ну и что? — спросил я шепотом.

— А ничего, — сказал он, — теперь узнаете...

— Да ведь там дежурный сменился, — заспешил я, — лейтенантик какой-то, он и не спрашивал ни о чем. Идите и идите, я и пошел. Я сначала испугался, знаешь, как подумал, что вот о родителях спросят, то да се, ну, думаю, конец...

— Это почему же конец? — спросил он, презирая меня. — Что же, у нас разобраться не могут? Больно вы рассуетились, словно виноваты...

— А что это ты на «вы» со мной? Мы ведь не один день знакомы... — удивился я.

— Да уж больно-то мы и знакомы, — сказал он, оглядывая дорогу. — Я вас и не знаю-то толком...

Я не успел ответить, как подкатил грузовик — спасительный экипаж, который увезет меня от этих мест подальше,

Будай Окцджав

будто бы в недостижимые пространства. Все забрались в кузов, и я уселся на какой-то мешок, и лишь один Сысоев продолжал дорисовывать дом...

— Давай скорее! — крикнул я без надежды.

— Вы едете и езжайте, — сказал он, не поднимая головы, — а у нас в Калуге дел по горло.

И я уехал.

Наша дружба с Семеном Кузьмичом оборвалась. Он меня в гости не приглашал, да и я не навязывался. О коже он тоже не вспоминал. Я не спрашивал. Потом мне удалось выяснить у одного знающего человека, что все равно хранили мы шкурки неправильно и за такой срок без обработки они должны были сгнить непременно. Это известие меня окончательно утешило. О деньгах я не пожалел. А может быть, окажись я тогда на вокзале в черном кожаном пальто — неизвестно, где бы я сейчас находился. А тут корявый пиджачок, какие были на всех, стоптанные башмаки... Чего с меня взять? Верно ведь?..

Октябрь, 1985

УРОКИ МУЗЫКИ

Рассказ

Нынче все это по прошествии сорока с лишним лет представляется столь отдаленным, почти придуманным, что я теряю реальное ощущение времени. Да и самого себя вижу почти условно: так, некто нереальный семнадцатилетний, с тоненькой шейкой, в блеклых обмотках на кривых ножках, погруженный в шинель с чужого плеча; почему-то с карабином; почему-то делающий не то, что надо, и потому виноватый перед сержантом Ланцовым.

Сержант Ланцов — старик тридцати лет, кадровый, сколоченный из мореного дуба, глядящий на меня с подозрением и болью, учитель жизни и минометного искусства, которое есть первейшее для нас, то, что вы городские и шибко грамотные, это вы забудьте, так и так, и разотрите... это вам не географией баловаться... Как стоишь! Встать, сесть!.. Смирна! А ну подравняйся!..

И все в таком роде. И на каждые три слова два несловарных, или наоборот, в зависимости от обстоятельств... Выше ногу! Шире шаг! Так и так!.. Акаджав, убрать живот! (У меня, оказывается, и живот есть. А я думал — только позвоночник.) Чего лыбитеесь? На губу захотел, так и так?.. Стой! Вольно... Теперь глядите: это чего у меня? Какая ж это бомба? Ты куда приехал, так и так? В минометную... Значит, чего у меня в руках? А сколько она весит? Весит шестнадцать килограмм, понятно? Осколочного действия, понятно? Засаживаем в ствол, а руки сбрасываем, понятно? Впереди у нее чего? Кто знает?.. Эх вы, грамотные, так и так... Впереди у нее менбрана, понятно?

Широкоскулое, губастое лицо учителя вызывает непродолжительный шок. От хриплого баритончика холодеет спина. Но мы привыкаем стремительно, вот уже нестрашно: в глазах, в голосе, в каждом жесте — вдохновение фанатика, хотя словарь все еще оскорбляет. Впрочем, и это ненадолго...

— Я вам поулыбаюсь, так и так!.. Мембрана очень чувствительна: легкое прикосновение к предмету приводит ее в действие, и мина разрывается... — Это он произносит строго по инструкции, изысканно и гладко. — Она как полоснет осколками, и прощай, так и так, понятно?

— А может, все-таки мембрана? — говорит кто-то из смельчаков.

— Разговорчики! — кричит Ланцов. — Акаджав, повторите.

— Разговорчики, — повторяю я. Все смеются в ладошки. Но перед ним долго не посмеешься. Тишина. Осень. Мелкий дождь. В груди сержанта накапливается знакомый мотив, уже звучат отдельные нотки.

— Повторите про мину, — говорит он угрожающе.

— Если прикоснуться к мембране, она как полоснет, и прощай...

Уже год идет война, а он на фронте так и не побывал. Продолжает свою кадровую службу в заштатном учебном минометном дивизионе, обучает новобранцев, выстраивает их в маршевые роты, а сам не достаивается и считает себя несправедливо обиженным. Вот почему противоречивые чувства разрывают ему сердце: с одной стороны, он, понимаешь, готовит пополнение, кадры. Всю душу, понимаешь, вкладывает. Не может сдержатъ слез, когда провожает очередных маршевиков, им выгесанных из ничего, ну совсем, так и так, из ничего. А с другой стороны, вот они, понимаешь, уходят туда, на передовую, понимаешь, становятся героями, а он, понимаешь, здесь припухает, так и так...

— Товарищ сержант, — робко спрашиваю я из строя, — значит, вы сами на фронте-то не были?

— Отставить разговорчики! — кричит он.

Во время перекура мы сидим на бревнах. Он в центре. Он рассказывает, скольких он уже обучил и как они там сражаются.

— А что же это вас-то никак не пошлют на передовую? — спрашивает кто-нибудь.

— А кто ж его знает, — говорит он без охоты. — Может, позабыли, а может, здесь я нужен... А ну кончай перекур! Становись! — И знакомая музыка разливается по учебному полю. — Бегом марш!.. По-пластунски! Давай-давай! Брюхом к земле, так и так! Акаджав, отставить карачки, на брюхе ползи, так и так! Грязно?.. А на передовой чисто?! Что значит устал, так и так! Будешь ползти, куда весь пар не выпустишь... Грязно ему, понимаешь... Встать! Бегом!.. — И сам бежит с угрожающим ликом, и сам бросается брюхом в грязь и ползет с ожесточением. — У меня не сачковать, так и так! Тяжело в ученье — легко в бою, так твою!.. Не можешь — научим, не хочешь — заставим!.. Окопаться! — И мы вгрызаемся в грязь, в камни, в корни, и воздух насыщен сопением, звоном, чавканьем, выкриками сержанта, пронзительной музыкой, мечущейся над нами от зари до зари.

Трудно сейчас представить, как я все это проделывал, как не отвалились руки, ноги. Я ли то был, тот кривоногий солдатик с оттопыренными ушами, выброшенный из домашнего убогого тепла прямо в ожесточенные пятерни сержанта Ланцова? Я ли то был? И по вечерам, прежде чем грянуться в полуобморочный сон, не до меня ли доносились вязкие нашептывания сержанта из дальнего угла: «Смерть чего хочешь? А того, понимаешь, чтобы тебя перехитрить... Ты от нее беги, а она, так и так, быстрая, сука... Значит, ты не беги, а зарывайся. У нее — пуля, а у тебя чего? Лопата. У ней — штык, а у тебя чего? Карабин, понимаешь, заряженный. Вот так оно и идет: она пулю, а ты лопату, она штык, а ты пулю, она тут как тут, а у тебя окопчик, так и так... Ее перехитрить надо.. Чего? За какой еще пенек? Эх ты, грамотный... за пенек... А воевать кто будет?.. Чего? А ежели доберется до тебя, стало быть, перехитрила...» Я уже смутно вспоминаю это свое

прошлое. Я погружен в горькую оглушающую музыку, встаю под нее, бегу, вылизываю котелок, ползу по грязи, таскаю мины, выслушиваю оскорбления... И все под нее.

Мы иногда сопротивляемся. Мы иногда пытаемся примирить эти грязь и ожесточение, эти визгливые, дикие мелодии с иными нотами, еще трепещущими в наших душах. Дрожь обиды еще сотрясает наши тела. В поисках гармонии мы выглядим нелепо. Но ведь мы маленькие люди с тонкими шейками и детским опытом, и поспешные мысли о расплате с обидчиком гудят в наших головах: отомстить, ответить, оскорбительно глянуть в голубые прищуренные глаза, усмехнуться, не опускать головы, помнить, что ты — центр мироздания, царь природы, пусть в шинели с чужого плеча, пусть на кривых ножках в блеклых обмотках...

Мы идем по пустынному, развороченному полю. Пахнет супом с вязкими ржаными галушками и единственным лавровым листком на всю батарею. И словно в небесах возникает хрипловатое стремительное: «за!» — затем с понижением медленно, словно затаившееся в засаде: «пе-е-е», — и внезапно, как выстрел: «вай!..»

— Вай, вай, вай! — выкрикивает кто-то из кавказцев.

Он ставит нас по стойке «смирно», чтобы до нас, понимаешь, дошло наконец, что это не песенки какие-то там, хочу — пою, хочу — не пою, в школе, понимаешь, там под всякие патефоны, так и так!.. «Кругом! Шагом марш!.. — И прочь от столовой, от клейких вожделенных галушек... — Это вам песня, так и так! Боевое задание... Выше головы! Будете у меня ходить хоть до отбоя, так и так, и после отбоя... А кто-то у меня два наряда вне очереди получит!.. Кругом! За-пе-е-е-е-вай!» И мы поем, черт бы его побрал.

После обеда мы сидим у столовой в ожидании построения. Дымок от самокруток вьется в сентябрьское небо. Сержант Ланцов, раскованный и вальяжный, треплется с другими сержантами. И вдруг все преобразается. Лейтенант Федоринин, командир нашей батареи, аккуратно ступая по лужам, подходит к нам... Это особый разговор.

Лейтенант — фигура малопонятная, почти таинственная. Мы его видим редко. Ему слегка за двадцать. Он строен и кудряв. И вздернутый носик, и розовые щеки, и тонкие губы, и сияющие хромовые сапоги, и два кубика в петлицах — все это наш командир батареи. Он какой-то другой, загадочный, из иных сфер, легко и плавно опустившийся на эту грязную землю... У меня холодеет спина.

— Батарея! — кричит сержант.

— Вольно... — снисходит командир батареи.

Лейтенант Федоринин — это почти божество, и кубики на его петлицах кажутся мне ромбами. Что уж говорить о командире дивизиона капитане Бовшике? Его я видел однажды, да и то издали, а если бы вблизи — грянулся бы, наверное, бездыханным.

По сержантовым скулам разливаются темень и свет, и скорбь заволакивает его голубые глаза, и хриплый его баритончик доверительно и неоднократно упоминает мое имя в том смысле, что Акаджав, понимаешь, самый нерадивый — и окапывается медленно, и на турнике подтягивается всего два раза, будто девка... «Два раза? — усмехается лейтенант. — Ну и ну...» И когда все ползут по-пластунски, он норовит на карачках... «На карачках?» — не верит лейтенант... Мы все, товарищ лейтенант, бегим цепью, а Акаджав не бежит. Гляжу, кто, понимаешь, отстающий? Обрато Акаджав! Все, понимаешь, стараются, сил не щадят, а Акаджав с прохладцей... Я, товарищ лейтенант, с им в разведку не пойду...

«Акаджав, Акаджав, ты, конечно, не прав», — думаю я обреченно.

Лейтенант Федоринин прищуривается в меня:

— Ну, Окуджава, что делать будем?

Я молчу. Все, что было сказано обо мне, наверное, правда. Это как песня, из которой слова не выкинешь. Но что-то душит меня, мешает мне ответить. Я хочу вздернуть голову, но она клонится. Я хочу открыто глядеть лейтенанту в лицо. Но вижу носки своих перепачканных грязью ботинок. Это грязь войны, грязь моей судьбы. Разве она не укор вам, мои

командиры? Разве ее недостаточно, чтобы выглядеть в ваших глазах достойным хотя бы сочувствия?

— А почему обувь грязная? — спрашивает лейтенант.

— Вот, понимаешь... — бормочет Ланцов.

— Два наряда вне очереди! — говорит лейтенант звонко и улыбаясь. — Сержант, через недельку доложите, какие успехи...

Через недельку я подтягиваюсь пять раз; ползя по-пластунски, словно ящерица, сливаюсь с грязью, задыхаюсь, выплевывая землю, подношу мины, готов умереть по мановению сержантова пальца... Я уж не говорю о том, как с помощью травы и тавота довожу до блеска свои ботинки... Где-то в глубине души теплится надежда, что лейтенант Федоринин видит все это, скрываясь за кустами, и одобрително кивает кудрявой головой... Сержант окапывается со мною рядом, расплескивая вокруг хриплые проклятия немцам, их танкам, их орудиям, их матерям и женам, и Гитлеру, и... так вашу растак! Врешь, не возьмешь!.. Ланцова не возьмешь... Ланцов вас таких сам в душу... Натё, гады! А вот еще... И так, и так!.. Я заморожен его откровениями и потому останавливаюсь и слушаю этот мотив, который с каждым днем становится мне понятнее. «Акаджав, опять сачкуете! Ройте глубже, так и так!» — и смотрит на меня почти с омерзением.

Вечером, за десять минут до отбоя, я тянусь перед лейтенантом из последних сил. Я уверен в том, что на этот раз все у меня в ажуре: я был скор, ловок и красив: я ползал так, что вдавил грудную клетку; я окапывался молниеносно (пусть этот окопчик станет могилой вражескому солдату); я без запинки ответил устав; разобрал и собрал затвор карабина; по тревоге выбежал чуть ли не самый первый... остальные там чухались, а я уже выбежал...

— Когда окапывались, товарищ лейтенант, он, понимаешь, остановился и глядит, будто спит... Тут, понимаешь, каждая минута дорога...

— Рассеянность, товарищ Окуджава, — говорит лейтенант, — это бойца не красит...

— Это не рассеянность, — говорю я с отчаянием. — Это сосредоточенность...

Впрочем, не берусь утверждать, что именно эту фразу я произнес тогда: очень может быть, что попросту украл ее из фильма Владимира Мотыля, в котором незабвенный Олег Даль произнес ее с подкупающим очарованием. Не помню. Но что-то такое я из себя выдавил, пользуясь правом царя природы и еще подогреваемый едва слышной музыкой домашнего тепла, до которой, кроме меня, уже никому не было дела.

В два этажа нары из сосновых досок — пристанище нашей учебной батареи. В самом конце — топчан сержанта, отгороженный от нас брезентовым пологом. У него там свой фанерный сундучок, в котором драгоценности и тайны, и он их перебирает с любовью, когда удастся на несколько минут избавиться от нас перед отбоем... «Личное время, понимаешь: уставчик подзубрить, письма накатать... Мне писать некому: моя деревня под немцем. Ты, Акаджав, чего стоишь по стойке «смирно»? Садись... Личное время, понимаешь...» Он на меня не смотрит, роется в сундучке, вынимает открытку, рукавом с нее стирает пыль... «Я ведь тебя зачем позвал? Хочу, понимаешь, спросить: как дальше будем? Так все и будем отставать? Мало я тебя гонял?...» — «Вполне достаточно...» — говорю я. «Могу и больше... — Скулы у него начинают двигаться, но смотрит он в сундучок... — Знаешь, как могу? Весь пар, так и так, выпущу... И не таких ломал. Знаешь, какие тут были? Уж они такие городские, такие грамотные, такие все из себя гордые... Ладно, так и так, я вам поскалюсь... А теперя они с передовой знаешь чего пишут? Спасибо, мол, сержант, за науку, очень пригодилась, понимаешь...» — «И я напишу», — говорю я... «От тебя дождешься, как же... — И вдруг кричит: — Опять ботинки нечищенные! Вы у меня поразговаривайте! Чтоб начистить!.. Вот я сейчас, так и так, карабин проверю... Ну ежели, понимаешь, что не так, так и так, будете, понимаешь, до утра у меня вертеться... Крууу-гом!..» Мне снится сон.

— Товарищ сержант, — спрашиваю я, — почему вы меня все время оскорбляете?

— Это вы меня оскорбляете своим внешним видом, — говорит он, — своими тонкими ручками, усмешкой, которая должна меня унижить.

— Это вы унижаете мое достоинство, — говорю я.

— Меня оскорбляет ваше наплевательское отношение к нашему общему делу, — говорит он.

— Вы все время коверкаете мою фамилию, — говорю я.

— Пытался вызубрить, — вздыхает он, — ничего не получилось. Я буду называть вас товарищ боец, и по уставу, и необходимо. Согласны?..

Это, видимо, так преломился подслушанный мной разговор. Случайно долетело: «Что это вы фамилию его коверкаете?» — «Да я, товарищ лейтенант, замучился. Заучивал, заучивал, понимаешь...» — «Ну-ка, повторите, — смеется лейтенант Федоринин, — ну-ка...» — «Акаджав». — «О-куджава, — диктует лейтенант, — повторите...» — «А-каааджав», — старательно выговаривает Ланцов. «Н-да, — говорит лейтенант и внезапно кричит: — К завтрашнему чтобы выучить, так и так! Смотрите у меня!..» Кто-то говорит: «Снег пошел!» Снег идет. В казарме холодно, сыро... Холодно ему, понимаешь! Телят в холоде держать надо — здоровше будут. Холодно... А на передовой, так и так, тепло?

Наконец внезапно наступает это самое утро, утро новой жизни или подведения итогов, уж и не знаю, как его назвать. Слышится привычная труба и истошный вопль Ланцова: «Батарея, подъем!» Все происходит мгновенно: кальсоны, галифе, ботинки... Выбегаю в темень, в дождь, в снег... «А ну, пошевеливайся!..» Тяжелый топот ног: сначала с грохотом по тайной надобности, затем на плац и растягиваемся в несколько рядов. Мощный тугой обнаженный торс сержанта перед нами: «Делай и раз, два, три, и раз, два, три!» Мне жарко, снежинки тают на плечах и спине. Бегу со всеми, не отставая, подтягиваюсь на турнике, выгибаюсь назад — вперед... «Кому холодно?» — кричит Ланцов. «Никому!» — кричит кто-то. «Молодцы!.. Бегом! Стой! Шагом марш!.. Разойдись!..»

Умываюсь ледяной водой, и от моего тщедушного тела исходит пар, и сквозь этот пар мне видится моя новая жизнь. Чем же она замечательна? Она замечательна тем, что холод меня отныне не берет, и расстояния мне не страшны, и вырыть укрытие для миномета мне ничего не стоит. Заканчиваю копать, подбиваю стеночки — пульс нормальный. Где же вы, мои недавние усталость и отчаяние? И тяжелая звонкая непечатная дробь сержантовых претензий, не причиняя вреда, отскакивает от меня, как холодный дождь от дубленой кожи. Все глуше музыка души, все звонче музыка атаки...

И вот наконец сержант Ланцов подзывает меня, и я готовлюсь к очередной порции его неудовольствия, а он говорит:

— Акаджава, возьмите этих, погоняйте...

Передо мной — десять стариков лет по тридцать пять. Неловкие, сутулые, напряженные. Полусолдаты. Сегодня прибыло пополнение из запасного полка.

— Акаджава, — говорит сержант, — погоняйте их строевым, понимаешь, как следует. Вон они, понимаешь, сонные какие... Чтoб у меня, так и так, весело глядели!.. Это им не запасная богадельня...

До меня не сразу доходит. Чему же я могу научить их, я — самый несмышленный, самый нерадивый, с тонкими горod-скими ручками, с тонкими кривыми ножками, закрученными в обмотки?.. Уж не смеется ли сержант Ланцов, не мстит ли мне за жалкие попытки отбиться от его неприязни? Но сержант Ланцов на плацу смеяться не умеет. Значит, это всерьез, и я действительно кажусь ему достойным этого великого назначения? «Смирна! — командую сдавленным голосом. — Шаго-о-ом марш!» И веду понурую десятку в дальний конец плаца. Этот плац, занесенный рыхлым, тающим снегом, кажется мне тесным и убогим с высоты моего непомерного роста. И плац, и лесок на краю, и сержант Ланцов, удаляющийся к казарме, и десять перезрелых моих учеников — все видится маленьким и призрачным, сливается там, внизу, у меня под ногами, и припадает к моим гигантским ботинкам. Все замерло в ожидании.

Мои запасники жмутся друг к другу. На них нелепые, не по росту шинели, выцветшие и пятнистые. Они не знают, куда им девать руки. Лица посинели от ветра. У одного из них на синем лице — красный увесистый нос. Этот постарше остальных: ему вполне сорок.

— Холодно? — спрашиваю по-отечески.

— Да уж не жарко, — говорит один из них.

— Сейчас бы в самый раз на печку, — говорит другой.

Тот, с красным носом, молчит. Он уставился на меня маленькими темными глазками, то ли с мольбой, то ли с укором. Он пританцовывает на месте, и его синие губы растянуты в подобие улыбки.

— Значит, холодно? — спрашиваю я. — А на передовой не холодно?..

Как это было давно! Я уже не помню, какой у меня, семнадцатилетнего, был тогда голос. Наверное, тенорок. Они насторожились при упоминании о передовой, так, слегка, но покорно ждали команду. Снисходительные взрослые перед воинственным петушком: ладно, давай, мальчик, поиграем, если тебе охота... Сейчас я поиграю... Вы у меня наиграетесь...

И я кричу ликующим тенорком:

— Смирна!

Что-то обрывается у меня в горле от напряжения, какая-то штучка встает поперек. Они замирают. Все отвратительно, не по-военному.

— Убрать животы! Грудь вперед! Вы что, понимаешь, игрушки играть? Мать, мать! — кричу я почему-то хриплым баритоном. — Это вам что, понимаешь, за супом очередь? Смирна! Напра-а-а-а-а-ва! Бего-о-о-о-ом марш! — И бегу рядом с ними.

Я бегу легко: для меня это забава, они — грузно, посапывают.

— Подтянись! — кричу тому, с красным носом, из-за него теряется строгая линия бегущей цепочки. — Кому сказано подтянуться! — Он торопится и при этом помогает себе руками, будто продирается сквозь толпу. Они думают — это

баловство. Сейчас они узнают, что значит наша минометная батарея. У нас на батарее... мы на нашей батарее... — Раз-два, раз-два, раз-два!.. Стой! Шаго-о-ом марш! — Они идут, отдуваясь, отплеываясь. Я слежу за тем, с красным носом, он украдкой поглядывает на меня: ждет одобрения? Суту-лый, в грязных ботинках, пожилой обозник... — Строевым! — Они пытаются идти строевым, цари природы!.. — Отставить! Кто же так строевым ходит? Вот как надо. Смотреть всем! Нога идет так, понимаешь, так — так, так — так, всей ступней, тяни носок, так и так, чтоб земля дрожала, как один, понимаешь!.. Это вам не на прогулочку по переулочку! Равняйся! Смирна! Шаго-о-ом марш!

Они идут опять не так, опять не так. Не так, так и так! Ладно, сейчас увидим. Я нахожу место на плацу, самое истоптанное, где мокрый снег перемешивается с грязью.

— Ложись!

Они медленно, с ужасом поглядывая на меня, опускаются в это месиво.

— По-пластунски, марш!

Они ползут, подрыгивая ногами, выгибая спины.

— Брюхом к земле, так и так! Отставить карачки, на брюхе ползти! Грязно? А на передовой чисто? Что значит устали, так и так! Будете ползти, куда весь пар не выйдет... Грязно им, понимаешь! Быстрей, быстрей!.. Встать! Бегом! — И сам бегу рядом... — У меня не сачковать, так и так!.. Тяжело в ученье — легко в бою, так твою!.. Не можешь — научим, не хочешь — заставим! Стой! Строевым! Выше голову!..

А тот, с красным носом, совсем не тянет... И тут я почему-то вспоминаю своего погибшего отца, которому сейчас тоже было бы сорок. Но мой отец был строен, и жилист, и ловок, и красив, хотя на холоде и у него нос краснел, но он в любой мороз ходил с открытой грудью, хоть и кавказец, и смеялся, если его уговаривали прикрыть горло шарфом... Мой отец всегда... У моего отца все было с иголочки... Сапоги у него всегда сверкали... У нас на батарее... Мы на нашей батарее... Наша батарея...

А может быть, лейтенант Федоринин в эту самую минуту наблюдает за мной, думаю я, пылая, и его круглое лицо еще круглее от улыбки, и он говорит Ланцову: «Вам, сержант, понадобилось почти два месяца на подготовку новичков, а Окуджава... вы только поглядите, поглядите-ка...» «Конечно, — думаю я, — сначала им тяжело и обидно, зато после вы же меня, понимаешь, сами благодарить будете. Это сначала, понимаешь, непривычно, а потом...»

— Отделение, стой! Вольно! Можно покурить...

У края плаца лежит бревно, и они усаживаются и закуривают. Этот, с красным носом, вытянул длинные несуразные ноги, отдувается, на ржавой шинели грязь, ботинки черт знает в чем.

— Отставить перекур!

Они бросают свои самокрутки, тяжело поднимаются. Слишком тяжело!

— Быстро вставать, так и так! На рынок собрались? Хочу — пойду, хочу — нет?.. А ну сесть! Встать! Сесть! Встать — сесть! Встать — сесть!... Встать!.. У нас на батарее, понимаешь... Привести себя в порядок, чтобы, понимаешь, выглядеть бойцами...

И сам же первый начинаю чистить перышки. Они отряхивают друг друга, тяжело дышат, тихо смеются... Этот, с красным носом, все-таки похож на моего отца, то есть совсем не похож, но что-то такое... Отец мой был ловкий, он быстро бы все почистил, а этот...

— Вот так надо, — говорю я, — вот так, — и помогаю ему соскрести грязь с рукава шинели.

И в ответ до меня доносится еле слышное, неловкое, тягучее, как мед:

— Да что вы, товарищ командир, сам управлюсь, ничего, ничего...

«Командир!»

— Да какой же я командир, — говорю я, — такой же солдат...

— Голос командирский, — говорит кто-то.

Я хочу сказать, что это не мой голос, но эти разговорчики, всякая эта болтовня, возишься тут с ними, понимаешь...

— Можно закурить.

Они снова закуривают.

— Устали? — спрашиваю. — Ничего, здоровее будете.

Они тихо смеются.

— А вы, — говорю этому, с красным носом, — что-то отстаете, придется дополнительно побегать...

— Научимся, — отвечает тихо, — с непривычки тяжело...

— А на передовой легко? — спрашиваю я. — Там, понимаешь, немец разговаривать не будет: легко — тяжело. Там давай-давай, поворачивайся. А на печке потом, понимаешь, лежать будем. Верно я говорю?

— Верно, — отвечают нестройным хором.

Я присаживаюсь рядом. Я тоже устал, черт его подери. И из меня словно пар выходит и растворяется в сером небе. Сейчас за давностью лет, кажется, и не скажешь, о чем они тихо переговариваются, посасывая самокрутки, поплеывая в снежное крошево, но догадаться нетрудно. Вымысел мой доносит тихий шепоток, из которого являются на свет то дом, то окно, то женские глаза, то детская ручка, то праздничные пол-литра, то черная неизвестность, то вздох отчаяния, то шорох пожелтевшего письма... Если лейтенант Федорин тайком понаблюдал за моей работой — назначит меня командиром отделения, и тогда прощай Ланцов в конце концов. И на перекуре усядемся мы с ним рядом, и он скажет: «А твои-то ничего, понимаешь... Я гляжу: они ничего, дело знают». — «А твои?» — спрошу я. «Мои совсем никуда, — вздохнет он, — да я их, так и так, еще прижму. Это им, понимаешь, не игрушки». — «Правильно, — скажу я, — им потачки давать нельзя. — И спрошу: — А тебе из дому пишут?» — «Нет, — скажет он, — некому. Мои все под немцем, растак-перетак!..» И прочая галиматья.

А они сидят, покуривают. Вот сейчас я скомантую хриплым баритоном, и все это рыхлое, неловкое, далекое от войны натянется, напружинится, зашагает, поползет, побежит... Но

шевелиться не хочется. Слышится ровный шепот все о том же и о том же, о чем и сам я шепчу, засыпая по вечерам, о чем и сам думаю, стоя навытяжку перед сержантом, и чем он громче, тем слаще мой шепот... «Стол... диван... фотография мамы... первая трава у порога... яйцо всмятку... бабушкины руки... вечерний свет... девочка, которая не откликается... троллейбус...» Тихая музыка невозвратного.

А тот, с красным носом, молчит. Слушает соседа, кивает, улыбается. Что-то в его улыбке растерянное, мягкое, грустное. У него трое детей. Три девочки. Старшая — моя ровесница. Неужели и у нее такой же нос?.. Меня словно и нет. Так, все между собой. Десять случайных братьев, прекрасных и обогретых воспоминаниями.

— Кончай перекур, — устало говорю я своим обычным тенорком. — Засиделись.

— И то правда, — улыбается тот, с красным носом.

Они медленно поднимаются с бревна. Тепло уходит. Разглядывают меня с удивлением, словно впервые. И тот, с красным носом, похожий на моего отца, спрашивает меня:

— А тебе, сынок, из дому пишут?

А мне никто не пишет, некому.

— Пишут, пишут, — говорю я, отворачиваясь, — все хорошо. — И командирское во мне готовится выкрикнуть: «Отставить разговорчики! Равняйся!..» — но я говорю громко, потому что они все ведь рядом, вот здесь: — Подравняйтесь... шагом марш... — И мы движемся. — Все в ногу, а то сержант даст нам прикурить.

Наступает и еще один прекрасный день. И вот мы, чистенькие, из бани, в новой форме, поскрипывающие, уже нездешние, стоим на платформе у эшелона, чтобы через несколько минут отправиться уже как маршевая к передовой. Лейтенант Федоринин и сержант Ланцов провожают нас. Впереди — прекрасная неизвестность. Лейтенант улыбается. Мы теперь не его. Сержант грустен. Он опять остается. Вся надежда на наше геройство.

— А вы-то как же, товарищ сержант? — спрашиваю я без страха, как приятеля.

— А вот так же, понимаешь, — говорит он и краснеет, — опять здесь припухать, раз-два, встать — сесть... так и так...

— А что, Окуджава, — говорит лейтенант посмеиваясь, — дадим вам сержантские лычки да оставим здесь трудиться, а? Хорошо ведь?

— Ну уж нет, спасибо, — смеюсь я, — уж я лучше туда. Доносится свисток паровоза. Пора.

— Слышь, Акаджава, — говорит сержант, — ты, понимаешь, может, напишешь, как там чего?

В голубых его глазах — тоска, скулы резче, обветренные губы сжаты в две тонкие бледные полоски.

— Напишу, напишу, — тороплюсь я, — обязательно, про всех напишу...

Конечно, я напишу, чтобы хоть от меня приходили к нему редкие смятые треугольники. Пусть читает.

— Ты не сердись, ежели чего, понимаешь, не так, сам понимаешь...

— Понимаю, понимаю, — говорю я, — чего там...

Мне грустно, мне жаль его. Я жалею сержанта Ланцова. У меня никаких обид. Что вы, какие там обиды? Мы ведь не на уроке географии, так и так... Но я почему-то счастлив, что он не отправляется с нами. Пусть потом, сам, без нас, сам по себе. Я знаю, что он будет там незаменимым и доблестным, но пусть без меня, без меня...

Прошло более сорока с лишним лет. Срок, понимаешь! Ни одной фамилии не помню, кроме этих двух. Где все — не знаю. Живы ли, погибли ли? Никто не знал, кому что предназначено, да и сейчас никто не знает, почему одним повезло, а другим нет. Я хочу, чтобы все остались в живых, все, но больше всего чтобы тот, с красным носом, похожий отдаленно на моего отца, чтобы он вернулся к своим девочкам, черт бы его побрал!

Ноябрь, 1985

ДЕВУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ

Рассказ

Вспоминаю, как встречал маму в 1947 году.

Мы были в разлуке десять лет. Расставалась она с двенадцатилетним мальчиком, а тут был уже двадцатидвухлетний молодой человек, студент университета, уже отвоевавший, раненый, многое хлебнувший, хотя, как теперь вспоминается, несколько поверхностный, легкомысленный, что ли. Что-то такое неосновательное просвечивало во мне, как ни странно.

Мы были в разлуке десять лет. Ну, бывшие тогда обстоятельства, причины тех горестных утрат, длительных разлук — теперь все это хорошо известно, теперь мы все это хорошо понимаем, объясняем, смотрим на это как на исторический факт, иногда даже забывая, что сами во всем этом варились, что сами были участниками тех событий, что нас самих это задевало, даже ударяло и ранило...

Тогда десять лет были для меня громадным сроком, не то что теперь: годы мелькают, что-то пощелкивает, словно в автомате, так что к вечеру, глядишь, и еще нескольких как не бывало, а тогда почти вся жизнь укладывалась в этот срок и казалась бесконечной, и я думал, что если я успел столько прожить и стать взрослым, то уж мама моя — вовсе седая, сухонькая старушка... И становилось страшно.

Обстоятельства моей тогдашней жизни были вот какие. Я вернулся с фронта, и поступил в Тбилисский университет, и жил в комнате первого этажа, которую мне оставила моя тетя, переехавшая в другой город. Учился я на филологическом факультете, писал подражательные стихи, жил, как мог жить одинокий студент в послевоенные годы — не загадывая

на будущее, без денег, без отчаяния. Влюблялся, сгорал, и это помогало забывать о голоде, и думал, бодрясь: жив-здоров, чего же больше? Лишь тайну черного цвета, горькую тайну моей разлуки хранил в глубине души, вспоминая о маме.

Было несколько фотографий, на которых она молодая, с большими карими глазами; гладко зачесанные волосы с пучком на затылке, темное платье с белым воротником, строгое лицо, но губы вот-вот должны дрогнуть в улыбке. Ну, еще запомнились интонации, манера смеяться, какие-то ускользающие ласковые слова, всякие мелочи. Я любил этот потухающий образ, страдал в разлуке, но был он для меня не более чем символ, милый и призрачный, высокопарный и неконкретный.

За стеной моей комнаты жил сосед Меладзе, пожилой, грузный, с растопыренными ушами, из которых лезла седая шерсть, неряшливый, насупленный, неразговорчивый, особенно со мной, словно боялся, что я попрошу взаймы. Возвращался с работы неизвестным образом, никто не видел его входящим в двери. Сейчас мне кажется, что он влетал в форточку и вылетал из нее вместе со своим потертым коричневым портфелем. Кем он был, чем занимался — теперь я этого не помню, да и тогда, наверное, не знал. Он отсиживался в своей комнате, почти не выходя. Что он там делал?

Мы были одиноки — и он, и я.

Думаю, что ему несладко жилось по соседству со мной. Ко мне иногда вваливались компании таких же, как я, голодных, торопливых, возбужденных, и девочки приходили, и мы пекли на сковороде сухие лепешки из кукурузной муки, откупоривали бутылки дешевого вина, и сквозь тонкую стену к Меладзе проникали крики и смех и звон стаканов, шепот и поцелуи, и он, как видно по всему, с отвращением терпел нашу возню и презирал меня.

Тогда я не умел оценить меру его терпения и высокое благородство: ни слова упрека не сорвалось с его уст. Он просто не замечал меня, не разговаривал со мной, и, если я иногда по-соседски просил у него соли, или спичек, или иголку с ниткой, он не отказывал мне, но, вручая, молчал и смотрел в сторону.

В тот знаменательный день я возвратился домой поздно. Уж и не помню, где я шлялся. Он встретил меня в кухне-прихожей и протянул сложенный листок.

— Телеграмма, — сказал он шепотом.

Телеграмма была из Караганды. Она обожгла руки. «Встречай пятьсот первым целую мама». Меладзе топтался рядом, сопел и наблюдал за мной. Я ни с того ни с сего зажег керосинку, потом погасил ее и поставил чайник. Затем принялся подметать у своего кухонного столика, но не домел и принялся скрести клеенку...

Вот и свершилось самое неправдоподобное, да как внезапно! Привычный символ приобрел четкие очертания. То, о чем я безнадежно мечтал, что оплакивал тайком по ночам в одиночестве, стало почти осязаемым.

— Караганда? — прошелестел Меладзе.

— Да, — сказал я печально.

Он горестно поцокал языком и шумно вздохнул.

— Какой-то пятьсот первый поезд, — сказал я, — наверное, ошибка. Разве поезда имеют такие номера?

— Нэт, — шепнул он, — нэ ошибка. Пиатсот первый — значит пиатсот веселый.

— Почему веселый? — не понял я.

— Товарные вагоны, кацо. Дольго идет — всем весело. — И снова поцокал.

Ночью заснуть я не мог. Меладзе покашливал за стеной. Утром я отправился на вокзал.

Ужасная мысль, что я не узнаю маму, преследовала меня, пока я стремительно преодолевал Верийский спуск и летел дальше по улице Жореса к вокзалу, и я старался представить себя среди вагонов и толпы, и там, в самом бурном ее водовороте, мелькала седенькая старушка, и мы бросались друг к другу. Потом мы ехали домой на десятом трамвае, мы ужинали, и я отчетливо видел, как приятны ей цивилизация, и покой, и новые времена, и новые окрестности, и все, что я буду ей рассказывать, и все, что я покажу, о чем она забыла, успела забыть, отвыкнуть, плача над моими редкими письмами...

Поезд под странным номером действительно существовал. Он двигался вне расписания, и точное время его прибытия было тайной даже для диспетчеров дороги. Но его тем не менее ждали и даже надеялись, что к вечеру он прибудет в Тбилиси. Я вернулся домой. Мыл полы, выстирал единственную свою скатерть и единственное свое полотенце, а сам все время пытался себе представить этот миг, то есть как мы встретимся с мамой и смогу ли я сразу узнать ее — нынешнюю, постаревшую, сгорбленную, седую, а если не узнаю, ну не узнаю и пробегу мимо, и она будет меня высматривать в вокзальной толпе и сокрушаться, или она поймет по моим глазам, что я не узнал ее, и как это все усугубит ее рану...

К четырем часам я снова был на вокзале, но пятьсот веселый затерялся в пространстве. Теперь его ждали в полночь. Я воротился домой и, чтоб несколько унять лихорадку, которая меня охватила, принялся гладить скатерть и полотенце, подмел комнату, вытряс коврик, снова подмел комнату... За окнами был май. И вновь я полетел на вокзал в десятом номере трамвая, в окружении чужих матерей и их сыновей, не подозревающих о моем празднике, и вновь с пламенной надеждой возвращаться обратно уже не в одиночестве, обнимая худенькие плечи... Я знал, что, когда подойдет к перрону этот бесконечный состав, мне предстоит не раз пробежаться вдоль него, и я должен буду в тысячной толпе найти свою маму, узнать, и обнять, и прижаться к ней, узнать ее среди тысяч других пассажиров и встречающих, маленькую, седенькую, хрупкую, изможденную...

И вот я встречаю ее. Мы поужинаем дома. Вдвоем. Она будет рассказывать о своей жизни, а я — о своей. Мы не будем углубляться, искать причины и тех, кто виновен. Ну случилось, ну произошло, а теперь мы снова вместе...

...А потом я поведу ее в кино, и пусть она отдохнет там душою. И фильм я выбрал. То есть даже не выбрал, а был он один-единственный в Тбилиси, по которому все сходили с ума. Это был трофейный фильм «Девушка моей мечты» с потрясающей, неотразимой Марикой Рёкк в главной роли.

Нормальная жизнь в городе приостановилась: все говорили о фильме, бегали на него каждую свободную минуту, по улицам насвистывали мелодии из этого фильма, и из распахнутых окон доносились звуки фортепиано все с теми же мотивчиками, завораживавшими слух тбилисцев. Фильм этот был цветной, с танцами и пением, с любовными приключениями, с комическими ситуациями. Яркое, шумное шоу, поражающее воображение зрителей в трудные послевоенные годы. Я лично умудрился побывать на нем около пятнадцати раз, и был тайно влюблен в роскошную, ослепительно улыбающуюся Марику, и, хотя знал этот фильм наизусть, всякий раз будто заново видел его и переживал за главных героев. И я не случайно подумал тогда, что с помощью его моя мама могла бы вернуться к жизни после десяти лет пустыни страданий и безнадежности. Она увидит все это, думал я, и хоть на время отвлечется от своих скорбных мыслей, и насладится лицемерием прекрасного, и напитается миром, спокойствием, благополучием, музыкой, и это все вернет ее к жизни, к любви и ко мне... А героиня? Молодая женщина, источающая счастье. Природа была щедра и наделила ее упругим и здоровым телом, золотистой кожей, длинными, безукоризненными ногами, завораживающим бюстом. Она распахивала синие смеющиеся глаза, в которых с наслаждением тонули чувственные тбилисцы, и улыбалась, демонстрируя совершенный рот, и танцевала, окруженная крепкими, горячими, беспечными красавцами. Она сопровождала меня повсюду и даже усаживалась на старенький мой топчан, положив ногу на ногу, уставившись в меня синими глазами, благоухая неведомыми ароматами и австрийским здоровьем. Я, конечно, и думать не смел унижить ее грубым моим бытом, или послевоенными печальями, или намеками на горькую карагандинскую пустыню, перерезанную колючей проволокой. Она тем и была хороша, что даже и не подозревала о существовании этих перенаселенных пустынь, столь несовместимых с ее прекрасным голубым Дунаем, на берегах которого она танцевала в счастливом неведении. Несправедливость и горечь не касались ее. Пусть мы... нам... но не она, не ей.

Я хранил ее как драгоценный камень и время от времени вытаскивал из тайника, чтобы полюбоваться, впиваясь в экраны кинотеатров, пропахших карболкой.

На привокзальной площади стоял оглушительный гомон. Все пространство перед вокзалом было запружено толпой. Чемоданы и узлы громоздились на асфальте, смех, и плач, и крики, и острые слова... Я понял, что опоздал, но, видимо, ненадолго, и еще была надежда... Я спросил сидящих на вещах людей, не пятьсот ли первым они прибыли. Но они оказались из Батуми. От сердца отлегло. Я пробился в справочное сквозь толпу и крикнул о пятьсот проклятом, но та, в окошке, задерганная и оглушенная, долго ничего не понимала, отвечая сразу нескольким, а когда поняла наконец, крикнула мне с ожесточением, покрываясь розовыми пятнами, что пятьсот первый пришел час назад, давно пришел этот сумасшедший поезд, уже никого нету, все вышли час назад, и уже давно никого нету...

На привокзальной площади, похожей на воскресный базар, на гряде чемоданов и тюков сидела сторбленная старуха и беспомощно озиралась по сторонам. Я направился к ней. Что-то знакомое показалось мне в чертах ее лица. Я медленно переставлял одеревеневшие ноги. Она заметила меня, подозрительно оглядела и маленькую ручку опустила на ближайший тюк.

Я отправился пешком к дому в надежде догнать маму по пути. Но так и дошел до самых дверей своего дома, а ее не встретил. В комнате было пусто и тихо. За стеной кашлянул Меладзе. Надо было снова бежать по дороге к вокзалу, и я вышел и на ближайшем углу увидел маму!.. Она медленно подходила к дому. В руке у нее был фанерный сундучок. Все та же, высокая и стройная, какой помнилась, в сером ситцевом платице, помятом и нелепом. Сильная, загорелая, молодая. Помню, как я был счастлив, видя ее такой, а не сторбленной и старой.

Были ранние сумерки. Она обнимала меня, терлась щекой о мою щеку. Сундучок стоял на тротуаре. Прохожие не обращали на нас внимания: в Тбилиси, где все целуются при

встречах по многу раз на дню, ничего необычного не было в наших объятиях.

— Вот ты какой! — приговаривала она. — Вот ты какой, мой мальчик, мой мальчик, — и это было как раньше, как когда-то...

Мы медленно направились к дому. Я обнял ее плечи, и мне захотелось спросить, ну как спрашивают у только что приехавшего: «Ну как ты? Как там жилось?..» — но спохватился и промолчал.

Мы вошли в дом. В комнату. Я усадил ее на старенький диван. За стеной кашлянул Меладзе. Я усадил ее и заглянул ей в глаза. Эти большие, карие, миндалевидные глаза были теперь совсем рядом. Я заглянул в них... Готовясь к встрече, я думал, что будет много слез и горьких причитаний, и я приготовил такую фразу, чтобы утешить ее: «Мамочка, ты же видишь — я здоров, все хорошо у меня, и ты здоровая и такая же красивая, и все теперь будет хорошо, ты вернулась, и мы снова вместе...» Я повторял про себя эти слова многократно, готовясь к первым объятиям, к первым слезам, к тому, что бывает после десятилетней разлуки... И вот я заглянул в ее глаза. Они были сухими и отрешенными, она смотрела на меня, но меня не видела, лицо застыло, окаменело, губы слегка приоткрылись, сильные загорелые руки безвольно лежали на коленях. Она ничего не говорила, лишь изредка поддакивала моей утешительной болтовне, пустым разглагольствованиям о чем угодно, лишь бы не о том, что было написано на ее лице... «Уж лучше бы она рыдала», — подумал я. Она закурила дешевую папиросу. Провела ладонью по моей голове...

— Сейчас мы поедем, — сказал я бодро. — Ты хочешь есть?

— Что? — спросила она.

— Хочешь есть? Ты ведь с дороги.

— Я? — не поняла она.

— Ты, — засмеялся я, — конечно, ты...

— Да, — сказала она покорно, — а ты? — И, кажется, даже улыбнулась, но продолжала сидеть все так же — руки на коленях...

Я выскочил на кухню, зажег керосинку, замесил остатки кукурузной муки. Нарезал небольшой кусочек имеретинского сыра, чудом сохранившийся среди моих ничтожных запасов. Я разложил все на столе перед мамой, чтобы она порадовалась, встрепенулась: вот какой у нее сын, и какой у него дом, и как у него все получается, и что мы сильнее обстоятельств, мы их вот так пересиливаем мужеством и любовью. Я метался перед ней, но она оставалась безучастна и только курила одну папиросу за другой... Затем закипел чайник, и я пристроил его на столе. Я впервые управлялся так ловко, так быстро, так аккуратно с посудой, с керосинкой, с нехитрой снедью: пусть она видит, что со мной не пропадешь. Жизнь продолжается, продолжается... Конечно, после всего, что она перенесла, вдали от дома, от меня... сразу ведь ничего не восстановить, но постепенно, терпеливо...

Когда я снимал с огня лепешки, скрипнула дверь, и Меладзе засопел у меня за спиной. Он протягивал мне миску с лобио.

— Что вы, — сказал я, — у нас все есть...

— Дэржи, кацо, — сказал он угрюмо, — я знаю...

Я взял у него миску, но он не уходил.

— Пойдемте, — сказал я, — я познакомлю вас с моей мамой, — и распахнул дверь.

Мама все так же сидела, положив руки на колени. Я думал — при виде гостя она встанет и улыбнется, как это принято: очень приятно, очень приятно... и назовет себя, но она молча протянула загорелую ладонь и снова опустила ее на колени.

— Присаживайтесь, — сказал я и подставил ему стул.

Он уселся напротив. Он тоже положил руки на свои колени. Сумерки густели. На фоне окна они казались неподвижными статуями, застыв в одинаковых позах, и профили их казались мне сходными.

О чем они говорили и говорили ли, пока я выбегал в кухню, не знаю. Из комнаты не доносилось ни звука. Когда я вернулся, я заметил, что руки мамы уже не покоились на коленях и вся она подалась немного вперед, словно прислушиваясь.

— Батык? — произнес в тишине Меладзе.

Мама посмотрела на меня, потом сказала:

— Жарык... — и смущенно улыбнулась.

Пока я носился из кухни в комнату и обратно, они продолжали обмениваться короткими непонятными словами, при этом почти шепотом, одними губами. Меладзе цокал языком и качал головой. Я вспомнил, что Жарык — это станция, возле которой находилась мама, откуда иногда долетали до меня ее письма, из которых я узнавал, что она здорова, бодра и все у нее замечательно, только ты учишь, учишь хорошенько, я тебя очень прошу, сыночек... и туда я отправлял известия о себе самом, о том, что я здоров и бодр, и все у меня хорошо, и я работаю над статьей о Пушкине, меня все хвалят, ты за меня не беспокойся, и уверен, что все в конце концов образуется и мы встретимся...

И вот мы встретились, и сейчас она спросит о статье и о других безответственных баснях...

Меладзе отказался от чая и исчез. Мама впервые посмотрела на меня осознанно.

— Он что, — спросил я шепотом, — тоже там был?

— Кто? — спросила она.

— Ну кто, кто... Меладзе...

— Меладзе? — удивилась она и посмотрела в окно. — Кто такой Меладзе?

— Ну как кто? — не сдержался я. — Мама, ты меня слышишь? Меладзе... мой сосед, с которым я тебя сейчас познакомил... Он тоже был... там?

— Тише, тише, — поморщилась она. — Не надо об этом, сыночек...

О Меладзе, сопящий и топчущийся в одиночестве, ты тоже ведь когда-то был строен, как кизиловая ветвь, и твое юношеское лицо с горячими и жгучими усиками озарялось миллионами желаний. Губы поблекли, усы поникли, вдохновенные щечки опали. Я смеялся над тобой и исподтишка показывал тебя своим друзьям: вот, мол, дети, если не будете есть манную кашу, будете похожи на этого дядю... И мы, пока еще пухлогубые и остроглазые, диву давались

и закатывались, видя, как ты неуклюже топчешься, как настороженно высовываешься из дверей... Чего ты боялся, Меладзе?

Мы пили чай. Я хотел спросить, как ей там жилось, но испугался. И стал торопливо врать о своем житье. Она как будто слушала, кивала, изображала на лице интерес, и улыбалась, и медленно жевала. Провела ладонью по горячему чайнику, посмотрела на выпачканную ладонь...

— Да ничего, — принялся я утешать ее, — я вымою чайник, это чепуха. На керосинке, знаешь, всегда коптится.

— Бедный мой сыночек, — сказала в пространство и вдруг заплакала.

Я ее успокаивал, утешал: подумаешь, чайник. Она отерла слезы, отодвинула пустую чашку, смущенно улыбнулась.

— Все, все, — сказала, — не обращай внимания, — и закурила.

Каково-то ей там было, подумал я, там, среди солончаков, в разлуке?..

Меладзе кашлянул за стеной.

Ничего, подумал я, все наладится. Допьем чай, и я поведу ее в кино. Она еще не знает, что предстоит ей увидеть. Вдруг после всего, что было, голубые волны, музыка, радость, солнце и Марика Рёкк, подумал я, зажмурившись, и это после всего, что было... Вот возьми самое яркое, самое восхитительное. Самое драгоценное из того, что у меня есть, я дарю тебе это, подумал я, задыхаясь под тяжестью собственной щедрости... И тут я сказал ей:

— А знаешь, у меня есть для тебя сюрприз, но для этого мы должны выйти из дому и немного пройтись...

— Выйти из дому? — И она поморщилась.

— Не бойся, — засмеялся я. — Теперь ничего не бойся. Ты увидишь чудо, честное слово! Это такое чудо, которое можно прописать вместо лекарства... Ты меня слышишь? Пойдем, пойдем, пожалуйста...

Она покорно поднялась.

Мы шли по вечернему Тбилиси. Мне снова захотелось спросить у нее, как она там жила, но не спросил: так все

хорошо складывалось, такой был мягкий, медовый вечер, и я был счастлив идти рядом с ней и поддерживать ее под локоть. Она была стройна и красива, моя мама, даже в этом сером помятом ситцевом, таком не тбилиском платье, даже в стоп-таннх сандалиях неизвестной формы. Прямо оттуда, подумал я, и — сюда, в это ласковое тепло, в свет сквозь листву платанов, в шум благополучной толпы... И еще я подумал, что, конечно, нужно было заставить ее переодеться, как-то ее прихорошить, потому что, ну что она так, в том же, в чем была там... Пора позабывать.

Я вел ее по проспекту Руставели, и она покорно шла рядом, ни о чем не спрашивая. Пока я покупал билеты, она неподвижно стояла у стены, глядя в пол. Я кивнул ей от кассы — она, кажется, улыбнулась.

Мы сидели в душном зале, и я сказал ей:

— Сейчас ты увидишь чудо, это так красиво, что нельзя передать словами... Послушай, а там вам что-нибудь показывали?

— Что? — спросила она.

— Ну, какие-нибудь фильмы... — и понял, что говорю глупость, — хотя бы изредка...

— Нам? — спросила она и засмеялась тихонечко.

— Мама, — зашептал я с раздражением, — ну что с тобой? Ну, я спросил... Там, там, где ты была...

— Ну, конечно, — проговорила она отрешенно.

— Хорошо, что мы снова вместе, — сказал я, словно опытный миротворец, предвкушая наслаждение.

— Да, да, — шепнула она о чем-то своем.

...Я смотрел то на экран, то на маму, я делился с мамой своим богатством, я дарил ей самое лучшее, что у меня было, зал заходил в восторге и хохоте, он стонал, рукоплескал, подмурлыкивал песенки... Мама моя сидела, опустив голову. Руки ее лежали на коленях.

— Правда, здорово! — шепнул я. — Ты смотри, смотри, сейчас будет самое интересное... Смотри же, мама!..

Впрочем, в который уже раз закопошилась в моем скользком и шатком сознании неправдоподобная мысль, что

невозможно совместить те обстоятельства с этим ослепительным австрийским карнавалом на берегах прекрасного голубого Дуная, закопошилась и тут же погасла...

Мама услышала мое восклицание, подняла голову, ничего не увидела и поникла вновь. Прекрасная обнаженная Марика сидела в бочке, наполненной мыльной пеной. Она мылась как ни в чем не бывало. Зал благоговел и гудел от восторга. Я хохотал и с надеждой заглядывал в глаза маме. Она даже попыталась вежливо улыбнуться мне в ответ, но у нее ничего не получилось.

— Давай уйдем отсюда, — внезапно шепнула она.

— Сейчас же самое интересное, — сказал я с досадой.

— Пожалуйста, давай уйдем...

Мы медленно двигались к дому. Молчали. Она ни о чем не расспрашивала, даже об университете, как следовало бы матери этого мира.

После пышных и ярких нарядов несравненной Марики мамино платье казалось еще серей и оскорбительней.

— Ты такая загорелая, — сказал я, — такая красивая. Я думал увидеть старушку, а ты такая красивая...

— Вот как, — сказала она без интереса и погладила меня по руке. В комнате она устроилась на прежнем стуле, сидела, уставившись перед собой, положив ладони на колени, пока я лихорадочно устраивал ночлег. Себе — на топчане, ей — на единственной кровати. Она попыталась сопротивляться, она хотела, чтобы я спал на кровати, потому что она любит на топчане, да, да, нет, нет, я тебя очень прошу, ты должен меня слушаться (попыталась придать своему голосу шутливые интонации), я мама... ты должен слушаться... я мама... — и затем, ни к кому не обращаясь, в пространство, — ма-ма... ма-ма...

Я вышел в кухню. Меладзе в нарушение своих привычек сидел на табурете. Он смотрел на меня вопросительно.

— Повел ее в кино, — шепотом пожаловался я, — а она ушла с середины, не захотела...

— В кино? — удивился он. — Какое кино, кацо? Ей отдыхать надо...

Бүлэйт Оксуджава

— Она стала какая-то совсем другая, — сказал я. — Может быть, я чего-то не понимаю... Когда спрашиваю, она переспрашивает, как будто не слышит...

Он поцокал языком.

— Когда человек нэ хочит гаварить лишнее, — сказал он шепотом, — он гаварит мэдлэнно, долго, он думаэт, панимаешь? Ду-ма-эт... Ему нужна врэмья... У нэго тэперь привичка...

— Она мне боится сказать лишнее? — спросил я.

Он рассердился:

— Нэ тэбэ, нэ тэбэ, генацвале... Там, — он поднял вверх указательный палец, — там тэбя нэ било, там другие спрашивали, зачэм, почэму, панимаэшь?

— Понимаю, — сказал я.

Я надеюсь на завтрашний день. Завтра все будет по-другому. Ей нужно сбросить с себя тяжелую ношу минувшего. Да, мамочка? Все забудется, все забудется, все забудется... Мы снова отправимся к берегам голубого Дуная, сливаясь с толпами, уже неотличимые от них, наслаждаясь красотой, молодостью, музыкой... да, мамочка?..

— Купи ей фрукты... — сказал Меладзе.

— Какие фрукты? — не понял я.

— Черешня купи, черешня...

...Меж тем в сером платье своем, ничем не покрывшись, свернувшись калачиком, мама устроилась на топчане. Она смотрела на меня, когда я вошел, и слегка улыбалась, так знакомо, просто, по-вечернему.

— Мама, — сказал я с укоризной, — на топчане буду спать я.

— Нет, нет, — сказала она с детским упрямством и засмеялась...

— Ты любишь черешню? — спросил я.

— Что? — не поняла она.

— Черешню ты любишь? Любишь черешню?

— Я? — спросила она...

Декабрь, 1985

НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ

Рассказ

Посвящаю Зое и Свету

Вспоминаю, как провожал маму в 1949 году.

Да, провожал. Так уж случилось. В 47-м встречал из лагеря, а тут провожал. Тогда многих провожали, и не на день, и не на два, а на долгие сроки.

После всего, что было, ее арестовали снова. Мы узнали об этом в одну из отвратительных ночей, когда в наш дом ввалился человек, у которого в Кировокане мама снимала угол. Он приехал около шести часов поздним поездом, чтобы рассказать нам об этом, о последнем ее прости... Впрочем, он мог бы и не приезжать. Все равно я забыл его имя. Добрые дела не запоминаются. И чего было приезжать, когда ее уже забрали? Написал бы письмо, записочку бы передал со случайной оказией. Мог бы и не беспокоиться. Что тут поде-лаешь?

Он сидел на кухне, сыпал пепел на пол, на брюки, тяжело вздыхал. Тетя Сильвия плакала негромко, почти шепотом. Лампочка почему-то источала желтый свет. Погода за окном была мерзейшая. Все как-то сошлось, совпало, а человек должен был выдержать, не распасться от тоски и ужаса беспомощности... Ну, мы и держались, как могли, и еще гадали: это что — чесеир? Или каэрдэ? То есть «член семьи изменника родины» или «контрреволюционная деятельность»...

Когда она вернулась в 1947 году после десяти лет лагерей, не было ни реабилитации, ни даже помилования, просто отбыла свой срок и вернулась. В столичных и больших горо-

дах жить ей не разрешалось, и тетя Сильвия с большим трудом устроила ее в Кировакане кассиршей в какой-то артели. А мы жили в Тбилиси, и я был студентом университета. К тому времени я уже кое-что начал понимать, какой-то робкий анализ событий совершался в моей затуманенной голове, и возникали горькие вопросы: «За что?», «Почему?», «Ради чего?»...

Тетя Сильвия была постоянно настороже: такое уж было время. Она заглядывала в мои глаза, вслушивалась в мои интонации, они ее тревожили. И она, как бы отвечая на мои немые вопросы, время от времени восклицала:

— Какая мама все-таки счастливая! Не правда ли? Вот вернулась, жива-здорова. И мы снова вместе, — и вглядывалась в меня очень пристально.

— Ну конечно, — говорил я бодро, чтобы не волновать тетю Сильвию. — Теперь все хорошо. Мама живет как все, работает, пишет письма, можно к ней съездить...

Но тетю Сильвию мои слова не успокаивали. Что-то ей в них чудилось опасное.

Она подхватывала мои бодрые слова тем решительнее, чем они были бодрее, и говорила громче обычного:

— А что? Разве не так? Как она мучилась в лагере, арестантка! А теперь свободная женщина, даже деньги тебе присылает... Разве не так?..

Или восклицала:

— Что бы мы делали без Сталина? Как бы жили? — и внимательно вглядывалась в меня.

— Так бы и жили, — срывалось у меня, — а может, и не хуже.

— А война? — еще повышала она голос. — Какую войну вынесли! Ты разве этого не понимаешь? Ты что, все забыл?..

— Не забыл, — говорил я, чтобы не волновать ее.

— Карточки отменили...

Карточки продуктовые действительно были отменены.

— Цены понизили...

И цены медленно двигались к довоенным...

— ...и вот мама на свободе!

— Ну конечно, конечно, — сдавался я. — Разве я спорю?

— Ну вот, — успокаивалась она, — а то брякнешь где-нибудь такое, — и растерянно улыбалась.

И вот мама трудилась кассиршей и как-то умудрялась выкраивать мне маленькие суммы из своей зарплаты. Мы переписывались. Все как будто снова вставало на свои места, и не было смысла роптать, и стоило преклониться перед яростной мудростью тети Сильвии. Мы быстро привыкали к печалю и все умели объяснять, и, если случался маленький, пусть даже совсем ничтожный праздник, даже не праздник, а легкое послабление, раздували его до несусветных размеров, радуясь и ликуя.

Так вот и ликовали, когда она вернулась, когда удалось устроить ее в артель, когда повезло ей снять угол в домике на окраине — у хозяина, не испугавшегося появления в его мирном, благополучном доме этой пропыленной, прожаренной в карагандинских просторах женщины с потускневшими зрачками. Да, радовались. Вот ведь как устроен человек! Понапрасну не восклицали, не задавали проклятых вопросов: «За что?», «Почему?», «Во имя чего?». Так, будто бы все было уже известно, все было всем ясно и не хотелось омрачать праздник.

Правда, иногда эти вопросы все же вырывались наружу. Мы, конечно, произносили их шепотом, как бы между прочим, как бы не придавая им значения, и отвечали на них суетливо, полунамеками, в которых сами лишь и могли разобраться. Но иногда шепот надоедал. Тогда тетя Сильвия говорила:

— А что делать, мой дорогой? Если у государства много врагов, как-то ведь надо защищаться...

Но это не могло относиться к маме, и она тут же говорила:

— Ну, с мамой произошла ошибка, конечно, — и всматривалась в меня. — Когда-нибудь, мой дорогой, все это выяснится.

— Я не сомневаюсь, — отвечал я с грустью.

Она кусала губы и вдохновенно произносила:

— Если бы ты был на их месте... — и кивала на потолок.

«Их место» мне не грозило: я твердо был на своем.

И теперь ее арестовали снова. Пришли, как всегда, ночью. Перерыли комнату, угол, который она снимала.

— Нашли что-нибудь? — усмехнулся я.

— Эээ, ничего не нашли, — сказал ее хозяин, снова роняя пепел.

— Если ничего, значит, все в порядке, — сказал я.

— А что могли найти! — вскричала тетя Сильвия. — Что у нее было, кроме старого белья?

— Ничего не было, — подтвердил хозяин. — Я сидел рядом, а она собиралась. Они искали. Перерыли ее постель, чемодан, а что могли найти?

— Она плакала? — спросил я шепотом.

— Почему она должна была плакать? — крикнула тетя Сильвия. — Что она, виноватая?

— Нет, не плакала, — сказал он, — извинялась передо мной, бедная. А что я? Как будто я не понимаю. Я все понимаю.

— У меня большие связи, — сказала тетя Сильвия, утирая слезы, — они еще не представляют, что я могу. — Лицо ее уже пылало вдохновением. Хозяин мамино угла смотрел на нее с изумленной надеждой. — У меня такие связи!.. — сказала она. — Им не поздоровится... — И посмотрела на меня победно.

Он сидел, и кивал, и сыпал пепел. Потом он ушел. Как-то боком выскользнул в дверь. Стояла ночь. Сыпал монотонный дождь. «Что она может сделать?» — подумал я.

— Ты не расстраивайся, не вешай носа, — сказала она, — я свою сестру в обиду не дам... Я им еще покажу!.. Второй раз... неизвестно за что... где... сколько можно!

Я-то знал, что она ничего не может. Не было никаких связей, я знал. Да и кто тогда мог? И все-таки ее горячая убежденность как-то успокаивала. А что, если есть? Есть что-то там, кто-то там, неведомый мне, или, например, жене большого человека одно слово — и все изменится, и мы еще

посмеемся... А если нет, думал я, значит, снова тюрьма? И допросы, и лагерь, и унижение, и карагандинские пески...

Я был студентом четвертого курса. Я знал, что меня терпят и чей-то глаз с небесной поволокой посматривает за мной. Я все время затылком ощущал чье-то упрямое присутствие. Будущее мое было туманно, несмотря на красивые лозунги и возвышенные слова о величии человека... Да, кто-то, может быть, и был велик и прекрасен, но мне лично не улыбалось ничего.

Ах, я ошибся, утверждая, что у нее нет связей, ошибся!

И вот как это произошло.

Она начала куда-то исчезать. Какие-то глухие телефонные переговоры будоражили наш дом. Назначались свидания с кем-то где-то, и казалось, весь город захвачен этим происшествием, и все прохожие поглядывают на меня — кто с осуждением, кто с сочувствием, то подозрительно, то печально. Вдобавок ко всему — поздняя осень с дождями и пронзительным ветром. Где мама? В тюрьме? В вагоне ли с зарешеченными окнами?

На красивом лице тети Сильвии не отражалось ничего, кроме упрямой сосредоточенности. Неотвратимости судьбы она противопоставляла непреклонность, и веру, и женскую хитрость... И телефонную трубку обволакивали лукавство, мольбы, дружеские интонации, и между всем этим не было границ. Все перемешивалось, переливалось одно в другое. Меня захватывала эта таинственная мелодия. Это была школа нашей жизни, способ существования... «Вы же ее знаете...», или «Конечно, конечно, вы правы...», или «Вы мне не верите?..», или «Я понимаю вас, я согласна, но все же, но все же...»

Иногда она тихо плакала, надеясь, что я ничего не вижу, над носком, который она штопала, над нехитрой нашей едой, и я видел: крупные слезы скатывались по белоснежной, по прекрасной ее щеке.

Бывало, она приводила себя в порядок, лихорадочно, торопливо, деловито, придирчиво смотрелась в зеркало, и я видел, как меняется ее облик: то обаятельная улыбка озаряла ее лицо, то суровая непреклонность, а то вдруг просительная

гримаса, а то и подобострастный кивок, и царственная невозмутимость, и маска презрения... Видимо, она проигрывала перед зеркалом какие-то разговоры, какие-то с кем-то встречи, от кого хоть что-то могло зависеть в судьбе ее сестры. Я наблюдал эти горькие репетиции, а передо мной струились карагандинские пески, плыла поздняя осень. Был лагерь и колючая проволока, и вышки с часовыми, и мама в сером ватнике возле тачки...

Из утешительных слов тети Сильвии явствовало, что все это несметное множество людей, изъятых из жизни и осужденных на прозябание в тюрьмах и лагерях, что все они в чем-то виноваты, и только с мамой произошла роковая ошибка, которая вот-вот раскроется, и наступит торжество справедливости. Не очень убедительно звучало это, но я и это принимал, как маленькую надежду.

И вот не знаю, как ей удалось пробиться, разведать, выяснить, определить, но однажды она все-таки воскликнула, входя в дом:

— Мама в Тбилиси!.. Ее привезли сюда. Она в Ортачальской тюрьме!.. Теперь будет легче...

Что будет легче, я так и не понял: то ли будет легче о ней хлопотать, то ли легче будет с нею повидаться. Но повидаться нам с ней не пришлось. Свидания не разрешались, пока не состоится суд, а когда он состоится, никто не знал. Вот и продолжалась эта неукротимая деятельность тети Сильвии в надежде хоть что-нибудь выяснить, разведать, определить. О, какие усилия тратились людьми, чтобы нет, не побороть, а хотя бы несколько смягчить эту неумолимую машину нашей судьбы! Все было пущено в ход: от мелкого интриганства до высочайшего вдохновения. Как это получалось у тети моей, у красивой, неистовой, беспомощной сорокалетней моей тети Сильвии, не мне судить. Это для высших сил. Что я? Я просто был при этом. У меня не было ни опыта, ни сноровки, только постоянная вкрадчивая тоска безысходности, разъедающая душу. Быть может, думал я, я заслужил эту участь чем-нибудь таким, каким-нибудь неловким жестом, неосторожным шагом, непродуманным словом?

Почему, думал я, другим все: и улыбка, и будущее, и всякие праздники — все, а мне ничего? Хотя что я знал о других, варясь в своей беде?

Наступила зима, а суда все не было. Гнилая тбилисская зима, гнилые ощущения, дождь и снег, коптящая керосинка, обогревающая комнату, томительные лекции в университете и мои друзья, напрягшиеся вместе со мною. И всяческие фантазии на ту же тему: уж если снова в лагерь, то хоть не в эту пронзительную непогоду, лучше бы летом, пусть жара, пусть, чем вот это неистовство, из промерзших вагонов в отсыревшие бараки и с тачкой под снег... И мы спрашивали друг у друга шепотом: «Ну что слышно? Решилось?..»

В конце концов все ведь решается, не так ли? Только нужно было набраться терпения. О, мы привыкли терпеть. Терпение стало второй натурой, воздухом, которым мы дышали, и когда этого воздуха становилось слишком мало для ничтожного вздоха, хотелось кричать и плакать. Как странно двигались мы при этом! Какие произносили несурзности, я помню, покуда однажды самым отвратительным февральским полднем не родились из колдовства тети Сильвии, из заговорщической ее суеты, из ее хождения по краю пропасти долгожданные счастливые выкрики...

Я помню, она крикнула мне в лицо, вернувшись после очередного поединка, что мы победили, что Бог есть и есть справедливость... А ты говорил, что нет справедливости, ты помнишь? Кто это говорил? Ты утверждал все это, а я верила, что она ни в чем не виновата, потому что она ни в чем не виновата, а ты говорил, что перед нами глухая стена... кто это говорил? А я верила, я знала... Не будет лагеря, не будет! Ни лагеря, ни тюрьмы... не могут невинную женщину запихать в лагерь... а ты говорил... а я говорила, что не могут...

— И что же?! — крикнул я, боясь верить. — Что же теперь?

Она наконец села в кресло, а до этого все металась по комнате, перебирала на столе какие-то бумажки, маленькая прядь отбилась от ее прекрасной прически, она ее поправляла,

но ничего не могла и вдруг успокоилась, уселась и заплакала, как только она умела, бесшумно и страшно. Может быть, это были даже не слезы, а счастливая влага, источаемая душой? Кто знает...

— Вот видишь, — сказала она мне, — как важно вовремя собраться... Я их всех прижала, всех, вот они все у меня где, — и яростно потрясла сжатым кулаком, — они увидели, что она ни в чем не виновата... Какой уж тут лагерь? За что? Они дали ей ссылку, — она пристально глянула на меня, — это значит, что ей определяют место, ну там деревню, поселок какой-нибудь, и там она будет абсолютно свободна, представляешь? Будет жить в нормальном доме, ходить в магазин, в кино! — Она изучала мое лицо, я это видел.

— Какое счастье! — сказал я и попытался улыбнуться. — Сколько же ей там находиться?

— Ну, это не будет продолжаться вечно, — сказала она с обычной своей прозорливостью.

Она теребила мой чубчик. Ссылка называлась вечной, но мы, словно сговорившись, опускали это слово. Вечного ничего не бывает.

— К ней можно будет ездить, говорить по телефону...

— Хоть бы место попримечнее, — сказал я. — Даже не верится, что не будет лагеря.

Она звонила своим знакомым и говорила, что вот какое гуманное решение и вместо ужаса лагерей будет всего лишь ссылка, хотя мы живем в такое сложное время и в таком окружении, но сочли возможным вынести такое решение... бедная ее сестра, она тоже вздохнет после всего, что было, потому что какая у нее была жизнь? Все висело на волоске, никаких прав...

— Видишь ли, — сказала она мне, — такое сложное время. Конечно, мама ни в чем не виновата и могла бы не подвергаться всем этим ужасам, но мы живем в такое сложное время, и они, конечно, не могут теперь взять ее и выпустить так просто, ты понимаешь?

— Еще бы, — сказал я.

— Главное в том, — сказала она, — что мама ни в чем не виновата. Иначе разве было бы такое мягкое решение?

Казалось, что и погода за окнами помягчела. И я звонил своим друзьям: Зурабу, Володе, Филиппу, и Нате, и Додику Барткулашвили, и всем рассказывал о случившемся, и объяснял, какая разница между лагерем и ссылкой, опуская слово «вечная» как излишество. Важно ведь то, что там она будет свободным человеком. Будет ходить в кино, если захочет, и я смогу на каникулы приезжать к ней.

Но почему-то снова мы не могли добиться с нею свидания, и передач у нас не принимали, и сроки ее отправки сохранялись в глубокой тайне.

— Почему она не может поехать сама по месту своего назначения! — сокрушался я, и слово «назначение» успокаивало: оно было так буднично, не то что ссылка или вечное поселение. И снова жизнь испытывала наше терпение, и снова углублялась пропасть между «мы» и «они». Мы были беспомощны, они — таинственны и всеильны.

Однако тетя Сильвия продолжала идти напролом. Щеки ее лихорадочно пунцовели, карие глаза сверкали, непослушная прядка выбивалась из прически. С утра она надевала свои лучшие платья и отправлялась по таинственным адресам. Где уж там она бывала, в какие проникала кабинеты, кого упрашивала, у кого вымаливала — кто знает, но наконец ей и тут пофартило, и она узнала, что завтра отправят маму в арестантском вагоне с московским поездом.

Как странно теперь вспоминать те годы, когда в каждом пассажирском составе был обязательно арестантский вагон — темно-зеленый, с зарешеченными маленькими окнами. Как привычны они были тогда, как равнодушно скользили по ним наши взоры.

Вечером следующего дня, задолго до отхода московского поезда, мы были на вокзале. Дома, перед уходом, тетя Сильвия уложила в большую сумку вещи, которые, как она считала, могли бы пригодиться маме: старая кофта, теплая юбка, пара туфель, ботинки, пакет сухарей, бутылочка с подсолнечным маслом, и табак, и несколько старых журналов,

и носки, и белье, и даже чайник, простой алюминиевый чайник, выдавший виды, потерявший блеск, но все еще вполне годный к употреблению.

На вокзале было тихо. Все платформы были пустынные. Состава не было нигде.

Я стоял с сумкой, прислонившись к чугунному столбу, а тетя Сильвия вновь отправилась на разведку, потому что очень важно было установить место, где окажется арестантский вагон. Время шло. Начало вечереть. Дождь прекратился, и только мартовский сырой и колкий ветер бесчинствовал на путях. Вернулась тетя Сильвия — разведчица моей души, — сказала, подбадривая меня, что скоро подадут состав. Мы, конечно, не представляли, как все это будет выглядеть и как мы будем передавать сумку маме.

Грязно-серые сумерки спустились на вокзал. Показался московский состав, он медленно приближался. Трудно было определить, какой из путей он выберет, но тете Сильвии было известно, что наша платформа — именно то место, которое нам нужно. Вот послышался перестук колес. Длинная змея поезда, извиваясь, приближалась, однако в последнюю минуту она изогнулась и поползла по совершенно другому пути, за второй от нас платформой. Мы заметались. Там, прямо за паровозом, и точно, просматривался арестантский вагон. Не успел состав остановиться, как пассажиры запрудили платформу. Перебегать через пути было слишком высоко. Мы оказались отрезанными от состава. Поезд, полязгав, остановился, и пассажиры полезли в вагон. Лишь арестантский вагон стоял в одиночестве — к нему никто не спешил. Я поглядел вдоль путей, где-то вдалеке виднелся переход на другую платформу.

— Смотри, смотри, — крикнула тетя Сильвия, — вон мама!

Непонятно, как успела образоваться группка людей у арестантского вагона. Около тридцати женщин с сумками, с чемоданами стояли кружком, а вокруг — плотным кольцом охрана. Среди женщин я разглядел маму в старой лагерной телогрейке, с лагерным же чемоданчиком в руке. Я замахал,

она нас увидела. Мы кивали друг другу. Я выставил вперед руку с оттопыренным большим пальцем, и это должно было означать, что у нас все хорошо, пусть она о нас не беспокоится. Арестантки полезли в вагон быстрой ускользящей струйкой. Влились и исчезли, и снова возле арестантского вагона было пусто.

Тетя Сильвия вырвала у меня сумку и побежала к дальнему переходу. Быстро темнело. Машинист вскарабкался по ступенькам на паровоз. Пассажиры заканчивали посадку. Как моя тетя перебежала через пути, я не видел. В вагонах светились окна. Везде. И только в мамином вагоне господствовала темень. Затем состав дернулся и медленно заскользил. Через несколько минут его словно и не было.

Вернулась тетя Сильвия. Она успела добежать до вагона и разыскала начальника охраны. Его фамилия была Еськин. Сержант Еськин сначала и разговаривать не захотел, но все-таки смилостивился, хотя вещи передать категорически отказался. Она уговаривала его, называла дорогим, родным и плакала, и сунула ему пятьдесят рублей и тогда он согласился передать, но только чайник.

— Только чайник, — сказал он, — эта вещь в дороге нужная.

Всю обратную дорогу домой мы праздновали удачу.

Теперь прошло много лет. Теперь и вспоминать об этом как-то не так больно. В 1956 году мама вернулась окончательно. Вот тогда мы и узнали, что чайника сержант Еськин так ей и не передал.

За что? Почему? Во имя чего?..

Впрочем, это уже не имеет значения.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

1

Ивану Иванычу было уже за тридцать, когда его жизнь резко переменилась. Дело в том, что Иван Иваныч запел. То есть не просто запел, а стал придумывать мелодии к собственным стихам, и получалось что-то похожее на песни. Он и раньше писал стихи и даже некоторые из них опубликовал в различных газетках, но это не делало его сколько-нибудь известным — ну, стихи и стихи. А тут вдруг запел. Оказалось, что у него приятный голосок и симпатичные мелодии, и хотя на гитаре он знал всего лишь три аккорда, но в целом во всем этом что-то такое было, ибо некоторые из его литературных друзей отнеслись к нему не просто с удивлением или даже расположением, а восхитились и просили его повторить еще и еще раз. Сначала это его забавляло, но после как-то вдохновило (приятно быть приятным), и он сочинил новые мелодии к целому ряду стихов, и это все любители записали на самые первые, только что тогда появившиеся магнитофоны, а с них тут же кто-то переписал, а у него — другие, и так оно пошло и пошло...

Должен заметить, нисколько не пытаясь унижить достоинство Ивана Иваныча, что его некоторый успех был вызван не столько, может быть, его творческими данными, сколько ситуацией, которая господствовала в стране в то время, то есть в пятьдесят шестом — пятьдесят седьмом годах. А было вот что: после XX съезда общество вдруг раскололось, все начали ощущать себя людьми, начали скорбеть об утратах, задумались о душе, ну просто обезумели от всяких разоблачений, от понимания собственного рабства. Цепи лопались со звоном. Все были полны сил и надежд. Вдруг

разглядели множество пороков, уродств. Вдруг поняли, что так, как жили, жить нельзя, надо жить как-то иначе, достойнее, честнее. Надо оценить минувшее время — ложь, насилие, унижение личности, расхождение слов и дел. Надо побороть страх, источивший души. Мы ведь все братья, пострадавшие братья и сестры... Нет, нет, я не намереваюсь давать развернутую характеристику тех событий, а тем паче проводить философский анализ происшедшего, ни в коем случае. Я о том, что Иван Иваныч вдруг запел... Я о песнях. И хотя в обществе произошел такой переворот, официальные песни оставались старые, из прежних времен. Они бывали и музыкальны, и привлекательны напевностью, но ничего уже не говорили новым представлениям о жизни. Ну, звучали марши, интеллигенты, бывало, напевали хором или в одиночку, но все это так, наборы общих фраз из кинофильмов, иногда старинные романсы, иногда что-нибудь из фольклора. Вершиной были Утесов и Шульженко. «Синенький скромный платочек...», «Ты ж одессит, Мишка...» и тому подобное. А Иван Иваныч, во-первых, запел о себе, просто о себе, а во-вторых, грустно и откровенно, ибо поводов для грусти было множество — такая уж была в стране ситуация, да и в его личной жизни, потому что он с детства числился сыном врагов народа. Короче говоря, он задел какие-то струны интеллигентов, и они жадно откликнулись. А он был членом партии. Он во время XX съезда вступил в партию, потому что поверил в этом общем подъеме, что вот теперь, когда усатый убийца разоблачен и пригвожден, все образуется и начнется новая свободная жизнь.

Да, и вот он пел, но его песни вызывали заметную неприязнь именно у партийных, даже не столько у рядовых, сколько у партийных начальников. Им казалось, что Иван Иваныч как-то слишком грустен и как-то упадочен в пору всеобщего жизнерадостного возбуждения, что он не тому служит, чему следует служить, играет на руку врагам и не туда ведет. Их раздражал некоторый подтекст, сквозивший в его стихах, а некоторые слова ну просто пугали и отвращали. Например, у него в стихах появилось слово «женщина». Слово

как слово. Но в стихах, но в песне — это было чуждо их слуху, их привычкам, их вкусу, это рождало всякие липкие ассоциации, когда вместо привычного, здорового слова «девушка» или «девчата» звучало «женщина». В этом они видели пошлость и измену соцреализму. Этому их не учили, то есть их учили противоположному: в слове «женщина» для них таилось нечто буржуазное, нэпмановское, может быть, даже классовое. Да и вообще в стихах Ивана Иваныча не было бодрости, призыва, безоглядной веры, а все какие-то намеки, двусмыслица, разлуки, крушения, смерти, какие-то милосердные призывы и уж совсем никчемные разглагольствования о благородстве. И это все в то время, когда тогдашний комсомольский секретарь Павлов призывал молодежь быть сильной, мужественной, смелой и решительной. В общем, направленность работы Ивана Иваныча не устраивала официальные власти. Он для них был явлением чуждым и даже опасным. Да и еще раздражала их ирония, всякие насмешки, которые воспринимались начальниками выпадами в свой адрес, впрочем, видимо, не без основания. Ну и, конечно, раздражал их внезапный и довольно-таки сильный интерес к его работе со стороны всяких интеллигентов, студентов и некоторых рабочих и крестьян.

Итак, у Ивана Иваныча началась новая жизнь. А трудился он в то время в большом московском молодежном издательстве. Руководили издательством бывшие комсомольские работники, которым, как я уже говорил, пение Ивана Иваныча было не совсем понятно. Я не хочу сказать, что они были возмущены, нет, до этого еще не дошло, но известная напряженность читалась в их лицах, когда они с ним сталкивались. Они, конечно, ему улыбались, старались быть доброжелательными, но в глазах, улыбках стоял этот мучительный вопрос: как это он, член партии, фронтовик, — и с гитарой, и поет, и эти ухищрения, и всякие там женщины...

Кстати, я позабыл сказать, что Ивана Ивановича на самом деле звали не Иван Иваныч, а Отар Отарович, так как он был по происхождению грузин, но родился он на Арбате, родной язык его был русский, а в детстве у него была нянька

с тамбовщины Акулина Ивановна, и она многое вложила в него, что уже в последующие годы нельзя было вытравить, и, наверное, потому многие из специалистов теперь находили в его так называемых песнях сильный элемент русского фольклора и старинного русского городского романса. Когда и как это произошло с переменой имени, трудно сказать, но себя он ощущал Иваном Ивановичем.

И вот он работал в молодежном издательстве, был счастлив с друзьями, потому что появились благодаря его некоторой известности отдельные симпатичные люди, то есть не то что они потянулись к известности, а просто она помогла им найти друг друга. Так бывает. Он уже не числился сыном врагов народа. Чего ж вам больше? Однако жизнь, как известно, весьма суровая школа и таит в себе множество горьких неожиданностей и разочарований. И тут произошел производственный, так скажем, эпизод, который Ивана Ивановича потряс. Редакцией поэзии заведовала одна пожилая, серьезная интеллигентная дама. Она к Ивану Ивановичу была благосклонна. Она даже отмечала в нем незаурядность, ей нравилась его открытость, она даже втайне считала его талантливым. Во всяком случае, на фоне бывших комсомольских функционеров, горящихся в издательстве, в нем действительно было что-то симпатичное и не совсем обычное, какая-то раскованность, какая-то душевность, что ли, и ей это импонировало. Она благодаря этому кое на что смотрела сквозь пальцы, даже улыбалась ему время от времени сдержанно, по королевски. А он занимался изданием национальных поэтов, находил переводчиков и заключал с ними договора. Нет, в его компетенцию не входило определять, кто из национальных поэтов талантлив и достоин сборника. Он получал от заведующей список тех, кого следовало издать, и все. Да и она в основном не сама решала, а решал директор издательства и главный редактор, и уж конечно центральный комитет комсомола. Как они определяли талант — оставалось загадкой. И если, скажем, Ивану Ивановичу рекомендованный национальный поэт казался бездарным, то он должен был помалкивать, потому что это его не касалось.

Зато переводчики — это было в его власти, и он постепенно обзавелся отрядом поэтов, которые с охотой брались за переводы даже самых бездарных, ибо жить хочется всем, а за переводы платили. Один из переводчиков (не буду называть его имя) как-то сказал Ивану Иванычу, что он с большим удовольствием переводит бездарных, так как, во-первых, тратишь меньше серого вещества, а во-вторых, плата одна, что за талантливого, что за убогого. В общем, они переводили кто как мог. Зарабатывали. Ведь бывало так, что русского поэта не печатали с его собственными стихами: ну там он не подходил идейно или по анкете, мало ли что, и он зарабатывал переводами — большое счастье. Многие ходили в переводчиках в те годы. И должен сказать, что обилие переводов вовсе не связывалось с потребностями рынка или с обилием талантов. Талантов, как известно, много не бывает. А это объяснялось национальной политикой: нужна была витрина расцвета поэтической работы, культуры, нужно было показать Западу: вот как у нас много талантов в республиках! Вот до чего мы дошли... Поэтому появлялась разрядка: два мужчины, одна женщина, три от станка, четыре от сохи, один ненец, два киргиза, и тому подобное.

Иван Иваныч потихоньку входил в литературные круги, то есть уже был своим человеком среди литераторов. В его списках был и совсем молодой Женя Евтушенко, и Давид Самойлов, и Женя Рейн, и Толя Нейман, и Женя Храмов, и Юлий Даниэль, и Белла Ахмадулина, и Юрий Левитанский, и многие другие начинающие и уже сложившиеся поэты. И вот однажды заведующая подозвала Ивана Иваныча и попросила у него список переводчиков. Она долго просматривала этот список, молчала и только сильно покраснела. А он смотрел на нее и испытывал при этом возвышенные чувства, ибо приятно видеть перед собой пожилую интеллигентную женщину, тонко чувствующую, иронически поглядывающую на безмерно суетных и суетливых бывших комсомольцев и на всяких национальных авторов, самонадеянных и наглых, вывалившихся из свинцовых облаков конъюнктуры, которых так просто не спровадишь, потому что за ними

власть и политика, но которых можно проводить насмешливым движением неюных губ и пожать недоуменно плечами, и вздохнуть, утверждая хоть так собственное достоинство. И вот, просмотрев список, она сказала через силу, глядя в окно:

— Странный список...

— Чем же он странный? — не понял Иван Иванович. — Может, я должен был отпечатать его на гербовой бумаге?

— Вы не понимаете? — спросила заведующая, совсем обернувшись к окну. — Странно. Вот посмотрите: Юрий Левитанский...

— Да, — сказал Иван Иванович.

— Или, например, Давид Самойлов... Давид...

— Да, — сказал Иван Иванович.

— Вот еще, — сказала она, — Юлий Даниэль, — и посмотрела ему в глаза, — Евгений Рейн...

— И что же? — спросил Иван Иванович. — Список переводчиков — один лучше другого...

— Или вот Нейман... Толя...

Возникло некоторое напряжение.

— Разве они плохо переводят? — удивился он.

— По-моему, плохо, — сказала она и покраснела еще пуще.

— Я не могу с вами согласиться, — сказал Иван Иванович, еще ничего не понимая, — это прекрасные поэты.

Они помолчали.

— А вам не кажется, что в списке слишком много евреев? — спросила она, трудно дыша.

— Что?! — не понял Иван Иванович и густо покраснел.

— Вот посмотрите, — и она поднесла список к его лицу, — вы сами еще раз посмотрите, посмотрите... Слишком много... а хорошие русские переводчики идут в другие издательства...

— Что вы говорите?! — поперхнулся Иван Иванович. — Да разве это определяет...

— У нас русское издательство, — сказала она, продолжая задыхаться, — я не против, но нужна пропорция...

директор очень недоволен этим обстоятельством... вот такое обстоятельство...

Свидетелей при разговоре не было. Иван Иванович побежал к директору. Он бежал по большому коридору. Сначала бежал, потом пошел медленней, медленней, затем присел на диван.

На лице его выступил пот, щеки горели. Почему же он замешкался? Почему не ворвался в кабинет к директору? Тут было одно обстоятельство. Недавно он влетел в этот кабинет по какому-то там местному поводу и замахал руками, закричал, запричитал о своем каком-то там несогласии с чем-то маленьким, ничтожным, второстепенным, мол, он, Иван Иванович, не согласен с решением администрации, потому что это неправильно, и даже незаконно, и задевает честь сотрудника, и еще что-то гневное и громкое.

Перед ним сидел директор, худой, изможденный, немолодой, со втянутыми щеками. Глаза у него были холодные, просверливающие насквозь, губы изображали брезгливое отвращение.

— Что это вы ножками сучите? — спросил он тихим зловещим шепотом.

Иван Иванович остолбенел, замолчал, даже остыл, не знал, что делать с руками, которые все еще продолжали двигаться. Он хотел было пояснить свою мысль, но директор сказал еще тише:

— Идите... Без вас разберемся.

И Иван Иванович тотчас очутился в приемной, ненавидя оскорбителя и презирая себя.

И вот теперь, сидя на диване, он вспомнил все это, вспомнил перекошенное лицо заведующей, и вдруг ему стало ее жалко, как она выдавливала из себя эти страшные слова, интеллигентка, дочь известного в недавнем прошлом писателя... Конечно, конечно, она говорила это не от себя, и, видимо, перед нею в ту минуту маячило изможденное лицо директора и его стальные всепроникающие глаза, и она как заведенная твердила Ивану Ивановичу высочайшее мнение, жалко пытаюсь выдать его за свое. Да, несомненно, все так и

было. Но тут же, сидя на диване, он вспомнил, как однажды в его присутствии в кабинете директора, когда обсуждались какие-то там очередные издательские мелочи, вдруг пропел особый телефон и директор взял трубку. Иван Иванович увидел следующее: директор вскочил с кресла и вытянулся. Он побледнел и бормотал заикаясь: «Да... так точно... виноват... будет исполнено... виноват... так точно... не сомневайтесь... недоглядел... виноват...» Он пытался вытянуться во весь свой немалый рост, но голова была втянута в плечи, грозное, непроницаемое, изможденное лицо было растерянно, и на лбу посверкивали капельки пота. Все присутствующие затаив дыхание вслушивались в его жалкие слова. Затем он положил трубку и тяжело опустился в кресло. Лицо его из бледного стало зеленым. Пальцы быстро-быстро зашарили по столу. Кто-то суетливо подал ему валидол, налил воды... Ивану Ивановичу было его жалко.

Итак, Иван Иванович пел свои стихи, вкушал житейские несообразности, а чем больше он пел, тем больше сталкивался с сопротивлением, тем больше возникало всяческих препятствий, и в связи с этим на его, в общем, симпатичном молодом лице возникла однажды, как говорится, легкая тень недоумения, возникла да так и осталась. Надо сказать, что Иван Иванович не был человеком легкомысленным или равнодушным, напротив, его все кругом касалось, и задевало, и западало в душу, но, может быть, отчасти благодаря происхождению или каким-то индивидуальным чертам, была в нем некоторая отстраненность, такое умение отряхиваться, что ли, быть себе на уме, какое-то упрямство — и все это помогало оставаться самим собой и не терять до конца человеческий облик, перешагивая через те самые житейские несообразности. Вы скажете, что был он эгоистом и ничем, кроме собственной жизни, не интересовался. Возможно, в какой-то степени вы и правы: ну был в нем эгоизм, ну был такой инструмент самосохранения, а у кого его нет? Может быть, у каких-нибудь фанатичных альтруистов, безумцев, редчайших экземпляров, которыми принято почему-то восхищаться, но следовать которым и небезопасно, и попросту глупо.

Нет, Иван Иванович был далек от этих замечательных образцов, он был обыкновенным человеком и даже в какой-то степени обывателем, хотя в степени не очень значительной. Нет, он умел смотреть на вещи широко и с пристрастием и волноваться не только за собственную судьбу. Был он в меру добрым, и великодушным, и терпимым к чужим грехам, и, наверное, не случайно имел множество приятелей и некоторых верных друзей, прощающих ему слабость и просчеты. Но мне бы не хотелось изображать его совсем уж банальным и заурядным. Теперь, по прошествии тридцати с лишним лет, я отчетливо различаю в нем одну привлекательную особенность, а именно то, что он отличался от многих довольно-таки заметной самоиронией. Упаси бог, это не было обычным, распространенным, показушным самоуничижением, вот, мол, посмотрите, какой я смешной, непрактичный, нелепый, посмотрите-ка на меня... Нет, это была глубоко запрятанная особенность, не выставляемая напоказ, особенность для собственного, так сказать, употребления.

Но подобные абстрактные характеристики — не главное, ради чего я взялся за перо. Не отрицая их некоторого значения, я все же вернусь к гитаре, инструменту по тем временам подозрительному, ибо он олицетворял, как предполагалось, мещанские, обывательские пристрастия и не вписывался своей душещипательностью в бодрое поступательное движение вперед. Но Ивана Ивановича подобные взгляды не коробили: он был дитя своей эпохи и даже стеснялся под гитару петь, хотя петь хотелось и никаких других инструментов он не знал. Он, например, стеснялся носить обручальное кольцо, а почему — не знал, стеснялся, и все тут.

Короче, у него сложилось с десятков песен, когда однажды раздался телефонный звонок и незнакомый человек очень мило и деликатно спросил, не согласится ли Иван Иванович приехать к нему на квартиру и попеть свои песни хорошим людям. Иван Иванович сперва оторопел: это было так необычно, но тут же загорелся, предложение показалось ему лестным (чего же не попеть?), и он согласился. Договорились на семь часов, и в семь часов Иван Иванович со своей

гитарой вошел в незнакомую квартиру. Его приветствовали тихие, симпатичные люди, какие-то, как после выяснилось, инженеры, филологи, медики, человек пятнадцать. В основном мужчины, но были и женщины. Все были немного смущены, Иван Иваныч тоже. Тут он заметил накрытый стол, и все, приветливо улыбаясь Ивану Иванычу, в то же время плавно кружились вокруг этого стола. На столе возвышались две водочные бутылки и одна с сухим вином, рядом — блюдо с бутербродами и еще мисочка с солеными огурчиками, ну и хлеб. Скромно, пристойно, а главное, крайне необходимо, так как нужно было снять некоторое напряжение, возникшее с приходом Ивана Иваныча.

И вот все уселись, и произнесены заветные слова, все выпили и захрустели огурчиками. Все были очень милы, и было так спокойно и просто, но за этим домашним благополучием Иван Иваныч различал затаенные огни удивления, и тревоги, и временности всего происходящего, и сам он был под стать им всем слегка напряжен и, участвуя в непринужденном разговоре, думал о том, что эта временность написана на их лицах и на его, вероятно, тоже. Они все были почти ровесники, некоторые повосвали, но все прошли одну школу, а она была сурова и беспощадна, и как они уцелели? Откуда силы-то взялись ринуться вот так самозабвенно в приоткрывшуюся дверь надежд? Зеленые тени утрат, страха, унижения медленно стекали с их лиц. Как они сохранились? Их воспитывали цивилизованными рабами, не умеющими самостоятельно мыслить, их старались сделать такими, и многие не устояли, однако вот вам пожалуйста: кое-кто уцелел. Казалось, что все кончено, но стоило зазвучать словам маленькой правды, как откуда все взялось? Видимо, природа все-таки сильнее многих фальшивых теорий и жестоких диктатур и утешающей лжи...

И вот они сидели за столом — дети XX съезда, как их назовут впоследствии, и касались друг друга плечами, словно возрождали утраченное былое искусство различать, понимать друг друга, наслаждаться лихой откровенностью, презирать

страх и верить в чудеса. Затем Иван Иванович взял гитару. Все замолчали. И он запел.

— Включите магнитофон! — прошелестел кто-то.

После первой песни долго царило молчание, потом один из гостей выдавил из себя, шумно вздохнув:

— Н-да, судьба...

Иван Иванович спел вторую песню, затем — третью, четвертую, и, пока он пел, задрав голову и ни на кого не глядя, он чувствовал, как круг собравшихся становился теснее, и у него немного кружилась голова, но не от выпитого, а от ощущения тайного братства и его причастности к нему, и ему хотелось шепнуть им: «Братья и сестры, не будем расставаться!» Когда он заканчивал очередную песню, он украдкой разглядывал сидящих, и ему было радостно, что его слова производят такое впечатление. Перед ним сидела женщина и глядела на него большими темными глазами. Некрасивая, но прекрасная. И улыбалась чему-то своему. Нет, не гордость от сознания совершенного владения Иваном Ивановичем и вдохновляла его, а то, что он с ними, что они все вместе — одно целое, перестрадавшее, но не утратившее человеческого достоинства.

В промежутках между песнями они вздыхали, тихонечко переговаривались и влюбленно на него поглядывали. «Что же это такое? — думал Иван Иванович, поглаживая струны. — Как удивительно и как приятно». Когда он закончил все песни, разговорились в полный голос. Выпили еще понемногу за здоровье Ивана Ивановича, и одна блондинка, кажется медик, спросила его:

— А вы понимаете, что это все для нас?..

— Не знаю, — сказал он искренне, — просто мне хочется вот так сказать... нет, я об этом не думал, но если вам это интересно...

— Тут все очень просто, — сказал один из гостей, — проще некуда. Вот, например, Москва, полночь, одиночество, какие-то смутные надежды, и все... все просто. Или война, разлуки, нелепость, смерть... но в этой простоте... или, например, этот трубоч с острым локтем... почему с острым? Но

все точно, простите за сумбур... Но все точно — и настроение, и всякие ассоциации...

— Дорогая моя столица!.. — громко запел кто-то.

— Перестань! — оборвали его, и все рассмеялись.

Конечно, теперь это выглядело смешно, по нынешним временам это общее восклицание из известной песни. То, что совсем недавно распевали с умилением и вдохновенно, теперь звучало как пародия. Конечно, все переменялось, и Москва тоже. Открылись глаза, и стали заметнее, всплыли из небытия ее закоулки, коммуналки, клопы и тараканы, ее пивные в чаду и при тусклом свете, и страх в глазах, и ненадежность бытия. И это все не уравнивалось ни Кремлем, ни Красной площадью, ни новыми проспектами, ни новыми мостами.

Напротив, в Москве как бы сосредоточилась недавняя затяжная беда и не выстривалась. Нет, Иван Иванович не анализировал всего этого, не обобщал. Он был составной частью большого города, он приспособился к этому быту. Но, видимо, человеческое не было в нем побеждено окончательно, вот оно и выплескивалось, и протестовало, и маячило, словно бельмо на глазу.

— Теперь я понимаю, до какой степени мы были разобщены, — сказала брюнетка, — еще два-три года назад... Оказывается, можно быть вместе, и это хорошо...

— Боюсь, — сказал один из гостей, — что это-то кое-кому и не понравится.

— Кому? Кому?

— Им...

— Кому им?

— Ну этим, — засмеялся он. — Этим самым... тем самым, которые видят опасность в общении людей, то есть, когда мы вместе, мы начинаем размышлять, да еще вслух, и обсуждать...

И тут разговор перекинулся на роман Дудинцева «Не хлебом единым», даже не столько на сам роман, сколько на реакцию читателей, ибо в университете начался просто бунт при обсуждении, там разговор пошел уже не по существу,

а по поводу, да и вообще постепенно о романе забыли, а начали поднимать проклятые вопросы — и уже политического свойства... Студенты орут, администрация кладет в штаны, какие-то совсем юные ребята все, оказывается, понимают, дураков нет, очень острые мнения...

— Начнут сажать, — сказал кто-то из гостей.

— Не те времена, — откликнулись в ответ.

— Машина все та же, — мрачно усмехнулись в углу, — поскрипывает, да все та же...

— Кстати, мне сказал один информированный человек, что репрессировано было при Сталине десять миллионов.

— Не десять, а двадцать, — поправили его.

— Ну ты хватил, — рассмеялись за столом.

Все провожали Ивана Ивановича гурьбой до двери, жали руку, восклицали, желали счастья, договаривались о встрече, воздух был насыщен вдохновляющими флюидами, в тесной прихожей толпилась Москва, лучшая ее часть, подумал Иван Иванович. Имен он, как ни старался, не запомнил, адрес тоже. Словно ничего не было. Однако было, было. И на следующий день все они присутствовали за его издательским столом — их лица, то отчетливые, то потухающие, их силуэты, и слышались их возвышенные и тревожные голоса...

Ближе к концу рабочего дня раздался телефонный звонок, и незнакомый гражданин предложил Ивану Ивановичу заехать к нему вечером и попеть свои песни... Это был уже другой конец Москвы. И Иван Иванович, конечно, согласился. И в этой квартире было то же самое, и те же разговоры, и восклицания, и вздохи, только люди были уже иные, не вчерашние, и магнитофон был другой системы. Так он ездил. А однажды случилась презабавная история. Распрощавшись с очередным милым домом, вышел он со своей гитарой в полночную Москву и, заново переживая эту встречу, вдруг почему-то отчетливо вспомнил, что хозяин квартиры — известный ученый, прощаясь с ним в прихожей, как-то странно суетливо похлопал его по плечу, потом по правому боку, словно проверил, нет ли оружия в кармане. Он ощупывал Ивана Ивановича, а сам торопливо произносил различные

витиеватые комплименты. И вот потом уже на улице, вспомнив все это, Иван Иванович полез в карман и вытащил оттуда красную тридцатку. Он почувствовал себя очень нехорошо и покраснел, и намеревался кинуться обратно, и вернуть, и сказать что-нибудь такое резкое и убедительное, но адреса, как всегда, не помнил — ни квартиры, ни этажа, ни замысловатой фамилии ученого. И тут вынырнуло ночное такси, Иван Иванович с комфортом доехал до дому, успокоился и даже подумал, что честным путем заработанные деньги рук не жгут. Да, вот так он и ездил по разным адресам изо дня в день, месяц за месяцем в неизменном своем сером пиджаке-букле с усиками своими и еще достаточно пышным чубом, бывший фронтовик, член партии, с мешанским инструментом под мышкой, в метро, в троллейбусе, изредка в такси, и никто из прохожих не знал ни его самого, ни тем более его прошлого.

В самый разгар этой странной его деятельности неожиданно был он вызван в московский горком партии.

Заведующий отделом культуры выбрался из кресла, из-за громадного стола, сам громадный, сутуловатый, в черном костюме при галстуке, пошел навстречу, протянув Ивану Ивановичу широкую горячую ладонь.

— Отар Отарыч! Ну вот и свиделись. А то все кругом «Отар Отарыч», «Отар Отарыч», а мы и не пересечемся. Ну что это такое, я вас спрашиваю? Садитесь, пожалуйста, вот так... — И сам ловко погрузился в кресло.

Иван Иванович был в своем букле и без галстука, и вообще к такой высокопарной встрече не был готов. Этот прием его просто обескуражил. Он ждал окриков, зловещих внушений, а тут пожалуйста. Заведующий принялся его расспрашивать о том о сем, о каких-то пустяках, но при этом Иван Иванович видел его большие недоумевающие голубые глаза и немного терялся перед ними. Эти глаза так разглядывали Ивана Ивановича, будто до этого ничего подобного не видели, с любопытством, недоумением и даже со страхом. Страх-то откуда? — подумал Иван Иванович, улавливая эту искорку. Это спустя много лет он стал понимать состояние заведующего, лет двадцать должно было миновать, чтобы

посмотреть на самого себя глазами хозяина кабинета: ну действительно, этот серый пиджак, эти усики на тощем лице — и вдруг коммунист, поющий под гитару всякую декадентщину, эти ноющие интонации. Нет, не Павка Корчагин, не Олег Кошевой — поводов для напряженности более чем. Заведующий очень старательно демонстрировал доброжелательность.

— Вот вы какой, Отар Отарыч! — воскликнул он тихо. — А я-то представлял вас высоким, широкоплечим, а? Ну, как вам работается?..

В этот момент в кабинет аккуратно вошли двое. Мужчина и женщина. Мужчина оказался заместителем заведующего, а женщина инструктором горкома. Хозяин кабинета, широко улыбаясь, представил всех друг другу. Заместитель был человек пожилой, неулыбчивый. Он тоже был в черном костюме. Он кивал заведующему и не отводил взгляда от Ивана Ивановича.

— Сергей Митрофаныч учился в музыкальном училище, — сказал заведующий о своем заместителе. — Так что в музыке разбирается за-а-амечательно, вообще любит музыку, так что, Отар Отарыч, не только вы музыкант, не только...

Иван Иванович напряженно улыбнулся.

— А Любовь Петровна у нас почти писатель, — засмеялся заведующий, — училась на литературном факультете, так что, Отар Отарыч, все у нас люди грамотные, мы не лыком шитые, Отар Отарыч...

Все трое разглядывали Ивана Ивановича не чинясь, не с городским пустым интересом, а обстоятельно, въедливо, с пристрастием, и Ивану Ивановичу хорошо вспомнились искривленные в вежливой улыбке губы и неотвратимые осуждающие глаза.

— А кем вы себя, Отар Отарыч, считаете, — спросил заведующий, — кто вы: композитор, поэт, певец?

— Ну какой же я певец, — усмехнулся Иван Иванович, — и не певец, и не композитор. Какой же я композитор? Я и нот не знаю. Так, стихи пишу...

— Но ведь поете, Отар Отарыч, и на гитаре играете...

— И музыку сочиняете, — вставила Любовь Петровна.

— Это не музыка, — слукавил Иван Иванович, — так, легкий аккомпанемент.

— А вы кому подражаете? Дунаевскому? — спросил Сергей Митрофаныч, профессионально улыбнувшись.

— Нет, — оторопел Иван Иванович, — не подражаю.

— А кому же?

— Никому...

— А зря, — удивился Сергей Митрофаныч, — надо бы Дунаевскому, хороший композитор, лауреат.

Тут ему вспомнилось, как много лет назад при редакции большой молодежной газеты было организовано литературное объединение. Иван Иванович пришел туда школьником. Разных людей соединило то первое собрание. Они все пописывали понемногу, их обуревала жажда творчества. Главный редактор газеты тогда сказал им: «Симонова читали? Нравится? Ну еще бы... Так вот считайте это эталоном. Ничего выдумывать и изобретать не надо. Пишите, как он пишет». Это прозвучало внушительно. Лишь один какой-то маловвер тоненько хихикнул, остальные же хранили благоговейное молчание.

А вот теперь — Дунаевский.

Иван Иванович вытер платочком пот на лбу и подумал, что жизнь его приобретает новое качество, что-то такое ранее незнакомое вторгается в нее, кто-то неведомый обратил на него свое неблагосклонное внимание...

— Вот мы тут, Отар Отарыч, послушали ваши песни, — сказал заведующий, — и так нам показалось, что как-то вы немного от жизни отделились, как-то все у вас слишком грустно и не соответствует нашему времени...

— Кстати, героическому, — вставила Любовь Петровна.

Иван Иванович вдруг почувствовал, что его прелестное свойство относиться ко всему чуть насмешливо погасло. Он попытался губами изобразить иронию, но в душе-то была пустота, и он не знал, как им ответить. Да они и не поймут, подумал он, видя их глаза.

— А ХХ съезд? — сказал он без надежды. — Разве это не грустно, то, что мы пережили?

— Что пережили? Что пережили? — спросила Любовь Петровна. — Кто пережил? Ну, пережили... и давайте засучим рукава.

— Вот это верно, — засмеялся голубоглазый заведующий, — рукава... И все-таки о песнях...

— У Дунаевского музыка бодрая, вдохновляющая, — сказал Сергей Митрофаньч. — Зря вы ему не подражаете, ох зря...

— И в текстах ваших, я смотрела, — сказала Любовь Петровна, — какие-то намеки, ну не намеки, а какие-то так, исподтишка, что ли, и молодежь наша недоумевает, тут мне молодые люди говорили, что они не согласны, им это чуждо...

— Ну пусть не слушают, — рассердился Иван Иваньч, — я не для них пишу...

— А для кого же? — засмеялся заведующий.

— Для своих друзей, — сказал Иван Иваньч, — им нравится.

— А кто ваши друзья, извините? — спросил Сергей Митрофаньч.

— Хорошие люди, — сказал Иван Иваньч, пожимая плечами.

— А есть среди них рабочие? — вкрадчиво спросил заведующий. — Нет, Отар Отарьч, рабочие этого искусства не примут, — и он помрачнел, — а вот городские пажоны всякие, всякие прохиндеи, отщепенцы всякие, они ведь вокруг вас вьются, их медом не корми — дай им какой-нибудь клубнички...

Любовь Петровна тяжело вздохнула.

— Я не понимаю, — сказал Иван Иваньч возбужденно, — что это вы меня судите? Я пишу что умею и думаю как умею, а вы судите. Разве я кому-нибудь навязываюсь?

— Не туда зовете, — сказал Сергей Митрофаньч и посмотрел на заведующего.

— Вы же член партии, — сказала Любовь Петровна и сделала вид, что улыбается.

Тут Иван Иваньч рассердился и хотел крикнуть: «Пошли прочь!» — но, смущенно улыбнувшись, тихо сказал:

— Не знаю, может, вы и правы...

— Ну вот, — облегченно засмеялся заведующий, — вот видите, Отар Отарыч, как оно все...

И все заулыбались.

— Кстати, — сказала Любовь Петровна, — у вас есть песенка, как парнишка пошел на войну... ну этот, как его...

— Это Ленька, что ли? — спросил Сергей Митрофаныч.

— Ну да, — сказала Любовь Петровна, — и он погиб, и некому, мол, его оплакать. Это как же?

— Ну, товарищи, — развел руками Сергей Митрофаныч.

— Видите ли, — сказал Иван Иваныч, — это мой друг, и он действительно погиб... и оплакать его некому: невесты у него не было...

— Так ведь не все же погибли, — засмеялся заведующий и подмигнул голубым глазом, — а потом, как же это некому оплакать? Живые-то остались, Отар Отарыч? А комсомол? А профсоюзы? Вообще люди, друзья... Вот вы, мы с вами, а? Мы ведь пока живые, а, Отар Отарыч?

— Я думаю, — сказал Сергей Митрофаныч мрачно, — нельзя эту песню исполнять, нельзя. Она неправильно ориентирует молодежь.

— А Отар Отарыч и сам это понимает. Верно, Отар Отарыч? — сказал заведующий. — Вы вот про целину слышали? Какой энтузиазм, верно?

— Да, — сказал Иван Иваныч. Он знал о целине. Об этом говорилось и писалось. Эфир был наводнен бодрыми песнями. В одной были такие слова: «Едем мы, друзья, в дальние края, станем новоселами и ты, и я». Он представил себе лица своих друзей. На них было написано отвращение.

— Вот если бы вы да с вашим талантом, — сказал заведующий, — да сочинили бы песню, ну хоть о той же целине, бодрую такую, понимаете, зовущую, цены бы вам не было, а, Отар Отарыч?

— Понимаю, — слукавил Иван Иваныч.

Благодаря некоторому легкомыслию он с ума не сошел, хотя в душе бушевали бури и грезилась всякая чертовщина.

Они распрощались дружески, хотя каждому из них хотелось сказать еще что-то важное и острое, но хорошее воспитание сдерживало порывы. Так, Любовь Петровна, например, хотела сказать: «Сбрили бы вы эти усики. Ну что они вам, коммунисту?» — но не сказала. А Сергей Митрофаныч изготовился произнести: «Что вы разнылись о судьбе да о душе, цыганщину развели!» — но тоже сдержался. Что же до заведующего, то тут было сложнее, ибо голубые глаза его потухли, он заторопился; пожимая руку, глядел в сторону. А Иван Иваныч никак не мог понять: на самом деле они подружились или это спектакль? Шагая по улице, он вдруг поймал себя на том, что ему приятно, что вот его пригласили в такое высоко место, его знают, даже сначала растерялись перед ним.

Ивана Иваныча лихорадило от приятных комплиментов, расточаемых благожелательными людьми, и суетливая мыслишка о том, что вот он нашел какую-то такую важную струнку, действующую на сердца, мыслишка эта шевелилась в его разгоряченной голове. Но, с другой стороны, вежливые холодные недоброжелатели торопились скептически усмехнуться или укорить взглядом, или жестом, или словом, или призвать одуматься, или даже потребовать что-нибудь нелепое, но вполне приемлемое, по их разумению. И эти укоризны перемешивались с комплиментами, и получалось несколько странное месиво, вызывающее как раз лихорадку.

Между прочим, через три года у него появилась «Песенка об идиотах», и его тотчас же вызвали в горком партии. Правда, там уже были другие люди. Они были вежливы и сдержанны, но облачко предвещало грозу. И они сказали:

— Ну что это еще у вас за песенка такая?
— Какая? — спросил Иван Иваныч, напрягшись.
— Ну эта... об идиотах... Об идиотах, да?
— А-а-а, — сказал Иван Иваныч, — ну да... ну песенка...
— Не надо, — брезгливо сказали ему, — ну какие еще дураки? Так ведь можно подумать... не надо, не надо... Кстати, есть же у вас замечательная песня о Левке Куравлеве. Ну и пойте ее. А вы «дураки»... «дураки»...

Он, конечно, не воспринимал все это очень уж серьезно, но кое-какие выводы все же делал, понимая, что с этой машиной можно шутить лишь до известного предела. Был ли Иван Иванович хитрым? Нет, он не был хитрым, хотя некоторая ловкость ума ему была присуща. Он не был и приспособленцем в том отвратительном значении, которое мы придаем этому понятию, но некоторая способность приспособливаться все-таки была ему свойственна, как всякому члену общества, а особенно этого, к которому он имел честь принадлежать.

2

Ивану Ивановичу хотелось издать книжку своих стихов. Он складывал их в голубую папку, время от времени перечитывал, кое-что выправлял, кое-что заменял. Папка понемногу распухала. Грезились всевозможные удачи и комплименты. Грезились, а с кем это не бывает? Можно было бы даже упрекнуть Ивана Ивановича в непозволительной слабости чувств, когда бы он пустился во все тяжкие, но он ведь не пустился. Он не хотел уподобляться некоторым московским стихотворцам, обожающим собственные стихи на протяжении многих лет. Ну они просто не могли усомниться в собственных совершенствах, и их вдохновенные туповатые лица возникали перед ним, и не было более совершенного оружия против самообольщения. Нет, думал Иван Иванович, лишь бы не уподобиться этим несчастным.

Голубая папка пухла и росла. Она лежала в ящике служебного стола, и тихое шуршание ее листов заглушал шум жизни. Неизвестно, сколько она пролежала бы так без движения, как вдруг однажды в редакции появился Женя Евтушенко, молодой, двадцатичетырехлетний, высоченный, худой, в голубой рубашке с короткими рукавами, с русым ежиком на голове, с обворожительной улыбкой фавна, востроносенький, похожий на долговязого Буратино... Он был уже известен, даже знаменит. Их знакомство было недавним. Молодому поэту понравились песни Ивана Ивановича, и он теперь сгорал

от доброжелательства и любопытства. Молодость, ранний успех, благорасположение светил — все это отражалось в его немного нескладной фигуре, размашистых жестах, улыбке, желании поделиться собственной удачей, осчастливить всех вокруг... Он фантазировал, прожектерствовал, лукавил, привирал, исповедовался, поглядывая на сидящих в комнате редактрис, словно напоминал: это все для вас, для вашего удовольствия, для вашего приятного недоумения, чтобы растормошить вас, приобщить, и даже вдохновить, и даже зажечь, ибо вы погрязли в этих серых, удручающих буднях и крайне нуждаетесь в его вдохновении, таланте, щедрости и участии. Он может все, и он вам отколет от своих житейских слитков большой увесистый кусок: знай наших, помни...

Иван Иванович был по натуре человеком сдержанным и не слишком словоохотливым (черт знает отчего у него так было. Может быть, и от комплекса неполноценности), и он лишь слушал и кивал, тайно наслаждаясь вниманием к себе, особенно приятно было воспринимать все это со стороны известного поэта, ибо Иван Иванович успел уже узнать небогатую щедрость собратьев по перу.

— Я был в деревне и напилил там кучу дров, — сообщил Евтушенко.

— Кому? — спросил Иван Иванович.

— Ну кому было нужно, — сказал Женя, — нанимался и пилил.

Редактрисы ахнули.

— Зачем? — спросил Иван Иванович.

— Ну заработал. — И вытащил из кармана смятые пятерки и тройки.

Усталые редактрисы за соседними столами, оставив свои перья, слушали его с напряженным вниманием и легким подострастием. Все, кроме одной. Та была равнодушна и демонстративно смотрела в окно.

«А ведь я так не смог бы, — подумал Иван Иванович, — какая жалость...»

И тут он вспомнил их первую встречу. Это было прошлым летом. Он заехал к своему единственному знакомому

литератору — Сергею Наровчатову. Теперь трудно сказать, чем был вызван его приезд, но он приехал к поэту в его коммунальную квартиру в Волконском переулке, где в маленькой, тесной комнатке облупившегося старого дома и застал поэта в полном оцепенении. Он сидел у давно не мытого окна, большой, грузный, посыпанный пеплом от папирос, в прошлом пронзительный красавец, этакий обрюзгший римский патриций, загнанный в московский коммунал, страдающий от отсутствия денег и возможности выпить, и Ивану Иванычу захотелось его ублажить, ему было лестно расстаться для такого поэта, встретившего его с неподдельной радостью. Большие, чуть поблекшие голубые глаза ребенка, и улыбка на мясистых губах, и самые располагающие ленивые интонации опустившегося барина:

— Хорофо, что ты, брат, прикатил! Футка ли, мы не виделись уже больфе года... А у меня, понимаеф, ничего нет, чтобы отметить. Галя, понимаеф, ничего не оставила, черт побери!..

А у Ивана Иваныча было с собой как раз немного денег и он, чтобы потрафить гению, бросился в ближайший гастроном, купил поллитровку, сыру и стремительно воротился.

Надвигались летние сумерки. Они торопливо разгребли место на захламленном столе и выпили. Наровчатов счастливо вздохнул. Засосал папиросу. К сыру не притронулся. Благосклонно смотрел, как Иван Иваныч закусывал сыром.

— Ну давай, давай же еще по одной, брат, — сказал Наровчатов капризно.

Они выпили еще.

— Спефыгть не надо, — сказал Наровчатов, — но и затягивать глупо. — И опрокинул последние полстакана и тут же задымил. Иван Иваныч захмелел и поэтому лихорадочно закусывал сыром. Бутылка была пуста.

— Знаеф, — сказал Наровчатов, — не мефало бы добавить.

— Давай! — откликнулся Иван Иваныч с готовностью, еще пуше хмелея от сознания причастности к великому загадочному племени.

— Знаеф, — сказал Наровчатов, — у тебя есть деньги?

— Есть! — радостно отозвался Иван Иванович.

— Тогда махнем в Дом литераторов, пока нет Гали?

И они, покачиваясь, покинули мрачный коммунал и поехали на улицу Воровского.

— Со мной, — сказал Наровчатов привратнице у входа, и Ивана Ивановича пропустили.

В тесном ресторанчике Дома литераторов переливались голоса, клубился папиросный дым. Иван Иванович был здесь впервые. Голова кружилась, но он еще хорошо различал лица, слова, наслаждался, ощущал себя избранным, посвященным, удостоенным. За дальним столиком в одиночестве сидел Михаил Светлов. За соседним столиком справа — Семен Кирсанов. Слева, господи боже мой, Евтушенко в компании неизвестных. Рядом с ним — совсем юная скуластенькая красотка с челочкой. Сидели те, чьи стихи залетали уже и в далекие края, о ком доносились отрывочные известия и слухи. Сидели живые, рядом, можно прикоснуться! Наровчатов заказал пол-литра и какую-то еду. Теперь уже было все равно.

— Я предложил на правлении соорудить здесь камин, — слышался голос Кирсанова, — представляешь? Громадный камин, в котором можно зажарить целого оленя!

— Прав-ле-ни-е... — с благоговением произнес Иван Иванович.

— Послушай, — сказал Евтушенко кому-то из своих, — у меня пятнадцать тысяч. Давай сейчас махнем в Сухуми?

«Пятнадцать тысяч! — поразился Иван Иванович, — пятнадцать тысяч!» Эта сумма казалась ему недостижимой. «Пятнадцать тысяч!» — подумал он, трезвея.

Наровчатов тем временем допивал очередной стакан. И непрерывно курил. Он начал было читать Ивану Ивановичу свои стихи, но сбился и снова потянулся к бутылке.

— Чего же ты, брат, не пьешь? — спросил он.

— Я пью, — пролепетал Иван Иванович, пытаясь осознать свалившееся на него внезапно: как, должно быть, замечательно, имея свободные пятнадцать тысяч, махнуть в Сухуми и через два часа сидеть у моря, а после махнуть в Тбилиси,

а после — во Львов, к примеру, и снова — в Москву, и ввалиться сюда в дом на Воровской...

— На По-вар-ской, — по складам произнес Наровчатов.

Тут к ним за столик подсел какой-то писатель со своим фужером и бутербродом на блюдечке.

— Привет, Серега, — сказал он.

— Ах, здравствуй, здравствуй, — обрадованно выдавил Наровчатов.

Писатель выпил свой коньяк, пожевал бутерброд, ткнул пальцем в Ивана Ивановича и спросил без интереса:

— А это кто?

— Это Отар Отарыч, — пробубнил Наровчатов, стараясь не выронить из слова ни одной буквы, — мой друг и поэт.

— Отар Отарыч, — усмехнулся писатель, — что-то много развелось нынче Отар Отарычей, а, Серега? Ты не находишь?

— Ну ты, заткнись! — приказал Наровчатов. — У него отца расстреляли в тридцать седьмом!

— Туда и дорога, — засмеялся писатель.

Иван Иванович попытался ухватить вилку, чтобы проучить обидчика, но руки не слушались, и он заплакал.

В этот момент широкая мясистая ладонь Наровчатова хлестнула по розовой щечке писателя. Кто-то крикнул. Крик подхватили. Дым за клубился пуще. Официантка, широко улыбаясь, пробежала с подносом. Затем все улеглось. Поились прежние монологи за соседними столиками. Только там уже сидели другие писатели, а за их столиком они сидели вдвоем: одуревший Иван Иванович и спящий Наровчатов. Как они расплатились, Иван Иванович уже не помнил, и как выволакивал грузного невменяемого поэта — не помнил, но он его выволок на своих узких плечах, и усадил в такси, и отвез на Волконский, и водворил в коммунал. Дородная Галя брезгливо его оглядела и спросила:

— А вы кто?

— Я друг, — пролепетал Иван Иванович.

— Настоящие друзья с ним не пьют, — сказала она с обращением.

Ехал домой и повторял с ужасом и восхищением: «Пятнадцать тысяч! Пятнадцать тысяч!...»

Так это и запомнилось. И вот теперь фантастический обладатель пятнадцати тысяч сидел перед ним в синей простенькой сорочке, только что отработавший пилой и топором, и редактрисы не отводили от него горящих взоров, кроме одной, поджавшей губы и пренебрегающей.

— Женя, — спросила одна из редактрис, — а как ваша молодая жена относится к этим заработкам?

— Ну что жена? — сказал Евтушенко. — Она гениальная поэтесса. Ее надо кормить и одевать. — И рассмеялся. Затем ткнул в голубую папку: — Дай мне почитать твои стихи... — И уехал вместе с голубой папкой.

Однако самое фантастическое произошло следом. Через несколько дней Ивану Иванычу позвонили из издательства «Советский писатель», и милый девичий голос сообщил ему, что на его стихи получена очень хорошая рецензия Павла Антокольского и издательство намерено выпустить книжку Ивана Иваныча уже в будущем году! «Господи, — подумал Иван Иваныч, — как стремительно!» И конечно, тут же вспомнил, как буднично увозил с собой его голубую папку юный, худой и долговязый поэт.

3

Среди писем, которые начали слетаться к Ивану Иванычу, все чаще встречались написанные женской рукой, источающие не только изощренные ароматы косметических средств, но и дружеское расположение, негу и даже любовь; и загадочные сигналы исходили из них; и Иван Иваныч, сам того не замечая, стал чаще поглядывать в зеркало: какой он, что он. Ну что он видел в зеркале? Рост один метр семьдесят шесть сантиметров, узкие плечи, довольно-таки пышный темно-каптановый чубчик, усики, не слишком античный нос, привлекательный разрез губ, да и, пожалуй, все, потому что глаз он не видел, то есть, как и все, он не мог понять своего взгляда, это было ему недоступно. Он видел зрачки, ну мог

догадаться, что они карие, но понять этого всего и оценить не мог. У других — пожалуйста, а у себя — бесполезное занятие.

Иногда он видел там заурядную фигуру, похожую на всех, ослепленную своими маленькими удачами, жадную на похвалы и трусливо скрывающую свои несовершенства. Он сжимал зубы, и щеки вваливались, и это уже было не лицо молодого мужчины пятидесятих годов, а безумная маска ничтожества, претендующего на роль поэта. Тогда он торопливо перечитывал письма дурочек с признаниями в любви, и это как-то немножко спасало от полного отчаяния. Нет, это значительно позже он понял, как полезно разочарование в себе самом, научился ценить это чувство, а тогда он всматривался, ужасался, расстраивался и с признательностью перечитывал письма, и, представьте, отходило, и становилось легче дышать. И тогда он начинал воображать себе своих корреспонденток, ну, конечно, приспособлявая их под свои мерки, которые тогда, в те годы, не отличались изощренностью, и у него начиналось приятное сердцебиение. Они взирали на него изо всех углов, готовые сложить к его ногам свои судьбы. В общем, все было банально, но он об этом не задумывался. Он был словно сухой трут, готовый всныхнуть в любое мгновение.

И вот тут как раз и позвонил ему его приятель, назовем его Ковалевым, из тех, которым лестно было в те годы общаться с Иваном Ивановичем, провинциал, время от времени наезжающий в Москву по делам службы. Дела, однако, не мешали ему помнить, что жизнь коротка, и он суетливо и неразборчиво служил этой формуле, словно язычник — деревянному идолу. Не знаю, может быть, в одиночестве, в часы раздумий о смысле жизни, как это свойственно, наверное, всем, глаза его переполнялись раскаянием и лицемерием таких высот человеческого духа, что голова кружилась, не знаю, может быть. Но перед Иваном Ивановичем он постоянно представлял свободным от этих вожделений, и вожделения иного рода кружили ему голову.

Он всегда приезжал в Москву неожиданно, на денек-другой. С его приездами были связаны непредсказуемые

любовные утехи, неприхотливые безумства, ничтожные восклицания, пустые обещания, которым никто, конечно, не верил, торопливые хлопоты и, наконец, ощущение неправдоподобного пробуждения.

И Иван Иваныч с восторгом врывается в эту незатейливую стремительную жизнь и лихорадочно кружился, забываясь, чтобы уже через сутки удивленно разглядывать себя в зеркало и испытывать даже отвращение, даже раскаиваться почему зря.

Вот и сейчас раздался этот звонок, и они договорились встретиться на Арбате, у зоомагазина, именно там, потому что там должны были совершиться карнавальные фантазии непредсказуемого Ковалева.

— Гуляем, старичок, гуляем! — сказал Ковалев и подмигнул всем лицом, как он один и умел. — Две роскошных студентки, братец, ждут нас у себя. Одна моя. Я ей говорю: «Приведи подругу для друга», она говорит: «Уже дожидается!» Представляешь? Я прямо с поезда, дух захватывает... Ты как? Песенки пишешь? Все их поют. Сейчас в поезде пели. Я им говорю: «Это мой лучший друг написал». Они говорят: «Да брось трепаться, это Отар Отарыча песни». А я им: «Так он и есть мой друг!» Представляешь? Вся Россия поет! — И он посмотрел влюбленно.

Иван Иваныч вдруг четко представил себя со стороны бегущего в гастроном перед случайным свиданием и подумал: «Что я делаю? Какой ужас?..» И он едва не расхохотался, но рядом просигналил автомобиль, и ужас развеялся. И он снова подумал с облегчением: «А черт с ним, пусть оно все провалится — и издательство вместе с директором, и высшая мораль, и дружба народов, и лучшее будущее». Он так подумал, потому что, хоть и не очень уважал Ковалева, его розовые щечки, его равнодушные глаза, его анекдотическую настроенность всегда на одно и его пустые восклицания, но все-таки приятно было погружаться в малознакомый, возбуждающий, непредсказуемый поток, словно в бездну.

— Надеюсь, там не будет посторонних? — спросил Иван Иваныч.

— Да ты что, — удивился Ковалев, — твоя и моя, и мы с тобой. Уж я-то не посторонний?.. — и рассмеялся, обняв Ивана Ивановича по-дружески.

Они почти бежали.

У Ивана Ивановича, на счастье, в кармане похрустывал свеженький гонорар, но они решили сначала познакомиться с дамами, с которыми предстояло пуститься во все тяжкие, и ведь бог его знает, как оно все обернется: то ли на день, а может случиться, и на век. Разве не бывает? Как они там, предупрежденные, длинноногие, расчетливые москвички? Должно быть, топчутся в прихожей, марусеньки, уже марашет навели... Лето. Полдень. Пора выяснения отношений.

— Это хорошо, старичок, что у тебя гонорар, — сказал Ковалев, задыхаясь, — у меня-то, сам понимаешь, командировочная десятка... А ведь надо пропустить, чтобы дым пошел, а то и вспомнить будет нечего. Когда станем инвалидами-пенсионерами, и вспомнить будет нечего, а?..

И бежали, летели, вытянув шеи, словно борзые.

— Кто они? — успел спросить Иван Иванович.

— Моя — студентка Щукинского училища. Вот такая! А твоя — не знаю... Не успел спросить. Да тебе-то что? Были бы ноги, как говорится...

«И этот про ноги», — подумал Иван Иванович, не выдерживая сладостного напряжения.

В сумрачном подъезде старого доходного дома было прохладно.

— То ли у них общежитие, то ли они квартиру снимают, — прошелестел Ковалев, — черт их знает, не успел спросить, — и остановился перед квартирной дверью. Быстренько пригладил проборчик, растер щеки, оправил воротничок. Толстым решительным пальцем щелкнул по кнопке звонка, и дверь тотчас отворилась.

Две очаровательные, действительно длинноногие молодые красотки встретили их в прихожей.

«Которая моя?» — нетерпеливо подумал Иван Иванович. Девушки уставились на него с откровенным интересом. Ему даже стало неловко за товарища.

Ковалев расцеловал дамам ручки. «Которая же моя?» — снова подумал Иван Иванович, сгорая. Одна была блондинка, другая брюнетка. Обе были хороши и в отличие от заурядных ширпотребовских москвичек даже загадочны. Они не сводили глаз с Ивана Ивановича, а он опять не мог догадаться, которой из них благосклонные сигналы все-таки принимать в первую очередь.

— Ну вот, — сказал Ковалев, — познакомились, а теперь мы смотаемся в гастрономчик, а вы тут то да се, туда-сюда, а потом со свиданьем, а?

— Ладно, — сказала блондинка по-хозяйски, — мы тут пока все подготовим... Ну не Ковалев, а золото... Откуда у тебя столько денег кормить всех?

— Командировочные! — захохотал Ковалев.

По тому, как блондинка говорила, Иван Иванович понял, что хозяйка она. А стало быть, брюнетка — его. Блондинку звали Нина, брюнетку — Света.

Они направились к выходу.

— Света, — сказал Иван Иванович по-свойски, — мы мигом.

— Ага, — сказала она, — давайте, — и лениво улыбнулась.

Они бежали к Смоленскому гастроному.

Иван Иванович подумал, что эта ленивая улыбка, которой его одарила Света, и есть та самая улыбка, после которой начинается праздник. «Какое счастье, — думал он, торопясь к гастроному, — что у меня как раз в кармане гонорар!» Действительно, при обычном безденежье эти двести с чем-то рублей были большим счастьем. Приятно чувствовать себя раскованным и независимым, и это, пожалуй, значительней, чем несколько опубликованных в журнальчике стихов, которых никто не читает. И тут вообще все померкло перед ним: и деньги, и стихи, и успех, — все померкло перед настоящим свиданием с длинноногой брюнеткой.

— Послушай, — проговорил он, — я заметил там несколько комнат...

— Угу, — отозвался Ковалев.

— Представляю, как мы потом замечательно разберемся!..

— Разбредемся, — засмеялся Ковалев, — разбредемся, старенький.

В гастрономе они стремительно перебежали от отдела к отделу, запихивали в шелковые авоськи Ковалева бутылки и снедь, и перемигивались, и переговаривались с помощью междометий. Это была еще та пора жизни, когда не задумываешься, что будет потом. Это теперь, собираясь, ну, скажем, в гости, знаешь, как все будет, что получится в результате: приветствия, рассаживание, фальшивые покрякивания, разные там бодрые восклицания, а после — томительное ощущение пустоты на полный желудок и желание уйти, исчезнуть, раствориться, а потом отпаивать себя чаем, боржоми, а потом, утром другого дня, страдать от тяжести в желудке и в голове... Так теперь. А в молодые годы ничего этого нет, никакого предвидения. Предскажи кто-нибудь завтрашние неудобства — в ответ тотчас же: «Иди-ка ты...» Некогда об этом размышлять, некогда и зачем? Там две длинноногие красотки в пустой квартире и — карнавал... Одна из них твоя. Она ждет. И тут Иван Иванович ощутил необыкновенную легкость, подумав, что они его не знают и можно назваться Андрюшей или Сережей, что поэтому они бескорыстны, и это особенно их украшает.

— Старичок, куда ты так быстро? — спросил, задыхаясь, полноватый Ковалев, когда, всего набрав, они трусили обратно по Арбату. — За тобой не поспеешь!

Бутылки позванивали, прохожие сторонились. Все было забыто: стихи, вдохновение, вздорные издательские будни, восхитительные завтрашние прожекты, мама, вернувшаяся из лагерей, оплеванная юность, все, кроме этого вождельного мига, ждущего за ближайшим углом...

— Старичок, — прохрипел Ковалев, — не перегружайся, тебе вредно!

— А знаешь, — крикнул Иван Иванович, — эта Света ну просто прелесть! Не какая-нибудь профурсетка, а вполне достойная, и у нее такое лицо, такие глаза! Какой ты молодец, Ковалев!

Ковалев подмигнул ему, по своему обыкновению, и они продолжали свой бег.

И эта таинственная квартира — старая испытанная крепость, ристалище, вместилище чувств, распределительница утех, вершительница судеб!..

Двери им открыл неожиданный незнакомый мужчина. За его спиной в прихожей передвигались многочисленные тени. Иван Иванович, оторопев, вглядывался в них — искал Свету.

— Ура, — сказал Ковалев без удивления, — вот и мы.

Ловкие руки приняли у них авоськи. Беленькая Нина была тут как тут.

«А где же моя?» — подумал Иван Иванович. Но Светы не было видно. Зато теперь отчетливо различались какие-то люди, довольно молодые. Их было множество. Они заполнили всю прихожую, их любопытные лица выглядывали из комнат.

С ним почтительно здоровались. На него смотрели откровенно и с приятью. В главной комнате на большом овальном столе уже поблескивали рюмочки и бокалы, и стремительно прибавлялись всяческие блюда с закусками, и, позванивая, вставали бутылки на свои места.

«А где же моя?» — подумал Иван Иванович и тотчас увидел Свету. Она стояла у дальнего конца стола рядом с прекрасным бородачом, и его рука возлежала на ее плече. Иван Иванович совсем потерялся от столь непредвиденного, уже ничего не понимал, а лишь мучился, делая при этом приятное лицо, отвечая на поклоны и на улыбки. Вместо ожидаемого прелестного, вождя, московского междусобойчика, тет-а-тетика, как говорил Ковалев, предстояло шумное многолюдное сборище. На крутом и, видимо, горячем плече Светы покоилась чужая ладонь. А между тем как она смотрела на Ивана Ивановича из-под этой ладони! Какие-то туманные предчувствия обступили его, нечеткие, хоть и знакомые. Может быть, в этот момент и родилось в нем очищающее чувство самоиронии, еще робкое, жалкое, но уже спасительное, когда он, вглядевшись в Светиною бородачу,

понял, как тот красив, уместен и правдоподобен, как широка и, видимо, на самом деле горяча его ладонь на плече недо-ступной теперь брюнетки, и как он сам, Иван Иванович, тщеду-шен и неказист и случаен в этой квартире. Он посмотрел на себя ее темными глазами и готов был рассмеяться, когда бы не обида и на Ковалева, учинившего эту операцию, да и на самого себя.

— Не тушуйся, старичок, — шепнул ему Ковалев, про-скальзывая мимо, — сейчас немножко заложим, а потом — все остальное...

— А что же остальное? — спросил Иван Иванович, попы-тавшись саркастически усмехнуться, но Ковалев уже кру-жился в другом конце комнаты.

Видимо, Нина была главной в этой квартире: она рассаживала своих многочисленных гостей и что-то говорила, ука-зывая на снесь, и все расселись, и зазвучали вилки, и яства полетели на тарелки. Иван Иванович не слышал слов, он те-перь все время ждал, когда же произойдет главное, потому что он понимал уже, что должно произойти. Бородач под-кладывал Свете закуску, и она улыбалась ему, иногда постре-ливали в сторону Ивана Ивановича. Потом вдруг с левой сто-роны стола до него донеслось его имя, он вслушался, но тут все потонуло в радостном бульканье водки. Ковалев с наби-тым ртом подмигнул ему, но какая-то легкая смущенность таилась в его улыбке. Все выпили. Иван Иванович напрягся, понимая, что вот сейчас-то все и произойдет. И ему стало обидно, что так это получилось, и, конечно, с помощью Кова-лева. Затем выпили снова. Бородач что-то сказал Свете, и она сдержанно засмеялась. Она была очень красива. Все в ней было на славу, кроме, пожалуй, как заметил Иван Ива-ныч, манеры жевать, как-то это получалось медленно, одно-образно, словно у старой черепахи, и так выглядело странно рядом с высоким лбом, глубокими темными глазами. И это немного утешило.

Затем все резко оборотились к нему, все улыбались, и кто-то сзади сказал в самое ухо:

— Отар Отарыч, спойте нам что-нибудь...

Ему протягивали гитару. В этот момент он вспомнил, как они бежали в гастронорм и набивали свои авоськи во имя Светы и Нины, и как он предвкушал тайную вечерю, и неведомая московская квартира сулила ему неземные блаженства. Предатель Ковалев, устроившийся за его счет, сидел рядом с Ниной, и они оба подмигивали ему и улыбались.

— Ну, Отар Отарыч...

У предателя были по-прежнему розовые щечки, и влажные, страдающие глазки, и смущенная улыбка. В общем, он выглядел вполне симпатично, как и все предатели, покуда не прикажешь к стенке. Корысть его была общечеловеческой, даже трогательной, но предательство его оказалось столь внезапным, что у покладистого Ивана Ивановича вспотели ладони и перехватило дыхание. Нет, он не помышлял ни о мести, ни об устыжении предателя, ни о чем этаким, но что-то возникло в нем — то ли арбатское, то ли кавказское, что-то загадочное и горячее. Он посмотрел на часы и заявил громко притихшему столу:

— К сожалению, друзья, я опаздываю. Мне пора. — И под сокрушенные вздохи и восклицания вылез из-за стола и побежал к выходу.

— Старик! — крикнул вслед пунцовый Ковалев. — погоди!

Но Иван Иванович бежал, перескакивая через ступеньки, гордясь своей решительностью, сопя от обиды, с последней пятеркой в потертом кармане.

4

Стихи писались, мелодии сочинялись. Из лагерей возвращались оставшиеся в живых. Пресса слегка раскрепощалась, робко, половинчато, но все же. Дышалось чуть легче. Иван Иванович двигался в общем потоке. На московских кухнях внезапно резко заговорили о том, что не все, оказывается, в прошлом было удачно и справедливо. Ну, конечно, всего понастроили, выиграла войну, и здравоохранение было бесплатное, и безработицы не было, но все-таки, все-таки...

Да, Запад продолжал загнивать, хотя уже как-то не так интенсивно и не с прежним азартом. Да, это было, но какие-то робкие сомнения, ничтожные, словно рассевающийся дымок над костерком, витали меж людьми, и едва заметная трещинка пробороздила гладкую стену дотоле непреступной крепости.

Вдруг было объявлено о проведении в Москве Всемирного фестиваля молодежи. Начался большой шум. Планировались красочные карнавалы, громкое открытие на центральном стадионе, но самое главное и сверхъестественное — предполагался приезд многих тысяч иностранцев, и все гостиницы готовились к их расселению. Это вызвало большой ажиотаж: иностранцев до этого почти не видели, если не считать отдельных дипломатов, проносившихся по столице в показушных автомобилях.

Сейчас, когда я пишу об этом, мне немного смешно и грустно, но тогда было не до смеха, тогда было ощущение удара, внезапного переворота. Был новый день в долгой запланированной жизни. Что-то закачалось. Захватывало дух.

В издательстве прошло собрание. Директор сказал, что фестиваль — ответственная политическая акция. Бдительность, бдительность прежде всего, ибо не исключено, что среди заграничных гостей будет большое скопление профессиональных разведчиков и диверсантов. Пока он говорил все это, глаза его казались совсем стальными, губы брезгливо изгибались, в интонациях прослушивался незамысловатый подтекст, мол, видно, как вы все обезумели от свалившегося на вас и какие у вас возникли обольщения, и вы, конечно, не понимаете, что значит политическая акция, а думаете, что это праздничек, два притопа, три прихлопа... Но мы его прекратим, когда сочтем, понятно?..

Все сидели, поджав бледные губы, и взволнованно переглядывались. «Возможны провокации, — сказал директор, — нужно приготовиться к отпору... А кроме того, нужно это... — интонации его чуть смягчились, — придется как-то... нельзя же в затрапезном... нельзя же, в самом деле, чтобы они подумали, что, мол, мы... в общем, вы понимаете, я надеюсь, нельзя

лицом в грязь... Тут намечается открытие закрытого магазина для идеологических работников, ну чтобы приодеться... Вы получите туда пропуска и купите себе по одной вещи по вкусу, по одной...»

Было робкое оживление, особенно среди женщин.

Ивану Иванычу выдали розовый пропуск, и он отправился в закрытый магазин. Он очень волновался, надо отметить. Ему вообще хотелось хорошо одеваться. Всю свою тридцатитрехлетнюю жизнь он одевался плохо. Но Москва тогда была бедновата, хорошие вещи встречались изредка в комиссионных магазинах, хотя было известно, что туда на зарплату редактора не разбежишься.

В магазине у Ивана Иваныча от лицемерия обилия и разнообразия закружилась голова, и он долго не мог прийти в себя. Его окружали надменные молодые продавщицы, которым выпала честь быть хозяйками этого пиршества. Они оказались посвященными и тут же из смазливых заурядных московских девочек превратились в облеченных властью вершительниц чужих судеб. Ах, как они презирали всех суетливых и ничтожных Иванов Иванычей, а еще ожесточенней — своих соплеменниц за дрожащие, заискивающие голоса, за щеки, покрытые красными пятнами, за стоптанные каблочки, за искусаительное желание ухватить, выпросить по второму предмету, за подобострастную обреченность во взоре, когда им с отвращением бросали в лицо: «Вам ведь уже сказали, гражданка!..»

Иван Иваныч наконец дождался, пока со щек не схлынула жалкая бледность лишенца, распрямил плечи и ленивым, равнодушным перстом указал на костюм из белой шерсти. Все в этом магазине стоило невероятно дешево, и этот фантастический костюм — тоже. По представлениям Ивана Иваныча, это было самое аристократическое одеяние, в котором он не будет отличаться от расфранченных иностранцев с сигарами в зубах, в шляпах, смокингах и прочем...

В издательстве все были взвинчены. Все ждали открытия фестиваля. Никто толком не работал. Время от времени созывались короткие совещания, на которых директор

или секретарь парткома наставляли снова и снова испуганных редакторов, как вести себя с иностранными гостями, не ударяя лицом в грязь и не оскорбляя советскую гордость. «Вы — работники идеологического фронта, — внушалось им, — вы — политические деятели. Будьте начеку. Иностранцам аплодируйте сдержанно, своим — с энтузиазмом. Пусть все видят...»

Наконец в прекрасный воскресный день Иван Иванович облачился в свой новый костюм из тонкой белой шерсти, на шею повязал шелковый с матовым отливом галстук, взбил еще пышную шевелюру, пригладил усики, глянул в зеркало и остался собой доволен. Худощавый симпатичный иностранец маячил перед ним. «Хорошо бы, наверное, сигару», — подумал он, слегка краснея. Но сигар у него не было. Пока он ехал в метро среди возбужденных москвичей, он все время твердил про себя знакомые ему английские слова и пытался составлять из них фразы. Он очень волновался, боясь попасть впросак перед заграничными гостями. Тут им руководили не какие-то там патриотические порывы, а обыкновенные практические чувства. Вдруг иностранец спросит: «А где у вас тут Арбат?» — или что-нибудь еще, городское и будничное, на своем неведомом языке. И, конечно, хорошо бы легко и непринужденно ему ответить или самому спросить у какой-нибудь очаровательной англичанки или американки: «What is your name? I'm very glad to see you». Или, допустим, она спрашивает: «Who are you?» — а он отвечает: «I'm writer», то есть «Я писатель». И это звучало. Он посмотрел на публику в вагоне. Все были как будто принаряжены, но у всех почему-то, как ему показалось, были белые глаза, и они смотрели друг на друга и на него, ничего не видя, и это его удивило и даже ужаснуло.

Приближался центр. «Как же они будут двигаться?» — подумал Иван Иванович. Но двери раскрылись, и все вышли из вагона, весело переговариваясь.

И вот на Моховой он увидел первых иностранцев.

Правда, это все были какие-то второсортные иностранцы, не те, не те, что в смокингах и котелках. Юные, в помятых,

выцветших голубых штанах, в каких-то несусветных майках и блузках не первой свежести, разрисованных львиными мордами, какими-то символами, какими-то латинскими фразами. У многих на груди и на руках болтались и позвякивали непонятные цепочки и браслеты. У некоторых были чрезмерно длинные волосы и лица были прыщавы. Они громко разговаривали на неизвестном языке. Не было ни сигар, ни шляп. Они вразвалочку ступали по асфальту, обутые в не слишком новую, заметно стоптанную спортивную обувь. Они улыбались, разглядывая Москву, а то и хохотали напропалую, а то и целовались при всех. Они медленно двигались к университету, а за ними, за ними переливалась в некотором отдалении громадная толпа москвичей, молчаливых и напрягшихся. Толпа тихо шелестела, разглядывая этих второ- сортных инопланетян, и Иван Иванович оказался в центре этой толпы и вытягивал шею вслед идущим впереди иностранным гостям. Так продолжалось с четверть часа, пока Иван Иванович вдруг не опомнился, не спохватился. Сначала человек, идущий рядом, показался ему похожим на себя: правда, он был не в белом костюме, но тоже с усиками и шею вытягивал так же, затем он увидел, что и другие точно так же вытянули шеи, и это заставило его спохватиться. Он остановился, толпа перекатилась дальше. Он увидел себя в ближайшем оконном стекле. Там он стоял в своем белом костюме, маленький, узкоплечий и никому не нужный. А где же иностранцы в смокингах и с сигарами? Где они, эти подлинные творения недоступного Запада, таинственные, чуждые, опасные, но притягательные и возбуждающие?

Пока он так стоял, размышляя обо всем об этом, вокруг него потихонечку образовалась новая толпа. Его разглядывали с любопытством и вполне доброжелательно. Наконец кто-то, набравшись смелости, спросил его: «Who are you?» Иван Иванович понял, что его приняли за иностранца. Ему бы возгордиться или расхохотаться, но он густо покраснел и побежал к улице Герцена. Толпа двинулась было за ним, но отстала.

Теперь, куда он ни шел, всюду возникали группки иностранцев, сопровождаемые возбужденными москвичами. Совершался некий незапланированный карнавал. Слышался смех. Некоторые отчаянные смельчаки время от времени пытались разговориться с приезжими, но во всех этих попытках была заметна нервозность, ибо, с одной стороны, всех подогревали многочисленные братские лозунги и горделивые сердечные песни о дружбе и братстве, да и простое любопытство, но, с другой стороны, все хорошо помнили вчерашние инструктажи, и образы шпионов и диверсантов теснились в их распаленных головах.

Теперь того Ивана Иваныча нет и в помине. Тридцать пять лет пролетело — не шутка. Есть некий условный силуэт, искаженный временем фас, мудрость ли во взгляде или усталость — трудно понять. Да и иностранцы, кстати, тоже не те: не шумные толпы раскованных молодых студентов с пролетарскими наклонностями, а благообразные группы недоверчивых сытых людей, и не «Дружба! Дружба!» — этакие не наполненные смыслом заклинания на каждом шагу, а принюхивание, приглядывание, целесообразность... Какая уж тут дружба после танковых маршей по Европе, после скандальных разоблачений шпионских центров чуть ли не в каждой стране, после лицезрения нашей нищеты... А тогда... С каким вожделием и страстью ждали приезда этих классовых братьев, голодных и истрадавшихся, как мечтали приграть их, накормить и широким жестом пригласить полюбоваться на здание университета или Выставку достижений... «И ведь вот что интересно, — говорил некий очередной Иван Иваныч, снисходительно и убежденно, заглядывая в голубые американские глазки, — у вас, конечно, тоже есть небоскребы, знаем, зна ем, но они у вас черные, закопченные, антигуманные, а это — наш университет, вы только посмотрите, весь на солнце! Весь для человека!..» «О, yes!» — искренне и с восторгом откликнулись американские уста.

У входа в университетский клуб бушевали страсти. И здесь топтались звонкоголосые второсортные гости, но среди них попадались уже и иные, уже давно не юные, молчаливые,

со скучающими лицами. В серых пиджаках и при черных галстуках. «Наши», — догадался Иван Иванович.

Тут к нему подкатили двое в майках, расписанных лозунгами. Они что-то дружелюбно залопотали ему, улыбаясь.

— Я вас не понимаю, — выдавил Иван Иванович, растерявшись, хотя прекрасно знал отретпетированный ответ: «I don't understand».

«Нехорошо», — подумал он в отчаянии.

В университетском клубе предполагалась встреча с делегацией канадской молодежи, а после — концерт. Иван Иванович обрадовался такой возможности и шагнул к двери, но там двое в серых пиджаках и галстуках потребовали у него билет.

— А где продают билеты? — спросил Иван Иванович.

— По организациям, — холодно ответили ему.

Праздник померк. А тут еще какой-то долговязый чернокожий юноша все пытался обнять за плечи робеющую маленькую блондинку. Он хохотал и тянул к ней руку, а она ее отводила и строго приговаривала:

— Ну, ну, только без этого...

— Why? — удивлялся ухажер, снова пытаясь обнять.

— Только без этого! — пуницовея, повторяла она.

«Дура, — подумал Иван Иванович, — скажи «No», — но она знала только русский, а негр, судя по всему, только английский.

— Why, darling? — упрямо спрашивал он.

— Ну, ну, без этого, — твердила она, — я кому сказала!

И это продолжалось многократно, и Ивану Ивановичу стало противно то ли от негритянского ухаживания, то ли от ее тупости. А ведь не уходила, дура, и даже прижималась к нему крепеньким бедрышком, ханжа сретенская!

В клубе прозвенели звонки, и все возбужденно потянулись к двери: и гости, и облагодетельствованные москвичи. И Иван Иванович, презрев унижение, двинулся тоже.

— Билет, — сказали ему жестко.

— Я из издательства, — строго сообщил Иван Иванович, — у меня задание, — и протянул удостоверение.

— Давай отсюда! — распорядился дежурный и оттолкнул Ивана Иваныча тренированной рукой...

И вот все гости вошли, но и все в серых костюмах и черных галстуках вошли тоже, и лишь случайные неудачники толпились у входа без надежд. Последними проходили негр и его строптивая блондинка. Черная рука иностранца уже прочно покоилась на ее плече, а у самого входа он потянулся толстыми губами к ее целомудренной щеке.

— Надья... Надья... Надья...

— Джон! — рассердилась она. — Ну чего пристал!

Иван Иваныч отправился восвояси. За углом его оставили две молодые дамы и спросили, нет ли у него лишнего билетика.

— Я вас не понимаю, — скороговоркой пробормотал Иван Иваныч и суетливо побежал по тротуару в своем белом костюме. Дамы хихикнули ему вслед.

«Идиот», — подумал он, теряя себя окончательно.

Так, оплеванный, дошел он до Александровского сада и присел на скамью.

Начались летние легкие сумерки. Еще была отчетлива зелень листья на темных багровых склонах кремлевской стены. За оградой шумели машины и кипели фестивальные страсти, а здесь стояла тишина, лишь иногда раздавалось шуршание да похрустывание, словно это минувшее, давнее и недавнее, пытается о себе напомнить, зацепиться как-то, воскликнуть, но соскальзывает с плеч Ивана Иваныча, не умея удержаться, и тонет, гаснет где-то совсем неподалеку, потому что ему не до него, он не то чтобы разучился — он просто и не умел с ним общаться. И стена эта перед ним была простым нагромождением грязных, ноздреватых кирпичей. И он поглядывал на нее равнодушным современным оком и размышлял о своих маленьких нынешних практических интересах. Когда-нибудь он еще вздрогнет от ощущения тяжелой утраты, но, видимо, лишь тогда, когда и сам будет шуршать и похрустывать, удаляясь, пытаясь беспомощно зацепиться за чьи-нибудь сильные плечи, за доброе, внимательное соучастие...

Но он был еще сравнительно молод и весь во власти этого Часа, и искусственный фестивальный огонек казался ему большим пожаром. И тут к его скамье подплыли двое и уселись неподалеку. Молодой человек и девушка. Они только что познакомились — это было видно. Он, конечно, был англичанин, а она русская. Он блондин, а она темно-русая, трепещущая, каких множество в Москве в вечерние часы. Он настойчиво выпрашивал ее имя, а она не понимала его и краснела, но было видно, что общение ей приятно.

— Он спрашивает, как вас зовут, — гордо перевел Иван Иваныч и выдал себя.

— О! — воскликнул англичанин с благодарностью.

— Катя, — сказала она радостно.

— Kate, — перевел Иван Иваныч, поигрывая английскими интонациями.

— О! — воскликнул англичанин.

Тут Иван Иваныч подумал, что она очень хороша и было бы замечательно, если бы парень ушел, а она осталась...

Англичанина звали Майкл.

— I want to meet you tomorrow, — сказал он Кате, глядя на Ивана Иваныча.

— Я хочу с вами встретиться завтра, — сказал Иван Иваныч, потев от напряжения.

Она согласно кивнула.

— When? — спросил Майкл по-деловому.

— Когда? — спросил Иван Иваныч у Кати. Краски на ней не было, как ни странно. Выразительные губы были в легкую оборочку, но юные и свежие, и влажные и серые глаза глядели не мигая, то ли слишком доверчиво, то ли слишком пронизательно. А Майкл, хоть и восклицал часто, казался холодным. «Неужели она ему верит?» — подумал Иван Иваныч. — Так когда же? — спросил он у Кати, теряя интерес к происходящему.

— Завтра вечером в восемь, — сказала она, немного подумав.

Иван Иваныч лихорадочно поискал в памяти слово «вечер», наконец нашел и сказал:

— At eight o'clock, in the morning, tomorrow.

Майкл несколько удивился, пожал плечами, ответил как бы по складам:

— O'key...

Она помахала ручкой, тряхнула локонами и, холодно оглядев Ивана Ивановича, побежала из сада.

— Thank you, — сказал Майкл и пошел в противоположную сторону, — bye-bye...

И тут Иван Иванович вздрогнул, сообразив, что он позорно ошибся, перепутав «утро» и «вечер». Он очень взволновался и по присущему ему благородству поклялся прийти сюда утром и объяснить одураченному англичанину, что свидание состоится вечером. Переполненный клятвами, он отправился к дому и тут по дороге вообразил, как сам приедет завтра вечером и встретит Катю. Она не дожидается того английского прощельги и обрадуется, увидев вчерашнего знакомого, и они вместе посмеются над прыщавым иностранцем. «А почему вы оказались здесь?» — спросит она. «Я всегда прихожу сюда по сумеркам», — скажет он таинственно. Затем она... нет, он.... И тут ее личико заколебалось и растаяло.

На следующий день, собираясь в издательство, он мельком вспомнил обо всем об этом, но думать было лень.

В издательстве на доске объявлений красовалась программа выступлений по городу гостей фестиваля. Было множество концертов по числу стран: и американцы, и французы, и англичане, и канадцы, и испанцы, и итальянцы, и многие другие, но в издательстве билеты были только на алжирцев и болгар.

Ивана Ивановича это глубоко оскорбило, но он не стал писать протестующих писем и скандалить с организаторами фестиваля. Конечно, если бы в те годы он знал, что известно мне сегодня, не поручусь, что дело обернулось бы столь просто, но тогда, в пятьдесят седьмом, для него оно обернулось именно так. Не в его характере было протестовать против предначертаний высших сил. Да к тому же привычнее было проглотить обиду, чем докапываться до небезопасной истины.

— Не забывайте о бдительности, — напомнил в один из

фестивальных дней секретарь парткома, усмехнувшись, — берегите источники воды.

Ивану Иванычу не понравилась эта усмешка, он ничего не понял и стал переспрашивать: «Какой воды? Какой воды?..» — и столкнулся со взглядом секретаря, полным тоски и оскорбительной снисходительности одновременно. И это еще больше сбивало с толку: эта тоска и усмешка на аккуратных губах.

В довершение ко всему его неожиданно пригласил директор издательства и торжественно сообщил, что Иван Иваныч включен в состав делегации ЦК комсомола для поездки на целину по бригадам. В связи с этим он должен был явиться к инструктору Центрального Комитета товарищу Савельевой, чтобы себя показать и выслушать напутственные слова. Иван Иваныч нарядился в свой белый неотразимый костюм, подбил чубчик и отправился на бывшую Маросейку.

По всему, инструктор Савельева была его ровесница. Ей было слегка за тридцать. Он-то представлял, что увидит партийного сухаря, в галстук и с прямым пробором, а она была ну просто хороша, в модном платье, с достаточно вольной прической, и с перстнем на розовом пальце, и с мушкой на белой щеке. И Иван Иваныч взволновался и, утешая себя, подумал: «Видывали и получше» — и почтительно поклонился. Однако она оставила без внимания его мужественный сигнал, а может быть, и притворилась, во всяком случае взгляд ее был строг, да и служебные интонации ни на что такое не позволяли рассчитывать. Она оглядела Ивана Иваныча слишком демонстративно и не слишком сердечно, как некогда, бывало, командир батареи оглядывал его, такого тщедушного, с кривыми ножками в обмотках и в помятой пилотке на стриженной голове. Нет, ужаса не было в ее взгляде, но были сомнение и неприязнь. Слава богу, она была открывенна и спросила:

— Вы что, так и намерены ехать на целину в этом наряде?

Иван Иваныч был вопросом смущен и даже обижен. Он хотел спросить, чем, мол, ей не понравился его белый костюм

из тонкой шерсти, но, конечно, не спросил, потому что понимал, что предстоит серьезный разговор и его нельзя сводить к обсуждению гардероба, а может быть, душа затрепетала, оказавшись перед дубовым столом.

— В этом наряде? — повторила она.

— Да, — прохрипел он, пожимая плечами.

Ее сочные губы как-то потускнели, глаза округлились.

— Но там же рабочие ребята и девчата, — сказала она, не скрывая раздражения. — Неужели у вас нет чего-нибудь спортивного?

— Нет, — сказал он извиняющимся тоном.

Внезапно что-то промелькнуло в ее лице, что-то мягкое, даже показалось, что она вот-вот улыбнется, но это лишь показалось.

— Странно, — сказала она, — вы же пропагандист, вы же коммунист...

«Какой я к черту пропагандист!» — подумал он и даже хотел пошутить и сказать, что он гитарист или что-нибудь в этом роде, но даже мушка на ее щеке не располагала к шуткам.

Кто-то скребнулся в тяжелую дверь, и приоткрыл ее, и протек в кабинет, этакий в черном костюмчике, в белоснежной сорочке, в черном галстуке, и проскользил к столу, протягивая товарищу Савельевой листок, улегшийся перед ее глазами, а сам застыл в отдалении в некотором полупоклончике, не замечая Ивана Ивановича. Ее точеная рука с перстнем прошла по листку, оставив на нем зигзаг автографа, и листок, словно облагодетельствованный, словно оплодотворенный, взлетел над столом и удалился из кабинета вслед за черным костюмом...

Тут он вспомнил о маме, которая вот так же поджимала губы, когда находила, что его внешний вид не соответствует, ну, допустим, партийным нормам, слишком вызывающ, что ли... Или, к примеру, он сомневался в правомерности классово-вой борьбы, или еще чего-то там, и тут мама сжимала губы, и холодный, неотвратимый огонек вспыхивал в ее карих глазах...

— А твои семнадцать каторжных лет? — спрашивал он. — Это тоже историческая логика?

— Это не имеет отношения к нашим идеалам, — бросала она, и губы становились белее и еще жестче.

Правда, у мамы был пробор на прямой ряд, а не модная прическа, как у инструктора Савельевой, а уж о перстне и говорить нечего.

— Вы можете идти, — сказала Савельева безразлично, — мы известим вас.

Он вышел, понимая, что никуда не поедет. И обрадовался.

5

До Ивана Ивановича начали доходить слухи, что его песни распевают по студенческим общежитиям. Ему это было легко и странно, потому что он всегда видел перед собой своими почитателями ровесников, то есть людей, обожженных и тридцать седьмым, и войной, имеющих общих с ним опыт, достаточно печальный и даже трагический, а тут вдруг молодые люди с пушком на губах... Но как бы там ни было, он ловил эти слухи и, видимо, как-то пытался соразмерить свою жизнь с новыми обстоятельствами. А новые обстоятельства не заставили себя долго ждать.

И вот однажды раздался звонок из районной библиотеки, расположенной где-то у метро «Сокол», и его пригласили на встречу с читателями.

В назначенное время он подъехал к библиотеке на такси. То есть он не совсем подъехал, а вынужден был остановить машину далеко от входа, ибо пространство перед домом было забито людьми все больше молодыми. Толпа была шумная, горячая. Многие были с гитарами. Они подступили к библиотечному крыльцу, к самым дверям, в которых были выбиты стекла и где два утомленных, недоумевающих милиционера загораживали обезображенный вход.

Толпа гудела. Слышались гитарные переборы. До Ивана Ивановича донеслись знакомые мелодии — напевали его песни. Прижимая гитару к груди, он пробивался ко входу.

Никто его, конечно, не узнавал: в лицо его не знали. За стеклами библиотечных окон маячили испуганные лица счастливых, успевших до погрома пробиться в помещение. Наконец Ивану Ивановичу удалось добраться до крыльца. Нет, не недоумение было написано на лицах милиционеров у разбитой двери, а гнев и жестокость. Они перегородили дорогу Ивану Ивановичу.

— Меня там ждут, — сказал Иван Иванович строго.

Они оглядели его мутными глазами. Толпа замерла.

— Ух ты, — сказал один из милиционеров, — его там ждут...

— Они собрались на встречу со мной, — заявил он гордо.

Милиционеры дружно оттолкнули его.

— Я Отар Отарыч! — крикнул он.

— Давай иди отсюда! — распорядился один из стражей.

— Да это же меня ждут, — выдавил Иван Иванович, — я Отар Отарыч...

Из толпы наблюдали с интересом: почти каждый прошел этот путь. Кто-то засмеялся. Смех почему-то пуще распалил милиционеров. Они снова оттолкнули Ивана Ивановича. Из разбитых библиотечных дверей высунулась бледная, растрепанная женщина. Она молча и с ужасом наблюдала, как милиционеры сталкивают Ивана Ивановича с крыльца.

— Где ваша заведующая? — успел крикнуть Иван Иванович и полетел в толпу.

— Ловкач, — сказал кто-то, и все в толпе снова рассмеялись.

«Если бы вы знали, что я и есть Отар Отарыч, вы бы меня на руках внесли в библиотеку», — хотел крикнуть Иван Иванович, но, конечно, не крикнул, а быстро пошел прочь, почти побежал.

На следующий день он позвонил в библиотеку. Заведующая говорила с ним загробным голосом. В частности, она сказала:

— Мы допустили ошибку: оповестили, знаете, актив, а после взяли да и повесили объявление у метро, хотели как лучше... ну и вот такой кошмар...

— Жаль, — сказал Иван Иванович нравоучительно, — поторопились, — но с трудом скрыл ликование, а когда повесил трубку, долго сидел зажмурившись.

Это был опыт, первый и сладостный, но эйфория развеялась быстро, потому что Иван Иванович был уже не слишком молод и мог представить себя со стороны, и он увидел, как его сталкивают с крыльца и какой он неказистый и нелепый со своей гитарой... Он вдруг понял, как все относительно и неустойчиво в этом мире и, что вполне вероятно, когда-нибудь его столкнут не потому, что не узнают, а просто потому, что нужен будет уже не Иван Иванович, а какой-нибудь Петр Петрович, или Сергей Сергеич, или даже Эдуард Эдуардыч.

ВЫПИСКА ИЗ ДАВНО МИНУВШЕГО ДЕЛА

Рассказ

1

Бывший генерал госбезопасности Филин служил оргсекретарем в Союзе писателей. Он относился к Ивану Иванычу с большой симпатией, видимо, как к сыну человека, погибшего в тридцать седьмом, да и сам он хлебнул в свое время девятилетнего заточения в лефортовской одиночке.

По рассказам знатоков, это была страшная тюрьма, и в глазах Ивана Иваныча генерал выросстал до сказочных размеров, и чувствовал это, и, бывало, даже кокетничал своим прошлым. Но независимо ни от чего, от всех споров вокруг Ивана Иваныча, от непривычного жанра, которым тот занимался, от этого вселенского шухера, Иван Иваныч ему нравился неназойливостью, скромностью, своей причастностью к фронтовым делам, а может быть, и еще какими-то там достоинствами. Конечно, его не покидало чувство настороженности, когда он думал об Иване Иваныче, какая-то тревога не давала ему покоя: ведь он нес ответственность за этого еще молодого члена союза, и это все отражалось на его крупном лице.

Но не только эти чувства обуревали генерала. В нем соединялись в горючую отравляющую смесь застарелый большевизм, теперь уже выглядящий показным, лозунговым и ортодоксальным, с природной прозорливостью и большим горьким опытом, и они подсказывали ему, что привычная основа прогнила, что где-то маячит крушение, что святые догмы, которые он проповедовал, просто

догмы, а может быть, и ложь. И это тоже отражалось на его лице.

Так вот, Иван Иваныч ему был симпатичен, и его песни, прослушанные с магнитофона вдвоем с женой, вполне интеллигентной женщиной, не вызывали ничего предосудительного и даже нравились. Но это было дома, а в служебном кабинете иные постулаты руководили им и мерещились пессимизм, и упадок, и вседозволенность, и опасные отступления от узаконенных и привычных правил игры в том смысле, что «если все начнут себе позволять, то что же получится!..».

Иван Иваныч при всем своем легкомыслии, видя белое, напрягшееся лицо генерала, несколько не обольщался на его счет. Он догадывался, что дружеское расположение Филина тотчас же погаснет, как только ему скажут, ну, к примеру, Ивана Иваныча арестовать или, скажем, расстрелять. Но пока команды не было, оргсекретарь ничего такого не допустит, а будет опекать и терпеливо накапливать информацию, и меж ними будут порхать и совершенствоваться дружелюбные улыбки.

И вот однажды Иван Иваныч зашел как-то в Союз писателей и тут же у входа столкнулся с оргсекретарем. У того лицо сразу сделалось крайне озабоченным, а в бледно-голубых глазах засверкала тайна. Он многозначительно поманил Ивана Иваныча за собой.

В просторном старомодном кабинете генерала царил официальная тишина, и Иван Иваныч, усевшись в кресло, не предполагал, о чем пойдет разговор. То есть ничего приятного он, конечно, не ждал: для приятных разговоров сюда почти не приглашали. Резкие движения генерала, его молчание, пока он возился в сейфе, ничего хорошего обещать не могли. Но вот он наконец распрямился и высоко и как-то несколько торжественно поднял над головой граммофонный диск.

— Ну, что скажешь? — задохнулся он, и в этом вопросе было торжество, но и скорбь, и даже осуждение.

— Что это? — не понял Иван Иваныч.

— Твоя пластинка! — выпалил генерал и потряс диском, словно уликой.

— Какая пластинка?! — закричал Иван Иванович, не смеявший о таком и мечтать. Действительно, хотя он уже был известен и даже кое-где выступал полулегальным образом, но его песни никак не совпадали с укоренившимся представлением о том, какой должна быть песня. Поэтому и о пластинках мечтать он не мог, а тут вдруг его пластинка, да к тому же с его большим портретом, мелькнувшим над головой генерала и исчезнувшим тотчас. — Как же она вышла без меня? — И он наивно рванулся со своего кресла, чтобы приблизиться к этому волшебному предмету, к этому чуду, чтобы прижать его к груди, погладить, насладиться...

— Сиди, — прошипел генерал и вознес диск еще выше.

— Почему же вы не даете мне посмотреть? — возмутился Иван Иванович. — Откуда она?..

— Правильный вопрос, — усмехнулся генерал, — она откуда, — и кивнул в сторону, — оттуда... а на ней твои песенки, — и покачал головой.

Иван Иванович как дитя своего времени тотчас понял, что означает этот кивок. Он означал, что пластинка не отсюда, не с улицы, не из магазина, а оттуда, из потустороннего мира, из заграничных недр.

Он вздрогнул и спросил с тоской:

— А мои ли песни?

— Твои, — мрачно усмехнулся генерал. — Вопрос в том, как они туда попали...

— Не знаю, — сказал Иван Иванович, — я не передавал... мало ли как. Везде по рукам ходят записи, мало ли...

Филин вновь покачал головой.

— Кто же это выпустил мою пластинку? — спросил Иван Иванович слабым голосом.

— Неужели непонятно? — усмехнулся оргсекретарь, и его бледно-голубые глаза расширились до предела, и свистящее, зловещее «ЦРУ» слетело с аккуратных генеральских губ.

Тут Иван Иванович перепугался не на шутку. Он ведь был, повторяю, дитя своего времени, и если сначала диалог с генералом казался ему вольной пробежкой по синему луку, при которой генерал двигался большими скачками, чтобы

схватить пластинку как замечательную улику, а он, Иван Иваныч, трусил мелкой рысцой, чтобы прижать ее к сердцу, если сначала это представлялось таким, то теперь он почувствовал себя в западне.

Рассказывали сведущие люди, что генерал хоть и не служил уже в органах госбезопасности, но держал в своем домашнем шифоньере хорошо отутюженный генеральский мундир и доверительно демонстрировал его самым приближенным к нему писателям. Да, он теперь был генералом в отставке, но жестами, интонациями, намеками, многозначительными усмешками пытался внушить окружающим, что бескрайне осведомлен об их жизни и образе мыслей. С умными это не проходило, ибо умные на то и умные, чтобы вовремя притворяться дураками. Глупые же разевали рты и распространяли о генерале фантастические легенды. Иван Иваныч был не слишком глуп, чтобы поверить в интерес, проявляемый американской разведкой к его песням, но, во-первых, представлял себе возможность злостной интриги, а во-вторых, был оглушен самим фактом появления воделенного диска и готов был разрыдаться от одной мысли, что где-то там вышла эта большая, красиво упакованная его мечта, к которой он теперь не вправе прикоснуться!

— Эту провокацию, — сказал оргсекретарь, запрятав диск в сейф, — совершил матерый шпион, агент ЦРУ, известный под именем Джон Глофф, — и бросил небрежно: — Мы этим сейчас занимаемся...

О это «мы»!..

Иван Иваныч кивнул, с удивлением отметив, что страха нет. То есть его не то чтобы совсем не было, но радость, ощущение успеха преобладали над тревогой и страхом.

Генерал делал большие глаза и пристально всматривался в Ивана Иваныча, но Иван Иваныч кивал согласно и себя не выдавал.

— А где это вышло? — спросил он как бы без интереса.

— В Лондоне, — презрительно процедил Филин.

Показалось несколько несообразным сочетание американского ЦРУ и английского Лондона, но лишь на мгновение,

а потом Иван Иванович уже представлял себе, как он придет домой и скажет своей молодой жене: «А знаешь, у меня вышла пластинка за границей. Большая пластинка...» «Где?!» — вскрикнет она, пораженная. «В Лондоне», — ответит он небрежно.

Вышел он от генерала с легким чувством. Страх как не бывало. Ликование оказалось сильнее: «Вот сука церушная, какой подарочек преподнесла!» И он поразил свою молодую жену сообщением. Был семейный праздник. Его жене, Ангелине Петровне, было двадцать три года. Она была человеком, не искушенным в литературных тонкостях, и хотя обрадовалась пластинке, но восприняла это как должное, ибо гений Ивана Ивановича был достоин и большего, чем эта заурядная заграничная пластинка. Иван Иванович пытался объяснить ей, сколь чрезвычайен этот факт, но преуспел не слишком и махнул рукой.

Но это было, как оказалось, лишь самое начало истории, за которой последовало совершенно непредсказуемое продолжение.

Возбужденный эйфорией победы, Иван Иванович уехал в Ялту, в Дом творчества писателей. Он уехал туда, в тишину, писать стихи, которые уже почти сложились в его голове, и придумывать к ним мелодии. Это было впервые, что он просил путевку в качестве члена союза, и у него не хватило решимости попросить и для Ангелины Петровны. Она отнеслась к этому с пониманием, хотя расставаться не хотелось.

Иван Иванович наслаждался ялтинским житьем, весной, работой, но скучал по молодой жене и досадовал на себя самого за излишнюю щепетильность: большинство писателей приехали с женами. Он ежедневно звонил ей и клялся, что в следующий раз они непременно поедут вместе. Она смеялась в ответ и утешала его... Но однажды обычно счастливый ее голосок прозвучал тревожно и опустошенно. Она говорила задыхаясь. Ее рассказ состоял из недомолвок и намеков: какой-то телефонный звонок и женский голос с сильным иностранным акцентом, странные предложения... Лондон... Москва... Ленинград... Густой туман из страха и

отчаяния клубился меж Ялтой и Москвой. Она не знала, как поступить, и не то спрашивала совета, не то сама расточала нервные советы, и перед Иваном Ивановичем сразу же померкли приморские пейзажи. Сначала он пытался превратить все в шутку, чтобы вывести ее из состояния шока. «Ты фантазируешь», — сказал он. «Я не фантазирую, — совершенно спокойно ответила она, — просто это не телефонный разговор...» «Это что, опасно? — спросил он, мрачней, — действительно опасно?» Она снова пыталась ему что-то объяснить, и вдруг он понял, что ее иносказание имеет отношение к английской пластинке...

Он целый день ходил сам не свой. Долгий путь его собственной жизни вновь, уже который раз, открылся перед ним. В словах, в интонациях Ангелины Петровны он расслышал знакомое предупреждение о давней, привычной угрозе. Да, вдруг вспомнилось: и отец, поставленный к стенке в тридцать седьмом году, и мать, вернувшаяся к жизни после почти девятнадцати лет лагерей и ссылки. И все это был и его опыт. Он всегда страшился нового крушения, он презирал себя за мелкую дрожь в коленях и, благословляя вождельный грамофонный диск, первый в его жизни, еще не тронутый им, но уже существующий в природе, ненавидел желтолицего неведомого заморского шпиона с искаженной мордой, внесшего сумятицу в его жизнь.

Вечером жена позвонила снова. Она ждала совета. Сквозь помехи и ее наигранное спокойствие до него постепенно дошла суть происшедшего.

...Ей позвонила женщина. Она говорила с сильным английским акцентом. Она отрекомендовалась женой этого шпиона, то есть она сказала, что она жена господина Джона Глоффа, который издал диск господина Отара Отарыча. Ее муж издает журнал и выпускает книги подпольных авторов, и она приехала, чтобы увезти из России рукописи подобных книг. Она надеется, что жена Отара Отарыча приготовит ей что-нибудь интересное из запретных произведений Отара Отарыча (какая жалость, что самого Отара Отарыча нет в Москве!), если, конечно, Отар Отарыч не побоится

последствий. Ангелина Петровна, теряя сознание от страха, с гордостью заверила иностранную гостью, что ее муж ничего не боится. Боялась ли она? Боялась, боялась, вспоминая время от времени, что и ее отец сидел когда-то в свердловской тюрьме. Боялась, как боялись все, чьи гены были отравлены давним страхом. Какие лица белели!.. Несмотря на более благоприятные времена и всякие шумные разоблачения вчерашних преступлений, какие сердца содрогались!..

— Я тут имею разный адрес, — сказала гостья, — беру там тоже рукопис, а потом прихожу здесь, у вас, суббота, эт севен оклок, о'кей?

— О'кей, — сказала Ангелина Петровна побелевшими губами и уронила трубку.

И вот она повествовала все это с помощью различных иносказаний и намеков, и ее дрожь долетала сквозь тысячи километров, и он сам начинал дрожать и сокрушаться, что вот она там, молодая, вовлечена в это безумие, бедняжка, и он сам теперь непонятно кто: то ли преступник, то ли от-ветчик за чужие грехи...

— Слушай меня! — закричал он в трубку. — Немедленно иди к Филину. Пусть Филин этим занимается. Это его работа. При чем тут мы с тобой?!.. Кто? Ну генерал, наш генерал, поняла? У нас в союзе... Пусть он сам расхлебывает!..

— А если это хорошая женщина? — трезво прошелестела Ангелина Петровна.

— Ничего себе хорошая... — крикнул он из ялтинского рая. — Я знаю, как это бывает!

— Но ведь это похоже на предательство, — вновь прошелестела она, и он отчетливо увидел ее плотно сжатые пре-красные губы.

— Нет, нет, делай, что я говорю! — потребовал он. — Еще этого не хватало, чтобы мы занимались шпионами!..

И она отправилась к генералу.

— Это жуткий шпион, — сказал Филин, перебирая бумаги в ящике стола, — мы его давно знаем. Мерзавец, каких свет не видывал. Он неспроста прицепился к Отару

Отарьчу, — и с интересом посмотрел на Ангелину Петровну, сидящую перед ним на стуле в независимой позе и с бессилием в зеленых глазах. Она рассказала ему ситуацию. Филин был рад помочь молодой семье.

— Какая наивность! — воскликнул он, но без осуждения. Азарт профессионала бушевал в нем. Он продолжал с неистовством перебирать бумаги. Она хотела сказать ему, чтобы он прекратил это неучтивое занятие, но, конечно, сдержалась. Внезапно он успокоился, уставился на нее и сказал игривым шепотком: — Мы с нею поступим так. В субботу к вам придет наша женщина. Вы ее отрекомендуете вашей родственницей, ну, допустим, тетей, да? — Она покорно кивнула. — Ну вот, значит, придет ваша тетья, и вам уже ни о чем беспокоиться не нужно...

Ангелина Петровна вообразила себе женщину с большим револьвером в руке. Звуки короткой борьбы и торжествующие восклицания. Она поведала это генералу будто бы в шутку, с изысканной насмешливостью, но оргсекретарь прыснул.

— Насмотрелись шпионских фильмов? — спросил он по-родственному. Она кивнула удрученно. Взаимопонимание было полное.

Нервы были на пределе. Тоскливая мыслишка о предательстве время от времени покалывала Ангелину Петровну, но тут же гасла. То ли не хотелось уже об этом думать, то ли генеральский азарт передался ей — понять было трудно. Во всяком случае в субботу, ровно в шесть часов вечера, в дверь позвонили, и в квартиру вкатилась немолодая, улыбочивая и довольно свойская дама с бородавкой над верхней губой.

— Вас как, Гелечка или Алечка? — спросила, вытирая в прихожей ноги.

— Называйте Ангелиной, — строго предложила Ангелина Петровна.

— Ах, ну Ангелина так Ангелина, — легко согласилась «тетя», — красивое имя.

Она уселась в комнате на предложенный стул, огляделась, улыбнулась. Поигрывая бородавочкой, спросила:

— А наша-то к семи обещалась? Ну подождем. Вы делайте свои дела, а я огляжусь пока что...

Ангелина Петровна уселась напротив и, хотя понимала нелепость своих предположений, все-таки пыталась высмотреть у гостя оружие. Но у той все было пристойно, буднично, затрапезно.

— Хорошо бы мне тапочки какие-нибудь, — сказала она.

Ангелина Петровна принесла ей тапочки. «Тетя» переобулась. Быстренько, как старожилка, снесла свои туфли в прихожую.

— А здесь что у вас? Ах, ванная. Как у меня. А раковина большая. Наверное, в «Сантехнике» брали? А у меня все времени нет. А здесь туалет, да? Ну, конечно. — И засмеялась. Кухня ей понравилась. — Вы мастерица, Ангелиночка... Ну надо же, такая маленькая кухонька, а какой уют! — И вздохнула. — Вот говорят, того нет, другого нет, это нужно, то нужно, а нужен-то вкус, да?

Ангелина Петровна нервничала, но виду не подавала. Больше всего она боялась стрельбы. Глядя на веселую бородавочку гостя, почти мушку, она хотела спросить: «Давно ли вы этим занимаетесь?» Хотела спросить, но, конечно, не посмела, лишь губы скривила слегка.

Пробило семь. Никто не появлялся. Напряжение усиливалось. Уже впоследствии, слушая эту историю, Иван Иванович и сам приходил в возбуждение, словно непосредственный участник, и, не сдерживаясь, выпаливал Ангелине Петровне всякие несогласия: и то она делала не так, и говорила совсем не то. Затем, видя ее расстроенное лицо, великодушно соглашался. В своем прекрасном ялтинском раю он был избавлен от лицемерия многозначительной мушки случайной «тети» и не слышал ее благополучного, равнодушного голоска.

— Наша-то припаздывает, — сказала она, — на иностранку-то ну просто не похоже...

Ангелину Петровну вновь посетила болезненная мысль о предательстве. Что же до Ивана Ивановича, то он то ли

лукавил и тешил собственный эгоизм, то ли оберегал покой молодой, неискушенной супруги... Где уж тут разобраться.

— Припаздывает, соколица, — сказала «тетя». — Она обо мне, конечно, не знает? — спросила как бы случайно и уставилась в зеленые, широко распахнутые глаза Ангелины Петровны.

— Конечно, — ответила Ангелина Петровна с вызовом. Ей вдруг послышалось, как звякнуло что-то железное. В который уж раз она украдкой тщательно изучила все выпуклости своей новой знакомой. Ничего подозрительного не было в пухлых, уютных формах пожилой дамы.

В восемь зазвонил телефон, и жена шпиона громко, отчетливо и с некоторым даже ликованием прокричала в ухо Ангелине Петровне:

— Айм сорри, я не могу приходить, бизок у меня поезд ту Ленингред, вы понимайль?.. Я имею большой кофр разний рукопис разний диссидент, о! Это хороший сувенир для мой хазбэнд... Ба-бай, сорри...

— Вы уезжаете? — в прострации спросила Ангелина Петровна.

— Ес, айм сорри... Завтра буду Ленингред, там есть новый рукопис, а эт ивнинг пароход Хельсинки ууууууу... Ба-бай!

— До свидания, — сказала Ангелина Петровна с облегчением.

«Тетя» сказала:

— Ага, вот и чудно. А завтра на Хельсинки? Ну и чудно, — и пошла в прихожую переобуваться.

— До свиданьечка, Линочка. Вы, если чего, — звоните...

Вечером из Ялты долетел голос Ивана Иваныча. Она постаралась его успокоить. О «тете» не упоминала. Об английской гостье сказала только:

— Полная идиотка: орет по телефону открытым текстом... Какой-то кошмар!

— Не расстраивайся! — крикнул из Ялты Иван Иваныч. — Они ей покажут Хельсинки!.. — И вновь на мгновение мелькнула мысль о предательстве, но только на мгновение.

вение. Потом они поворковали, как водится, не подозревая, как эта история развернется вновь через каких-нибудь четыре года.

Засыпая, Ангелина Петровна пыталась избавиться от неясного чувства досады или даже вины в чем-то перед кем-то, но утешала себя тем, что гений Ивана Иваныча дороже козней и интриг. В последнюю минуту перед забытием успела увидеть, как «тетя» бежит вдоль уходящего поезда и стреляет из револьвера по окнам международного вагона.

2

Жизнь Ивана Иваныча продолжалась с переменным успехом. О злополучной пластинке он старался не думать. Где-то в глубине души ему было радостно сознавать, что вот у него вышла пластинка, но радость меркла, она была отравлена, подпорчена зловещим источником ее появления.

И вот случилось так, что Иван Иваныч с маленькой писательской делегацией очутился в Мюнхене. В Москве его предупреждали, что он едет в самое логово. Он, конечно, смеивался, а приехав, не то чтобы испугался, но какая-то тревога все же сопровождала его.

Во всяком случае, когда утром в вестибюле маленькой уютной гостиницы «Леопольд», что на Швабинге, объявились люди с радиостанции «Свобода», он вздрогнул.

Было это так: сначала, оглядываясь по сторонам, щурясь в пустынное фойе, растерянно улыбаясь, предстал Юра.

— Я с радиостанции «Свобода», — глухо прошептал он, всматриваясь в лицо Ивана Иваныча. Иван Иваныч оценил эту пронзительность и сказал, теряя сознание от неожиданности и страха:

— Здравствуйте... а что это вы все шепотом... и шепотом?

— Ну, я подумал, — прошептал Юра, — что, может быть...

— А что может быть? — бледнея, шепнул Иван Иваныч.

— Нет, я в том смысле, — прошелестел Юра, — в том смысле, что не будет ли у вас каких-нибудь неприятностей...

«Будут», — подумал Иван Иванович, но сказал, изобразив улыбку:

— Стоит ли об этом?..

Юра отлично говорил по-русски. Мальчишкой он жил в Москве. Затем еще до войны выехал с родителями в Германию. Родители были русские немцы, и язык остался.

— Я ведь потому, — шепнул Юра, — что у вас к нашей конторе относятся... да?..

— Ну и черт с ними! — лихо прошептал Иван Иванович, чувствуя, как холодеет спина.

Затем из-за угла возникла Галя. Она напряженно улыбалась. В ее улыбке перемешались восхищение Иваном Ивановичем, и раскаяние, и радость встречи, и еще какие-то едва уловимые оттенки.

— О! — произнесла она очаровательным меццо-сопрано (он, бывало, слышал этот голос из того мира, слышал, его нельзя было не узнать, там он звучал призывно и властно, здесь — вкрадчиво и тепло), — мы так рады видеть вас здесь... вы не боитесь с нами общаться?.. Мы так любим ваши песни. У вас в группе не будут на это коситься? — Тут она тоже перешла на шепот: мимо прошел Борис Александрович — руководитель делегации. Он улыбнулся Ивану Ивановичу. Что же было в этой улыбке?

С ним, кстати, была связана следующая история. Год назад Ивана Ивановича как-то, видимо, по недоразумению включили в делегацию писателей, едущих в Австралию, по приглашению австралийцев, на какой-то там литературный фестиваль. Конечно, фамилию Ивана Ивановича в аппарате ЦК из списков тотчас вычеркнули. Иван Иванович понимающе и обреченно вздохнул. Как вдруг Борис Александрович стукнул кулаком по столу и отказался от поездки тоже. Что это было? Старый коммунист, известный литературный критик был ортодоксальным марксистом, но в то же время его натуральное пристрастие к литературе, к прекрасному, привитое, видимо, еще в гимназические годы, возвышало его над догмами, и политические предрассудки мягчели, а догмы становились преодолимыми, и так далее, и тому подобное... И он стукнул

кулаком по столу, а в те годы это был поступок, и Иван Иванович не мог не оценить его. Партийные чиновники поморщились, но уступили, ну, может быть, выйдя впоследствии из шока, и спохватились, и затаили зло, что было в их природе, а тут вот уступили, во всяком случае, дело было сделано, и Иван Иванович, преисполненный признательности к Борису Александровичу, отправился в далекую Австралию.

А теперь вот был Мюнхен, куда Борис Александрович взял с собой Ивана Ивановича с легким сердцем. И страшно было его подвести.

— Засек, — шепнул Юра, провожая глазами седого критика.

— О! — воскликнула, пунцовая, Галя. — Теперь вас ждут неприятности?

— Пустяки, — бодро выдавил Иван Иванович, — кому какое дело, с кем я разговариваю...

— О, действительно? — прошептала Галя с облегчением и рассмеялась.

Оглядываясь по сторонам, они все трое пошли к выходу из отеля. Страх не покидал Ивана Ивановича, хотя внешне он держался невозмутимо. И это заставило его немножко призадуматься о том, не слишком ли неприлично выглядит его бравада, ибо даже при не очень-то внимательном взгляде хорошо видны его бегающие глазки, напряженные черты лица и дрожь, волнами пробегающая по телу. Но при всем при этом он шел с ними. Его распирало любопытство. Его лихорадило от непривычной ситуации. Он, словно игрок, погружался все глубже и глубже в загадочную трясику, и сладкую, и зловещую одновременно. Неведомая дотоле жажда риска обурежала его. Ему, оказывается, доставляло удовольствие хождение по краю пропасти. Но самым восхитительным было желание покрасоваться — нет, не перед публикой, а перед самим собой, перед самим собой...

— Вы еще рискнете с нами встретиться? — деликатно спросила Галя и запунцовелась.

— Если, конечно, ему не устроят проработку, — усмехнулся Юра.

— Можете не беспокоиться, — бодро шепнул Иван Иванович и очаровательно, из последних сил, улыбнулся, — да плевать мне на них!..

— Этот ваш критик, — шепотом спросила Галя, — он, конечно, генерал КГБ?

— Ну что вы! — рассмеялся Иван Иванович. — Старый интеллигент-марксист.

Она, кажется, не поверила.

— О? — И на тонких губах заиграла усмешечка.

— А уж Лотков — это точно, — заметил Юра.

— Да нет же, нет, — возбудился Иван Иванович, — он наивный провинциальный поэт...

Предосудительность поведения Ивана Ивановича была слишком очевидна. Эта вольность, эти «наплевать», эти фиги... «Хоть бы они исчезли!» — подумал он с радостным вдохновением, и они тотчас исчезли с надеждой на новую встречу.

И тут же возник Арнольд Лотков.

Головастый, широкоплечий, с грустными цыганскими глазами, молчаливый, добрый. «Как странно, — подумал Иван Иванович, — Мюнхен, Леопольдштрассе, Бавария, радио “Свобода”...»

Перед отъездом из Москвы Лотков спросил с ужасом:

— Старик, что ты знаешь о Мюнхене? Что там делается, а? Ну скажи, старик, что там, в этом логове? Ведь ты думал об этом, думал...

Иван Иванович тогда посмеялся. Сказал, пожав плечами, мол, там будет видно, чего голову ломать? Они тогда пошушукались, сверили информацию. Лотков выезжал за границу впервые, и сразу же в ФРГ! Его сведения об этом мире покоились на незамутненных представлениях пионерских лет. Он видел немецких рабочих на многочисленных баррикадах, пересекающих мрачный Мюнхен, и оголтелых неонацистов, штурмующих эти баррикады... Песни Эрнста Буша и круглое лицо Тельмана маячили перед его взором и занимали полсердца.

— Да какие баррикады! — зашипел Иван Иванович. — Ты что, рехнулся? Опомнись...

— Нет, старик, — виновато проворчал Арнольд, — не спеши с выводами... Я знаю...

В Германию они ехали поездом. Сначала тянулись за окнами привычные просторы России, и Арнольд безразлично озирали их. Затем впервые в жизни подкатила граница. Все было необычным. Затем загудели по Польше. Ну, Восточная Польша как-то не поражала: все было как у нас. Зато Западная, ее добротные дома, аккуратные полосы полей... И Арнольд прилип к оконному стеклу.

— Ого! — прошептал он. — Ну надо же!..

Затем потянулась чистенькая ГДР, ну, конечно, еще чище, чем Польша, еще добротнее. Лотков застонал еще пуще, отчаянней. Он не ел и не пил. Он всматривался и сравнивал. Лишь с наступлением темноты он наконец заснул, но, когда Иван Иванович пробудился утром, Лотков уже сидел у окна, и лицо его было ужасно от страдания. Потянулись пейзажи ФРГ, сверкали серо-синие автострады, божественные, словно нарисованные, леса, городки, все с иголочки, все на подбор, и большие города, словно только что сооруженные, и деревни выставочных образцов; неведомое приятное благоухание, казалось, распространилось по вагону, и Арнольд почти закричал: «Оооо!» — тоскливо, как олень перед закланием. И вот в шоке, с выпученными глазами пересел он в Кёльне в местный поезд, и, пока катили вдоль берегов прекрасного Рейна, мимо старинных сверкающих замков по окрестным холмам, мимо самой Лорелей, сидел, низко опустив голову и тихо постанывая.

Теперь же он возник перед Иваном Ивановичем уже излечившимся от недуга; прожив в Мюнхене несколько дней, он излечился не до конца, конечно, но был уже вменяем, почти... Он даже посвистывал на ходу. Однако Иван Иванович, глядя на него, тотчас ощутил собственное преимущество, ибо, подойди к Арнольду ну тот же Юра и скажи он: «Я с радиостанции «Свобода», — Арнольд Лотков все-таки грянулся бы бездыханным.

В руках он держал полиэтиленовые сумки, набитые всякими сувенирчиками, и, улыбнувшись, сострил по распространенному шаблону:

— Вот, разорил загнивающих капиталистов.

За покупками ходить было приятнее и легче, чем отвечать на многочисленных пресс-конференциях на вежливые, но острые, а часто и вовсе беспардонные вопросы мюнхенских журналистов и всяких эмигрантских старожилов, а Арнольд, наслаждаясь лицезрением витрин и прилавков, все-таки не забывал о предстоящих официальных встречах и морщился, и в цыганских его глазах возникала серая пленочка тоски. Конечно, когда распоясавшиеся интервьюеры задают провокационные вопросы и надо отвечать, а аргументов не хватает, то есть просто нет, то нужно привирать, то есть выдумывать, а это стыдно и вызывает смех аудитории, но нужно выходить из положения, потому что предстоит ведь возвращаться в Москву, а там непременно спросят, и уж жалкие оправдания, мол, там, как выяснилось, дураков нет и прочее, приниматься в расчет не будут. Конечно, все это не способствовало раскованности и приятному времяпрепровождению, и Арнольд, входя во вкус западной жизни, тем не менее был напряжен и скован, и выражение испуга так до конца и не покинуло доброго цыганского лица. Действительно, ему доставалось покрепче, чем Ивану Иванычу, потому что так уж сложилось, что Ивану Иванычу задавали чисто литературные вопросы, ну, например, над чем он сейчас работает или как поживает Евтушенко, задавали, а сами ждали, когда он возьмет в руки гитару и запоет. А Бориса Александровича и Арнольда спрашивали, не считают ли они Советский Союз тоталитарным государством, или не кажется ли им, что вся партия виновата в преступлениях перед народом, а не только Сталин или там Берия... Обычно критик отвечал с присущей ему ортодоксальной искренностью, и это как-то проглатывалось и не вызывало желания спорить или злорадствовать, а над Арнольдом, над его страхом откровенно посмеивались и пытались даже загнать его в угол.

— Чем-то я этих белоэмигрантов возбуждаю, — жаловался он Ивану Иванычу в перерывах, утирая пот, — чего они, старик, на меня взъелись? Может, они за Сиваш мстят?

Теперь уже не неонацисты, а бывшие белогвардейцы

вырисовывались в реальную угрозу. Стоило кому-нибудь незнакомому подойти к Арнольду и сказать по-русски, даже очень доброжелательно, даже сердечно, но по-русски: «Здравствуйте, господин Лотков», как Арнольд тотчас отскакивал и боязливо защищался ладошкой.

— Да ты его глаза видел? — говорил он Ивану Иванычу. — Что мне его улыбка? Глаза видел?.. Вот-вот ударит. Ты присмотришься, старик, присмотришься, ты не будь лопухом, я знаю... смеяться нечего...

Ивану Иванычу было Арнольда жалко.

Однажды в Регенсбурге, маленьком баварском городке, проводилась очередная встреча. Предполагалось, как обычно, что Борис Александрович и Лотков ответят на главные вопросы, а Ивана Иваныча, кроме того, ждали с гитарой.

Человек ко многому привыкает благодаря обстоятельствам. Постепенно. И тут вовсе не обязательны какие-нибудь снадобья или ломка психики. А вот так постепенно все в нем меняется, и бывшие представления становятся смешны, и страхи меркнут. Воистину не трагедии уже, а фарсы. Это не значит, конечно, что все одновременно и одинаково мудреют и облагораживаются: один побыстрее, другой помедленнее, а третий, правда, так и может умереть в прежнем безумстве, но это третий, а у тех двух все идет в нужном направлении. Вот так и Иван Иваныч постепенно избавился от своей напряженности и от своей лихорадки, которая, хоть он и скрывал ее от посторонних, и хорохорился, немало докучала ему. Естественно, каково это в каждом симпатичном встречном подозревать потенциального злоумышленника! Но, избавившись от этого ощущения, начинаешь чувствовать себя выздоровевшим и почти счастливым.

И вот в Регенсбурге, едва выйдя на сцену, он тотчас увидел в зале, в первом ряду, улыбающихся Юру, Галю и Лену с Игнацем. Они кивали ему и подбадривали. Еще оставалось несколько минут до начала. Небольшой зал был переполнен. Иван Иваныч легко соскочил со сцены и на виду у Бориса Александровича и Лоткова пожал руки своим новым знакомым и обнялся со старыми друзьями — Леной и Игнацем.

История их вот такая. Игнац, польский еврей, жил до войны во Львове. Юный комсомолец, а затем коммунист. Конечно, подпольщик. Ну и тут все вполне хрестоматийно, тайные сборища, расклеивание листовок, аресты, побег, мордобой и фанатическая приверженность идее, а впереди — мировая революция, а на востоке — Советский Союз — родина всех пролетариев, и Сталин, и счастливые надежды. Высокий, широкоплечий, сильный, как биндюжник, с детской улыбкой на крупном лице и мировой скорбью в иудейских глазах. А тут началась война, и Польша запылала, и все кончилось. Многие польские коммунисты после молниеносного падения своей страны получили приют в Советском государстве. Игнац был в их числе. Его направили в Среднюю Азию вести политическую работу среди польских беженцев. Уж какое тут было горение, какие страсти, какой труд без сна и отдыха — не передать. Правда, непосредственное знакомство с советской жизнью вызвало в молодом энтузиасте некоторое недоумение, но он отметал прискорбные черты и не расставался со своей пронзительной верой. Однако вскоре разразилась большая война. Беда была общей, общими были и надежды. Ему поручили теперь трудиться по созданию польских вооруженных сил. Тут уж он заработал с еще большим безумием, как вдруг в одну из прекрасных ночей за ним пришли, перерыли его жалкий скарб и увезли его в местную тюрьму. Он еще продолжал по инерции выкрикивать всяческие привычные лозунги и клятвы, но его обвинили в шпионаже, дали ему пару раз под бока и отправили в Магадан. Не буду описывать его дорогу, его состояние, близкое к помешательству, его каторжные годы. Все было по самой высшей категории, но оказались рядом такие же несчастные умные люди, которые кое-что смогли ему разъяснить. О, как трагично было терять веру! Как долго сопротивлялась его пылкая душа! Но обстоятельства были неумолимы, а он оказался понятливым учеником, и от былого фанатизма постепенно остались рожки да ножки и горькое ощущение напрасно потраченных лет.

Параллельно шла другая жизнь, жизнь Лены. Она была

юной комсомолкой казачьего рода из кубанской станицы. Едва стало очевидно, что немцы, захватив Ростов, легко катятся к югу и скоро окажутся в долине Кубани, едва началась предштурмовая лихорадка, едва ей в руки попала сброшенная с немецкого самолета первая листовка с бездумной наглой пестрой красной шрифтом на желтоватой бумаге: «Ростов возьмем бомбежкой, а Кубань — гармошкой», едва это все случилось, как сердце у юной патриотки защемило, и она без долгих слов отправилась записываться в партизанский отряд и ушла с партизанами в качестве сестры милосердия. Молодая санитарочка сорок второго года, с удивительно синими глазами и насмешливым изгибом рта, хлебнула партизанской жизни, была ранена в голову, и ее, слегка приведя в себя в тайном партизанском лазарете, неизвестными тропами переправили за линию фронта к своим. У своих в госпитале она вылечилась, затем с нею побеседовали тихие вкрадчивые профессионалы, осудили за измену и отправили в Магадан. Там Лена и Игнац долго доходили, не пересекаясь, а познакомились уже спустя много лет после войны вольняшками. В местной больничке нашей медсестре приглянулся, как говорится, губастый хохотун, не потерявший человеческого облика, и его медовый польский акцент, и глубокая неизрасходованная нежность в детском взоре. В общем, притяжение было обоюдным, и медсестра вышла замуж за молодого санитаря. А тут, как в сказке, вышел приказ всех бывших польских граждан вернуть на родину. Представляете, что было? Какая радость, и слезы, и поцелуи... И они поехали и добрались до Варшавы, где совершенно неожиданно Игнаца встречали старые его партийные товарищи, теперь уже достигшие больших высот. Они все, конечно, знали о постигших его мытарствах, хотя и им самим досталось предостаточно. Они разъяснили ему, что теперь наступает новая жизнь, что теперь-то уж партия не даст его в обиду, что он необходим для руководящей работы после всех чудовищных потерь. Но Игнаца, стреляного воробья, прошедшего магаданские университеты, уже нельзя было соблазнить ни лозунгами, ни властью. Какая все-таки полезная школа, если бы не кровавая

отрыжка по окончании. Он и раньше кое-что пописывал, кое-что сочинял, так, как бы для себя, а тут наострился переводить с русского на польский, начал печататься, добрался до Ивана Иваныча, перевел несколько его стихотворений, побывал в Москве... Познакомились и прониклись друг к другу сердечным расположением. Лена работала в варшавской больнице. Родила дочь, через два года — другую. Еврейская и казачья кровь прелестно и многозначительно перемешались. И тут, как среди ясного неба, оказалось, что евреям в Польше не место! Те самые, что встречали Игнаца из Магадана, те самые вчерашние интернационалисты не смотрели ему в глаза. Что с ним было — не передать. Этот большой грузный мужчина, вдоволь нахлебавшийся из чаши бытия удручающей отравы, по ночам плакал навзрыд. Иммунитет не помогал. Лена оказалась решительней, и, пока он, утирая слезы, спрашивал и спрашивал: «Мамочка, что же мы будем делать?» — она твердо решила: «Срочно уезжать, к капиталистам! Пока не поздно... Ты слышишь, Игнац, пока не поздно...» Что там, у капиталистов, она представляла смутно, но одно было ясно, что еврейско-казачьи ее отпрыски, ее Эвочка и Олечка, там будут в безопасности. Быстро они собрались, и прощай родина! Прикатили в Швецию почему-то. Там было сытно, чисто и тихо, но навалилась тоска, не хватало друзей, общения. Вскоре позвали их друзья из Мюнхена. Приехали. Почти без средств, без основательных перспектив, с тощей папкой переведенных на польский русских стихов. Кому они там нужны? Пустые хлопоты. Лена нанималась мыть полы, Игнац уже было начал судомойкой в каком-то кафе. Что угодно ради двух большеглазых, большеротых, ни в чем не повинных девчонок. Как вдруг радиостанция «Свобода» предложила Игнацу должность в польской редакции и квартиру. Ну и начали приходить в себя.

И вот теперь Иван Иваныч обнялся с ними на виду у Бориса Александровича и Лоткова, которые, как ему показалось, уставились в него во все глаза. «Черт с ними!» — крикнуло в нем что-то отчаянное, ухарское, может быть, российское, а может быть, и кавказское — кто знает?

— А ваши кагебисты все видят, — предупредила Галя.

— Да никакие они не кагебисты, — сказал Иван Иванович, — я же вам рассказывал...

— Все равно, — засмеялась она своим меццо-сопрано, — что-то в них все-таки есть комиссарское.

— И комиссары в пыльных шлемах... — процитировал Игнац.

— Ну, это совсем другое, — протянула Галя.

Иван Иванович оглянулся на Лоткова. Тот сидел в кресле на сцене, бессмысленно уставившись в пространство, бледный и неподвижный. И вновь стало жалко его, хотя провинциал и вызывал некоторое раздражение.

— Галя, — сказал Иван Иванович, — я хочу вас попросить: не испытывайте на нем свое оружие. Он не соперник, он обыкновенный дурень.

— О! — удивилась Галя.

— Что? Что? — спросил Юра.

— Отар Отарыч просит пожалеть этого... Лоткова. А?..

Они засмеялись, и Юра тихо передал в зал своим просьбу Ивана Ивановича.

Борис Александрович отбивался в одиночку. Лотков сначала, по обыкновению, вздрагивал, когда к нему обращались с вопросом, но его спрашивали о пустяках. Над чем господин Лотков работает? Как протекает литературная жизнь в русской провинции?.. В конце концов он успокоился и к концу вечера выглядел победителем. Когда же все завершилось, он сказал Ивану Ивановичу:

— Старик, по-моему, они выдохлись... Знай наших!

Они должны были уже погружаться в машину, чтобы возвращаться в Мюнхен, как их окружили молодые люди и посыпались вопросы о Москве, о разных житейских российских мелочах. Затем подошел один, круглолицый.

— Меня зовут Эдик. Если вас интересуют книги, Отар Отарыч, я могу привезти вам в отель. Это бесплатно... какие хотите.

— Какие книги? — нервно спросил Лотков, оказавшись рядом.

— Любые, — сказал Эдик, симпатично улыбаясь

— Советские издания? — прохрипел Лотков.

Все замолкли.

— Ну зачем же советские, — сказал Эдик, — наши, местные... какие пожелаете.

— Не нуждаюсь! — отрезал Арнольд.

Тут Иван Иванович, оценив ситуацию, произвел некоторые нехитрые расчеты и понял, что нужен обходный маневр, иначе действия Лоткова могут оказаться непредсказуемыми и даже опасными. Мгновенно перебрав возможные варианты, он остановился на одном, счастливом, и сказал умиротворяюще:

— Это замечательно... Вот Арнольд, например, обожает поэзию (а это было так на самом деле), — и подмигнул Эдику, — если бы вы могли достать ему четырехтомник Гумилева...

— Ах, — выдавил Арнольд, — неужели это возможно?

— Все возможно, — равнодушно сказал Эдик.

Однако всю дорогу до Мюнхена Лотков угрюмо молчал. Получалось так: с одной стороны — подозрительные белогвардейские издания и странная эмигрантская возня вокруг, но с другой — любимый Гумилев, да к тому же бесплатно! Борьба в нем была жестока — Иван Иванович догадался об этом с легкостью.

Уже поздно, за полночь, ввалились они в отель «Леопольд», и тут портье сообщил Ивану Ивановичу, что ему звонили из Лондона и будут звонить снова. При этом надо было видеть, как в изумлении взлетели брови у Лоткова.

Иван Иванович сидел в своем маленьком, неказистом номере и, замирая, ждал звонка. Подумать только — из Лондона! Вот оно, захлебнулся он, началось! Лондон, потом Париж, потом Нью-Йорк!... Вот как это происходит! Как стремительно, словно весенний поток, и так счастливо, и так заманчиво... Через границы, через всякие там запреты и недоброжелательство, поверх барьеров, на упругих крылышках...

Он забегал по номеру, впервые по-настоящему испытывая уколы тщеславия, его горячие щипки, и ароматное облачко искушения уже почти заволочло его, почти накрыло,

лишило сил, и тогда он, собравшись, прибегнул к давнему спасительному средству: он умудрился выпростать голову из этого тумана и взглянул как бы со стороны на происходящее. Он увидел маленький номер заштатной гостиницы «Лепольд», а вот и он сам, тщедушный и сутулый, с уже поредевшим чубчиком, судорожно глотающий слюну и вдруг поверивший, что без него, без его, ну пусть и милых, даже трогательных, стишков некому будет осчастливить человечество. И вот он мечется по этому номеру, перебирая тоненькими ножками, вождельно дожидаясь звонка из Лондона (подумаешь, из Лондона!), вместо того чтобы рассмеяться и завалиться спать — пусть звонят. И тут он вспомнил недавний московский эпизод, как пришел он в одно очень высокое учреждение по вызову, как очутился в просторном кабинете и хозяин этого кабинета, о котором московские литераторы говорили почтительным полусшепотом и с презрительными гримасками, вышел из-за стола навстречу Ивану Иванычу и подал ему горячую руку. Потом они говорили о всяких литературных делах, пустых и необязательных, которые, это было видно, служили простым предлогом для знакомства, то есть тот говорил, а Иван Иваныч, по своему обыкновению, поддакивал, и тот, в частности, сказал:

— Тут вот что непонятно... Тут, с одной стороны, как будто бы ничего особенного... ах, Арбат, мой Арбат... ничего не скажешь — знакомая деталь, или, к примеру, полночный троллейбус... ну есть у нас полночные троллейбусы, ходят, подбирают москвичей... или это: ах, война, что ж ты сделала?.. Действительно, тоже известно. Столько разрушений, жертв, столько горя... Это с одной стороны. Но с другой — все это вызывает нездоровый ажиотаж, именно нездоровый, а потому что, когда это все подряд, без, как говорится, жизнеутверждающей прослойки, ну ни в какие ворота... Ах, ох, эх, понимаете? Или, например, война подлая... Это же кощунство, даже преступление, а? Ах, война, что ж ты сделала, подлая!.. Это для фашистов она подлая, но для нас... не так ли?

— Конечно, — согласился Иван Иваныч, склонный к компромиссам.

— Ну вот, можно, например, заменить словом, ну, например, «долгая»...

— Да, — сказал Иван Иванович, — хотя рифма... «долгая» и «подняли» — наши мальчики головы подняли — слабо.

— Да и шут с ней! — рассмеялся собеседник и дружески подмигнул, — подумаешь, рифма. Пишут же и вовсе без рифмы...

— Да, — согласился Иван Иванович, ощущая, как ничтожны все эти слова, и словечки, и рифмы перед лицом этого холодного загадочного властелина.

Он ушел из этого учреждения, по обыкновению отряхнув перышки, и вновь продолжал выступать в разных полупрофессиональных залах и пел: «Ах, война, что ж ты сделала, подлая!..» И ни-чего. Никто не трогал. И мысль о недавнем постыдном компромиссе не очень ему докучала. Но появилось одно беспроблемное средство: стоило закружиться голове от восхищения только что напечатанными свеженькими стихами, как словно кто-то ударил под локоток и рука тянулась к чужой книге, а там были такие стихи, такие стихи, что сразу же все становилось на свои места и незачем было суетиться и сучить ножками в предчувствии славы. Кто-то очень бесчувственный и недобрый сказал как-то, что слава — штука посмертная. Как ни горько было это слышать — на том и порешили.

Он заметно успокоился, собрался было уехать, как позвонили из Лондона.

— Господин Отар Отарыч, — отчетливо проговорили в трубке, — с вами говорит Смит из «Гардиан».

— Очень приятно, — сказал Иван Иванович, удивляясь чистому русскому произношению мистера Смита.

— Я бы хотел взять у вас интервью...

— По телефону? — удивился Иван Иванович.

— Нет, зачем же, — рассмеялся мистер Смит.

— А вы где?

— Я в Лондоне, но прилечу, если вы...

— Пожалуйста, когда?

— Ну, допустим, послезавтра утром, если вы не против.
— Пожалуйста, — крикнул в трубку Иван Иванович, — прилетайте.

Он глянул в зеркало. Там суетился некто с голодным блеском в глазах и с широко раскрытым ртом... «Кто этот безумец?» — спросил он, уже приходя в себя и даже торжествуя. Он восхитился легкостью, с которой мистер Смит делал свои дела. Так в восхищении и заснул.

На следующий день под вечер явился Эдик с большой сумкой, набитой книгами. Четыре тома Гумилева Иван Иванович сразу же отложил в сторону и принялся разглядывать остальные. Обложки жгли руки. Одно название было замечательнее другого. Мысль о том, что это предосудительно, пока не возникала. Пальцы дрожали от вожделения и фантастичности происходящего. «Портреты революционеров» Л. Троцкого, «КГБ» Д. Барона, «История русской смуты» А. Деникина, «Смысл истории» Н. Бердяева, «Лолита» В. Набокова и множество других, столь же прекрасных и бесценных! О любопытство, что сильнее страха! О искушение, сладчайшее и непреодолимое! О чудо, сотворенное его песенками, чем же еще?!

Эдик исчез, оставив гору драгоценных книг. На прощание сказал:

— Если что еще надумаете, пожалуйста, — мне ничего не стоит.

Оставил номер телефона.

Иван Иванович, утерев со лба пот, словно после удачной охоты, полюбовавшись своим богатством, разложил книги в чемодане и вдруг сообразил, что пот-то холодный! И тут же кто-то стукнул в дверь, едва-едва. Он замер. Стук повторился. Иван Иванович взглянул с ужасом на чемодан, распухший от книг, и обреченно распахнул дверь — за нею никого не было. «Перст судьбы», — жалко усмехнулся он и позвонил в соседний номер к Арнольду.

— Лотков, зайди ко мне.

Арнольд, одуревающий от вечернего одиночества, явился тотчас же.

— Вот, — небрежно сказал Иван Иванович, — это тебе, — и ткнул пальцем в четырехтомник.

Арнольд вспыхнул, протянул к книгам свою широкую крестьянскую ручищу, зажмурился, коснулся обложки скрюченным пальцем и тотчас отскочил.

— Старик, — прохрипел он, — кто этот человек?

— Да ты что, — рассмеялся Иван Иванович. — Дарят — бери, Гумилев все-таки...

— Но ведь я должен знать, от кого принимаю, — застоял Лотков, не отводя взгляда от четырехтомника.

Иван Иванович подкупал Лоткова сознательно и жестоко. Арнольд должен был обзавестись книгами во что бы то ни стало, чтобы конец веревочки надежно покоился в пригоршне Ивана Ивановича.

— Это что... какое... это издательство «Посев», — выдавил из себя Лотков непривычное там, в Москве, слово, — кто он такой? Почему бесплатно?..

— При чем здесь «Посев»?! — возмутился Иван Иванович, наглей. — Это мой знакомый. Просто он добрый человек. Он знает, что для нас значат эти книги... Бери, Арнольдик, наслаждайся. А ему это ничего не стоит, поверь мне. Подумаешь, какие-то сто марок...

И тут Арнольд засопел, и большая слеза как бы случайно выкатилась из его глаза.

— Старик, — сказал он в потолок, — кто же нас сделал такими?.. Ну кто?.. Отчего так?.. — Потом помолчал и сказал капризно, но твердо: — И все-таки... от кого этот подарок?.. Что я скажу?..

«Бедный Арнольд», — подумал Иван Иванович, наблюдая, как страх и возжеление сотрясают этот мощный организм.

— Знаешь, — сказал он с интонациями родственника, обрадовавшись спасительной мысли, — а знаешь, Арнольдик, чем ломать голову, считай, что это я тебе подарил! От меня-то почему бы тебе не взять? Верно? Бери, Арнольд, бери, не усложняй...

Соблазн пересилил, и Лотков, помявшись еще мгновение, протянул свои ручищи:

— Ах, ну если ты... — и обхватил все четыре тома, — если это ты мне даришь... — и прижал их к широкой груди, — от тебя я приму... ты купил и подарил... я приму... — И он медленно двинулся к двери, обнимая книги, словно последнее дитя, обретенное им в трагических обстоятельствах. Так он двигался, и неловко кланялся, и растерянно улыбался.

— Взял? — поинтересовался Эдик, когда они встретились снова.

— Взял, — сказал Иван Иваныч, — у его дрожали руки...

— Если вы захотите, — сказал Эдик, — я могу снабжать вас книгами и в Москве.

Иван Иваныч расширил глаза. Это была абсолютная фантастика.

— Как же вы их провезете? — спросил, сдерживая дыхание.

— Это наша забота, — улыбнулся Эдик, — придет наш человек и доставит вам книги. Согласны?

— Эдик, — сказал Иван Иваныч, переходя на привычный шепот, — как же я узнаю, что это в а ш человек? А если это провокация? У нас ведь это умеют...

— Знаю, — Эдик был совершенно спокоен, — договоримся. Видите ли, есть различные способы: например, — он порылся в портфеле, извлек тонкую миниатюрную брошюрку, оказавшуюся стихами молодой Риммы Казаковой, — берем эту книжечку вот так, затем вот так разрываем ее, — и он разорвал книжку пополам, — эту половинку берете вы, ну берите, берите, а вторую предъявляет вам наш человек...

У Ивана Иваныча дух захватило от предстоящей опасности, но он не подал виду и нашел в себе силы очаровательно улыбнуться.

— Вас устраивает? — буднично поинтересовался Эдик. — Значит, ждите, — и упрятал свою половинку в портфель.

Иван Иваныч поймал себя на том, что, несмотря на страх, испытывает удовольствие от посвящения в тайну.

— Эдик, — спросил он, — как же вы все-таки переправляете книги? Ведь славные пограничники, таможня, всякие там приемы...

— Ну, способов много, — сказал Эдик, — разные люди везут, командированные, например, рискуют, конечно, ну кого-то ловят, а кто-то и проскакивает, а если в больших количествах — то моряки...

— ?

— Ну есть у нас обширная сеть среди моряков, — рассмеялся Эдик, — мы им иногда даже немножко валюты подбрасываем, немножко, конечно, в виде поощрения, это, конечно, не военные моряки, не подумайте, — торговые...

— И потом?

— Ну а потом они толкают все это в русском порту перекупщикам, а те — на черный рынок, и всем удовольствию...

— А потом их хватается майор Пронин..:

— Не без этого, — спокойно согласился Эдик, — торговля всегда риск, — и рассмеялся.

На следующее утро Иван Иванович ждал своего лондонского гостя. И он явился.

Серый костюм как от варшавского портного. Роговые очки на мясистом лице. Лет сорока пяти. Высоченный, еще не страдающий от недавно пришедшей тучности. Видимо, общительный: на пухлых губах располагающаяся улыбка. Видимо, достаточно деловой: шутка ли — из Лондона да в Мюнхен из-за какого-то Ивана Ивановича...

— Прошу простить меня, — сказал мистер Смит, устроившись в кресле, — я не мистер Смит... Я Джон Глофф.

Иван Иванович чуть было не вскрикнул, увидев перед собой скандального издателя своего английского диска, однако сдержался и выглядел вполне пристойно.

— К чему же весь этот камуфляж? — спросил, лениво пожав плечами.

— Да видите, какая штука, — сказал гость, — я боялся, что вы не захотите со мной встретиться...

— Почему? — слукавил Иван Иванович.

— Ну мало ли... У вас обо мне черт знает что болтают: то я агент ЦРУ, то я чуть ли не сотрудник КГБ, — и расхохотался, — а я ни то, ни другое, а просто издатель.

— Ну допустим, — сказал Иван Иванович, вступая в таинственную сень еще не изведанных западных игр, — допустим. Но с чего это вы вдруг издали пластинку с моими песнями?

— А я люблю ваши песенки, — признался Глофф. — Когда они ко мне попали, я загорелся, я даже не думал о коммерческом успехе, просто загорелся. И издал... Я очень люблю ваши песенки... — И расхохотался. — Я, знаете, привез эти пластинки в Париж, принес их в магазин к Морозову... Морозов? Это директор магазина русской книги. Но он, к сожалению, был в отъезде, а там сидел лишь главный бухгалтер, он послушал, поморщился и говорит: ну разве это искусство? Нет, мы не будем этим торговать. Я еле уговорил его взять две-три пластинки, попробовать... И вдруг распродали! — Он захохотал. — И пошло, пошло... Бухгалтер обалдел... Я люблю ваши песенки, но тут приятное с полезным... Я ведь знаю, как ваш режим к вам относится. И я таким образом воткнул перо вашему режиму, — и захохотал, — это бааальшое удовольствие!.. Вам, конечно, привезли диск? Вам было приятно?

Иван Иванович рассказал, при каких обстоятельствах он видел пластинку. Глофф похихатывал и потирал руки. Беседа получилась располагающей. Было ощущение давнего знакомства.

— Вы хотели взять интервью? — спросил Иван Иванович.

— О да, — сказал Глофф, — и в самом деле, — захохотал, и вытащил из кармана помятые листки, ручку. — Ну, давайте: над чем вы сейчас работаете?

— Пишу стихи, — недоумевая, сказал Иван Иванович, — немного прозу.

Глофф почиркал пером как-то уж очень небрежно, из-под очков внимательно оглядел Ивана Ивановича. Образ агента ЦРУ заколебался в сознании.

— Вы меня разглядываете несколько подозрительно, — сказал Глофф, — интересно, о чем вы сейчас думаете? Вы разглядываете меня как-то сверху, будто вы совсем безгрешный человек, ну, может быть, чуть-чуть совсем, — и хохотнул, — а можно ли быть безгрешным в вашей стране?.. Если

послушать официальную пропаганду — вы там все непорочные ангелочки, да? А я бяка, да?.. Ну ладно, я вас действительно люблю, у меня никаких задних мыслей.

— Ну уж грехов-то у меня... — присвистнул Иван Иваныч.

— Ладно, — сказал Глофф грустно, — это просто шутка, такая шутка... Но я не агент ЦРУ...

— А как это вы так хорошо знаете русский? — спросил Иван Иваныч, чтобы не усугублять.

Глофф подумал, подумал. Это продолжалось довольно долго. Затем смачно расхохотался и сказал:

— Да потому что я никакой не Глофф... Я Иван Углов из Рязани! — и затрясся от удовольствия, видя перед собой совершенно растерянного собеседника. — Да, да, — выдохнул он, — вот именно. А вы-то думали!..

— Как же это? — промямлил обескураженный Иван Иваныч, и образ агента КГБ замельтешил перед глазами.

— Очень просто, — сказал, перестав смеяться, Углов, — родился в Рязани. Отец был большевиком. Уехали всей семьей в Бессарабию. Началась война. Пришли румыны. Отец в подполье. Я участвую в молодежном движении. Дальше — больше. После войны учусь на инженера. Служу в строительном министерстве. Начинаю постепенно прозревать, ну что-то мне это все не нравится, понимаете? Даже отвратительно, однако ни с кем не делюсь, выкрикиваю лозунги, просто ору на каждом перекрестке... В пятьдесят шестом еду в служебную командировку в Венгрию (слава богу!), а там восстание. Я подумал, подумал и решил махнуть в Канаду, через Лондон. В Лондоне удачно опубликовал несколько технических статей, заработал; думаю: зачем мне в Канаду, когда и здесь хорошо? И остался, вот так.

— И что же теперь?

— Книжечки издаю на русском языке, журнальчик со всякими пикантными историями из вашей жизни, — и вновь хохотнул, — распространяю в Стране Советов, хотя не могу сказать, что это легко... Вот вашу пластиночку...

— Неужели это дает хорошие деньги? — спросил Иван Иванович, оглядев элегантного Углова.

Тот расхохотался.

— Я, мой дорогой, зарабатываю изданием технических словарей. Это очень ходовой бизнес...

— А книжечки, журнальчики, пластиночки?

— Ну, это хобби, на этом не заработаешь... Зато я таким образом втыкаю перо коммунистам! Чем смешнее, тем лучше. Пусть знают...

Иван Иванович умолчал о том, что и он член партии. Не хотелось придавать этой однозначной беседе более глубокий смысл. Да и что объяснишь? И тут он вспомнил похождения в России жены Углова и свою роль в этом и покраснел. Он вспомнил всю эту нелепую детективную историю, и чувство вины в который уже раз больно задело его.

— Кстати, — спросил он как бы между прочим, — благополучно ли вернулась ваша жена из России в Лондон?

— Какая жена? — удивился Углов. — У меня нет жены...

— Ну эта, — удивился и Иван Иванович, — которая приезжала за рукописями всяких диссидентов.

— Ааа, конечно, — рассмеялся Углов, — ну конечно... Это была не жена, а одна из моих помощниц. Все в порядке.

— И ее выпустили с набитым чемоданом?

— О да, все в порядке.

— Странно, — промямлил Иван Иванович, — и ее не досматривали на границе?..

— Бог спас, — расхохотался Углов.

Иван Иванович был в оцепенении. Тут он вспомнил, как совсем недавно одна итальянская дама вывозила из Москвы роман Солженицына, тайком, конечно. Ну, ее крепко трясли на границе, довели почти до обморока, а потом аккуратно уложили все рукописи в чемодан, как было, и она благополучно пересекла границу. Тогда шел по кухням разговор, что КГБ торгует запрещенными рукописями... И вот теперь эта мистика. Иван Иванович взглянул на Углова. Тот был элегантен и улыбочив, улыбочив и элегантен. Он подарил Ивану

Иваньчу настольную зажигалку отличной работы. Иван Иваныч, конечно, умолчал о своей неблаговидной роли в истории с угловской помощницей...

— Неужели вам даже пощупать пластинку не позволили? — спросил Углов. — Ну и анекдот! — И добавил удовлетворенно: — А они меня здорово боятся! Ничего, они еще у меня попляшут... Между прочим, в последнем номере моего журнальчика собраны анекдоты о Брежневе. Крепче насолить невозможно.

Вдруг Ивану Иванычу показалось, что кто-то топчется за дверью.

— Одну минуточку, — сказал он, встал и распахнул дверь.

В коридоре было пусто. Улыбка сошла с лица Углова.

— Ого, — изумился он, — вы, значит, на стрёме?

Иван Иваныч развел руками.

— А серьезные материалы вы в журнале публикуете? — спросил он.

— А зачем? — рассмеялся Углов. — Уровень ваших властителей не для серьезной полемики. Матерные анекдоты — вот их уровень. Моя задача — довести их до пены, и все. Вас это удивляет?

— Нет, — сказал Иван Иваныч с достоинством, — чего удивляться? — и вдруг произнес неожиданно для самого себя: — Я не удивлюсь, даже если узнаю, что вы агент КГБ...

Углов расхохотался.

— Правда, правда, — сказал Иван Иваныч, — се ля ви... Когда обратно в Лондон?

— Завтра в полдень, — сказал Углов.

— А что же интервью?

Углов снова расхохотался.

— Да ну его к черту! — сказал он. — Да оно ни при чем. Просто я хотел повидать вас.

На следующее утро он позвонил.

— Я хочу забсжать к вам, передать пластинку и попрощаться.

Углов вошел не один. Верзила в таком же сером элегантном костюме, круглолицый, со жвачкой во рту, без интереса кивнул Ивану Ивановичу.

— Я на минутку, — сказал Углов и ткнул пальцем в грудь незнакомца, — это мой друг и меценат из Штатов, порусски не понимает ни слова, большой болван, но миллионер, и я его удачно облапошиваю... пока, — и захохотал.

Иван Иванович деликатно улыбнулся (а что было делать?). Миллионер тотчас взгромоздился почему-то на кровать, хотя в номере были стул и кресло. Лицо его выражало скуку. Иван Иванович как-то между прочим подумал, что рожа у миллионера весьма рязанская.

— Да вы не обращайтесь на него внимания, — сказал Углов, — болван и болван... А вот вам пластинка! — и протянул вожделенный диск.

Иван Иванович ухватил его потными дрожащими ладонями и погладил слегка как раз по тому месту, где крупно отпечаталось его лицо с нелюбимой им фотографии, изможденное, застигнутое врасплох, чужое, с глазами, выражающими вожделение, но одновременно и лукавство, и уж тут что есть: ни скрыть, ни украсить.

3

Наконец растаяли две мюнхенские недели, и пора было возвращаться. Обратная дорога была бы совсем неприметна, как, скажем, от Мамонтовки до Ярославского вокзала, если бы не вновь дорожные эмоции бедного Арнольда. Он привык к Мюнхену за эти две недели и в общем успокоился, Мюнхен ему понравился, но перед отъездом он стал задумчив и на вопросы отвечал невпопад. Дорога через ФРГ теперь оказалась, как я уже сказал, вполне привычна. Арнольд поглядывал на уже знакомые пейзажи со спокойной ленцой завсегдатая. Лицо его несколько напряглось, когда покатали по ГДР; контраст-то все же был заметный. А вот в Польше черты его попросту исказились и ужас заметался в цыганских глазах: сравнение было вовсе не в пользу славянского соседа. На границе все прошло спокойно: делегацию не

досматривали, и, вздохнув с облегчением, они покатали по родимым весям. И вот тут Арнольд застонал, отворотился от окна, сел, согнулся, упрятал лицо в ладони и не сказал до Москвы ни слова. Поесть его уговаривали, словно ребенка. Иван Иванович сначала, наблюдая судороги Арнольда, чуть-чуть даже позлорадствовал, но вскоре жалость пересилила.

Спустя несколько дней на секретариате Союза писателей обсуждалась, как это водится, их поездка. Генерал Филин присутствовал тоже. Обсуждение шло умеренно и так бы и закончилось, но вдруг шлея, что ли, попала под хвост одному из секретарей, редактору писательской газеты, и он своим отвратительным, скрипучим голоском заявил, что Отар Отарыч, как стало ему известно, вел себя в Мюнхене предосудительно, ибо давал интервью солдатской фашистской газетенке, вместо того, чтобы по-партийному врезать реваншистам... Ну что это значило, это выливание грязи, сказать сейчас трудно. Может, это было минутное старческое помутнение, а может, личная неприязнь к Ивану Ивановичу, хотя я-то вижу в этом не что иное, как простую склонность к подлости, давнюю и устойчивую.

Иван Иванович обмяк весь, зная секретарские нравы и обычаи: раздувание дела, проработки, допросы, и все это с унижением, с последующими санкциями, запретами, и фантазия подливала масла в огонь, рисуя страшные картины отлучения и административной казни, а тут еще скрипнула дверь, отчего спина Ивана Ивановича похолодела, хотя это вошла сотрудница с какими-то деловыми бумагами, а тут еще гробовая тишина в комнате — и ни сил, ни слов, ни аргументов в свою защиту; и Иван Иванович понял, что вот сейчас простодушный Арнольд возьмет свое и расскажет почтенному собранию о «Посеве» и «Свободе», о книгах, провезенных в Москву, и запатаются благополучные пейзажи, и секретариат еще неистовее ахнет... «Все пропало, — подумал Иван Иванович, видя перед собой лишь затылок Арнольда, — вот болван! Неужели он не понимает, что и я расскажу о его книгах?!»

Тишина была предгрозовая. Филин вперил бледные неподкупные глаза в Ивана Ивановича, он сжимал белые губы, словно перед зачитанием приговора... И вдруг перед Иваном Ивановичем вознеслась широкоплечая фигура Арнольда, и Лотков произнес четко и жестко, что Отар Отарыч давал интервью не какой-то там солдатской газетенке, а главной и официальной, очень даже либеральной газете Баварии, что вел себя Отар Отарыч достойно и по-партийному и на самые каверзные вопросы отвечал остроумно и резко, что Отар Отарыч... Отару Отарычу... Отара Отарыча...

И тут тоненько, по обыкновению облегченно и торжествующе, засмеялся в тишине Филин, и подмигнул Ивану Ивановичу, и победно глянул на поверженного доносчика.

Все оборотились к Ивану Ивановичу с доброжелательными улыбками. «Ну и Арнольд!» — подумал Иван Иванович с восхищением и признательностью и тут же поставил себя на его место, отчего поступок Арнольда выглядел еще прекраснее и значительнее.

Прошло несколько дней. Иван Иванович сидел перед почти завершенным романом, но сюжет расплывался, герои страдали косноязычием, и, как ни странно, сквозь этот досадный сумбур то и дело проступала респектабельная фигура Ивана Углова, его очки в роговой оправе, за стеклами которых таилось черт знает что, и слышался его хохот, и предполагалась злодейская интрига. А Ивану Ивановичу было это совсем ни к чему. Он нуждался в покое, он хотел жить по собственному усмотрению. Жизнь ведь была одна, да к тому же короткая, и прожить ее нужно было так... как диктовала ему его собственная фортуна, пусть не слишком снисходительная, но зато своя. А все эти давления со стороны, все эти унижительные тупики, и ловушки, и лабиринты, и интриги — все это сбивало с ног, сгибало спину, и нужно было мужество, которого не было, иммунитет, которому не хватало концентрации, трезвый расчет, при котором почему-то всегда приход не сходиллся с расходом. Да, и вот теперь этот Углов, не идущий из головы. Кто он? Что может означать стремительно выпущенный им диск с пленок домашнего производства, на котором

явственно прослушиваются кухонные звучания, голоса собравшихся, звонки телефонов, позвякивание бокалов и вилок? Какие силы скромно стоят за спиной этого лондонского издателя? Диктует ли кто-нибудь ему зловещие поступки, или он — заурядный ерник и хохотун, празднующий свое высвобождение из социалистического лагеря? А ненависть к нему генерала Филина — не тонкая ли игра? Уж не выстукивает ли он с помощью морзянки в Москву привычные шифры о встрече в Мюнхене?.. Иван Иваныч сперва решил, что все это чудовищная галиматья, вздор, но напряжение не исчезло. На всем какая-то грязь, думал он, торопясь к генералу в Дом литераторов, чтобы опередить возможные сигналы Углова, грязь, что-то во всем нечистоплотное, думал он, липкое, мерзкое, думал он и посмеивался над собой, и унижал себя самого.

А генерал, словно предчувствуя встречу, спускался по лестнице и, наклонив голову, разглядывал Ивана Иваныча, но как победителя на недавнем секретариате, как удачника. И сказал, ослабясь:

— Ну, знаешь, я вчера решил, что тебе конец, ей-богу, но каков Арнольд! Я видел, как позеленел твой антагонист... — он торжествовал. Кто знает, какие их внутренние дела переместились с места на место, под кем из них заколебались пространства, чей нож оказался острее, кто из них после заседания опрокинул стопочку в знак восхищения фиаско соперника, а кто бил посуду с молчаливым ожесточением. Конечно, Иван Иваныч не был посвящен в эти изысканные взаимоотношения писательских начальников, хотя о многом догадывался, глядя на торжествующего генерала. И тут он с несвойственной ему безжалостностью и сарказмом шепнул Филину:

— Вам привет от нашего общего друга...

— Кого ты имеешь в виду? — спросил генерал строго, зная, что общих друзей у них нет.

— От Джона Глоффа, — усмехнулся Иван Иваныч.

— Ты встречался с этой скотиной?! — прошипел генерал, и лицо его покрылось красными пятнами.

Иван Иванович был очень внимателен, и потому в восклицании Филина увиделось ему не сверканье жаркой молнии, а холодная вспышка электрического фонарика. Он хорошо это различил, и это усугубило его подозрения.

— Пойдем-ка, — распорядился генерал и заторопился в свой кабинет и там спросил, неумело притворяясь равнодушным: — Ты действительно с ним встречался?

— Да, — сказал Иван Иванович, — как с вами.

Ему было любопытно видеть генерала растерянным. Ему вспомнилась недавняя история, о которой много говорили в писательских кругах. Примерно с год назад группа московских писателей отправилась в Лондон. Возглавлял ее генерал Филин в качестве публициста. Этот камуфляж его несколько удручал, ибо генерал, к чести его, не был тщеславен. Он был впервые на Западе, и все там раздражало его и даже приводило в неистовство. Больше всего держала его в напряжении возможность провокаций со стороны ЦРУ, Интеллидженс Сервис и прочих служб. Молодые литераторы, которых ему было поручено сопровождать, доводили его до умопомрачения доверчивостью, легкомыслием, излишней восторженностью и чрезмерной практичностью, которая была в них ключом, приманивая толпы развязных чудовищ, именуемых себя журналистами и даже писателями, и только генерал видел их насквозь. Он предупреждал своих подопечных, не повышая голоса, сквозь зубы, но влияние его ослабевало с каждым часом.

— Какая витрина! — восторгалась поэтесса Римма.

Генерал вглядывался в витрину.

— Безобразие! — с отвращением выдавливал он.

Или поэт Андрюша, намазывая тост маслом, произносил, воркуя, а может быть, даже провоцируя оргсекретаря:

— А тостики у них ничего, а?

— Безобразие! — угрюмо припечатывал Филин, дожевывая очередной тост.

Возмущение его было искренним. Он не заблуждался относительно происков буржуазных разведок, и его не обольщал этот пропагандистский камуфляж с витринами и

хрустящими тостами. И он не винил своих молодых друзей, он опекал их с той же безупречностью и решительностью, с которыми в начале двадцатых в составе Одиннадцатой Красной Армии победоносно вступил в Грузию. Кстати, отец Ивана Ивановича встречал Одиннадцатую армию и кричал «Ура» по-большевистски самозабвенно. Может быть, они там познакомились и даже перекинулись парой фраз... Отцу тогда было двадцать лет. Тогда они, взявшись за руки, совместными усилиями опрокинули грузинских меньшевиков в мягкие воды Понта Эвксинского и навсегда выдворили их на чужбину. Кажется, Ф. Вигель заметил однажды, что плохая монархия чревата республикой, а плохая республика — тиранией.

Теперь Филину было под семьдесят. Он знал цену умеренным восторгам по поводу хрустящих западных тостов. Он знал, что те самые поверженные меньшевики бодрствуют на чужбине и все помнят, и они, и их дети, и их внуки, и те, кто, изловчившись, присоединился к ним впоследствии. Но совесть его была чиста перед ними. Он не испытывал угрызений в связи с тем, что лишил земли и дома людей, волею судеб оказавшихся слабее его и неугодных ему. Как он радостно ржал на потийском причале, когда они уплывали черт его знает куда, согнутые его верой и самодовольством! А тут, в Лондоне, на очередном поэтическом вечере он обратил внимание на Джона Глоффа, развалившегося в первом ряду и нацелившего маленький магнитофончик на сцену. А как раз выступал Андрюша. Что уж там всплеснулось в воспаленном профессиональными тонкостями мозгу оргсекретаря, сказать трудно, но, когда вечер уже подходил к концу, он шепнул молодому поэту несколько слов о происках вероятного cereушника и добавил:

— Учти, это в целях провокации...

Андрюша всмотрелся в очкастого самодовольного верзилу с магнитофоном на коленях и тут же понял, что нужно делать. Едва закончился вечер, как он легко соскочил со сцены, выхватил у растерявшегося Глоффа магнитофон и извлек из него кассету и, широко улыбаясь,

стремительно исчез, сопровождаемый возмущенными криками Глоффа.

— Это воровство! — кричал Глофф. — Я вызову полицию! Полиция!..

Генерал Филин побледнел. Он не ждал такого разворота. Он побежал в отель. Едва он вошел в номер к Андрею, как туда ввалились полицейские с Глоффом.

Поэт был спокоен. У оргсекретаря тряслись руки. Глофф потребовал наказать вора. Тут все заметили на круглом столике включенный магнитофон.

— Вы украли у этого господина кассету, — сказал несколько растерянный полицейский.

— А этот господин украл мой голос, который я вернул обратно, — совершенно спокойно, с улыбочкой произнес Андриюша.

— А где же кассета этого господина? — спросил полицейский. — Не считаете ли вы, что должны вернуть ее владельцу?

— Оф кос, — сказал Андриюша, — теперь, когда я стер свой голос, я непременно верну кассету.

В этот момент магнитофон щелкнул. Поэт извлек кассету и вручил ее полицейскому. Генерал Филин тоненько захохотал. Возмущенный Глофф вышел из номера... Впоследствии он отомстил поэту: в одном из своих журнальчиков он опубликовал очерки об интимных похождениях Андриюши в Лондоне.

Вот такая история. За что купил, за то и продаю.

— ...Ты действительно с ним встречался? — спросил оргсекретарь, стараясь выглядеть равнодушным.

— Как с вами, — подтвердил Иван Иванович.

— Так рассказывай же, — выдавил Филин, сел, встал, прошел к окну, снова сел, уставившись в Ивана Ивановича бледными глазами, внезапно резко вскочил: — погоди! — и выбежал из кабинета. Вернулся через две минуты в сопровождении старушки с большим блокнотом. Она приветливо улыбнулась Ивану Ивановичу и разложила блокнот на столе. Он догадался, что это стенографистка. —

Ну, — приказал Филин, и Иван Иванович начал подробный рассказ.

Он старался быть объективным, но при этом не скупился на украшения: то ли пугал генерала, то ли пытался рассмешить и был крайне внимателен, не упускал генеральской мимики и его интонаций, когда тот вдруг восклицал, хлопая ладонью по столу: «Так и сказал?!» или «Ну и скотина!!»

И вот наконец Иван Иванович, хохотнув голосом лондонского знакомого, выговорил: «А я не Глофф, я Иван Углов из Рязани!..» В этот момент оргсекретарь, страшно покраснев, вскочил, выбежал из-за стола, крикнул: «Погоди!» — и исчез из кабинета.

Было тихо. Вымуштрованная стенографистка сидела неподвижно, как мышка, и только легкая улыбка сочувствия и недоумения пошевеливала ее губы. Иван Иванович закурил, довольный произведенным эффектом. Однако прошло с полчаса, а Филина не было. Стенографистка по-прежнему улыбалась. Иван Иванович, нервничая, представил себе такую иллюстрацию к собственным подозрениям: генерал кинулся к телефону, позвонил некоему лицу в госбезопасности и шепотом доложил, что Иван Углов в Лондоне саморазоблачился!..

— Вы знаете, — сказал Иван Иванович стенографистке, — прошло больше часа. Пожалуй, можно расходиться, — и ушел.

...Но вот что самое интересное: проходили дни, месяцы, даже, пожалуй, годы, но, сколько Иван Иванович ни встречался с генералом, тот ни разу не поинтересовался, а что же там было дальше, после того как Джон Глофф превратился в Углова. Не странно ли? Не подтверждало ли это хитроумную догадку Ивана Ивановича, что существовала загадочная связь меж лондонским ерником и всемогущим заведением на Лубянке?

Потом уже произошло событие, которое лишний раз подтвердило справедливость этой догадки. Когда злополучная рукопись С. Аллилуевой готовилась к изданию на Западе, в недрах этого учреждения был изготовлен более щадящий, менее резкий вариант, и нужно было, опередив всех, опубли-

ковать его до выхода в свет того, подлинного экземпляра. Тогда небезызвестный Виктор Луи с поддельным экземпляром вылетел, ну конечно, в Лондон и вручил его, ну конечно, Глоффу, и тот мгновенно опубликовал книжицу и большим тиражом, и с прелестной, возбуждающей интерес публики рекламой, так что книга была моментально раскуплена, а уж потом вышла та, подлинная, но ее уже не покупала пресыщенная западная публика. Вот такая была история, которая задела и Ивана Ивановича, словно он и вправду был крупным политическим игроком.

4

Теперь осталось рассказать о последнем эпизоде этой на сегодняшний глаз нелепой, но по тем временам вполне обыденной (уж поверьте) истории.

В одно прекрасное утро, когда Ангелина Петровна отправилась по магазинам, Иван Иванович, наскоро позавтракав, принялся было за работу, но, как говорится в старомодных романах, не успел он еще вникнуть в существо дела, как в дверь резко позвонили. Он никого не ждал. Ангелина Петровна не могла вернуться так быстро. Кроме того, у нее были ключи. Он с досадой подумал, что это почтальон, и пошел открывать.

И вновь резко позвонили. И это показалось не очень приятным. Коридорчик, по которому Иван Иванович шел к двери, оказался странно длинен, и звонок теперь уже звонил не переставая и так требовательно, так нетерпеливо, что дурные предчувствия сдавили грудь, и побежал на ватных ногах, или это ему так показалось, и отодвинул щеколду.

За дверью стоял незнакомый мужчина. Он был в таком невероятном плаще, шелковистом, переливающимся, изысканном, каких в Москве еще и не бывало, что Иван Иванович сразу догадался, откуда этот человек. Незнакомец кивнул и, жестко отодвинув Ивана Ивановича, вошел в прихожую. Едва Иван Иванович начал было размышлять о возможной зловещей принадлежности гостя, потому что мало

ли что плащ, в который мог вполне одеться и доморощенный полицейский... Увидев оцепеневшее лицо Ивана Иваныча, гость протянул ему половинку книжечки. Иван Иваныч все тотчас вспомнил. Он вздохнул с облегчением и повел гостя в комнату. И там вытащил из тайных своих закровов вторую половину и приставил ее к первой. Все совпало. Иван Иваныч рассмеялся. У гостя было каменное лицо.

Иностранец, как выяснилось, по-русски не говорил. Жестами попросил ножницы и, когда получил их, распахнул плащ, отогнул полу пиджака и взрезал подкладку. Оттуда он вытащил серую брошюрку. Бросил ее на стол и отправился обратно по коридору. Когда за ним захлопнулась дверь, Иван Иваныч подошел к окну: гостя ждало такси.

Серая брошюрка одинокой уликой лежала на столе. Она была издана в зарубежном издательстве с непроизносимым названием «Посев». На обложке стояло незнакомое имя — Андрей Сахаров.

ОКОЛО РИВОЛИ, или Капризы фортуны

Рассказ

Когда Иван Иваныч впервые очутился в Париже, романтические миражи уже потускнели. Ему было за сорок, представляете? История приобрела вполне конкретные черты. Она перечитывалась как книга. И вот Париж, и флер загадочности растворился в апрельском воздухе. Дома были знакомы по репродукциям, и кружевной фигуре д'Артаньяна не было места в говорливой, холодноватой штатской толпе. Ну, может быть, головы голубоглазых парижских спаниелей, лениво, по-хозяйски развалившихся на тротуарах, на краткий миг напоминали голову Людовика в рыжем парике да мясники с оптового рынка в забрызганных кровью белых фартуках представляли выходцами из былого, да и то как-то условно.

Однако это вовсе не означало, что Иван Иваныч был равнодушен к увиденному. Нет, и его охватило восхищение, едва он покинул поезд, и вышел на привокзальную площадь, и смешался с парижской толпой, и ажурные дома Парижа окружили его. И дети говорили по-французски и даже бродяги! И парижские красотки, хоть и не были писаными красавицами, но незнакомый шарм, и независимая, раскованная походка, и серебряные интонации, и строгий взгляд — какое неведомое племя! Он-то воображал, что парижские дамы, словно в Тбилиси, медленно плывут сквозь этот мягкий благословенный воздух, томные, ленивые, умиротворенные, — а тут четкий ритм, все такое деловое, почти стремительное. И ведь ни одна не посмотрела в его сторону, не оглядела с плохо скрытым любопытством, как, бывало, москвички... Сначала это вызывало легкое недоумение и даже обиду. Он

пристально оглядывал каждую и при этом загадочно улыбался или пренебрежительно кривил губы, но они торопились мимо, не замечая его сигналов. Но вскоре он к этому привык и заспешил в общем потоке, уже не ловя заинтересованных взглядов, слегка презирая себя за унижительное ожидание этого внимания. Да, привык и уже не пытался разглядеть очаровательных, утонченных, крикливо разодетых манекенщиц, а смотрел на их будничные одежды будничными глазами посвященного в эту доселе неведомую игру.

Иван Иванович приехал в Париж в 1968 году с туристской группой московских писателей. Разместились они в затрапезном, вшивом отельчике, но неподалеку от улицы Риволи, а это определяло реноме строения, а кроме того, и давнее происхождение, почти из средневековья. И даже то, что оно в недавнем прошлом было заурядным публичным домом, наполняло его в глазах потрясенных москвичей загадочным очарованием. Смешение времен также весьма украшало его. Веселые изысканные обои, блистающие бра, но древние скрипучие лестницы, звукопроницаемые двери и специфическое устройство номера: широкая кровать, возле которой не тумбочка, как обычно, а натуральное биде, у окна раскоряченное кресло минувшего века под ветхим гобеленом, а за фанерной условной перегородкой — современный унитаз и умывальник. Да, еще крохотная тумбочка с телефоном. Зато было приятно, услышав вопрос о месте расположения отеля, бросить чуть небрежно: «Около Риволи...» — и поймать в ответ многозначительное «О!..».

Короче говоря, он проживал в Париже — неведомом, недостижимом, но знакомом, внезапном и распахнутом настезь. Конечно, как это водилось, перед отъездом их всех предупреждали об опасностях, таящихся в капиталистическом обществе, о возможностях провокаций, и он был слегка начеку, но как-то все-таки лениво, как-то несерьезно...

Не хотелось отравлять свое пребывание в угоду надоевшим нормам, хотелось быть по-парижски раскованным и независимым. И он старательно нарисовал в своей душе себя самого вот таким, и только таким, и в фас и в профиль.

И горничная на скрипучей лестнице с улыбкой пропела ему «бонжур», и он уронил свое «бонжур», проходя мимо и робко надеясь, что она приняла его за местного, за своего.

Все его туристские деньги состояли из девяноста франков. А в те давние времена приличные туфли стоили семьдесят пять. Но туфли у него были. Погода стояла прекрасная. Он проживал в Париже! Париж, естественно, ничего о нем не знал. И у Ивана Иваныча даже мысли не возникало о возможности как-то раскрыться перед этим прекрасным городом великих шансонье. Париж жил по своим законам и вкусам — легко, возвышенно, заурядно и размашисто, и в этом не было ничего оскорбительного, то есть в его невнимании к песням Ивана Иваныча. Он побывал с группой на Монмартре, насмотрелся на толпы веселых неумытых безвестных художников, торгующих своими полотнами, которых почти никто не покупал. Какими должны быть везение и талант, думал он, чтобы стать заметным в этом шумном и грохочущем котле, чтобы сама Франция, думал он, глянула в твою сторону хотя бы с полдневным интересом, где уж там с восхищением... Но эти размышления, как ни странно, не удручали его, настолько недостижимо выглядело здесь признание, и он с удовольствием ощущал себя нормальным туристом, и дышал парижским воздухом всей грудью, и наслаждался каждой минутой бытия. В этом призрачном скоропалительном существовании была своя прелесть. Никто тебя не замечал, ты был предоставлен самому себе, а тут еще, надо сказать, их туристская группа почему-то, по какому-то там недосмотру, была лишена пристального внимания и не контролировалась никем, то есть, может быть, и контролировалась и даже наверняка, но как-то вяло и исподтишка, и поэтому всем казалось, что они вольны, и старались жить сообразно своим вкусам, встречаясь в основном лишь за завтраком, обедом и ужином. Иногда, правда, если планировалось что-нибудь крайне интересное, вроде посещения Лувра или того же Монмартра, отправлялись все вместе в туристском автобусе. И уже распоясывались и спрашивали руководителя группы: «А в «Юманите» нас повезут?» — или заявляли,

что предпочитают погулять в одиночестве, на что руководитель неизменно и покорно соглашался. Кстати, о «Юманите» чуть ниже.

И вот утром второго дня за завтраком, когда все проглатывалось торопливо и безвкусно, лишь бы как-то набить желудок и мчаться по собственным вожделенным маршрутам, когда даже свежие парижские рассыпающиеся круасаны пережевывались как какие-то заурядные кусочки хлеба, Иван Иванович вспомнил почему-то нелепый эпизод, случившийся в Москве перед самым отъездом.

Их всех собрали в каком-то туристическом управлении и, несмотря на их писательское положение и возраст и достаточно известные имена уже некоторых из них, долго и унижительно инструктировали, как вести себя в капиталистическом мире. Впрочем, слово «унижительно» вставлено мной сегодня. Тогда это не воспринималось как унижение, а как просто норма, как скучная традиция, которую нужно, к сожалению, отбывать. Все были возбуждены предстоящей поездкой и поэтому терпеливо сносили дурацкие наставления, черт с ними, лишь бы никто не помешал добраться до Парижа. И вот в самом начале инструктажа знаменитый поэт Ярослав Смеляков, находившийся, видимо, по своему обыкновению, слегка подшофе, спросил с места: «А в «Юманите» нас поведут?» «Поведут, поведут», — заверил его инструктор. Но через минуту Смеляков спросил о том же... «Он рехнулся», — шепотом сказал Лева, автор детских пьес, Ивану Ивановичу. Иван Иванович засмеялся. «Смеляков в своем репертуаре, — сказал он, — лично я предпочитаю эротическое кино...» Они похихикали, при этом Иван Иванович подумал, что действительно было бы интересно наконец увидеть это таинственное, запретное, предосудительное, эро-ти-чес-ко-е, пор-но-гра-фи-чес-кое сплетенье рук — сплетенье ног... искаженные страстью лица... «Я не сексуально озабоченный...» — шепнул Лева. «Я тоже», — прошептал Иван Иванович. — «Просто хочется в познавательных целях...» «Естественно, — откликнулся Иван Иванович, — ну хотя бы глянуть в эти чертовы порнооткрытки...» В этот момент Смеляков снова выкрикнул: «А в «Юманите» нас поведут?!»

С паспортами была задержка. Всех обзвонили и попросили приехать на вокзал, где вручат паспорта перед отъездом. Они гудели у дверей вагона и нервничали, но появилась наконец переводчица и вручила их каждому, кроме несчастного Смелякова. «Вам отказали почему-то», — пробормотала она, пунцовая. На него страшно было смотреть. Хмельной, униженный, потерявший апломб, приученный за долгие годы лагерей к непререкаемому могуществу высших сил, он обреченно уходил прочь. Отъезд был испорчен. Кто-то уже поздно ночью попробовал пошутить в вагоне и крикнул: «А в «Юманите» нас поведут?..» — но его быстро утихомирили.

И вот он проживал в Париже!

Автобус, пробежав свой неправдоподобный маршрут, высадил их у Нотр-Дам, и они с благоговением погрузились в древние сыроватые каменные внутренности знаменитого храма и, маленькие и щедушные, бродили, словно тени, вдыхая аромат воска, сдерживая шумные восклицания и пытаясь размышлять о возвышенном. Когда же их вынесло на площадь перед собором, они разбились на группки и шумно вдохнули парижского апрельского благоухания.

И тут Иван Иваныч различил странную фигуру. Молодой человек, почему-то в кепке и с шарфом на шее, странно приплясывая, подбегал к прогуливающимся, и сложенные ладошки протягивал вперед, и что-то при этом торопливо говорил, и, распахнув на мгновение ладошки, что-то демонстрировал и тут же захлопывал снова, от него лениво отмахивались, но он подскакивал к другим, и все — к мужчинам, к мужчинам. Он предлагал какой-то товар, видимо, запретный: так стремительно, по-воровски прыгал от группки к группке или выбирал задумчивого одиночку и снова распахивал и тут же захлопывал, оглядываясь с таинственным видом. Он был небрит, не слишком свеж, но изящен и стремителен, словно танцор. Он вдохновенно соблазнял праздную публику. Иван Иваныч различал лица заглянувших наспех в его книгу, как взлетали брови и на губах застывала скабрзная ухмылка или, напротив, неприязнь и отвращение. Господи, подумал Иван Иваныч, да здесь это же — то самое!

Он даже вздрогнул от неожиданности и торопливо оглядел своих, зная, что в каждой туристской группе должен быть тайный соглядатай. Но свои разбрелись кто куда, и Иван Иваныч понял, что это — шанс, и качнулся к соблазнителю. Тот тотчас же это заметил и легко подскочил к Ивану Иванычу, распахнув свою сладкую книгу перед его глазами, и тут же захлопнул, снова распахнул и захлопнул снова, и опять распахнул, и снова... В этот момент Иван Иваныч успел разглядеть обнаженное женское бедро! Сомнений не было. Затем он увидел приоткрытые сочные губы, обольстительную грудь и томно откинутую белую руку... Они быстро сладились. Набор открыток стоил двадцать франков! Иван Иваныч, сгорая, сунул торговцу деньги, тот молниеносно передал свой теплый товар и побежал... И тогда Иван Иваныч побежал в другую сторону.

Как он добрался до автобуса, как дотерпел до отеля, делая равнодушное лицо, — трудно передать. Пачка жгла ладонь. Все разговаривали, его не замечая. Перед обедом отправились по своим номерам, и Иван Иваныч вспорхнул в свой, заперся на ключ, прислушался и выхватил из кармана подарок судьбы... И обомлел... И вскрикнул...

Перед ним, поблескивая тусклым второсортным гляncем, лежали убогие черно-белые снимки с полотен великих мастеров прошлого. Рубенс, Рембрандт, А. Ван Дейк и еще многие. Все женщины. Обнаженные. Богини, стыдливые и откровенные. Да, груди, бедра, влекущий взгляд, томно откинутая рука, и фавны, и фавны, как бы случайно прикрывающие срамные места, и неразличимые голоса, и на всем потеки плохо растворившегося закрепителя, так что было непонятно, в чем утопает Венера — то ли в кружевных простынях, то ли в соленой пене. И тут Иван Иваныч с болью вспомнил себя самого на площади перед Нотр-Дам, и грязного наглого продавца, и всю сцену обольщения! Он увидел себя, тщедушного и вожделеющего, охваченного мелкой дрожью, с искаженным лицом трусливого плута... Господи, да зачем это было нужно прятать в ладошках товар в Париже, где все продается? В Париже?.. Уж не затем ли, чтобы возбудить московского

идиота со слюнявыми губами и бегающим взглядом?.. Какой нехитрый и тонкий расчет! — подумал с горечью Иван Иваныч. Он разорвал фотографии и бросил их в корзину для мусора, и в это время постучал Лева, приглашая вместе спуститься к обеду.

За обедом Иван Иваныч не удержался и поведал о своем сраме. Лева рассмеялся и сказал, что Ивана Иваныча красиво купили, ибо этого добра в Париже завались на каждом углу, и нет никакой надобности скрывать такой товар в ладошках... В поражении, думал Иван Иваныч, есть своя прелесть, они не позволяют думать о себе высокопарно. С этой сенсацией в голове он вышел из столовой, прошел вестибюль, и тут к нему приблизился немолодой мужчина, почти старый, в черном ношеном плаще, с большими залысынами над худым, усталым лицом. Глаза у него были голубые, поблекшие, и в них царили недоумение и печаль.

— Вы ко мне? — спросил Иван Иваныч.

— Так точно, — отчеканил гость, — Кирилл Померанцев. Мы очень рады вашему приезду...

Он стоял перед Иваном Иванычем навытяжку.

— Кто «мы»? — спросил Иван Иваныч, любезно улыбаясь, и страх и счастье перемешалось в его душе.

— Мы — это парижские русские, — строго произнес Померанцев и заглянул в глаза собеседнику.

— Ах, вы от имени... русских в Париже? — забормотал Иван Иваныч, он хотел сказать «эмигрантов», но сдержался, — от имени русских?..

— Так точно, — подтвердил Померанцев, — мы слушаем ваши песни и любим вас...

В тусклом освещении вестибюля было видно, как откровенно зарозовели его впалые щеки, печаль в глазах смягчилась, поубавилась. Иван Иваныч был вне себя: в Париже слушают его песни!.. Померанцев стоял перед ним почти навытяжку. Он показался Ивану Иванычу прекраснее всех до той поры встреченных людей. Этот прекрасный человек продолжал что-то говорить вполголоса, но Иван Иваныч его не слышал. Кивал и улыбался.

— Мы подумали, — вдруг расслышал он откуда-то изда- лека, — вдруг у вас возникнет желание выступить у нас... Помещение мы, конечно, найдем... если вам, конечно, разре- шат ваши...

— Как же это мои песни дошли до вас? — спросил Иван Иваныч тихо.

— Ну, знаете, — объяснил Померанцев, — кто-то провез из Москвы пленки, кто-то переписал, ну как это вообще бы- вает... и так постепенно... и если бы вы согласились...

— Конечно, — сказал, задыхаясь, Иван Иваныч, то есть он это почти выкрикнул, — а сколько же наберется людей?

— Ну, люди-то будут, — улыбнулся Померанцев, — круг достаточно широк, человек, я думаю, пятьдесят, а то и поболь- ше... если, конечно, у вас не будет неприятностей...

Вот так они и сговорились. Тут-то все и началось. Иван Иваныч теперь ходил по Парижу с чувством победителя. «Не обольщайся», — нашептывал он себе самому, но обольще- ние было сильнее его. Оно почти совсем подмяло, когда бы не возникла в воспаленном мозгу эта недавняя картина у Нотр-Дам и его фиаско. И он старался думать об этом и о том, как наколосся, и примерял к себе всякие уничижитель- ные эпитеты...

Мало того, он решил, пока суд да дело, забежать мимохо- дом в порнокино, которых он видел множество на Пигали, забежать в познавательных целях, конечно, как принято было говорить с хохотком меж своими. Это были кинотеатры с непрерываемым сеансом, и можно было сидеть хоть целый день. Ты входил в темный зал во время сеанса и так же в темноте покидал его... Однако Ивана Иваныча хватило ми- нут на пятнадцать. На экране искусственно кричащая и стонущая парочка предавалась любовным утехам однообраз- но и скучно, словно по заранее определенному сценарию меняя позы, с идиотскими выражениями на плебейских лицах. Зал был пуст, если не считать с десятков неподвижных, затаив- шихся старичков. Насмотревшись, они по одному выскаль- зывали из темного зала, а какие-то похотливые новички бесшумно скользили к местам... А на экране меж тем

происходило все то же. Обнаженный мужчина с лицом продавца сигарет вертел в руках послушную, давно не молодую, неопрытную кухарку. Он переворачивал ее со спины на живот, усаживал, снова распластывал и мучил ее равнодушно и профессионально, и она пучила коровьи глаза по сценарию, а не от переизбытка страсти. Казалось, она выполняла не очень приятную работу... Сколько же платят? — подумал Иван Иваныч и так с этим вопросом и покинул пустой зал. А рассказывали о закрученных сюжетах, о красотках, о секс-бомбах, о коварных изощренных соблазнителях и утонченных развратницах!..

День выступления приближался неотвратимо. Это должно было случиться в четверг, а в субботу туристская группа отправлялась обратно в Москву. «Слава богу, — думал Иван Иваныч, — скоро домой!» Это в преддверии выступления нервы натянулись до предела, да и, кроме того, от жалких туристских девяноста франков не осталось ни сантима, а шляться по парижским улицам с пустым карманом — печальное занятие. А тут как-то в один из первых дней судьба свела с Леоном — профессором славистики. Это благодаря Анечке из Иванова, его жене, которая затащила мужа в отель познакомиться с русским поэтом из Москвы, и они пошли гулять по вечернему Парижу, болтая о том о сем. К ним присоединился Юлий — московский драматург. Леон прекрасно говорил по-русски. Он оказался французским коммунистом. Тут Иван Иваныч, посмеиваясь, вспомнил свои юношеские восторги по поводу французских коммунистов: ах, Кашен! Ах, Торез! Ах, Дюкло!.. И как это увяло и померкло. И Аня посмеивалась над этим, а маленький полный рыхлый Леон недовольно выпячивал нижнюю губу и иронизировать был не склонен. «Ну, ну, — говорил он жене как бы в шутку, — пожалуйста, без глумливых усмешек...» Ивану Иванычу он неудовольствия не выказывал. Оказалось, что он давно знает его стихи и песни, что Ивану Иванычу было легко и добавляло жара легкому головокружению. И в тот момент, когда это головокружение достигло заметного уровня, когда Иван Иваныч подумал, что вот он идет по самому

Парижу среди сияющих витрин и разноцветных неоновых реклам, в праздничном шуме автомобилей и толп, в компании парижан, которые знают о нем и говорят о нем даже с придыханием, в этот момент они вошли в узкую улицу Сен-Дени, на которой у освещенных подъездов маленьких отелей толпились настоящие гетеры, длинноногие, грудастые и полуобнаженные! И это были не жалкие, блеклые репродукции с картин великих мастеров, а живые, громкоголосые, горячие приставалки, демонстрирующие свои прелести направо и налево с деловым шиком и профессиональным обаянием.

— Ну вот, — сказал Леон, — это Париж. Нравится?

И тут в Иване Ивановиче пробудился этакий бывалый игрок, этакий намыленный ловкач, этакий московский ханжа, и он поджал губы и пренебрежительно вздернул плечи, хотя несколько замедлил движение, запоминая происходящее, и глазом косил как бы случайно, нехотя, по принуждению. Красный глаз посверкивал, отражая огни реклам и заманчивых подъездов предосудительных отелей. А у гетер тоже, как ни странно, глаза казались красными, и аромат духов, кофе и надежды распространялся в апрельском воздухе. «Кто же я? — подумал Иван Иванович. — Жалкое московское ничтожество, одуревшее от похоти, или нормальный мужчина, возбужденный женскими прелестями?» Ни похоти, ни страсти он, кстати, не испытывал.

— Что-то во всем этом от театра, — сказал рассудительный Юлий.

— Господи, — вздохнула Аня, — да вы бы взглянули на них днем! На их оштукатуренные лица с зеленым оттенком...

— Не ругай их, Аня, — усмехнулся Леон, — обыкновенные профессионалки, не более... Служба... — и спросил у Ивана Ивановича: — А как вы чувствуете?

— Я чувствую себя лицом, широко известным в узких парижских кругах, — рассмеялся Иван Иванович облегченно.

— Нет, — сказал Леон настойчиво, — я имею в виду этих баб...

— А-а, — гордо соврал Иван Иванович, — ничего интересного... я-то думал...

Юлий поддакнул. Леон понимающе осклабился.

В отеле перед сном Иван Иванович вспомнил о предстоящем вечере, и ему стало страшно. А утром, в довершение ко всему, позвонил Кирилл Померанцев и сказал, что приготовления к вечеру идут полным ходом, но число желающих на него попасть катастрофически выросло и будет не пятьдесят, а, наверное, поболее пятисот.

— Французы? — с надеждой спросил Иван Иванович.

— Да нет, — сказал Кирилл, — наш брат, русские... эмиграция... Французы этого не поймут.

Короче говоря, выступление намечалось на четверг. В субботу предстоял отъезд в Москву. Время летело стремительно. А где же будет выступление? В зале «Мютюалитэ». Это что такое «Мю-тю-а-ли-тэ»? Это же громадный зал, где проводятся всевозможные съезды и конференции! И я буду там выступать? Нет, нет, это будет не в большом зале, где тысячи мест, а в малом... А там мест восемьсот, наверное... тоже ничего себе, а?... Господи, я буду выступать в Париже! В «Мютюалитэ»!.. В душе Ивана Ивановича вновь забушевало. Париж померк.

Эротические вчерашние вождедения выглядели жалкими. Гетеры напоминали заурядных шлюх с Комсомольской площади. Да и вообще парижанки, глядящие только вперед и никогда на тебя... все они теряли от своего невнимания и равнодушия. Когда б они только знали!.. Да они в «Мютюалитэ» заглядывали ли?.. — думал Иван Иванович, вышагивая безвестной тенью по отшлифованным историей плитам парижских тротуаров.

Наконец накатил четверг. Леон вызвался быть переводчиком. Кирилл утверждал, что это лишнее: французов не будет.

— Это не совсем прилично, — сказал Леон, — все-таки это Франция... Даже если заскочат десять французов, нужен перевод.

Он был человеком обстоятельным и возражений не принимал. Иван Иванович соглашался со всеми, находясь в протрации.

Зал оказался громадным, больше, чем ожидался. Во всяком случае, последние ряды тонули в полумраке. Свободных мест не было. Как в Москве! — подумал Иван Иванович, всматриваясь из-за кулис в дальние пространства. Голова кружилась. Подташнивало. Кто-то тронул Ивана Ивановича за рукав. Милая женщина проговорила с акцентом, что на концерте присутствуют представители крупной парижской фирмы грамзаписи... Где?! Здесь, здесь, в зале... Они будут слушать на предмет издания пластинки... Моей?!.. Вашей, вашей... Так пусть они подойдут... Ну да, они подойдут, конечно, подойдут, после концерта, они будут слушать и решать... Ну, вы понимаете... — и она широко улыбнулась. Это его выбило из колеи.

— Вы могли бы сказать мне это после выступления, — прошептал он мрачно.

— Вы разве не хотите иметь диск? — удивилась она.

Тут Леон подтолкнул его, и они выкатились на сцену. Его очень тепло приветствовали. Леон топтался рядом. Затем он заговорил в микрофон по-французски. Зал притих. Приличия были соблюдены. Иван Иванович вспомнил, как незадолго до начала он спросил, что за публика в зале. «Бывшие белогвардейцы», — усмехнулся Лева. «Ну и, конечно, предатели родины в этой войне», — подражая официальной прессе, сыронизировал Юлий. В другой раз они бы похихикали, ибо теперь эта терминология воспринималась не всерьез, как еще недавно, а с горькой иронией, и не иначе.. Но тут в зале, в Париже, где явственно слышалась русская речь, она преобладала и долетало: «Добрый вечер, господа... господа, позвольте пройти...» — все это было уже не пустой фантазией, а реальностью... Бедный Иван Иванович! Разве он мог предполагать в своем детстве, когда играл во дворе в красных и белых, что спустя несколько десятков лет выйдет на сцену перед вчерашними капелевцами или врангелевцами?! Разве поверил бы в сорок втором на фронте, что будет петь под гитару! В Париже! Вчерашним власовцам, предателям, отщепенцам (как они еще именовались?). И вот они сидели перед ним, и старые, и молодые, и их жены и сестры,

и дети, и он заметил на их лицах расположение. Человеческое племя, раскроенное кем-то на две ожесточенные половины, но тянущееся друг к другу, страдающее, помнящее обоюдное зло и переполненное неминуемой жаждой прощения.

В первом ряду сидел Кирилл. Остановившийся взгляд, впалые щеки. Он сидел сцепив пальцы рук. И этот бывший гимназист, покинувший Россию с папой и мамой среди бегущих толп тогда, в неправдоподобные времена, умеющий после всего быть мягким, пишущий стихи, одинокий... Как он улыбался! Как внезапно, на мгновение, возникала эта улыбка на его лице... Уже старик, да, да. Жизнь коротка. Родина далеко. Ее искаженный лик отвратителен, и жалок, и возвышен, а Париж безучастен, холоден и терпелив...

Иван Иванович произносил название песни, затем Леон старательно переводил на французский. Гитара пыталась сопротивляться, но Иван Иванович до боли в пальцах сжимал ее непослушное тело... Постепенно все налаживалось и наладилось уже на второй или третьей песне. Принимали его сердечно. Некоторые названия вызывали аплодисменты: значит, знали, уже слышали!.. Скванность почти исчезла, хотя чего-то все-таки недоставало. «Песенка про черного кота», — объявил он очередную вещь. Зал зааплодировал. Леон перевел. Раздались смех, и свист, и негодующие выкрики. Леон был пунцов, ровно барышня. «Что случилось?» — спросил Иван Иванович. «Давай, давай, пой!..» — потребовал тот. Иван Иванович пожал плечами и растерянно улыбнулся. «Господин Робель перевел тенденциозно!» — крикнули из зала. «Не понимаю», — сказал Иван Иванович Леону. «Да пой же, пой!..» — зашипел профессор. Тут к эстраде подошел Кирилл и громко проговорил: «Господин Робель назвал эту песню песенкой о маленькой черной кошечке». Смех усилился. Леон сказал в микрофон: «Я ошибся. Приношу свои извинения...»

Дальше все пошло замечательно. Иван Иванович чувствовал, что он пришелся. Власть его распространялась на весь этот громадный зал. И тогда, когда ощущение этой власти, этого праздничного господства достигло предела, он вдруг различил себя самого там, в полумраке, над головами

слушателей, расплывающиеся, колеблемые жарким их дыханием иллюзорные очертания, подобные миражу, — он маленький, щедедушный, с заметно поредевшим чубом, в помятых брюках и зеленом джемпере, с непослушной гитарой в руках, с вытаращенными глазами, переполненными мольбой о везении... Он машинально выпевал слова своих стихов, заглядывал в самые располагающие лица первых рядов, слышал аплодисменты, а унижительный мираж все клубился и клубился перед ним..:

«Ах, Арбат, мой Арбат, ты — мое отечество...» — пел он... и вдруг увидел, что некоторые плачут. «А что это они плачут?» — подумал он и сам в первую минуту даже решил, что это его исполнение столь трогательно и впечатляюще, что это он своим искусством вызывает у них слезы, но тут же, к счастью, представил себе их судьбы, и этот Арбат, который был и их отечеством, вечным и недосыгаемым по каким-то там не очень справедливым установлениям...

Когда все закончилось, и вокруг бушевали страсти, и ему пожимали руки и хлопали по плечу, в этот момент возникли перед ним благосклонно улыбающиеся господа в сопровождении той самой переводчицы. Они были не против издать его диск... мы думаем, что это предприятие будет удачным... И если вы не возражаете... да, конечно, не возражаю, но... тогда завтра, в пятницу вечером... мы будем ждать вас... но в субботу мы уезжаем... нет, нет, в пятницу, завтра... Он посмотрел на Леона.

— Поедем, поедем, — сказал Леон, — я тебе помогу.

...Утром он пошел по Парижу. В голове шумел вчерашний зал. Он видел лица — их слезы и улыбки. Он весь был во власти этого вчерашнего успеха. Он шел по Парижу. Было по-летнему тепло и уютно. Никто его не знал. Никто не обращал на него внимания. Но это его несколько не огорчало, напротив, — он шел по Парижу. Походка его была величественной. Вечером предстояло записать диск.

Уже был уложен к отъезду небольшой туристский чемодан. Уже предвиделся завтрашний отъезд из Парижа. Уже было сделано несколько сокрушенных вздохов из-за

легкомысленно растраченных дней, хотя и был вчерашний концерт, да, один концерт... а все остальное? Но тут появился пунктуальный Леон, и они помчались в такси на фирму «Ле шан дю монд». Они долго шли по каким-то длинным коридорам, по лестницам, мимо деловых бюро, заполненных улыбчивыми, стремительными и равнодушными мадемуазелями, и, наконец, добрались до возжеленной студии. Иван Иваныч был в полусне. Сквозь легкий туман ему виделась записывающая аппаратура, и какие-то люди медленно перемещались подобно аквариумным существам. Леон куда-то исчез, затем снова возник. Он сказал Ивану Иванычу многозначительным шепотом:

— Хозяин предлагает тебе две с половиной тысячи франков за двадцать песенок... Ты меня слышишь?

— Какие франки?! — задохнулся Иван Иваныч.

— Обыкновенные, — сказал Леон, — а ты что, о деньгах не думал?..

— Я не понимаю... — заторопился Иван Иваныч, — я о деньгах не думал... Я не думал... Это мне деньги?.. Я получаю... это что, гонорар?

— Да, да, — сказал Леон, поморщившись, — да, да.

Иван Иваныч очнулся. Он вспомнил свои давно потраченные жалкие девяносто...

— И мне будут платить?! — чуть не закричал он.

— Этого мало, требуй больше, — сквозь зубы приказал Леон.

— Нет, нет! — воскликнул Иван Иваныч. — Этого хватит!.. зачем... не надо...

— Ну, хорошо, — сказал Леон, — я сам ему скажу, — и резко отправился договариваться.

Лоб у Ивана Иваныча был в холодном поту.

Это теперь, по прошествии четверти века, может показаться, что две с половиной тысячи франков — ничтожная сумма, из-за которой не стоило так всплескивать ручками и покрываться потом... Но времена были другие, и Иван Иваныч еще не научился воспринимать свои песни как работу, а больше как душевный порыв, как наслаждение, уж какие

тут деньги!.. Да, по тем временам и эти деньги выглядели суммой, ну, для него, по его карману... А запись диска в великом городе великих шансонье — это же само по себе большая честь, за которую, по справедливости, самому нужно приплачивать...

Воротился Леон и сказал:

— Он дает три тысячи...

— О! — только и смог воскликнуть Иван Иванович.

— Капиталисты всегда платят за труд, — то ли в шутку, то ли всерьез процедил французский коммунист, — ну давай, бери гитару и работай, давай, давай...

Как выяснилось, деньги быстренько приводят в чувство, прибавляют хитрости, расчета и всяких оправдательных мотивов. И Иван Иванович, как ни был возбужден и одурманен, все-таки сообразил, и мгновенно, что везти в Москву эти деньги невозможно, надо потратить их все... Но где их тратить, когда поздний вечер пятницы, а завтра утром отъезд? Запнясь и морща лоб, он поделился с Леоном. Он нервно размахивал ручками, пританцовывал, но невозмутимый профессор его утешил. Оказалось, что в благословенном Париже имеются какие-то громадные универсальные магазины, торгующие допоздна!

И тогда Иван Иванович схватил гитару, кое-как настроил ее. И все затихло, и он запел. Быстро-быстро. Одну песню за другой. Почти без пауз. Без единой ошибки. Видел перед собой стенные часы и неумолимую стрелку. Он рвал струны. Он не стеснялся окружающих. Его записывал Париж! Там, в Москве, он не помышлял о диске. Там его подняли бы на смех, заикнись он об этом, или вежливо бы унизили... Какие времена... Нет пророка... хорошо, что магазины торгуют до полуночи... все для человека...

Последний аккорд был неистов. Глотка пересохла. Он сделал свое дело и уже не удивился, когда ему вручили пухлый конверт и попросили расписаться в ведомости.

Как они вывалились из студии, как поймали такси — теперь уже не передать. Они вбежали в «Галери Лафайет», в ярко освещенные его ароматные внутренности, где почти

не было продавцов, да и публики-то, слонялись отдельные ленивые фигуры. Лихорадка не покидала Ивана Ивановича, напротив, даже усилилась. Леон шел следом и деликатно помалкивал. Иван Иванович первым делом углядел большую сумку, он взял ее и принялся набивать ее всем, что попадалось под руку. А под руку попадались предметы не то чтобы необычные, но все по-западному изысканные, бросающиеся в глаза, просящиеся в руки. И вот он бросил в сумку красивую зубную щетку и еще одну, затем — щетку для чистки одежды и щетку сметать со стола. Затем он уложил медный колокольчик с длинной ручкой, медово позванивающий... «Зачем это все?» — мелькнула мысль, но тут же погасла. Затем ему досталась пара восхитительных оловянных солдатиков. «Как стыдно!» — подумал он. Несколько пар нейлоновых носков и пакет с женскими чулками... Леон едва поспевал за ним... Ремешок для часов, несколько пластмассовых зажигалок всех цветов радуги, и одна прозрачная, и там в золотом бензине плавала восхитительная розовая обнаженная нимфа, непристойно улыбающаяся... Трусы, майки, альбом для фотографий, пластмассовый мухобойник, никелированный кофейничек, пачку фигурного мыла... «Как стыдно!» — подумал он... Затем — платье темно-зеленое с бледно-зелеными цветами для своей молодой жены, шесть чайных ложек из нержавеющей стали, набор парижских видов, пачку синих почтовых конвертов, баночку с консервированными мидиями...

— Скоро закрывается, — спокойно предупредил Леон.

И тут совершенно обезумевший Иван Иванович разглядел магнитофон! Маленький, самый современный, компактный, чуть побольше ладони.

— Ой! — задохнулся он. — Невероятно!.. Это то самое... вот это...

— А нужен ли он? — поинтересовался профессор.

— Да ты что! — крикнул Иван Иванович. — У нас же этого нет!.. Это такая вещь!..

В этом отделе был продавец. Он понимающе кивнул и принялся быстро орудовать, готовя магнитофон к продаже.

Вставил батарейки, какую-то кассету, нажал кнопку — слышалась музыка, громче, тише. При этом он что-то говорил, показывал. Леон кивал. Наконец драгоценная штучка перешла к Ивану Иванычу. Он ее, естественно, в сумку укладывать не стал, а понес в руке, прижимая к груди. Они посчитали оставшиеся деньги: что-то около ста франков. Ивану Иванычу показалось, что Леон поглядывает на него с насмешливым недоумением. «Как стыдно!» — подумал он и побежал по проходу, хватая что ни попадя, и стремительно растратил все до основания. Сумка была забита доверху. Он умудрился втиснуть в нее еще пакетик с жареными фисташками, несколько шариковых ручек, машинку для скрепления бумаг, связку обувных шнурков почему-то...

И вот они вырвались из магазина и шумно вдохнули апрельского воздуха, и тут случилось самое ужасное. Иван Иваныч как-то неловко развернулся и выпустил из рук драгоценный аппарат. Магнитофон упал на асфальт! Звук был мягкий, благодаря кожаному футляру.

— О-о-о! — тоненько вскрикнул Иван Иваныч и приклонился к дверному косяку. Профессор ловко поднял магнитофон. Попробовал включить — магнитофон не действовал. Иван Иваныч стонал в отчаянии.

— Ну ничего, — сказал Леон, — не отчаивайся. Что-нибудь придумаем. Ничего... Черт с ним!.. Ты знаешь, мы с женой скоро приедем в Москву и привезем тебе такой же... Идем...

— Какой я болван! — простонал Иван Иваныч. — Какое жалкое ничтожество!.. — Но внезапно его искаженный лик преобразился. Глаза сверкнули последней надеждой. Профессор смотрел на него озадаченно.

— Пойдем к этому продавцу, — шепнул Иван Иваныч, — скажем, что магнитофон почему-то, а?.. Ты понимаешь?.. почему-то перестал... ну пойдем, а?..

— Ты думаешь, это хорошо? — покраснел профессор.

— Ну а если мы пойдем, он поверит? — засуетился Иван Иваныч. — Ну вот я нажимаю, а он бездействует... Ведь так? Он что, не поверит?..

— Он-то поверит, — кисло улыбнулся Леон, — может быть, даже принесет извинения... но ведь это...

— Я так хотел иметь этот магнитофон! — прохрипел Иван Иванович.

— Ну, хочешь — вернемся, — вновь покраснел профессор.

Они вернулись к продавцу, и Леон что-то ему объяснил. Продавец пощелкал кнопками магнитофона, пожал плечами и удалился.

— Что ты сказал? — спросил Иван Иванович с трудом.

— Я сказал, что магнитофон почему-то перестал работать, — выдавил Леон.

— А он?

— Он очень извинялся. Сейчас принесет новый... Это обман, ты не находишь?

— А маленькая черная кошечка — это разве не обман? — с отчаянной укоризной спросил Иван Иванович. — А, Леон?..

— Нет, — сказал Леон, — я действовал в духе вашей прессы, это тактика...

Уже в такси Иван Иванович, шумно вздохнув, сказал:

— В Москве никогда бы не обменяли!..

Леон смолчал.

Было уже далеко за полночь, когда они ввалились в вестибюль отеля. Там с кресел сорвался незнакомый мужчина и подскочил к Ивану Ивановичу.

— А я вас жду, жду! — радостно воскликнул он, протягивая руку и отрекомендовавшись сотрудником советского посольства Семеновым. — Понимаете, дело в том, что парижское издательство «Жульяр» издало вашу книжку и издатель оплачивает ваше пребывание в Париже еще на две недели. — Он увидел вдруг, что его собеседник потрясен известием, рассмеялся и добавил: — Все формальности мы совершим завтра, и завтра же вам нужно побывать у него... Глядишь, и гонорар перепадет... — и подмигнул.

Ночью Иван Иванович не мог заснуть. Пробовал, но душили кошмары. Он встал, вывалил на пол все покупки. Такого количества новенького хлама, собранного вместе, ему еще не приходилось видеть.

— Идиот! — воскликнул он, и голос его прогремел в ночной тишине. Да, да, это были его призрачное благородство, мнимая утонченность, шаткий успех, слезы на лицах наивных эмигрантов рядом с этим пластмассовым хламом и голыми бабами кисти великих мастеров, и все его задыхания и выпученные глаза, и снящиеся по ночам неправдоподобные груди и бедра парижских гетер!.. И когда его многозначительно спрашивали, не кажется ли, мол, ему, что сегодня вырисовываются симптомы гибели культуры, ну не гибели, а явного увядания, обнищания, что, мол, иные страсти руководят сегодняшним человеком, — он старательно морщил лоб, делая вид, что всматривается в прошлое, в будущее, но видел зыбкие очертания борделей... Что это было? И теперь эта книга! Этот счастливый знак принадлежности к избранной касте... И он подумал в отчаянии, что все это похоже на обман, что он обманщик, мистификатор!

Туристская группа укатила в Москву, а Иван Иваныч остался наслаждаться дарами милостивой фортуны. Она воистину оказалась милостива, что с нею случается не часто. Наш герой пересел в другую отель, теперь уже — в переулочек возле Елисейских полей, в отель почти такого же уровня, как и предыдущий, почти, потому что он всегда был только отелем, и ничем иным, и в маленьком номере все-таки не было откровенного биде, а кровать была не столь широка и многозначительна.

Иван Иваныч был предоставлен самому себе в течение первой половины дня, а к двум часам за ним заехал уже знакомый посольский сотрудник Семенов, и они отправились в издательство. Иван Иваныч, не буду скрывать, очень волновался, представляя, как он возьмет в руки свою книжку на французском языке, что само по себе праздник, а уж гонорар представлялся как сладкое и чрезмерное излишество!

Перед тем как выйти из номера, он еще раз с ужасом и стыдом оглядел злополучную сумку, набитую до отказа хламом, и поклялся не поддаваться больше разнузданной провинциальной жадности. И тут же по пути уже в издательство вспомнил сочное армянское слово «чтес», в котором

кипело откровенное презрение к человеку, никогда ничего не видевшему и потому суетному, суетливому, со слюной вожделения на губах. Чтес!..

Директор издательства был мил, но сдержан. Вид его не располагал к длительной беседе, что Ивана Ивановича, не поднаторевшего в подобных встречах, крайне устраивало. Он учтиво ответил на несколько пустых, равнодушных вопросов. Семенов старательно переводил. Покурили. Покивали друг другу. Поулыбались. Затем Ивану Ивановичу был вручен конверт, который хотелось выхватить из вальяжных рук директора, но выглядеть чтесом не хотелось, и конверт лежал перед носом Ивана Ивановича до самого ухода. Иван Иванович дал согласие участвовать в книжной ярмарке и торговать своей книгой и даже раздавать автографы покупателям. Затем ему с той же деловитостью, что и конверт с деньгами, вручили, наконец, экземпляр его книги. Было от чего сойти с ума! В Москве эту маленькую военную повесть не издавали. Она была запрещена, раскритикована за пацифизм и антигероизм, а в Париже вышла! Она была в твердом переплете. Рука искусного художника прошла по нему. Имя автора — его имя! — было набрано непривычным латинским шрифтом и выглядело торжественно и неповторимо. Париж постепенно превращался в щедрого благодетеля. О, когда бы знать, что ждет впереди и что может нафантазировать капризное провидение! Впрочем, оно тут же у входа в издательство продемонстрировало свое насмешливое бессердечие. Выходя из дверей, Иван Иванович столкнулся с ленинградским писателем Виктором. Они были знакомы давно и обрадовались друг другу.

— Тебя тоже пригласили? — спросил Иван Иванович.

— Пригласили, старик, — улыбнулся Виктор. — Книжка у меня, понимаешь...

— У меня вот тоже, — сказал Иван Иванович и показал дар судьбы.

Виктор повертел книгу и спросил настроенно:

— Деньги-то хоть дали?..

— А как же, — сказал Иван Иванович.

— Ну, я пойду, — заторопился Виктор и шагнул в подъезд.

Иван Иванович решил подождать приятеля. Они топтались у подъезда вместе с Семеновым, но Виктор задерживался недолго. Он вылетел из подъезда стремительно. По лицу расплзлось недоумение. В руках было что-то большое, квадратное, завернутое в бумагу.

— Ну что это такое, понимаешь! — крикнул он. — На хрена мне это. А денег, понимаешь, почему-то не предложил!..

— А что это? — спросил Иван Иванович.

— Он торжественно всучил мне вот это... на хрена она мне!..

Он развернул бумагу. И взору предстала написанная маслом на картоне копия обложки, только увеличенная, обложки его книги, которую он держал в другой руке.

— Эскиз обложки, понимаешь!.. Что мне с ним делать-то?.. Наговорили комплиментов, наулыбались... — Вдруг он расхохотался. — А может, унижение полезно, а? Как ты думаешь, старик?..

— Красивая картина, — сказал ободряюще Иван Иванович, — и рамка хорошая.

Виктор заторопился по своим делам, прислонил картину к стене дома, махнул рукой и пошел по парижской мостовой.

— Вот суки, — сказал Семенов, — что хотят, то и делают! У нас, например, писателя уважают...

Казалось, фортуна совершила все, пытаясь хоть как-то вознаградить за унижения первых дней. Она продемонстрировала Ивану Ивановичу признательность слушателей в «Мютюоалитэ», надежду на граммофонную пластинку, которая выйдет не где-нибудь — в Париже! Швырнула ему деньги, вручила его книгу на французском языке... Но Иван Иванович, как всякий уже стреляный воробей, подозревал, что фортуна может и выдохнуться или опомниться, пожалев о чрезмерной щедрости, и вдруг напакостить: безденежье к деньгам, но тогда — сытость к голоду, не так ли? Будь начеку, счастливчик, — счастье призрачно и ненадежно... Но эти предостережения, эти сентенции я нашептываю сейчас, спустя

почти что тридцать лет, а тогда Иван Иваныч хоть и подозревал, что ниточка тонка, но уж так закружился, что остановиться не мог... Тут-то все и налетело.

Книжная ярмарка, к удивлению, очень напоминала обычный базар: на большом участке разместились длинные деревянные прилавки под деревянными же тентами, за прилавками стояли писатели, перед ними возвышались пачки книг. Возле некоторых уже толпилась публика, некоторые же пребывали в гордом одиночестве. Ивану Иванычу выдали порядочную стопку его книг, и он замер в ожидании французских покупателей. Справа от него торговля шла бойко. Счастливый автор раздавал автографы и улыбки, и книги его таяли. Это, как объяснил ему Семенов, был известный и очень популярный молодой философ. Слева своими книгами торговал пожилой толстячок с большим печальным носом. У него ничего не покупали. Оказалось, что это Жак Дюкло — один из коммунистических вождей Франции! Он торговал своими мемуарами. Иван Иваныч даже вздрогнул, представив себе, что вот так же рядом с ним стоял бы Суслов или, скажем, Ворошилов... Невероятно!

К обеду ни одной своей книжки Ивану Иванычу продать не удалось, но и у Дюкло не купили тоже ни одной, и это утешало. Впрочем, Иван Иваныч и не рассчитывал на успех: французы его не знали, пресса молчала. Да для него, если уж говорить честно, книжка эта не была явлением западным, зато он знал, что на родине ее издание в Париже может произвести впечатление. Какой многозначительный документ! Когда, расправив свои серебряные крылышки, она возникнет в родимых пространствах, об авторе будут говорить с заметным почтением.

Время близилось к обеду. Вообще было скучно. Слышалась тихая музыка и одиночные непонятные восклицания. Публика была уныла. Мимо прилавка медленно проплывали некрасивые парижанки в затрапезных одеждах. Откуда-то вынырнул Семенов и, улыбаясь, купил одну книжку и поставил ее Ивану Иванычу для автографа. Одна была продана! А у Дюкло по-прежнему ни одной!

Вечером в отеле к нему подошел незнакомец и на чистом русском языке сказал:

— Меня зовут Серж, Сережа. У меня к вам поручение. В Париже есть известный грузинский ресторанчик. Его владельцы — два прелестных грузинских старика, два брата-эмигранта. Они просили меня пригласить вас к ним завтра пообедать.

Иван Иванович тотчас согласился. Вообще надо сказать, что некоторый успех, как ни странно, не придал ему кичливости или апломба, а, напротив, сделал покладистой и щедрее. По лицу Сержа было видно, что он ожидал от Ивана Ивановича ну если не высокомерия и надменности, то уж сдержанности и некоторого величия — это уж точно. А тут все получилось так по-житейски просто, так легко. И они расстались довольные друг другом.

Конечно, если бы Иван Иванович был в курсе капризов провидения, он бы сдерживал свои страсти, но неуспех на книжной ярмарке пока не послужил предостережением, не погасил его пыла. Уж эти мне легкомысленные удачники!

...Обед был прекрасен. Хозяева — два родных брата, два высоких, грузноватых, широкоплечих грузина с добрыми смеющимися глазами. Одному было восемьдесят лет, другому — восемьдесят пять, но в их крепких краснощеких лицах проглядывала вечность. Они не очень-то смыслили в литературе, да еще в русской, но слухи о некотором успехе в «Мютюалитэ» дошли и до них, и они рады были за своего земляка, за Отара Отарыча, ибо он на самом-то деле был Отаром Отарычем, как я уже упоминал, а Иваном Ивановичем себя лишь чувствовал благодаря жизненным обстоятельствам.

В маленьком уютном ресторане собрались парижские грузины. Три поколения. Старики хорошо говорили по-русски, а молодежь русского уже не знала. Блюда были грузинские, и вино — тоже! И после первых тостов кто-то запел, и все подхватили, и показалось, что за окнами — не Париж, а Тбилиси. Это была знакомая, тягучая, гордая и печальная песня, и Ивану Ивановичу подступило к горлу. Он слушал и думал об их судьбах, о том, как они, выброшенные однажды

из маленькой своей страны, не растворились до конца в мощном, голосистом, холодноватом французском море.

Слева от Ивана Ивановича сидел немолодой уже, красивый, седой, в сером с иголки костюме известный парижский доктор Хомерики. Они перебрасывались в перерывах между тостами милыми, ничего не значащими фразами, как вдруг доктор Хомерики сказал многозначительным шепотом:

— А я не так давно побывал в Грузии...

Иван Иванович поперхнулся от неожиданности: в те годы сыну меньшевика дороги на родину были закрыты, и сообщение доктора Хомерики прозвучало неправдоподобно и фантастично. Доктор рассмеялся, увидев растерянное лицо дорогого гостя, и коротко, без излишних деталей поведал свою головокружительную историю.

— Для грузина жизнь вне родины — наказание. Вообще жизнь вне родины. Но когда навеки — это уже трагедия, генацвале, хоть пулю в лоб! Когда вождь всех народов покинул нас наконец, я понял, что забрезжил маленький, дохлый, почти невероятный шанс. Это меня так распалило, что превращало в физическую боль. Все болело. По ночам я кричал от боли и тоски. Казалось бы — ну что бесноваться, сходить с ума? Живу в прекрасной стране, имею профессию, прошел с этой страной войну, висел на волоске... Ну что тебе воспоминания детства? Так ведь если бы воспоминания! А тут кровь, она кипит, генацвале... В конце пятидесятых я не выдержал. Меня отговаривали все — он обвел рукой присутствующих, — но я взял небольшой ранец, набил его сувенирчиками и полетел в Турцию. Там добрался до Арбагана. Вдруг мне говорят, что Арбаган стоит на Куре! Я заплакал, ей-богу. На осле добрался до Пософа. За Пософом уже виднелись горы Грузии... Нашлись добрые люди. Несколько дней примеривались и, наконец, меня тайком переправили через границу... Представляете себе?..

— А где же были наши славные пограничники? — шепотом спросил Иван Иванович.

— Бог миловал, — очень серьезно ответил доктор. — Мне повезло, неслыханно повезло. Когда подо мной вздохнула

Картли, я был в протрации, я подумал: пусть теперь хватают... Но бог миловал. Я шел пешком до Ахалцихе, затем поездом — до Хашури, оттуда — в Зестафони. Я хорошо помнил этот город, покинутый в отрочестве, я знал его наизусть. И ходил возле дома моей тети, пока не спустилась ночь. Ночью я постучал в окно. Ну, что там было, не буду рассказывать!.. Фортуна оказалась милостива — я это оценил. Две недели прожил я в Зестафони. Я был как натянутая струна. Все мои родственники — тоже. Пришло, наконец, время собираться. О прощальных слезах тоже не буду говорить. И тем же путем отправился обратно. И абсолютно безукоризненно. Уже в самолете над Истамбулом вдруг понял, что я совершил. Знаете, генацвале, как страшно стало!..

— А кто-нибудь, кроме вас, пытался еще?.. — спросил Иван Иванович.

— Э-э-э-э-э, — закрутил головой доктор Хомерики, — что вы, что вы!..

Звучали песни. Обед завершился. В конце зазвучала лезгинка. Танцевала молодежь. Надо было посмотреть, как двигались длинноногие парижские красотки!

Все милостиво кивали Ивану Ивановичу, выражая свое уважение. Иван Иванович долго и растроганно благодарил гостеприимных хозяев. Затем он направился к выходу, где на улице уже ждал его милый доктор Хомерики, предложивший довезти его до отеля. В этот момент у самого порога его остановил худощавый старик небольшого роста, в отличной черной тройке, с сиреневой бабочкой.

— Простите, пожалуйста, — взволнованно сказал он, — а знаете ли вы, что я учился в кутаисской гимназии вместе с вашим отцом?..

— Что?! — крикнул Иван Иванович, пораженный известием. — Не может быть!.. Что ж вы раньше-то!.. Какая радость!..

— Да, — сказал старик и скорбно покачал головой, — мы даже сидели с ним рядом, за одной партой... Он был красивый и очень как-то утончен, хотя был из простой семьи, знаете...

— И вы дружили? — спросил Иван Иванович, и неясная боль задела его.

— О, естественно, — сказал старик, — мы сидели рядом и делились всем. — Он помолчал, переминаясь с ноги на ногу, а потом сказал тихо, но твердо: — Потом, правда, он выгнал меня из Грузии...

Вот когда фортуна решила нанести свой коварный удар. Именно здесь, на пороге. И Ивану Ивановичу показалось, что все гости поворотились в его сторону, но это лишь показалось.

— Да вы не расстраивайтесь, — сказал старик, — это же было так давно... я все понимаю...

— В тридцать седьмом отца расстреляли, — выдавил из себя Иван Иванович обреченно.

— Да я знаю, знаю, — зашепшил старик, — я все знаю... какие могут быть счеты? — и добавил, улыбнувшись: — А может быть, он выгнал меня из Грузии, чтобы сохранить мне жизнь? А?.. Все может быть, не правда ли?..

— Простите, простите, — проговорил Иван Иванович чужим голосом и шагнул на улицу. Там, возле роскошного белого «кадиллака», прохаживался доктор Хомерики.

Последующие дни были отравлены этим разговором. Красоты Парижа померкли. Вдохновенная победа его отца в далеком двадцать первом году предстала жестокой несправедливостью. Иван Иванович вообразил себе потийский причал, суетливую истерику бегущих толп, теряющих привычное достоинство, а где-то, уже недалеко, у черты города, перевозбужденные дети фаэтонщиков, плотников, прачек, ослепшие от своего превосходства, от примитивной идеи, легко усвояемой, от невежества, ставшего путеводной звездой... Кто я? — думал Иван Иванович, в прострации бродя по парижским мостовым, перешагивая через голубоглазых, рыжих, добродушных спаниелей, разлегшихся на тротуарах, кто я? Неужели заурядное ничтожество, расплачивающееся за давние грехи своих предков, веривших, что созидают счастливое будущее, и не понимавших, что созидают возмездие себе самим и своим самонадеянным и кичливым потомкам?

Фортуна, думал Иван Иванович, все-таки расплатилась с ними с крайней жестокостью, а с нами, со мной — с помощью мелких пакостей. И нечего изображать из себя бог знает кого, думал он. Обыкновенная банальная жертва на тонких ножках, униженно хватающая жалкие гонорарчики и посмевавшая вообразить себя заслуженным удачником. И ему захотелось с облаков, среди которых он летал, спуститься на затененное морское дно. И ему захотелось думать о себе не столь возвышенно, как еще совсем недавно... Так он пытался спастись от отравы, успевшей раствориться в крови. Яд был жгуч. Кружилась голова.

Он открылся при встрече Кириллу Померанцеву, тот вздернул брови и сказал дрогнувшим голосом:

— Ах, бросьте, бросьте это все, не надо... все прошло, все на другом берегу, в иных лесах, среди чужих берез... — Он скорбно качал головой, и, когда проводил тонкими пальцами по впалым щекам, проступало что-то печальное, многозначительное. — Ах, не надо, не надо об этом. Это все не стоит одного мига нашего озарения, нашего понимания друг друга... Скоро ведь вы отправитесь домой, да? То есть уже завтра? Ах, завтра!.. Как все быстротечно!.. Был здесь Твардовский, и мы так же сидели, и он был пасмурен, хотя ну совершенно как стеклышко, но в такой тоске... А вы вот завтра.. А вам еще нужно домой какие-то гостинцы, ведь правда? — уходя сказал он. — А о тех временах не надо, не надо, не рвите сердце... Всем досталось что полагалось... Не грустите, не доводите себя до отчаяния...

Накануне отъезда Иван Иванович решил не суетиться, не растрачиваться по пустякам. Покупки можно было совершить завтра утром. Полторы тысячи франков заметно оттягивали карман, и это маленькое благополучие позволило быть ленивым, независимым, легкомысленным и добрым. И вот наступил последний парижский вечер. Почему-то пошел дождь. Иван Иванович не почувствовал в этом ничего зловещего. И захотелось идти. По Парижу. Без цели. Молча. Он надел свой старый плащ, вооружился коротким складным зонтиком с удобной крючкообразной рукояткой. И вышел. Ноги

сами понесли его куда-то, в сумерки, под дождичек, в говорливом потоке. Приятно было чувствовать себя обыкновенным парижанином. Он купил у уличного торговца немного жареных каштанов и понес в руке бумажный пакетик торжественно, словно фонарь. Все вокруг было знакомо и уже привычно. На порогах вечерних клубов толклись зазывалы. Они хватали за руки гуляющих туристов, но без наглости, а по-приятельски и соблазняли их выставленными в витринах фотографиями грудастых красоток. Ивана Иваныча они не замечали: видимо, принимали его за парижанина, и это было приятно.

Внезапно дождь усилился, и Иван Иваныч решил переждать его под первой попавшейся крышей, ну хотя бы в кино... И тут же перед ним возник ярко освещенный вход в кинотеатр, и по каким-то уже знакомым признакам он догадался, что здесь демонстрируют порнофильмы. Сначала он вспомнил, как однажды исказилось лицо Кирилла и он сказал, брезгливо поморщившись: «Фи, да это же для самых низкопробных туристов! А уж вам-то!..» Он вспомнил это, но затем встрепенулся и подумал, что, в конце концов, не помешает еще раз соприкоснуться с этим искусством, чтобы уж окончательно закрыть тему... в познавательных целях... И рассмеялся про себя. Тем более, подумал он, вспоминая свое первое посещение, тот кинотеатр был какой-то заурядный и, видимо, третьесортный, а этот, судя по всему, не дешевка, и репертуар, наверное, будет посовременнее. Он размышлял обо всем этом, разгораясь и не замечая присутствия какой-то мистической силы, замаскированной под вечерние городские краски, легко растворяющиеся в огнях рекламы и в дожде. И он, конечно, не замечал, как эта сила подталкивала его под локоть, обжигала ему пятки и посмеивалась за его спиной.

Внешне он был спокоен. Ленивым жестом извлек из кармана купюру и протянул ее в окошечко кассы. Билет стоил почему-то слишком дорого. Он подумал, что на вечерние сеансы цена, наверное, повышается. И это было справедливо. И уже как завсегдатай он распахнул дверь и привычно

шагнул в зал, но это был не зал. Это был довольно тесный вестибюль, и молодой человек в черном костюме и с бабочкой приветливо ему поклонился и сказал: «Бон суар, месье!» — и указал ему аккуратной ладошкой на винтообразную лестницу, уводящую на второй этаж. И этот вестибюль вместо кинозала, и эта лестница озадачили Ивана Ивановича. «А туда ли я попал?» — подумал он. Он стоял перед этой лестницей с учтивой улыбкой на московском лице, в старом своем плащике, со сложенным зонтиком, висящим на сгибе левой руки, и с пакетиком жареных каштанов — в правой. И тут молодой человек воскликнул что-то задорное, и Иван Иванович увидел, что по винтообразной лестнице медленно, словно с облаков, торжественно и неумолимо сходит высокая длинноногая шатенка и улыбается ему, как старому другу, и что-то говорит, говорит по-французски, но, видя его недоумевающее лицо, по-английски, по-испански, но все напрасно, и она смеется так по-доброму, так по-вечернему. «А туда ли я попал?» — снова подумал Иван Иванович, но уже с тревогой. Он уже подумал, что надо бежать прочь, но не посмел — гордость не позволила, да и любопытство было велико: шутка ли — такая ситуация в самом Париже! Да и красotka, сошедшая с небес, была восхитительна. Несмотря на тревогу, он все же рассмотрел ее лицо, и оно его пленило, особенно глаза: большие, черные, глубокие, и губы — влажноватые, пухлые и слегка насмешливые. Она не чинясь взяла его под руку и повела наверх. По пути она все время с ним говорила, о чем-то расспрашивала. «Же не компран па...» — повторял он затверженное, но она понимающе смеялась и продолжала говорить, и по ее интонации он даже догадывался, о чем она говорит: «Тебе здесь нравится?» «Ну конечно, еще бы...» — отвечал он одними глазами. «Ты любишь такие места, да?..» — «Же не компран па...» — «Ну, в общем, это не столь важно...»

Несмотря на ее расположение, он очень нервничал: он не понимал, куда они идут. И вот они поднялись, и, почти теряя сознание от страха, Иван Иванович увидел довольно большое помещение, уставленное столиками и креслами, и впереди, у стены, маленькое возвышение типа эстрады.

Обыкновенный, совершенно пустой ресторанный зал и ничего особенного. И полумрак. И тишина.

Его спутницу звали Надин. Как она была хороша! Иван Иваныч, конечно, не обольщался относительно ее располагающей улыбки. Он даже заметил некоторую ее отстраненность, что ли, но даже это не мешало Надин быть прекрасной.

Она ловко подвела его к столику у самой эстрады и предложила сесть, а сама уселась рядом, и от нее исходило стремительное тепло. Он положил на столик кулек с каштанами и пачку своих сигарет «Прима», и она тотчас же, смеясь, полакомилась каштаном и закурила его сигарету и, затянувшись, поморщилась и спросила, тараща глаза: «Марихуана?» Он успокоил ее, как мог, и закурил сам. И тут из полумрака выскользнули две руки, и метнули на столик два бокала, и поставили блестящий металлический бочонок, в котором в осколках льда возвышалась потная бутылка шампанского. Те же руки мгновенно откупорили бутылку, и бокалы наполнились. «Месье», — многозначительно сказала Надин, приблизив к нему свой бокал. «Мадам», — легко и просто сказал он, и они чокнулись. Он жадно опорожнил свой бокал, а она лишь пригубила. И тут же из темноты таинственная рука ловко опорожнила бутылку и водрузила на столик новый бочонок с новой бутылкой. «Месье...» — «Мадам...» Он снова выпил до конца, а она лишь пригубила. Он коснулся ее руки. Она тихо и дружелюбно рассмеялась...

Ну что же тут особенного? Полночь. Шампанское. Женщина. Полутьма... Голова кружилась. «Надо бежать!...» — подумал Иван Иваныч, но сил не было.

Эстрада озарилась легким светом. С потолка зазвучала томная музыка. Две неведомые руки выставили на столик новый бочонок, и перед Иваном Иванычем забелел листок бумаги. Он заглянул в него и понял, что принесли счет. Почти восемьсот франков! Дрожащей рукой он отсчитал деньги и сунул в таинственные руки, и тихое ускользящее «мерси» вспыхнуло возле уха. «Месье», — сказала Надин незнакомым голосом. Он повернулся к ней. Но это была не

Надин, совсем другая, еще более прекрасная, но уже блондинка. Она тянула к нему свой бокал и загадочно улыбалась. «А где Надин?» — спросил он с капризным недоумением. «Меня зовут Софи», — пояснила незнакомка. «Мадам!» — произнес он с хмельным вдохновением. Однако тревога усиливалась — вот что было ужасно.

Музыка грянула громче. И на эстраде возникла женщина. Она затанцевала в такт музыке и сбросила с себя голубой прозрачный жакет. Публики в зале не было, а она уже работала. Ей было скучно. Танцуя и постепенно обнажаясь, она перекидывалась с Софи различными фразами. Иван Иваныч слов не понимал, но по интонациям догадывался о смысле. Это был ленивый, ни к чему не обязывающий, будничные бабский треп. Что-то об утренних делах, что-то бытовое. Ну, например, Софи спрашивала: «А ты ему кофе варишь до пены?» «Нет, он этого не любит», — отвечала танцовщица. «А у меня Жан непременно требует, представляешь? Яйцо, сыр и пену...» «Ну, это не самое страшное», — рассмеялась танцовщица и сбросила еще что-то из одежды. Постепенно на ней остались только трусики и ажурный лифчик, и Иван Иваныч еще был в состоянии заметить, что тело у нее давно не юное и ступни крупного размера. Тут снова раздалось: «Месье». «Мадам», — произнес он непослушными губами. И вновь те же таинственные руки швырнули на стол новый счет. Два холодных глаза смотрели на него из мрака. Он повернулся к Софи, но вместо нее сидела уже другая, и она сказала решительно: «Давай, давай, плати!» Он это понял. Достал деньги, медленно начал пересчитывать. «Давай, давай...» — снова приказала она слишком жестко. «Дура, — пробормотал Иван Иваныч, — как бы ты заговорила, если бы видела меня в «Мютюалитэ»!..» Он досчитал деньги негнущимися пальцами и вручил их привидению. «Надо бежать», — подумал он. За спиной кто-то рассмеялся. Иван Иваныч подумал, что это над ним. С трудом оглянулся. Уже за многими столиками сидели посетители, и пили, и смотрели на эстраду. Ночная жизнь начиналась. Новый бочонок с бутылкой повис над столиком. «Надо бежать!» — снова подумал

Иван Иваныч и резко поднялся. «Нет, нет, не уходи! Побудь еще со мною!» — это или что-то подобное проговорила его новая дама и ухватила за рукав. Она призывно заглядывала ему в глаза, но ее лицо Ивану Иванычу не понравилось. Он рванулся. И снова послышался смех. Он неуклюже побежал меж столиками. Смех за спиной усиливался. А он с трудом пробирался к выходу. Он был в плаще. На левой руке болтался зонтик. Он скатился с крутой лестницы. В вестибюле с кем-то беседовала Надин, а может быть, и Софи — обрабатывали очередную жертву.

И вот он распахнул дверь и вывалился на улицу. Шел дождь. Он порылся в карманах — денег не оставалось даже на такси. И он пошел пешком, сопя и плача, то ли оттого, что Надин съела все его каштаны, то ли оттого, что забыл на столике недокуренную пачку «Примы», — трудно сказать.

КАК ИВАН ИВАНЫЧ ОСЧАСТЛИВИЛ ЦЕЛЮЮ СТРАНУ

Рассказ

Иван Иванович в свободное от работы время мастерил всевозможные деревянные рамки для картин. Не на продажу, а так, для души. Получалось довольно искусно. А потом он с удовольствием раздаривал их своим знакомым и знакомым своих знакомых. Никто не отказывался, и вообще это занятие очень скрашивало его довольно заурядную жизнь. Быт был труден, да и обстановка была напряженная, какая-то тревожная. Но по вечерам, после работы, были рамки и всякие лобзики, пилки, напильники, лаки, ароматная древесина. И все тотчас забывалось — и как начальник кричал и топал ногами из-за какой-нибудь мелочи, и Ивану Ивановичу все хотелось ему сказать: мол, что это вы так-то уж распоясываетесь? Но он, конечно, молчал, или кивал покорно, или говорил: «Виноват»... Да, все это над рамками забывалось. Забывалось, как сантехник сказал, дыша перегаром: «А и хрен с ней, что течет. У меня прокладок нету, понятно?» — и как он после работы в очереди за мясом простоял около трех часов и его за это не то что наградили, а обругали и толкнули несколько раз и пытались подсунуть ему костей.

От всего этого Иван Иванович выглядел сутулым и спавшим с лица, словно тяготы жизни специально отпечатались на его лбу, и щеках, и фигуре. Нет, это вовсе не означает, что жизнь ему была не мила. Он любил жизнь, даже свою работу, а уж о рамках и говорить нечего. Но у других все как будто складывалось попроще, а у него получалось почему-то, что он всем всегда мешал и не очень-то был нужен, и все как будто прекрасно могли обойтись без него, да и друзья-то,

в общем, были приятелями, как-то не особенно вдавались в его жизнь: ну, живет, мол, и живет. Рамки — это любопытно, молодец, можно и принять, если дарит. А чего же не принять? Здорово это у тебя, молодчина... Но при этом они и без него могли прекрасно обходиться, а уж без рамок без его и тем паче. Просто он дарит — не отказываться же. Зачем обижать человека?

И вот так случилось, что однажды одна из этих рамок, трудно понять какими путями, попала в руки президента одной крупной японской фирмы «Синсейдо» господину Отаке-сан. Господин Отаке-сан рамке этой чрезвычайно обрадовался. Нет, он не собирался рамками этими торговать, не торговые интересы в данном случае руководили им, а дело в том, что он в свободное от основной работы время занимался живописью, так просто, для души, и однажды он вставил нарисованную им картину в рамку Ивана Ивановича и увидел, что это чертовски гармонирует. Что-то ему показалось общим в настроении его японского сюжета и древесном узоре, изысканно проглядывающем сквозь лаковую пленочку рамки неизвестного московского мастера. Я, конечно, не сомневаюсь, что такой богатый человек мог приобрести себе рамки в той же Японии или, скажем, в Америке, но ему пришлось именно эта. И вот он вспылал к рамке Ивана Ивановича, и ему страстно захотелось соединить эти два искусства более основательно.

В Москве, конечно, никто этого не подозревал, все были заняты перестройкой, как вдруг в учреждение, где трудился Иван Иванович, нагрянуло официальное приглашение от фирмы «Синсейдо» лично Ивану Ивановичу посетить Японию, быть гостем фирмы и участвовать в праздновании ее сорокалетия. Ну, тут вы, конечно, представляете, что началось! Сначала был шок. Затем начальник страшно обиделся с непривычки, вызвал Ивана Ивановича и стал на него кричать, и топтать ногами, и намекать на подозрительное в последнее время поведение Ивана Ивановича и на его весьма возможную связь с японской разведкой. В былые времена ничего такого не произошло бы, ибо начальник усмехнулся бы и отправился

в Японию сам, сказав японцам, что Иван Иванович тяжело болен, но теперь царила перестройка, и нравы начали меняться, и начальнику был спущен приказ немедленно собирать Ивана Ивановича в дорогу. Все завертелось, застучало, забегало. Начальник держался за сердце: его угнетала вопиющая несправедливость, ибо судьба оказалась благосклонна к какому-то ничтожному, сутулому и жалкому сотруднику, это ему открывается счастливая перспектива, и вообще чушь собачья, доперестраивались, докатились... Короче, как начальнику ни было это отвратительно, но, сжав зубы, приказ он вынужден был исполнить, и канцелярия заработала, и вскоре Иван Иванович получил все необходимое.

Надо сказать, что в довершение всего путь ему был оплачен японской фирмой в оба конца первым классом в японском самолете. Это, видимо, еще больше усилило неприязнь начальника. Он даже попытался в сердцах предпринять некоторую интрижку, шепнуть туда-сюда, рассыпать подозрение, но благодаря опять-таки новым временам усилия его не увенчались успехом. Когда же Иван Иванович просеменил к нему, чтобы поблагодарить, начальник Ивана Ивановича не принял, а передал через секретаршу, чтобы Иван Иванович в поездке себя соблюдал и не опозорился бы в коварном капиталистическом мире.

У Ивана Ивановича эйфории не было. Он продолжал двигаться в привычном ритме. Даже накануне отъезда привычно выслушал по телефону всякие служебные распекаания, затем бросился по очередям, чтобы сделать запас в дом, простоял несколько часов за помидорами, долго и мучительно втирался в автобус, а когда наконец вывалился из него под браные выкрики соплеменников, увидел, что помидоры в полиэтиленовом пакете превратились в кашу. Но он их не выкинул, сообразив, что даже и в таком виде их можно использовать в борще.

Конечно, он немного расстраивался, что у него нет каких-то там заграничных одеяний, но делать было нечего, да и огорчение это было недолгим. Ну он, конечно, нацелился

купить матрешек в качестве сувениров, но в последний день навалилось много хлопот, и он не успел.

И вот в назначенный день с допотопным чемоданчиком в руке и связкой рамок он доехал в автобусе до Шереметьевского аэропорта, вошел в стеклянную дверь, и Москва осталась за спиной.

Иван Иванович принялся растерянно озираться, потому что не знал, куда идти. Табло перед ним было на непонятном языке. Все пробегали мимо. Слышалась иностранная речь. За стойкой возвышалась пышная блондинка с холодными глазами. К ней подходили вальяжные иностранцы, спрашивали о чем-то, подавали паспорта, билеты, чувствовали себя как дома. Иван Иванович понаблюдал за ними, набрался смелости, даже попытался немного распрявиться, подошел к ней и тихо спросил:

— Куда мне нужно?

— А я почему знаю? — сказала она с тоской.

— Мне в Японию, — сказал Иван Иванович виновато, — а куда идти — не знаю.

— Паспорт, — строго распорядилась она.

Он протянул ей паспорт. Пальцы его дрожали.

— Билет, — потребовала она. В глазах ее витало презрение.

Он принялся искать билет в бумажнике. Блондинка зловеще молчала.

Он стоял перед ней сутулый, втянувший голову в плечи и думал: «А вдруг билет поддельный?..»

Она долго возилась с его билетом. Наконец чемоданчик и рамки уехали по эскалатору. Вдруг к блондинке подошел ее сослуживец, заглянул в билет Ивана Ивановича и сказал:

— Людочка, что же ты делаешь? Это ж первый класс.

И Иван Иванович увидел, что она покраснела, и увидел ее взгляд, обращенный на него, полный недоумения, словно она пыталась понять: как это такой ничтожный Иван Иванович да первым классом, да на японском самолете?

Она переписала какие-то карточки, вручила ему с билетом.

— А дальше куда? — спросил он.

— Катро... — проговорила она, все еще сомневаясь в истинности происходящего, и занялась следующим пассажиром.

Иван Иванович засеменял по залу, повторяя про себя: катро... катро... Но его божественная природа все же не окончательно погасла, она включила отчаяние, а оно, в свою очередь, интуицию, а уж та привела Ивана Ивановича к стеклянной будке, которая и оказалась катро, то есть пограничный контроль, и совсем юный пограничник занялся его паспортом. Это продолжалось довольно долго, и Иван Иванович вновь с ужасом подумал, что пограничник скажет: «А виза-то фальшивая!» Но все обошлось, и его пропустили. Куда идти, он не знал, а время близилось к отлету.

Но человек, прошедший школу очередей, учрежденческих лабиринтов и прочего, обладал, видимо, таким изощренным опытом, что уж окончательно его согнуть было невозможно. И Иван Иванович, потоптавшись на месте, позирившись, судорожно глотнув воздуха, вдруг увидел двух японцев, которые очень уверенно двигались от пограничного контроля. И он пошел за ними следом, и правильно сделал. И они пришли наконец к стеклянной стене, за которой виднелись ряды кресел, вошли в стеклянную же дверь, предъявили билеты, миновали еще один контроль, и у одного из японцев что-то запищало, зазвенело, и его остановили, начали ощупывать, обнаружили связку ключей, снова пропустили через специальные воротца. Ключи ему вернули, а Иван Иванович прошел благополучно и оказался в зале с креслами. Не успел он присесть и утереть пот, как приятный голос объявил посадку именно на его самолет и пассажиры потекли к указанному выходу. Иван Иванович влился в общий поток. Это было приятно: можно было не напрягаться, отыскивая направление. Его несло потоком по извилистому коридору, и он благополучно достиг распахнутой двери, куда втекали все, и, замирая, переступил порог...

Иван Иванович за свою жизнь всего лишь раз летал в самолете. Из Москвы в Свердловск. Тогда он вошел в самолет,

и стюардесса велела ему проходить вперед и садиться на свободное место, да побыстрее. И он сидел в тесном кресле, скрючив ноги, под рев моторов, и никому не было до него дела, и лишь один раз предложили ему съесть леденец для чего-то и глоток лимонада... А тут произошло совсем непредвиденное. Он переступил порог и очутился в просторном помещении, ну, просто зале, уставленном широкими мягкими креслами. Три очаровательные японки, счастливо улыбаясь, обступили его. Они низко кланялись ему, и их восхищению не было конца. Нет, они не кричали, и не плакали, и не размахивали руками, но было столько счастья в их улыбках, неподдельной радости при виде его, что Иван Иванович, пока его бережно вели к креслу, подумал: «А вдруг они сумасшедшие?»

Одна из них аккуратно сняла с него пиджачок, другая помогла ему облачиться в легкое голубое кимоно, и ему даже показалось, что он понимает английский язык, на котором они лопотали, и они были так искренни в своей радости и радовались именно ему, а не кому-то там придуманному, условному, что он постепенно начал успокаиваться и успокоился и отверг мысль об их безумии.

Тем временем самолет плавно тронулся с места и покатил по асфальту аэродрома, и Иван Иванович, утопая в кресле, осторожно оглянулся. Пассажиров в первом классе было немного, человек семь. Они тоже были в голубых кимоно. Самолет тихо гудел. С глаз Ивана Ивановича спала пелена. Все вокруг проступило отчетливо. Он украдкой взгляделся в японок. Они не были очень уж красивы, но как обаятельны, как по-японски женственны и милы, и как он ни старался, но они уловили его взгляд и вновь поклонились ему со счастливой улыбкой.

«Притворяются? — подумал Иван Иванович. — Что я им такого сделал?» Преисполненный самых возвышенных чувств, он вдруг пожалел, что не успел купить матрешек, что ли, чтобы благодарно преподнести им теперь. Он даже покраснел от сознания совершенной оплошности.

Самолет загудел пуще, разогнался и мягко взлетел. И тут Иван Иванович понял, что все происходящее

с ним — чистая правда и он летит в далекую Японию. Минут через пять гул внезапно прекратился, самолет выровнялся, только легкое шуршание сопровождало полет.

Впрочем, никакого полета и не было — лишь легкое шуршание и прохлада.

Эти молодые японки действительно не были такими уж красавицами, но они и не были на одно лицо, как ему показалось вначале. Он условно назвал их про себя знакомыми именами, а именно: Вера, Надя и Люба. Вера была высокая, стройная, почти европейка. Надя пониже и такая скуластенякая и чуть полноватая, она улыбалась самозабвенно и все время подплывала к нему и спрашивала по-английски, удобно ли ему и не надо ли чего. И он как будто бы все понимал. А Любочка была совсем маленькая, но удивительно изящная, ну просто куколка. В ее улыбке Ивану Иванычу показалась какая-то даже загадка. Может быть, этому способствовала челочка на ее лбу, может, и что другое.

Они и с другими пассажирами были предупредительны и улыбочивы, но с ним (он это чувствовал) особенно. «Чем же я им угодил?» — все время думал он, но не находил ответа.

Необычная легкость овладела им. Он раскинулся в мягком кресле и приготовился к новым сюрпризам. Они не заставили себя долго ждать. Прекрасная Вера вручила ему маленькие наушники и, смеясь при виде его недоумения, научила ими пользоваться. И вот он услышал прекрасную, глубокую музыку, затем переключил рычажок, и послышалась английская речь, и он, к изумлению своему, тотчас все понял. Сначала он даже испугался, что понимает чужой язык, которого он до той минуты вовсе и не знал, даже мелькнула тревожная мысль: уж не случилось ли с ним чего? Но постепенно заслушался сообщением бойкого корреспондента: разговор шел о событиях в Ливане. Он слушал то известия, то музыку, то детские сказки. Достаточно было переключить рычажок. Никто ему не мешал, никто его не беспокоил, да и он никого не раздражал, и потому ему было легко и счастливо. В этот самый момент подросла скуластенякая Наденька и вручила ему с поклоном небольшую замшевую сумочку на

«молнии» и при этом сказала, что это ему подарок на память об авиакомпании. Он совсем уж удивился и принялся изучать содержимое. Приятно поблескивая, предстали его глазам различные флакончики с одеколоном, с туалетной водой и еще с чем-то, пока еще непонятным, безопасная бритва на случай, если он вздумает побриться, и тут же в тубике крем для бритвы. Затем — расческа в футляре, если ему заблагорассудится причесаться, коробочка с прозрачным ароматным мылом, и тут же в боковом карманчике небольшое махровое полотенечко, и тут же набор всевозможных предметов, чтобы привести в порядок ногти: ножнички, пилочки, пинцеты и в довершение всего набор мелких пуговиц, ниток и иголок, чтобы мало ли что. Но у Ивана Иваныча пуговицы были все на месте.

Всем этим он, как это говорится, был приятно поражен, но особенно вниманием и восхищением, которое было написано на лицах милых японок. Тут пришла пора обеда. Действительно, Иван Иваныч ощутил голод. И сразу все три девушки захозяйничали — и Вера, и Надежда, и Любовь. Все делали быстро, четко, с прежними глубокими поклонами. Вдруг какая-то сила подняла Ивана Иваныча с кресла. Он вскочил, выпрямился, стройный и помолодевший, а после отвесил изумленным девушкам низкий поклон, так что они всплеснули руками, ликуя. Затем ему поднесли горячую влажную салфетку, и он протер руки и лицо. Затем ему предложили напитки, и он выпил коньяку. Затем ему подали меню, и он все понял, вычитал и попросил сырую рыбу, рис и отварные овощи, и обязательно палочки, и тут же приспособился ими пользоваться. На одно лишь мгновение ему почему-то вспомнились раздавленные в автобусе помидоры, но тут же это мрачное видение погасло. После обеда он прошел в туалет, но уж не согнутый, как обычно, и походка его была пружиниста и уверенна, и японки им любовались. Все было ему доступно и с руки, всем он был приятен и даже необходим, и фалды его голубого кимоно многозначительно развевались на ходу. Тем временем кресло было превращено в удобное ложе с помощью ловких приспособлений. Он улегся. Под

голову ему положили мягкую белоснежную подушечку, прикрыли его пушистым пледом. «Ну это уж слишком, — подумал он, — тут уж перебор. Можно было бы и сидя подремать...» Однако раскинулся и тотчас заснул.

Проснулся Иван Иванович совсем другим человеком. Щеки его округлились и зарозовели, плечи развернулись, кровь была горяча, и ощущение жизни было необычным и необременительным. Девушки радостно приветствовали его пробуждение, и он им улыбнулся, словно младшим любимым сестрам, а надо сказать, что улыбка у него оказалась весьма обаятельной. И он улыбнулся и совершенно запросто попросил у них чаю или чего-нибудь попить, и все это на чистом английском языке без всяких затруднений. И теперь это уже его не поражало, а воспринималось как должное. Он хотел было даже по-японски, но вовремя сообразил, что пока еще не может составлять правильно фразы.

В передней части салона бесшумно спустился с потолка громадный экран, и началась демонстрация американского фильма. Звук транслировался через наушники и поэтому не мешал тем, кто спал или думал о жизни.

Иван Иванович с любопытством наблюдал за развитием сюжета, а сам прихлебывал зеленый чай. В салоне стояла тишина, лишь слабое шуршание за бортом напоминало о полете. После фильма Иван Иванович снова немного подремал. Его разбудила Любочка мягким прикосновением. Она предложила ему перекусить, на что он с радостью согласился. Он протер руки и лицо горячей влажной салфеткой, а затем принялся за жареных в сухарях креветок и цыпленка с соевой подливкой. И снова зеленый чай, и какая-то невиданная ранее сладость в тесте, и к этому почему-то прерывистое смутное воспоминание о Москве, которая то ли была в его жизни, то ли почудилась. Именно почудилась, потому что за окном поплыли, вынырнув из облаков, японские пейзажи.

Земля быстро приближалась. Кресло вновь было установлено вертикально. Девушки улыбались, но в улыбках их Ивану Ивановичу увиделась грусть расставания. «Как же мы будем теперь друг без друга?» — подумал он с тоской.

Приземление было спокойным и мягким. Когда замолкли двигатели, Наденька подала Ивану Иванычу его пиджачок, он переоделся и встал. Она окинула его восхищенным взором. «Как же я без них?» — снова подумал он, и сердце его перевернулось.

И вот, несколько раз низко поклонившись друг другу и обменявшись трогательными напутствиями, они расстались. Миновав специальный коридорчик, Иван Иваныч очутился в громадном аэровокзале и смело пошел за толпой и шел до тех пор, пока к нему не подбежали несколько радостно восклицающих японцев с плакатом, на котором было написано по-русски: «Здрасьте, Иван Иваныч!» Оказалось, что сам Отаке-сан, президент фирмы «Синсейдо», находится среди встречающих. Это был крупный мужчина с широким лицом и глазами ребенка. Начались низкие поклоны, что теперь у Ивана Иваныча получалось весьма непринужденно и несколько не выражало какого-то раболепия или тем паче унижения, а, напротив, самое горячее пристрастие, уважение и даже восхищение собратом, соплеменником, личностью. Среди встречавших был также молодой аспирант-словист Джоторо-сан, которого фирма пригласила переводчиком к Ивану Иванычу.

Японцы не догадывались, какая с Иваном Иванычем случилась метаморфоза. Он ведь уже не был сутул, а некоторая вновь нахлынувшая желтизна щек объяснялась длительностью полета. Все радовались встрече и тому, что гостя ждет отменный номер в классном отеле, где он сможет отдохнуть с дороги. Был подан «мерседес». Приветливый шофер был в белых перчатках. На спинках сидений и на подголовниках покоились белые накрахмаленные кружева. Иван Иваныч было оторопел, подумав, что это ему честь такая, но рядом остановилась другая машина, и в ней было такое же убранство, и во всех такси — то ж самое, и водители в белых перчатках. Так они и поехали, и приехали в громадный Токио, и въехали в район Сенджуко, и подкатили к высоченному отелю «Сенчури», и взлетели, и вошли в чистую просторную светлую комнату с белой удобной мебелью. Иван Иваныч

и Джоторо-сан. Внизу за окнами тихо гудел бескрайний город, двигался поток автомобилей, новехоньких как с иголки. С плоской крыши соседнего небоскреба взлетел синий вертолет. Вдруг вспомнилась Сретенка, и что-то несильно кольнуло слева.

Джоторо-сан вручил Ивану Иванычу в конверте деньги на мелкие расходы от фирмы и спросил:

— Вы будете отдохнуть?

Иван Иваныч растеряно кивнул и остался в одиночестве. Он честно пытался уснуть, но не смог. Снова смотрел на Токио, снова увидел Сретенку и своего начальника. У начальника было усталое, испуганное лицо, он всматривался в Ивана Иваныча пронзительным, умоляющим взглядом и что-то говорил, но за большим расстоянием слова не улавливались.

Итак, началась бурная, стремительная, благоуханная японская жизнь, полная азарта и неги. Вечером в овальном зале гостиницы была устроена пресс-конференция для Ивана Иваныча. Собралось большое число корреспондентов японских газет и журналов. Все приготовили блокнотики и диктофоны. Иван Иваныч изрядно нервничал с непривычки и намеревался в случае чего давать отпор, но его очень мирно спросили о рамках, то есть давно ли он этим увлекается, и как это соотносится с его службой, и почему он не продает свои восхитительные работы, и что для него вообще значит творческий процесс... Слово «творческий» применительно к выпиливанию рамок Ивана Иваныча очень смутило, он забекал, замекал, позабыл нужные слова, еле вспомнил и промямлил что-то такое многозначительное. Японцы между тем старательно все записывали, кивали, улыбались. Однако о творчестве и о рамках больше вопросов не было. Зато слышались вопросы о перестройке.

Там, в Москве, Иван Иваныч то ли по вялости характера, то ли от сложностей быта о перестройке как-то не размышлял. То есть думал, конечно, ну перестройка так перестройка, ладно, будем перестраиваться... А чего же не перестраиваться?.. Его даже как-то на улице спросил человек с телевидения,

подсунув микрофон: «Что вы думаете о перестройке?» А Иван Иванович ничего не думал, он втянул голову в плечи и побежал трусой в магазин напротив. Иногда смотрел на экран телевизора, как там спорили о всяких финансах и экономике разные симпатичные люди, смотрел, и ему почему-то казалось, что они сами ничего не понимают, они не знают, как сделать так, чтобы в магазинах все было, чтобы все разговаривали друг с другом тихо и уважительно. Ну, ладно, перестройка, перестройка... и не такое пережили... И он выключал телевизор и вновь с ожесточением принимался за рамки, а перед глазами возникал образ начальника, который топал ногами и кричал: «Вся страна перестраивается, а они тут черт знает что, понимаешь!» И, устав от этих непонятных криков и постоянно чувствуя себя во всем виноватым, Иван Иванович втягивал голову в плечи и старался ни о чем не думать. А тут вдруг снова эти вопросы и навострившиеся лица японцев: «Что вы думаете о перестройке?» И тут Иван Иванович улыбнулся и ответил с непривычной раскованностью:

— Это наш последний шанс. Общество тяжело больно, но я верю, что недуг излечим. Мы становимся зорче и перестаем игнорировать общемировые процессы.

— А если перестройка сорвется? — спросил один из корреспондентов.

— Случится катастрофа, мрачно отвечивал Иван Иванович, — хотя, — продолжил он убежденно, — даже если все кончится, уже то, что произошло, — благо...

— А кто же все-таки мешает? Бюрократы? — спросила миловидная японка. — Почему так трудно и медленно?

Иван Иванович подумал и сказал:

— Смешно и наивно считать бюрократов главной причиной трудностей. Тормоз — не бюрократы, а все общество, и это главная проблема. Главный противник перестройки — низкий уровень культуры политической, экономической, нравственной.

Вопросы сыпались как из рога изобилия, и Иван Иванович, как ни странно, тут же находил ответы.

Разговор длился больше часа, зашла речь о Японии, и Иван Иваныч сказал среди прочего:

— Вот вы сидите передо мной такие сытые, счастливые, умиротворенные...

И тут японцы тихо рассмеялись. Этот смех напоминал шуршание. Иван Иваныч всполошился, засуетился и торопливо проговорил:

— Нет, нет, вы меня не так поняли. Я понимаю, что и у вас много проблем. Вообще, где есть люди, там без проблем не обходится, я понимаю... — Он очень не хотел, чтобы его воспринимали обалдевшим туристом, и он попытался объяснить им свою точку зрения. Они кивали, и записывали, и улыбались.

Затем дни замелькали, одаривая все новыми восхитительными впечатлениями. Многое уже стало привычным, воспринималось как должное, но все чаще и чаще вставала перед ним Москва, и почему-то именно ранний рассвет, и на всем розовые краски, и его учреждение, и его начальник, но вспоминал он обо всем этом с грустью и умилением, словно не было очередей, забитых автобусов, выговоров, и оскорбительных придировок, и угроз...

«Попробовали бы вы все это, — думал он, глядя на улыбающихся, кланяющихся японцев, — не до улыбок вам было бы...» Вот такие размышления начали его посещать, хотя в них не было ни капли недоброжелательства или, скажем, неприязни, нет, лишь мимолетная горечь и печаль.

Ивана Иваныча возили по музеям, по роскошным паркам, водили по улицам, и везде, где он ни появлялся, куда ни заходил, к нему бросались с поклонами, выказывая свое уважение и даже, может быть, любовь, и, преисполненный благодарности, он ходил с высоко поднятой головой, радуясь, что нужен людям, что им удовольствие видеть его и выслушивать. Особенно его удивляли автомобили, когда на узкой старой токийской улочке они вдруг вырастали перед ним и тотчас замирали, словно живые существа, пока он с гордо поднятой головой переходил дорогу. Тогда они тихо трогались с места и на лицах водителей сияла неизменная

улыбка. «Что же я им такого сделал?» — думал он, и ему всякий раз хотелось крикнуть им вслед: «Братья и сестры, раскройте секрет мастерства!..» Он, кстати, мог бы крикнуть это по-японски, так как уже довольно прилично изъяснялся, но не мог решиться нарушить покой улицы.

Накануне отъезда Иван Иваныч купил себе легкий бежевый костюмчик, облачился в него и впервые со дня своего приезда глянул в зеркало. Перед ним стоял высокий стройный мужчина, еще нестарый. Красивая голова была высоко вскинута, и не какие-то там амбиции отражались на его свежем лице, а человеческое достоинство, и щеки покрывал румянец.

Тут с ним произошла одна небольшая, чрезвычайно забавная, как ему показалось, история. Прогуливаясь в своем новом костюме по одной из торговых улиц, он вдруг увидел вывеску со знакомым словом: «Beriozka», оно было написано латинскими буквами. Латинские эти буквы несли родимый смысл, и аромат родины донесся до взбудораженного сердца Ивана Иваныча. Эта вывеска над стеклянным входом вела в магазин, где, как догадался Иван Иваныч, торговали товарами из его страны. Искушение было велико, и Иван Иваныч шагнул под родимый кров. Первое, что он увидел, было великое множество бутылок с водкой — «Московской», «Столичной», «Сибирской», «Польской», бутылок с армянским, грузинским, молдавским коньяком, крымским «Каберне» и другими винами, и все это вполне дешево и безо всякой очереди. И Иван Иваныч, посверкивая глазами, стремительно потянулся было к этому добру, но тут же опаматовался и рассмеялся. Все это выглядело крайне соблазнительно, однако магазин был пуст, и японцы почему-то не торопились расхватывать этот потрясающий дефицит. Затем перед путешественником засверкали коробки консервов с крабами, затем... витрина на противоположной стене заставила его вздрогнуть: перед ним на многочисленных полках, вглядываясь в него голубыми безразличными глазками, поджав пунцовые губки, неподвижными рядами застыли многозначительные батальоны расписных

матрешек. Их пухлые торсы выражали вечное презрение к чужеземным радостям, в их бездонных чревах толпились целые армии грядущих поколений, уже наостривших голубые глазки, и поджавших пунцовые губки, и надувших розовые щечки. И все эти полчища глядели на Ивана Иваныча, не выражая никакого интереса ни к нему, ни к окружающему миру. В магазине было пусто. Не уняв дрожжи, Иван Иваныч покинул это загадочное заведение.

В последний вечер президент фирмы «Синсейдо» господин Отаке-сан устроил у себя дома отвальную. Ивана Иваныча привезли в уютный японский дом, где у порога, по обычаю, пришлось снять обувь. В прихожей встречали хозяева и гости. Долго кланялись друг другу и не скрывали своих высокопарных чувств. Осторожно ступая по рисовому татами, Иван Иваныч вошел в комнату. В центре комнаты, в которой были раздвижные стены из рисовой бумаги, стоял низкий квадратный стол, окруженный плоскими подушечками. Каждый уселся на свою, а ноги опустил под стол в специальное углубление, дно которого обогрелось. Ногам было тепло и покойно. Наполнили деревянные квадратные рюмочки горячим саке и выпили за дорогого гостя. «Кампай!» — зазвучало среди рисовых стен.

Они пили саке и пиво и ели палочками различные японские деликатесы, сдабривая все это соевым соусом. Шел непринужденный разговор о поэзии, живописи, музыке, как вдруг взгляд Ивана Иваныча остановился на противоположной стене, и он узнал свою рамку. Без ложной скромности он отметил ее высокое качество и порадовался, но то, что было заключено в ней, его поразило. Перед ним простирался красно-желто-зеленый луг, ну это, конечно, условно, и на этом красно-желто-зеленом распластался, выгнув печальную шею, черный умирающий журавль. Иван Иваныч не видел, открыты ли его глаза или уже закрылись, но в самой позе было столько пронзительного отчаяния и тоски и даже несогласия с судьбой, но в то же время столько покорности, что хотелось закрыть, умолить, потребовать, наконец... Разве можно лишать жизни живое, горячее, любящее? Да, но за вину, которая

накапливается в нас в течение всей жизни, а ведь это мы сами виноваты в собственных несовершенствах, и за это нужно платить самую высокую цену чуть позже, чуть раньше... Ах, лишь бы только это зависело от благорасположения светил, а не от людской прихоти. Бедный черный японский журавль, так по-русски, так по-грузински, так по-татарски уходящий из этого мира!..

Все затаив дыхание смотрели на Ивана Иваныча. Он поднял чашечку саке и сказал:

— Друзья мои, вот дом, где говорят об искусстве и скорбят о черном журавле. Это значит, что мы, несмотря ни на что, остаемся людьми. Я пью за это. Кампай!

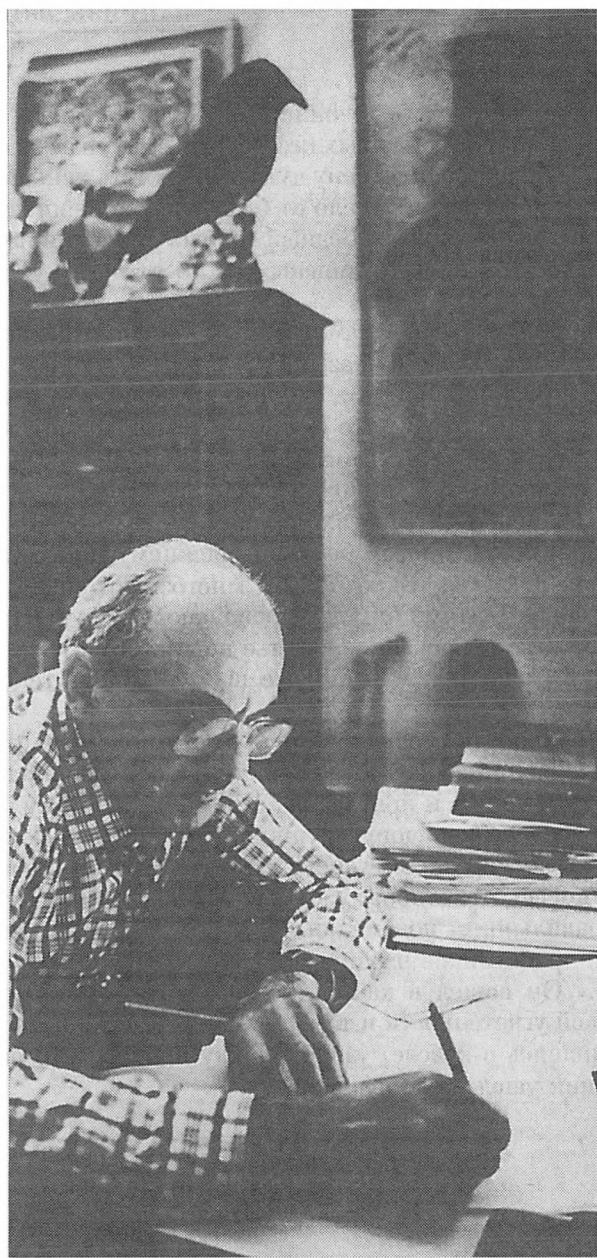
— Кампай! — откликнулись собравшиеся.

Господин Отаке-сан тихо плакал.

Утром перед отлетом было по-прежнему много улыбок, поклонов и грусти. Вкрадчиво и многозначительно шумел Токио. Иван Иваныч оглядел провожающих — в их глазах и лицах было откровенное счастье видеть его. И вдруг он с отчаянием подумал: «Да как же вы все будете теперь без меня?!»

И улетел. На следующий день, не успев он явиться на службу в свое учреждение за свой стол, как позвонила секретарша начальника и пригласила его зайти к самому.

Он шел по коридору пружинистой, твердой походкой. В приемной секретарша успела шепнуть ему, что начальник теперь новый, что старого уже нет. Иван Иваныч не удивился. «Правильно, — подумал он без злорадства, — давно пора от таких работников избавляться. Новые времена — новые люди...» Он вошел в кабинет без бывшего подобострастия, без былой угнетенности и там, удобно и с достоинством расположившись в кресле, узнал, между прочим, что бывший начальник ушел на повышение.



Булат Окуджава

**ЧТО БЫЛО,
ТО БЫЛО**

повести

БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР*

Повесть

*Посвящаю моим сыновьям
Игорю и Антону*

Это не приключения.

Это о том, как я воевал.

Как меня убить хотели, но мне повезло.

Я уж и не знаю, кого мне за это благодарить.

А может быть, и некого.

Так что вы не беспокойтесь. Я жив и здоров.

*Кому-нибудь от этого известия станет радостно,
а кому-нибудь, конечно, горько.*

Но я жив. Ничего не подделаешь.

Всем ведь не угодишь.

СЕНО-СОЛОМА

В детстве я плакал много. В отрочестве — меньше. В юности — дважды. Первый раз это было перед самой войной, вечером. Я сказал девочке, которую любил, сказал с деланным равнодушием:

— Ну что ж, раз так, значит, конец...

— Ну что ж, значит, конец, — неожиданно спокойно согласилась она. И быстро пошла прочь. И тогда я заплакал — ведь она уходила. И утирал слезы ладонью.

* Отдельные мотивы повести использованы в кинофильме «Женя, Женечка и «катюша»». Сценарий к фильму написан Булатом Окуджавой совместно с кинорежиссером Владимиром Мотылем, поставившим этот фильм в 1967 году. (*Примечание ред.*)

Второй раз я плачу сейчас здесь, в моздокской степи. Я несу командиру полка очень ответственный пакет. Черт его знает, где он, этот командир полка! Песчаные холмы похожи один на другой. Ночь. А я второй день на передовой. А за невыполнение задания — расстрел. А мне восемнадцать лет.

Кто это сказал о расстреле? Это Коля Гринченко сказал, когда я отправлялся. У него была красивая улыбка, когда он говорил об этом.

— Держись, а не то кокнут, и все...

Приставят меня к стенке. Впрочем, какие здесь стены.

И я утираю слезы. «Ваш сын оказался трусом и...» Так будет начинаться извещение... Ну почему это именно меня послали с пакетом? Вот Коля Гринченко — такой сильный, ловкий парень. Он бы уже давно добрался. Сидел бы сейчас в теплой землянке штаба полка. Пил бы чай из кружки. Подмигивал бы связисткам и улыбался красивым ртом.

А вдруг сейчас ухнет мина? Отыщут меня утром. Командир полка скажет командиру батареи:

— Что же это вы, лейтенант Бураков, неопытного солдата послали? Не дали осмотреться человеку, привыкнуть. Вот из-за вашего равнодушия погиб хороший человек.

«Ваш сын пал смертью храбрых при выполнении ответственного оперативного задания...» Так будет начинаться извещение...

— Эй, куда идешь?

Это мне кричат. Я вижу там окопчик, и из него мне рукой машут. Мало ли куда я иду?

— Стой! — кричат за спиной.

Останавливаюсь. Подхожу. Кто-то с силой втягивает меня в окопчик за рукав.

— Куда шел? — зло спрашивают.

Я объясняю.

— А ты знаешь, что там немцы? Еще бы сто метров...

Мне объясняют. Это наш передовой дозор, оказывается.

Потом меня долго ведут в землянку. Командир полка читает донесение и посматривает на меня. И я чувствую

себя тщедушным и маленьким. Я смотрю на свои не очень античные ноги, тоненькие, в обмотках. И на здоровенные солдатские ботинки. Все это, должно быть, очень смешно. Но никто не смеется. И красивая связистка смотрит мимо меня. Конечно, если бы я был в сапогах, в лихой офицерской шинели... Хоть бы дали чаю. Я бы посидел за этим столом из ящика. Я бы сказал этой красавице о чем-нибудь таком... Конечно, у меня такой вид...

— Идите на батарею, — зло говорит командир полка, — и скажите вашему командиру, чтобы он таких донесений больше не посылал.

Он делает ударение на слове «таких».

— Хорошо, — говорю я. И слышу тихий смех красивой связистки. Она смотрит на меня и смеется.

— Вы давно в армии? — спрашивает полковник.

— Месяц.

— В армии нужно отвечать не «хорошо», а «есть»... и потом, это... носки вместе, пятки врозь...

— Сено-солома, — говорит кто-то из темного угла.

— Я знаю, — говорю я. И выхожу. Почти бегу.

Опять степь. Идет снег. И тишина. Как-то даже не верится, что это фронт, передовая, что рядом опасность. Теперь-то уж я не собьюсь с пути.

Представляю, как смешно я выглядел: расставленные ноги, и руки в карманах шинели, и пилотка, натянутая на уши. А эта красавица... И даже чаю не предложили... Коля Гринченко, когда говорит с офицерами, всегда чуть улыбается. И очень изящно козыряет и говорит при этом: «Так точно». А мне слышится: «Приказывай, приказывай. Я-то тебя насквозь вижу». Он-то видит. А ботинки у меня здоровенные. Это даже хорошо. Увесистая мужская нога. И снег хрустит. Мне бы только шапку-ушанку, и я не выглядел бы таким жалким. Вот сейчас приду, доложу. Напьюсь горячего чаю. Посплю. Теперь я имею право.

За спиной у меня автомат, на боку — две гранаты, с другого бока — противогаз. Очень воинственный вид. Очень. Кто-то сказал, что воинственность — признак трусости. А я

трус? Когда в восьмом классе мы поссорились с Володькой Аниловым, я первый крикнул ему:

— Давай стыкнемся! — и мне стало страшно.

Но мы пошли за школу. И товарищи окружили нас. Он первый ударил меня по руке.

— Ах так?! — крикнул я и толкнул его в плечо.

Потом мы долго ругали друг друга, не решаясь напасть.

И вдруг мне стало смешно, и я сказал ему:

— Послушай, ну я дам тебе в рыло...

— Дай, дай! — крикнул он и выставил кулаки.

— Или ты мне дашь. Кровь пойдет. Ну какая разница?

Он вдруг успокоился. Мы пожали друг другу руки по всем правилам. Но потом дружбы уже не было.

Трус я?

Вчера на рассвете мы остановились среди этих вот холмов.

— Все, — сказал лейтенант Бураков, — прибыли.

— Что это? — спросили его.

— Это передовая.

Он впервые был на фронте, как и мы все, и поэтому говорил торжественно и с гордостью.

— А где немцы? — спросил кто-то.

— Немцы там.

«Там» виднелись холмики, поросшие кустарником, реденьким и чахлым.

И я подумал, что мне совсем не страшно. И удивился, как это лейтенант так просто определил позиции врага.

НИНА

— А ты красивый, — говорит Сашка Золотарев.

Я бреюсь перед осколочком зеркала. Брить нечего. В землянке холоднее, чем на дворе. Руки красные. Нос красный. Кровь красная. Пока брился, весь изрезался. Разве я красивый? Уши врозь. Нос картошкой.

Для чего я бреюсь? Вот уже три дня на передовой, и ни одного выстрела, ни одного немца, ни одного раненого. Для

чего же я бреюсь? Вчера под вечер у входа в нашу землянку остановилась та самая красивая связистка.

— Привет, — сказала она.

А я посмотрел на нее и понял, что я небрит. Я увидел себя в ее глазах. Я словно отразился в них. Большие такие глаза. Цвет я не запомнил. Я кивнул ей.

— Как жизнь? — спросила она.

— Идет, — сказал я мрачно.

— А что это ты такой хмурый? Не кормили, что ли?

Я достал папиросы.

— Ого, — сказала она, — папиросы.

— Тебе что, делать нечего? — спросил я.

— Давай покурим, — сказала она. И сама взяла из пачки папиросу.

Мы курили и молчали.

Потом она сказала:

— А ты совсем еще малявка, да?

— Что это значит?

— Это рыбка, которая только из икры.

Я полез в землянку, а она смеялась вслед.

— Приходила Нинка? — спросил потом Коля Гринченко.

— Да. А ты ее знаешь?

— Я всех знаю, — сказал он.

Вот я побрился. У меня еще есть папиросы. Я чувствую, что она придет. И я расстегнул воротник гимнастерки. Пусть у меня будет лихой вид. И я расстегнул шинель и засунул руки в карманы. И встал за ящик с минами так, чтобы не видно было обмоток.

Кто я? Я боец, минометчик. У нас полковые минометы. Я рискнул жизнью. Может быть, чудо, что меня еще не ранили. Приходи, связистка, штабная крыса. Приходи, я угощу тебя папиросами. Приходи, может быть, завтра лежать мне, раскинув руки...

— А ты красивый, — говорит Сашка Золотарев. А я сплевываю и отворачиваюсь. Может, он смеется. Но губы мои, губы мои расползаются.

Сашка соскабливает глину с ботинок палочкой, потом покрывает ботинки толстым слоем тавота.

Придет Нина или не придет? Я скажу ей: «Привет, ма-дьявка...» Мы покурим с ней. Потом будет вечер. Если это война, то почему не стреляют? Ни одного выстрела, ни одного немца, ни одного раненого.

— А почему никого из начальства нет? — спрашиваю я.

— Совещаются, — говорит Сашка.

Хорошо, что я все-таки высокий и не такой толстый, как Золотарев. Если бы мне шинель по росту!

Приходит Коля Гринченко. Очаровательно улыбается и говорит:

— Старшина — гад. Себе жарит яичницу, а мне концентрат дает. — И смотрит на нас с Сашкой.

— Не шуми, — говорит Сашка.

— Это ему не тыл, — не унимается Коля, — здесь ведь разговор короткий. В затылок — и привет. И не узнают.

— Пойди скажи ему об этом, — говорит Сашка.

А старшина стоит за Колиной спиной, и на подбородке у него сияет жирное пятнышко.

— Понятно, — говорит он.

Все молчат. Он поворачивается и уходит в свою землянку. Все молчат. У Сашки блестят ботинки, как подбородок старшины. У меня вспотели ладони. Коля Гринченко красиво улыбается. А из землянки старшины и в самом деле тянет глазуньей.

— Глазунья хороша с луком, — говорит Сашка.

Приходит Шонгин. Это старый солдат. Он знаменитый солдат. Он служил во всех армиях во время всех войн. Он в каждую войну доходил до передовой, а потом у него начинался понос. Он ни разу не выстрелил, ни разу не ходил в атаку, ни разу не был ранен. У него жена, которая провожала его на все войны.

Приходит Шонгин и ест редис. И молчит.

— Откуда редиска?!

Шонгин пожимает плечами.

— Дай редисочки, Шонгин, — просит Сашка.

— Последняя, — говорит Шонгин.

Хорошо, когда нет начальства. Никто не командует, никуда не гонят. Как я шел с пакетом! Ведь это же черт знает что... Как будто Колю Гринченко не могли послать. В семнадцать лет мой отец создавал в подполье комсомол, а я стою, сутулый и смешной, и я ничего не создал, а только хвастаюсь своим благородством, которого, может быть, и нету...

А Шонгин достает редисочки одну за другой. Красные шарики летят в рот, хрустят.

— Шонгин, дай редисочки, — прошу я.

— Последняя, — говорит Шонгин.

Я загадываю: если Шонгин достанет еще редиску, Нина придет. Шонгин лезет в карман. Достает кисет. Не придет. И вдруг Коля говорит:

— Вот и Ниночка...

Я оборачиваюсь. С невысокого холмика спускается она. Рядом с ней незнакомая связистка. Нина идет легко. Шинель застегнута на все крючки. Шапка-ушанка... ах! Какая у нее ушанка!... Она немного набекрень. Привет, малявка! Все смотрят в ее сторону, все. Она идет.

— А-а-а! — Это Шонгин кричит. — А-а-а! — И падает. И Сашка падает. И Коля Гринченко.

— Ложись!

Я кидаюсь лицом вниз. Вот оно!.. Где-то далеко-далеко разрыв. Короткий. И шуршание. И тишина.

Кто-то смеется. У входа в землянку стоит старшина:

— Хватит валяться, ежики.

Мы молча поднимаемся. Коли нет. Он бежит к холму, туда, где легко шла Нина. Я вижу издали, как она медленно поднимается с грязного снега. А та, другая, лежит неподвижно. Лицом вверх.

Мы медленно, не сговариваясь, идем туда. И другие солдаты идут. Это первая наша мина. Первая. Наша.

ВОЙНА

Я познакомился с тобой, война. У меня на ладонях большие ссадины. В голове моей — шум. Спать хочется. Ты желаешь отучить меня от всего, к чему я привык? Ты хочешь научить меня подчиняться тебе беспрекословно? Крик командира — беги, исполняй, оглушительно рывкай «Есть!», падай, ползи, засыпай на ходу. Шуршание мины — зарывайся в землю, рой ее носом, руками, ногами, всем телом, не испытывая при этом страха, не задумываясь. Котелок с перловым супом — выделяй желудочный сок, готовься, урчи, насыщайся, вытирай ложку о траву. Гибнут друзья — рой могилу, сыпь землю, машинально стреляй в небо, три раза...

Я многому уже научился. Как будто я не голоден. Как будто мне не холодно. Как будто мне никого не жалко. Только спать, спать, спать...

Потерял я ложку, как дурак. Обыкновенная такая ложка. Алюминиевая. Почерневшая. С зазубринами. И все-таки это ложка. Очень важный инструмент. Есть нечем. Суп пью прямо из котелка. А если каша... Я даже дощечку приспособил. Щепочку. Ем кашу щепочкой. У кого попросить? Каждый ложку бережет. Дураков нет. А у меня — дощечка.

А Сашка Золотарев делает на палочке зарубки. Это память о погибших.

А Коля Гринченко кривит губы в усмешке:

— Не жалей, Сашка. На наш век баб хватит.

Золотарев молчит. Я молчу. Немцы молчат. Сегодня.

Лейтенант Бураков ходит небритый. Это для форсу. Я уверен. Огонь открывать не приказано. Идут какие-то переговоры. Вот и ходит наш командир от расчета к расчету. А минометы стоят в траншеях, в ложбинке. А траншеи вырыты по всем правилам устава. А уставы мы не учим.

Ко мне подходит наводчик Гаврилов. Подсаживается. Смотрит на мою самокрутку:

— Ты что это раскурился?

— А что?

— Искры по ветру летят. Темно уже. Заметят, — говорит он и оглядывается.

Я гащу самокрутку о подметку. Ярким фейерверком сыплются искры. И тут же на немецкой стороне отзывается шестиствольный миномет. И где-то позади нас шлепаются мины. И Гаврилов ползет по снежку.

— Говорил... твою мать! — кричит он.

Разрыв за разрывом. Разрыв за разрывом. Ближе, ближе... А мимо меня бегут мои товарищи. А я сижу на снегу... Я виноват... Как я буду смотреть в глаза ребятам! Вот бежит лейтенант Бураков. Он что-то кричит. А мины падают, мины падают.

И тогда я встаю и тоже бегу и кричу:

— Товарищ лейтенант!.. Товарищ лейтенант!

Охает первый миномет. Сразу становится уютнее. Словно у нас объявились сильные спокойные друзья. И смолкают крики. И уже все четыре миномета бьют куда-то вверх из ложбинки. И только телефонист, худенький юный Гургенидзе, восторженно вскрикивает:

— Попадалься!.. Эвоя!.. Попадалься!

Я делаю то, что мне положено. Я подтаскиваю ящики с минами из укрытия. Какой я все-таки сильный. И ничего не боюсь. Таскаю себе ящики. Грохот, крики, едкий запах выстрелов. Все смешалось. Ну и сражение! Побоище! Дым коромыслом... Впрочем, я все выдумываю... По нас ни разу не выстрелили. Это мы сами шутим. Но я виноват. И все знают об этом. И все ждут, когда я сам приду и скажу, как я виноват.

А уже становится темнее. Болит моя спина. Я еле успеваю хватать снег и глотать его.

— Отбой! — кричит Гургенидзе.

Я все расскажу командиру батареи. Пусть не думает, что я таюсь.

— Товарищ лейтенант...

Он сидит на краю окопчика и водит пальцем по карте. Он смотрит на меня, и я понимаю: ждет, когда я признаюсь.

— Я виноват. Я совсем не подумал об этом... Делайте со мной что хотите...

— А что я должен с тобой делать? — задумчиво спрашивает он. — Ты что, натворил что-нибудь?

Смеется? Или забыл? Я рассказываю ему все. Начистоту. Он смотрит с удивлением. Потом машет рукой:

— Послушай, иди отдыхай. При чем тут твоя самокрутка? Просто мы перешли в наступление. Просто нужно было стрелять. Иди, иди.

Я иду.

— Смотри не засни. Замерзнешь, — говорит вслед лейтенант.

Через час мы снова на ногах. Мы снова палим в немцев. Наступление. Я не вижу его. Какое наступление, если мы сидим на месте? Неужели так будет всегда? Грохот, запах пороха, крик Гургенидзе «Попадалься! Не попадалься!..» и эта проклятая ложбинка, из которой ничего не видно. А где-то наступление. Идут танки, пехота, кавалерия, поют «Интернационал», падают, знамен не выпуская из рук.

И когда небольшое затишье, я бегу на наблюдательный пункт. Я посмотрю хоть краешком глаза: а какое оно, наступление? Я подышу им. А НП — это не что-нибудь, а просто верхушка холма, и там на склоне лежат, едва высунув головы, наблюдатели, а комбат Бураков смотрит в стереотрубу. Я ползу по крутому склону и высовываюсь до пояса. И слышу, как запевают птицы. Птицы!

Кто-то стягивает меня за ногу вниз.

— Жить надоело? — шипит комбат. — Ты что здесь околачиваешься?

— Посмотреть хотел, — говорю я.

Наблюдатели смеются.

— Птицы откуда-то, — говорю я.

— Птицы? — переспрашивает комбат.

— Птицы...

— Какие птицы? — спрашивает из окопчика телефонист Кузин.

— Птицы, — говорю я и уже сам ничего не понимаю.

— Разве это птицы?— устало смотрит на меня комбат.

— Птицы... — смеется Кузин.

Я уже начинаю понимать, что это такое. Один из наблюдателей напяливает на палку свою шапку и поднимает над собой. И тотчас запевают птицы.

— Понял? — спрашивает комбат.

Он хороший человек. Другой бы начал топтать ногами и материться. Он хороший человек, наш комбат. Сейчас бы меня убили, если бы не он. Это он, наверное, за ноги меня подтянул.

Становится темнее, темнее. Серые сумерки окутывают холмы. И я слышу, как далеко-далеко бьет пулемет.

— Пулемет! — кричу я.

Никто не обращает на меня внимания.

— Пошли наши, — говорит комбат Бураков, — сейчас начнем. — И потом говорит мне: — На-ка погляди.

Я припадаю к стереотрубе. Я вижу степь. На краю ее, на дальнем, на фоне серого неба вытянулся полоской населенный пункт. И там из конца в конец, как фейерверк, протянулись разноцветные линии трассирующих пуль. И я слышу таракание пулеметов, дробь автоматов. Но я не вижу наступления. Я не вижу людей.

— Пошли, пошли! — кричат за моей спиной.

— Где, где?

И вдруг я вижу: по степи кое-где перебегают, согнувшись в три погибели, одиночные фигурки. Редко-редко.

— Хватит, — говорит комбат, — иди на батарею.

Я скатываюсь с холма. Я бегу. А навстречу мне плывет, покачиваясь на холмах, «виллис». А в нем сидит генерал. Я не знаю, что мне делать: пробежать или пройти строевым, приложив ладонь к козырьку...

Генерал Багров. Он меня не видит. Он размахивает руками. А «виллис» приближается к наблюдательному пункту. И там уже вытянулся в ожидании комбат. И ребята стоят. И стереотруба стоит на своих трех ногах неподвижно.

И генерал выскакивает из машины, подбегает к комбату:

— По своим бьешь! По своим?!

Комбат молчит. Только голова мотается из стороны в сторону.

А потом генерал смотрит в стереотрубу, а комбат что-то объясняет ему. И генерал жмет ему руку.

«Чудеса!» — думаю я.

— Отбой! — кричит в телефон Кузин.

На батарее тишина. Все словно прислушиваются. А минометы, как собаки, присели на задние лапы и тоже молчат.

— Что у тебя с ладонями? — спрашивает старшина.

Ладони мои в крови. Я не понимаю, откуда может быть кровь. Яжимаю плечами.

— Это от минных ящиков, — говорит Шонгин.

Сейчас мне будут делать перевязку.

Старшина поворачивается и уходит. Это он, наверно, пошел санинструктора звать. Я стою с вытянутыми руками. Сколько, наверно, крови вытекло! Сейчас меня перевяжут, и я напишу домой письмо...

— Иди вымой руки, — говорит, обернувшись, старшина, — сейчас позицию менять будем.

КОЛОКОЛЬЧИК — ДАР ВАЛДАЯ...

Помогите мне. Спасите меня. Я не хочу умирать. Маленький кусочек свинца в сердце, в голову — и все? И мое горячее тело уже не будет горячим?.. Пусть будут страдания. Кто сказал, что я боюсь страдать? Это дома я многого боялся. Дома. А теперь я все уже узнал, все попробовал. Разве не достаточно одному столько знать? Я ведь пригожусь для жизни. Помогите мне. Ведь это даже смешно — убивать человека, который ничего не успел совершить. Я даже десятого класса не кончил. Помогите мне. Я не о любви говорю. Черт с ней, с любовью. Я согласен не любить. В конце концов, я уже любил. С меня хватит, если на то пошло. У меня мама есть. Что будет с ней?.. А вы знаете, как сладко, когда мама гладит по голове? Я еще не успел от этого отвыкнуть. Я еще нигде толком не побывал. Я, например, не

был еще на Валдае. Мне ведь нужно посмотреть, что это за Валдай? Нужно? Кто-то ведь написал: «...И колокольчик — дар Валдая...» А я даже таких строчек написать не смогу. Помогите мне. Я все пройду. До самого конца. Я буду стрелять по фашистам, как снайпер, буду единоборствовать с танками, буду голодать, не спать, мучиться...

Кому я говорю все это? У кого прошу помощи? Может быть, вот у них, у этих бревен, которыми укреплен блиндаж? Они и сами не рады, что здесь торчат. Они ведь соснами шумели так недавно... А когда мы уезжали на фронт, помнишь нашу теплушку? Ах да, конечно же, помню. Мы стояли у раскрытых дверей и пели какую-то торжественную песню. И у нас были гордо подняты головы. А эшелон стоял на запасных путях. Где? На Курском вокзале. По домам нас не пустили. Я только успел позвонить домой. наших никого не было. Только старуха соседка Ирина Макаровна. Злая, подлая старуха. Сколько она мне крови испортила! Она спросила меня, где стоит эшелон.

— Жалко, — лицемерно сказала она, — не сможет мама повидаться-то с тобой.

И я повесил трубку и вернулся к своим. А через час появилась у вагона Ирина Макаровна и сунула мне сверток. А потом, когда мы пели, она стояла в маленькой толпе случайных женщин. Кто она мне? Прощай, Ирина Макаровна. Прости меня, разве я знал? Я никогда не смогу понять это... Может быть, ты и есть то лицо, у которого следует просить защиты? Тогда защити меня. Я не хочу умереть. Говорю об этом прямо и не стыжусь...

В свертке были сухари и четвертинка подсолнечного масла. И я поклялся сохранить один сухарь как реликвию... Съел. Значит, не смог сделать такого пустяка? А чего же я прошу? А разве не сам я, когда прилетела «рама» и все полезли по щелям, стоял на виду?

— Лезь скорей! — кричали мне.

А я не прятался. Ходил один и посмеивался вслух. Если бы они знали, что у меня внутри делается! А я не

могу побежать на виду у всех. Пусть никто не знает, что мне страшно. Но себе-то самому я могу сказать правду? Вот я и говорю. Я сам себе судья. Я имею на это право. Я не Петька Любимов. Помнишь Петьку Любимова? Ну, конечно, помню. Петр Лаврентьевич Любимов. Мой сосед по квартире. Когда началась война, он по вечерам выходил на кухню и говорил:

— Немцы, паскуды, прут... Надо всем вставать на защиту. Вот у меня рука подживает — пойду добровольцем.

— Тебя и так призовут, Петенька, — говорили ему.

— Так — не штука. Так всякий пойдет. А когда Родина в опасности, нужно не ждать. Самому идти. — И спрашивает меня: — А ты Родину-то любишь?

— Люблю, — говорил я. — Этому меня еще в первом классе научили.

А однажды я встретил его в военкомате. Это когда я повестки разносил. Он меня не видел. Разговаривал с капитаном каким-то.

— Товарищ капитан, — сказал он, — вот я освобождение принес.

— Какое освобождение?

— Броня. Как специалист броню получил. Не хотят меня на производстве отпускать...

— Ну зайдите вон туда и оформляйте. Броню так броню, — сказал капитан.

Броня так броня. Вот так Петька. Какой же он специалист незаменимый, когда он часовщиком на Арбате в мастерской работал. И пошел Петька оформляться. Прошел мимо меня. Прошел. Остановился. Покраснел.

— Видал? — спросил меня. — Вот так-то. Умирать кому охота?

Наверно, он и сейчас по брони живет. Как будто он известный конструктор или великий артист.

...Этот блиндаж не нами оборудован. Он хороший, этот блиндаж. Он поменьше, правда, чем штаб полка, где Нина сидит, но все-таки неплохой. Видно, отсюда наспех уходили. Вот фотографию женскую уронили. Некрасивая молодая

женщина улыбается с нее. А кто-то ее любит. Что ж он захватить-то ее позабыл?

— А ты, Сашка, броню получал? — спрашиваю я.

— Кто ж мне ее даст? — говорит Сашка. — Ее не всем дают.

— Дал бы кому надо, — говорит Коля Гринченко, — была бы тебе броня.

— Наверное, много давать? — спрашивает Сашка.

— Тысячи три. Барахлишко бы продал ради такого дела.

Набрал бы.

— Барахлишка набрал бы. У меня один шифоньер три тысячи стоит.

— Ну вот и дал бы.

— А-а-а... — машет Сашка рукой. — Иди-ка ты...

— А ты что не дал? — сердится Шонгин.

— А у меня денег не было, — смеется Коля.

— Болтать ты горазд... — говорит Шонгин.

ЛАФА

Восьмой день бьют наши минометы. У нас уже трое ранено. Я их не видел. Когда вернулся на батарею, их уже унесли. Мы переезжаем с места на место, и у нас уже не то что землянок — путевых окопчиков нет. Некогда возиться. Это наступление. Когда оно началось, Коля Гринченко говорил:

— Лафа, ребята. Теперь будет лафа. Теперь мы будем отлично питаться. Теперь поживем на трофейном добре. Хватит концентраты лопать.

Тогда мы все ему поверили. И напрасно. Мы и артиллерия всюду приходим последними, когда ничего уже нет.

И опять концентрат. И дубовые сухари. И Коля Гринченко говорит старшине:

— Старшина, какого хрена этот концентрат! Где фронтальная норма?

— А ты помнишь, ежик, как ты мне грозился? — спрашивает старшина.

— А ты докажи, — улыбается Гринченко.

— Ну вот и помалкивай, — говорит старшина.

Теперь у него грозное оружие против Коли. И Коля боится его. Я это вижу. Но иногда он забывает, что боится, и тогда переходит в наступление. И это бывает очень смешно.

Я помню, как мы вошли в первый населенный пункт, тот самый, который я видел с НП. Это было разбитое степное село. В уцелевших хатах уже хозяйничали кавалеристы: переодевались, спали, играли на гармонике, а в одной даже блины пекли. И мы, конечно, всюду попадали с опозданием. Куда же нам деваться?

— Пошли, — говорит Гринченко.

И мы с Сашкой Золотаревым идем за ним. Вот входим в хату. В хате жарко. Топится печь. Пусто. Лишь над сковородкой склонился казак. Это по лампасам видно.

— Здорово, земляки, — говорит Гринченко с порога, — принимай гостей.

Коля очень здорово умеет с людьми разговаривать. Очень по-свойски. Он при этом улыбается. Он так улыбается, что нельзя не улыбнуться в ответ. И вот казак оборачивается, и я вижу скуластое лицо и раскосые глаза.

— Вот так казак! — говорит Коля. — Откуда ты такой взялся?

— Что надо? — спрашивает казак.

— Ты калмык, наверно, а не казак. Калмык, да? — И Коля говорит нам: — Давай, ребята, располагайся. Эх ты, казак калмыцкий!

И Коля кладет на скамью свой вещмешок. А калмык берет вещмешок и швыряет к порогу. Он стоит перед высоким Гринченко такой маленький, скуластый и широкоплечий.

— Что, тебе калмык не нравился? Уходи назад.

— Ты что, гад... — Лицо у Коли покрывается красными пятнами.

— Иди, иди, — спокойно говорит калмык.

— Я кровь проливал, а ты меня на мороз гонишь?!

Сашка берет Колю за локоть:

— Не психуй, Мыкола.

— Уводи свой люди, — говорит калмык.

— Не сердись, пожалуйста, — говорю я.

— Уходи давай...

Вдруг открывается дверь и входят казаки. Их трое.

— Что за беда? — спрашивает один.

Калмык молчит. Мы с Сашкой молчим. Коля тоже молчит. Потом он улыбается и спрашивает калмыка:

— Что ж молчишь, калмык? — И потом говорит казакам: — Вот гад... сам к печке, а русского — на мороз!

— Чего они приперлись? — спрашивает казак у калмыка.

— Давайте-ка, ребята, сыпьте отсюда, — говорит нам другой казак. А третий говорит калмыку:

— Давай, Джумак, обедать.

А мы молча уходим из хаты. На мороз. В сумерки. Если Гринченко что-нибудь сейчас скажет, он мне опротивеет. Мне кажется, что это я обидел человека. Коля молчит. «Кровь проливал»... Он ведь и царапины не получил!

Теперь мы уже за этим населенным пунктом. Бейте, минометы, бейте! Дуй, ветер! Сыпь, дождь пополам со снегом! Мокни, моя спина! Болите, мои руки!..

Что делать, чтобы не мерзли ноги? Ах, сапоги нужны. Широкие. На три номера больше. Чтобы всякого навертеть-навертеть... Чтобы нога как в гнезде была... А еще нужно ходить. А мы почти и не ходим. Все время приходится менять позиции. Значит, садись в машины и пошел-пошел! Дождь идет. Дождь идет прямо с неба. Снег идет. Откуда-то сбоку. Ветер --- со всех сторон. Днем и ночью мы промокаем насквозь. К утру подмораживает. Шевелиться не хочется.

И думаю о Пине. Мне кажется, что она на одной из машин. Погиб телефонист Кузин. Пуля вошла ему в рот. Она была уже на излете, слабая. Но что то успела видеть, и он умер.

РАЗГОВОРЫ

Это, наверное, первая ночь, когда мы спим нормально. Мы лежим на полу покинутой хаты. Лежим на шинелях. Укрываться нельзя. Жара. Шонгин натопил печь. Нас набилось в хате с избытком. Только летает медленно и однообразно красный светлячок шонгинской самокрутки.

— Дай закурить, Шонгин, — просит Сашка Золотарев.

Шонгин молчит. Летает красный светлячок.

— Дай закурить, Шонгин, — прошу я. Мы ведем игру негорючиво, привычно.

— Да он спит, — говорит Коля Гринченко.

Красный светлячок жалко и неподвижно повисает в воздухе. Я вглядываюсь в темень и словно вижу стиснутые губы Шонгина и открытые мигающие глаза.

— Курить хочется, — говорит Сашка, — разбудить его, что ли?

— Не буди, — говорит Коля, — пусть человек поспит. Сам возьми, сколько тебе надо.

— Табак у него в прогивогазной сумке лежит, — говорю я.

— Я вам возьму, — говорит Шонгин, — я сам насыплю.

— Ну вот, человека разбудили, — говорит Коля.

Слышно, как кряхтит Шонгин.

Мы лежим и старательно затягиваемся горьким дымом самокрутки.

Тишина. Потом кто-то говорит из темноты:

— Хорошо б сюда Нина пришла бы. Мы бы с ней беседу провели.

Сашка Золотарев смеется.

— А я толстых люблю, — говорит он, — и чтобы выше меня.

— У Ниинки муж есть, — говорю я.

Сашка смеется:

— У меня тоже жена есть. Может, Ниинкин-то сейчас у моей олады ест.

— Война, — говорит Коля, — все перемешалось. А потом, если любовь, так ведь тут не прикажешь...

Булай Оксужава

Сашка смеется.

— Паскуды вы, ребята! — говорит Шонгин и поворачивается на другой бок.

— А я на гражданке с такой и не пошел бы, — говорят из темноты.

А я пошел бы.

— У меня такая девочка была. Катя ее звали, вот была красавица. Коса до пояса. Нинка — это так...

— А тебе ее не навязывают, — раздраженно говорит Коля.

— Не нравится, — говорю я, — не бери. Верно, Коля?

— У твоей Кати нос, наверно, пупочкой был, — смеется Сашка, — ты ведь таких любишь. Чтоб нос пупочкой и чтоб от нее тестом пахло...

— Досмеешься, Золотарев, — угрожают из темноты.

Ты жива еще, моя старушка.

Жив и я. Привет тебе, привет.

Пусть струится над твоей избушкой...

Это Коля поет.

И вдруг открывается дверь. И голос комбата врывается в темень:

— Кто там пессимизм разводит?

И снова тишина.

Что будет завтра? Куда нас понесет? Из дому писем нет. У Сашки на палочке не осталось места для зарубок. Если меня ранят, попаду я в госпиталь. Наемся. Приеду в отпуск домой. Пойду в школу. И все увидят мои костыли. И нашивку за ранение на груди. И может быть, медаль мне дадут, так ее тоже увидят. И выйдет Женя. И уже она не будет посмеиваться. А все будут смотреть то на нее, то на меня. А я скажу ей: «Привет, Женечка». И пойду, пойду по коридору. А она догонит меня: «Может, ты зайдешь ко мне домой? Я соскучилась по тебе». — «К тебе? Домой? Что ты, что ты. Незачем. За это время многое изменилось». И пойду я по коридору.

А девочки скажут ей тихо: «Дура ты, Женька. Сама виновата».

— У меня от тыквы живот болит, — говорит Сашка.

— Я ее на гражданке сроду не ел, — говорит кто-то.

Коля советует:

— А ты, Сашка, пойдй сходи.

— Дурак, — говорит Сашка, — тыква вещь хорошая, только когда не сырая.

— А я борщ люблю, — говорят из темноты, — густой, чтобы ложка стояла. Мне никаких вареников не надо.

А у меня нету ложки. Я как без рук без ложки. Надо мною смеются, над щепочкой моей. И сам я смеюсь... А ложки-то нет у меня... И сапог нету. Были бы у меня сапоги, не так бы мы с тобой, Нина, разговаривали...

Нина, ты тоненькая такая. Вот мы идем с тобой по городу. Вот навстречу идет Женя. Она все понимает. И молчит. Дура она. А мы идем. А на мне черные брюки, белая рубашка с отложным воротничком, а через плечо — аппарат «лейка». И никакой войны.

— А еще я съел бы сметаны, — говорят из темноты.

НИНА

Сколько ни хожу в штаб полка, сколько на Нину ни смотрю — она не замечает. А свои, штабные, говорят с ней просто: «Нина, дай кружку...», «Что, милая, устала?..», «Давай покурим...», «Здорово, Ниночка! Вот и еще раз увиделись!..» и обнимают ее. А она подаст кружку, улыбается, курит, сидя на ящике, и целует вернувшихся с задания, целует прямо в небритые щеки.

Это потому, что они свои. А кто они, эти свои? Они — штабные крысы. А я прихожу с батареи. Я жизнью рискую. У меня руки сбиты, шинель обожжена, губы потрескались. Но они — свои.

Я пролезаю в штабной блиндаж. Там тепло. Горит веселая пузатая трехлинейка. Пахнет хлебом. И никого. Только Нина сидит с наушниками у приемника.

Будит Оксужава

— «Дон», «Дон», я — «Москва»... Прием. «Дон», «Дон», я — «Москва», как слышно? Прием.

— Здорово, Нина, — говорю я развязно.

Она кивает мне. Это так по-приятельски, так хорошо. Это так неожиданно.

— Как меня слышно? Вот теперь хорошо? Прием... — Она снимает наушники.

— Садись, вояка. Отдыхай.

— Некогда, — говорю я и сажусь. На нары. И смотрю на нее. Она смеется:

— Ну чего уставился?

— Так. Давно не видел, как женщина смеется. Там ведь у нас, на батарее, женщин нет. Сашка вот Золотарев иногда улыбнется, Коля Гринченко, а женщин нет.

Она снова смеется:

— Этот ваш Коля сюда часто ходит. Все мне про свои геройства рассказывает. Не люблю хвастунов.

— Ты приходи к нам.

— Куда это?

— На батарею.

— Чайку попьем?

— Посидим покурим...

— Посидим покурим, — смеется она.

Какой я бравый был, когда вошел. Какой бравый! Даже пламя лампы заходило ходуном. А теперь оно не шелохнется.

— Хочешь, чайком напою?

— Я чай не пью, — говорю я. И усмехаюсь.

— А, понимаю, — говорит Нина, — ты к спирту привык.

— Привык не привык, а предпочитаю. Чаем будем на гражданке баловаться.

Она смотрит на меня прямо, не мигая, и смеется:

— Чудак ты. У нас разведчики — такие ребята, а от чая не отказываются... Ну и чудак ты. А я приду к вам, на батарею. Ладно? Посидим покурим... а?

— Да?

— Да... А у тебя глаза хорошие.

У меня белые крылья вырастают за спиной. Белые-белые. И от них светло, как от ракеты над передовой... Бред.

— И все-то ты врешь насчет спирта.

Это она говорит издалека. Я ее не вижу. Только два больших глаза. Круглых. Серых. Насмешливых.

Выходят какие-то люди. Топают сапогами. Говорят разные слова. А я слышу:

— «Дон», «Дон»... у тебя глаза хорошие... перехожу на прием, прием.

— От лейтенанта Буракова? — спрашивают меня.

— Так точно.

— На-ка вот.

Я беру бумагу. Кладу ее в карман. Иду к Нине:

— Так ты придешь?

— Куда?.. А, на батарею? Посидим покурим? Да?

— Приходи.

— А я не курю ведь, — смеется она. — Так посидим, да?

— Что, Ниночка, красивых солдатиков завлекаешь? — слышу я за спиной.

— Вот ведь все спокойно, тихо, а мне муторно как-то. Предчувствие у меня, — говорит Шонгин, — и тишина мне не в радость. Ну не радует она меня.

Маленький, худенький Гургенидзе стоит перед лейтенантом Бураковым. На кончике носа у него капля. Он размахивает руками:

— Отпускай меня домой четыре дня. Кварели — мой дом. Принесу разный пурмарили, еда. Вино, хачапури, лобио. Этот каша уже нэлзя.

Лейтенант смеется:

— А кто воевать будет?

— Я буду, — клянется Гургенидзе. — Кто будет? Я буду. Пока здэсь война нэту.

— А как же ты добираться будешь?

— Что?

— Как поедешь?

Гургенидзе смотрит на лейтенанта с сожалением.

— Давай отпуск. Сдэляем.

Комбат смотрит на нас:

— Ну как, отпустим?

— Да, видите, какое дело, товарищ лейтенант, — говорит Шонгин, — отпустить бы можно, а вдруг начнется? Как же без такого связиста?

— Вот так, — говорит комбат, — не можем мы без тебя.

— Зачем нэ можем? — волнуется Гургенидзе. — Можем. Четыре дня войны нэту.

— А ты, Гургенидзе, сходи к немцам, спроси, когда начнут. Может, и можно поехать, — предлагает Сашка Золотарев.

Все смеются. Не выдержали. Гургенидзе пытается понять, что произошло. Потом машет рукой.

— Эээ! — И сам смеется.

И капелька, не удержавшись на кончике носа, летит на землю.

И комбат говорит, посерьезнев:

— Отдыхайте. Все. Вечером будем работать.

И уходит.

Вечером опять ничего. Я просил ее заходить на батарею. Для чего она придет? Для чего? Что ей здесь делать? Как в парк пригласил: «Приходите, погуляем». Если бы она видела мои руки, покрытые шрамами и мозолями, руки мои в заусенцах, руки мои, которые отмыть невозможно, так въелась в кожу копоть... Я скажу ей: «Послушай, давай без фокусов. Ты ведь видишь все, ты ведь понимаешь. Ну давай просто: ты и я. Чтоб я знал, что ты ко мне идешь. Пусть все видят. Ну давай, а? Послушай, мы ведь с тобой одногодки. Ведь это же ерунда, что мужчина обязательно должен быть старше. Я ведь тебя давно знаю, давно-давно. Ну, пожалуйста, не делай вид, что тебе все равно. Я знаю, что ты это от смущения посмеиваешься надо мной». И когда я буду это говорить, выйдет белая луна, и снег заискрится, и никого кругом не будет, и обмотки мои будут не видны.

— Ты чего не отдыхаешь? — спрашивает Коля Гринченко.
Ну что мне сказать?

— А я вчера с Ниночкой договорился. Сегодня придет.

— Врешь ты все, Коля, — облегченно говорю я. — Как же ты врешь!

— Поглядишь, — говорит он. — Лови момент.

Коля стоит передо мной. От него пахнет одеколоном. Побрился. Побрился? Неужели придет? Ну да, конечно, она же смеялась, а я...

Вот над немецкими траншеями взвивается ракета белая-белая. Где-то одиноко и грустно стучит и смолкает пулемет.

Коля Гринченко покуривает в кулак. Улыбается.

— Да, а Ниночка сейчас придет. Побеседуем.

— Она ведь замужем, — говорю я, — ничего у тебя не выйдет.

Он улыбается. И покуривает. Потом отходит в сторону. И молчит. Раз молчит, значит, правда. Значит, она придет. Дурак я, дурак. Просил, унижался. А ведь надо так, как Гринченко говорил. Да, надо так. Обнять, прижать, чтобы косточки хрустнули, чтобы слова не могла вымолвить, чтобы почувствовала: вот мужчина! Это им нравится. Это. А разговоры... кому они нужны? Ах ты, Нина сероглазая! Я теперь знаю, что тебе сказать...

За блиндажом урчит «виллис». И слышится женский смех. И я вижу, как Коля бросается туда. Приехала! И я слышу голос ее:

— Здравствуй, здравствуй. А улыбочка-то, улыбочка! Невозможно устоять. А я вот в гости к вам. На минуточку. Упросила майора, чтоб с собой взял. Вот вы как живете! Смотри пожалуйста, и немцы рядом! Чего ж ты, Коля, молчишь? Как будто и войны нет — такой ты щеголь, Коля. И бриться успеваешь. А у вас тут мальчик есть, черноглазенький такой, он-то где?

— Какой еще черноглазенький? — спрашивает Гринченко.

— Ну такой, черноглазенький.

Я слышу ее тихий смех. Она хорошо смеется. Подойти? А почему я должен подойти? А почему это обязательно про меня? Вот и Гургенидзе — черноглазый. И комбат — черноглазый...

Темный тонкий ее силуэт выплывает из-за блиндажа. Словно темная луна. Остановилась и слегка покачивается:

— Вот ты где, воин... Посидим покурим, а?

Она подходит, подходит, подходит...

— Интересно как! — говорит она. — Вот на войне у меня свидание. Ты что же молчишь? А-а-а, ты наверно, спирту напился, да?

— Ничего я не пил.

— Ну, расскажи что-нибудь...

— Пойдем туда, за минные ящики, посидим.

— О, какой ты! Сразу — в уголок.

— При чем тут это?

— При том, что каждому этого хочется. А на передовой тем более. Что завтра будет?

— Ты мне нравишься, Нина.

— Я знаю.

— Знаешь? Задаешься просто.

— Что ты, что ты, мальчик. Мне Коля Гринченко ваш рассказал, как ты во сне со мной разговариваешь.

— Врет он все!

Из-за блиндажа закричали:

— Нина! Шубникова! К машине!

Ну вот. Пора. Так ты и не сказал мне ничего. Кто ты, что ты, что делать будем, — говорит она и ладонью проводит по щеке моей. — Ну, прощай. Война ведь. Может, и не увидимся.

— Я завтра приду к тебе. Ты мне нравишься.

— Я многим нравлюсь, — говорит она, — здесь ведь никого, кроме меня-то, нет.

Она бежит к машине. Она быстро бежит. А над немецкими окопами все чаще и чаще взлетают ракеты.

ЭХ, МАХОРОЧКА-МАХОРКА...

Так из затишья возникает гром, так в сером утре появляются неожиданные краски: красное — на сером, рыжее — на сером, черное — на белом. Пламя, ржавое, искореженное железо, неподвижные тела.

Нина укатила с майором в штаб. Последняя ракета над немецкими позициями как последний цветок. Сейчас Нина кричит, наверное, в микрофон: «Волга», «Волга», я — «Дон»... Как слышно? Прием...» А у меня в руках толстенькая, мирная такая мина. Сейчас я передам ее заряжающему. И миномет охнет, приседая на задние лапы.

Я знаю, как будет. Ох, какой я уже опытный! И ладони мои уже не болят.

А Коля Гринченко сидит на опорной плите миномета. Он очаровательно улыбается. И поет тихонечко, для себя:

Эх, махорочка-махорка...

--- Немцы прорвались, слышал? --- спрашивает Сашка.

--- Пехота?

--- Нет, танки.

--- Сюда идут?

--- По тылу ходят...

--- Много?

--- Штук сорок, говорят.

Высоко над нами плывут немецкие бомбардировщики. Им не до нас. Они сбросят бомбы далеко в тылу, в нашем.

Будет медикам работенка, --- говорит Сашка.

А Коля напевает:

Эх, махорочка-махорка...

И тогда справа на сопочке разрынается немецкий снаряд. И в ответ дружно ударяют наши минометы. Все четыре. А потом еще раз. И еще.

А за нашей спиной вспыхивают рыжие кусты разрывов. И горячий ветер касается шеи. И в затылке противно ноет. Немецкая артиллерия отвечает все чаще и чаще.

— Нашцупали! — кричит кто-то.

Я ношу и ношу мины. Я уже не задумываюсь ни над чем. Каждое движение привычно до черта. Десять шагов назад. Холодного шестнадцатикилограммового поросенка — в ладони. Десять шагов вперед. Можно даже с закрытыми глазами. Несколько раз туда и обратно. И пальцы сами растегают крючки шинели. И подхватывают снег, и заталкивают его в рот. И вдруг возникает глупая мысль: кончится бой, возьму сахар, смешаю со снегом — получится мороженое...

Десять шагов вперед. Десять — назад. Поросят — все меньше и меньше. Сколько времени прошло? Счастливые часов не наблюдают... В спину ударяет взрывной волной. Я не могу устоять. Я падаю.

— А-а-а-а-а-а!.. — кричит кто-то. И снова, уже слабее: — А-а-а-а!..

Это я сам кричу. Я вижу спины товарищей. Они ведут стрельбу. Они меня не видят. Слава богу! Все у меня цело, ничего не болит. Чего я раскричался? Вот если бы прямое попадание... Но это невозможно. Почему именно в меня? А почему бы и нет? И вдруг особенно сильный разрыв. И снова крик. Это уже не я кричу. Это кто-то другой кричит. Он так кричит, что нельзя не оглянуться. Я вижу, как Коля подбегает к нему, а потом закрывает лицо ладонями и бежит обратно. И, не добежав до своего миномета, останавливается, и стоит, нагнувшись.

Кто там был, у первого миномета? Никого вспомнить не могу. Никого. Вот так начисто всех. А у Сашки на палочке не осталось места для зарубочек. А командир взвода Карпов кричит, чтобы мы свертывали позицию. И все быстро-быстро работают. Скорей-скорей... Сейчас разнесут нас немцы, если будем копаться. И уже минометы прицеплены к «ЗИСам». И мы выкарабкиваемся из ложбинки, где была наша позиция. Где будет новая наша позиция? Что ждет

нас впереди? Все молчат. А у меня перед глазами — черные пятна на снегу, воронка и фигура в шинели, медленно бредущая к нам. Я не хочу думать об этом, а оно сидит в голове, и никак от него не избавиться.

— Вот и нету первого, — говорит Сашка.

— Нету, — говорю я.

— И ребят нету, — говорит Сашка.

— Помолчи...—Это Шонгин требует. Он сидит согнувшись.

А машины идут. И я не замечаю уже стрельбы. Я только вижу бледное лицо Коли. Он смотрит куда-то вперед и даже не шевельнется.

— Слышь, Коль, — говорит Сашка, — скоро с Нинкой-то прощаться. В другую дивизию нас перебросят...

Коля сидит все так же.

— Помолчи, — говорит Шонгин.

— Сейчас еще танков не хватает по нашу голову, — говорит Гаврилов, — они по тылам ходят.

Мы проезжаем мимо какого-то пожарища. Сарай стоял, наверное. Он сгорел. Дымятся головни. И пахнет так отвратительно тоскливо. Запах гари, запах гари... Это не то слово.

С новых позиций мы ведем огонь по врагу. Три наших миномета рывкают куда-то через холмы. А я подношу и подношу мины.

А ведь могло ударить в наш миномет. Не в первый, а в наш. И не подносил бы я мин. Может быть, я шел бы по полю, медленно, враскачку, а потом упал бы. Здесь пока спокойно. Нас пока не накрыли. И снова:

— Отбой!

И опять — по машинам. И — в ночь, в ночь, в темень. Мы топчемся в темноте вокруг машин. Цепляем минометы. А где-то высоко, в черном небе, гудят бомбардировщики.

— Наши идут.

— А днем-то их не видать.

— Пусть хоть ночью.

Подходит командир взвода младший лейтенант Карпов. Он руки потирает. Щеки потирает. Замерз или волнуется наш командир взвода?

— Опять переезжаем? — спрашивает Сашка Золотарев.

— А как же, — говорит Карпов, — вперед идем, ребята. Хватит отсиживаться...

— Отсиживались... — говорит Шонгин, — вон скольких потеряли!

— Война, — говорит Карпов тихо, — уж вам ли, Шонгин, старому солдату, говорить об этом?

Все молчат. Слова — это просто смешно. Действительно война. Ну что тут скажешь? Карпов виноват? Вон он какой краснощекий, молодой, энергичный... Я виноват? Коля?

Мы сидим в машине. Бездорожье. Машину покачивает, как корабль. Мы покачиваемся из стороны в сторону. Хорошо еще, что едем. А то ведь могло развезти все кругом. Попробуй потаскай на себе «ЗИСы». Мы едем. Идет снег пополам с дождем. Мы промокаем постепенно. Сначала это даже хорошо: прохладно становится после запарки. И холодные капельки уютно затекают за шиворот. А вот сейчас уже бы ни к чему. Хватит. Я знаю, через минуту нас начнет бить мелкая дрожь. И тогда попробуй-ка согрейся. И ноги замерзают. Быстро и наверняка. И мы движемся в сторону нового боя. Уже ясно слышны разрывы и автоматные трели. И озаренное небо выплывает из-за холма.

«ГДЕ ВАША ДОЧЬ?..»

Как все хорошо складывается. Завтра напишу письмо домой. Я жив. Что осталось от батареи? Два миномета и не больше тридцати человек. А я жив. Меня даже не царапнуло. Завтра напишу письмо. Домой.

— Давай постучимся... — говорит Сашка Золотарев.

Ночь. Хатка какая-то. Окна темны.

Я стучу в ставню. «Мадам, не будете ли вы столь любезны...» Никто не отвечает. «Мадам, я остался в живых.

О, если б вы знали, что там было!..» Я стучу в ставню. «Ботфорты — сюда, мундир — в гардероб, шпагу — на стул...» — «Благодарю вас... А где же ваша дочь?..»

— Спать... Спать.. Спать... — говорит Коля.

Я стучу в ставню. «Вальдшнеп?.. Сыр?.. Вино?..» — «О, благодарю вас. Ломтик холодной телятины и ром. Я солдат, мадам». Я стучу в ставню.

— Замерзнем к черту.

— Пошли в другую.

— Еще разок постучи.

Я стучу в ставню. Сашка стучит в ставню. Коля стучит в ставню.

«Вот ваша комната. Спокойной ночи». — «Спокойной ночи, мадам. А где же ваша дочь?..»

— Чего вам еще?

На пороге раскрытой двери — женщина. Она закутана.

— Нам бы переночевать, мамаша.

— Мы в живых остались, — говорю я.

— Радость-то какая... — говорит женщина, — только вас и не хватало.

— Мы зайдем? — спрашивает Коля.

— Холодно очень, — говорит Сашка.

— Мы переночуем только и уйдем, — говорю я.

В сенях холод. В комнате тепло. Чадит коптилка. Кто-то ворочается на печи. Комната маленькая. Куда мы все ляжем?

Женщина сбрасывает платок. Она совсем молодая.

— Ложись сюда, — говорит она Коле. Она в угол показывает. Хорошее место у Коли. — А ты сюда, — говорит она Сашке.

Золотарев ложится на свою шинель, расстелив ее под столом. И Коля молча раздевается. А меня устраивают на короткой лавке под печкой. Лежать можно только на боку. А, черт с ним! Лишь бы лежать. А сама хозяйка ложится на койку. На раскладную. Заваленную каким-то тряпьем. Она лезет под это тряпье, не снимая полушубка.

Я кладу шинель на лавку. Гаснет синий огонек коптилки. Чья-то рука проводит по волосам моим.

— Лезь ко мне, — говорит с печки тихий голос, — у меня тепло.

— А ты кто?

— Какая разница? Лезь. У меня тепло.

— Манька, — равнодушно говорит хозяйка, — смотри у меня...

— Тебя не спросилась, — говорит Манька с печи. А рука ее гладит меня, гладит. — Лезь сюда.

— Обожди, ботинки сниму.

— Лезь. Какая разница?

Вдруг услышат?.. «Где ваша дочь, мадам?..» Вдруг услышат... Вот тебе и дочь!.. Возле Маньки тепло. Если я прикоснусь к ней, все полетит к черту. Манька... Неужели так и называть?

— Тебя как зовут?

— Мария Андреевна...

Вот тебе раз! Как же так... У нее горячий упругий живот, руки маленькие, цепкие.

— Сколько вам лет?

— Шестнадцать. А что?

— Тишшше...

— А что? А что?

— Услышат...

— Пусть... Иди поближе.

— Манька, — говорит хозяйка, — ой смотри, Манька...

— Сама разберусь, — говорит Манька.

А внизу покашливает Сашка Золотарев.

А Коля говорит:

— Хозяйка, а тебе не холодно?

А Мария обвинилась вокруг меня, и уже не понять, где я, где она. Все перепуталось.

— А сердце-то у тебя ой как бьется, — смеется она прямо в ухо, — испугался, что ли?

А Коля спрашивает:

— Тебе не холодно, хозяйка?

Так просто? И Нина вот так же? И все?..

— Ты что, неживой, что ли?

— Пусти меня.

— Да уж я шучу, дурачок...

— Пусти, Мария...

— Мария... — говорит хозяйка, — как же, Мария. Дура белобрысая, а не Мария.

— Пусти, хуже будет.

— Ну давай так полежим, ладно?

— Пусти...

— Ну и вались на свою лавку, раз тебе с людьми тесно.

...На лавке — прохладно. Сашка покашливает.

Коля говорит из своего угла:

— Хозяйка, замерзла ведь в тряпье-то. Хочешь, шинелью накрою?..

...Кто-то ходит по хате. И что-то шепчет. Это тихий то-ропливый шепот. Слов я не разбираю. Это, наверное, Мария там, на печке. А может быть, это хозяйка. А может быть, это и не шепот, а тишина. Но кто-то всхлипывает. Как трудно, наверное, в этом маленьком поселке. А меня завтра засмеют. За смеют, засмеют! И поделом мне. Сама просила. Уговаривала... Засмеют. Утром встану пораньше, пойду в другую хату, или в штаб пойду, или в машину пойду... А она как огонь горячая. Мария Андреевна. Она первая смеяться будет. Шестнадцать лет... Коля про таких говорит «кровь с молоком»... А кто-то и в самом деле плачет. Или это за окном?

— Кто это? — спрашиваю я.

— Не ори, — говорит хозяйка, — лег и спи.

Это у меня бред. А меня засмеют, засмеют... И все-таки кто-то плачет. А может быть, это Мария смеется?..

Утром Сашка Золотарев говорит:

— Похоже, что здесь припухать. Комбат картошку ест. Машины разбиты.

Сашка уже умылся. От него пахнет морозом. Щеки у него, как у ребенка, пунцовые. Уже успел все разузнать. А Коля спит. А в хате — ни Марии, ни хозяйки.

— Что ж с нами теперь будет? — спрашиваю я.

— А ничего не будет, — говорит Сашка, — подождем новую технику — и снова.

Будит Оксужава

— А машины побиты?

— Начисто.

— А кухня работает?

— Какая там кухня...

Сашка достает из мешка три пачки горохового концентрата.

— Вот выдали. Будем варить. Коло-то будить надо. Вставай, Мыкола!

И вдруг входит хозяйка. И снимает платок с головы. И я вижу, что она совсем молодая. И красивая.

— Вставай, Мыкола, — говорит Сашка. Но Коля спит.

— Зачем будишь-то? — спрашивает хозяйка. — Пускай его спит. Устал ведь.

Она говорит строго очень, а сама все на Колю смотрит.

— Давай сварю, — говорит она и берет у Сашки концентрат.

...Мы сидим за столом. Мы молчим. Едим похлебку гороховую. Мы едим деревянными ложками. А у меня ложки нету. Вот уйдем отсюда, и достану я свою дощечку. А уж этой деревяшкой сейчас поем. Давно ложки у меня не было... Мы едим гороховую похлебку, хлеба нет. Коля ест медленно. Изредка на хозяйку поглядывает. А она сидит напротив. И тоже иногда на него глядит. И все. А я жду, что Мария вот-вот начнет смеяться. А она и не смотрит на меня. Я сейчас только и разглядел ее как следует. Она курносая такая. И лицо широкое. И на лоб смешная челочка спадает. А на носу — несколько крупных не то веснушек, не то просто родинок.

— Ну как, конопущечка, — говорит ей Сашка, — как жить дальше будем?

— Проживем, — говорит Мария.

— Вкусная штука получилась, — говорит Коля и смотрит на хозяйку.

— А что это вы друг на друга и не похожи вроде? спрашивает Сашка. — Живете вместе, сестры как будто, а не похожи.

— А мы и не сестры, — говорит Мария, — мы чужие. Просто живем вместе.

— А похлебочка-то ничего получилась, — говорит Коля. И смотрит на хозяйку. А она ничего не говорит.

И вдруг входит Шонгин.

— Ну вот, принесло, --- громко говорит хозяйка.

А Шонгин садится на табурет.

— Много народу побило, — говорит он, — и раненые есть. Увезли. --- И достает кисет.

— Покурим? — спрашивает Сашка.

— А чего курить? — говорит Шонгин. — Тут и на одну не наберется. — И показывает кисет.

— А ты где спал, Шонгин? — спрашивает Коля.

— А я и не спал, — говорит Шонгин, --- раненых больно много было. Пока всех подобрали --- и утро.

— Сейчас бы покурить, — говорит Сашка.

— Покури, покури, — говорит Шонгин и затягивается. Он пускает большие клубы дыма. И говорит: --- Вот зашел поглядеть, как вы тут.

А хозяйка наливает в чашки молоко. И Коля говорит:

— Слышь, Шонгин, концентрату тебе не хватило. Может, молока попьешь?

— Козье молоко, — говорит Мария.

— А я уже ел, — говорит Шонгин, --- ел. Гургенидзе ранило. Я супу сварил ему и себе.

Бедный маленький грузин. Совсем мальчик. С вечной каплей на носу. «Попадалься --- не попадалься...»

— Сильно его, Шонгин?

— Приблизительно ничего себе, — говорит Шонгин, -- на машине лежит, на последней. Сейчас повезут.

Я бегу по свежему снегу. К машине. Возле нее ходят солдаты. Гургенидзе лежит на соломе, в кузове. В обгорелой шинели. Он поднимает забинтованную голову. На кончике носа повисает кашелька.

--- Попадалься, --- грустно улыбается он.

А мы с ним не дружили. Так, знали друг друга. А у него покрасневшие веки часто-часто вздрагивают.

Будай Оксужава

— Куда тебя?

— Голова попадался, живот попадался, нога тоже попадался... Шонгин мэня носил на своем спина...

— Ничего, Гургенидзе, теперь отдохнешь. Все хорошо будет.

Мотор тарахтит. Гургенидзе откидывается на солому. Руки у него на груди сложены.

— Какой у нас часть? — спрашивает он. — Какой номер?

— Отдельная минометная батарея, друг.

— Нэт, полк какой?

— Кажется, 229-й...

— А дивизия какой?

— А зачем тебе?

— Госпиталь спрашивают...

Мотор гудит ровно. Кузов подрагивает.

— Какой дивизия?

— А черт ее знает! — кричу я.

Машина идет по свежему снегу. Рука Гургенидзе торчит из кузова. Это он прощается с нами. Уехал, уехал... А ложку забыл я у него выпросить!

Комбат говорит мне:

— Собирай всех. Пора. Отдохнули.

...В хате нет никого. За домом на бревне сидит хозяйка и Коля. Она молчит. Голову подперла ладонью. Глаза у нее красные. Губы, как у девочки, надуты. А Коля курит и тоже молчит.

— Пора, Коля, — говорю я, — комбат приказал...

— Знаю, — говорит он и встает. И смотрит на меня. Я жду его.

— Знаю, — говорит он.

Я ухожу. Пусть прощаются.

ДОРОГА

— Видал у немцев машины? — спрашивает Коля. — Брезент, и все такое. Сидят, как дома. А тут...

— Я же ног не чувствую, — говорит Сашка Золотарев. —

Я бы валенки обул. Пимы. Морда — черт с ней, главное — ноги. Может, у меня большой палец уже отвалился, а? Сниму ботинок, а он выпадет.

А мне бы не валенки. Мне хотя бы сапоги. С широким голенищем. Чтобы они как корабли. Встал в воду — ничего, встал в снег — ничего. Хоть ночь стой. Пожалуйста.

Степь, степь, степь. Когда мы остановимся? Идет наступление. Кочует наша батарея. То в одну часть ее направляют, то в другую. Где-то, неизвестно где, остался полк, которому были мы приданы. А там — Нина. Нина, Нина, очень ты мне хорошо улыбалась. И не могу я тебя позабыть. Кто ты и откуда? Ничего мне не известно. Где я тебя разыщу? Все померкло, потускнело все, что было. Где-то Женя в тумане, вдали. Только ты, Нина. И зачем ты так хорошо со мной говорила?

— А я во сне разговариваю? — спрашиваю у Коли.

— Один раз говорил. С Нинкой Шубниковой.

— Что?

— Садись рядом, Нина. Ну, садись. Посидим покурим — так говорил. Потеха.

— А она тебе про меня говорила?

И зачем спросил? Сейчас он посмеется. Выдумает что-нибудь...

— Нет, не говорила, — хмурится Коля. — Чего говорить. Она с начальником штаба полка живет. Помнишь, майор такой высокий?

Помню, помню. Если бы он этого не сказал, теплее было бы. Если когда-нибудь встречу с ней, ну просто так, случайно, ведь может быть такое, я ей скажу...

— Когда я в кавалерии служил, — говорит Шонгин, — вот была беда, это уж в самом деле горе. С марша пришел, а спать нельзя: коня расседлай, напои, накорми, а время останется — сам отдыхай.

— А у англичан официантки солдат обслуживают, — говорит Коля, — и к обеду — коньячок.

— Врешь ты все, Гринченко, — ворчит Шонгин.

Машины стоят. Впереди — пробка. Вечереет.

— Слезай, ребята. Грейся.

Писем из дому нет. Что там?..

— Шонгин, ты из дому письма получаешь? — спрашиваю я.

Он смотрит на меня внимательно.

— Получаю, а как же, — говорит он, достает кисет и предлагает мне закурить: — На-ка вот. Погрейся.

Если до утра вот так простоим, можно простудиться окончательно. Какие у Шонгина глаза были! Ласковые, добрые. Вчера, когда мы концентрат гороховый варили, он мне и Коле в котелки насыпал по горсти пшена. Пшено разварилось — густо было. Сам ведь подошел: «Ну-ка, ребятки, добавочки я вам насыплю...»

— Шонгин, дай закурить, — говорит Сашка.

Шонгин топчется на месте: ноги греет.

— И так хорош, — бубнит он.

Когда темно, снега не видно. Словно теплей становится. Подходит командир взвода Карпов. У него всегда румяные щеки. Даже в сумерках это видно.

Он смеется:

— Что, вояки, замерзли?

— Замерзнешь, — говорит Коля, — старшине-то тепло. Он о радиатор греется. Может, костер разведем, товарищ младший лейтенант, а?

— Никаких костров, — говорит Карпов.

Шонгин, как сторож, топчется по снегу и рукой постукивает по котелку.

Подходит Гаврилов и говорит тихонько:

— Ребята, впереди машины с крупой какой-то... И водители спят...

— Ну и что? — спрашивает Шонгин.

— А ничего, — говорит Гаврилов, — я к тому, что спят водители.

— А неплохо бы нам по котелку крупы отсыпать, — говорит Сашка Золотарев.

И он уходит в темноту, туда, к машинам, где спят водители. И все глядят ему вслед. И все молчат.

Если это пшено, можно сварить кулеш. Если гречка — ее хорошо с молоком. Если перловка — с луком. Вытерплю я до утра или нет? Все промокло на мне. Все. Вдруг я заболею воспалением легких?

Из дому писем нет. Где же ты, почта полевая?

ШКОЛЯРЫ

Я заряжаю автоматные диски. Заряжаю и молчу.

— О чем грустишь, ежик? — спрашивает старшина.

А мне трудно ему ответить. Что я отвечу?

— Это я так, — говорю я, — дом вспомнил...

Тебе-то хорошо, старшина. Ты яичницу ешь. А мы гороховый концентрат всухомятку жрем. Тебе-то хорошо, старшина. А мы которые сутки толком выспаться не можем...

— Наши к Ростову подошли, — говорит старшина.

...У тебя вон какая физиономия жизнерадостная. А нас все меньше и меньше. И этот песочек моздокский скрипит на зубах у меня и скрипит на душе. Дал бы ты мне, старшина, сапоги, что ли. Потрескалась картонная подметка на моих американских ботинках. Я ведь ноги в костер сую, когда холодно. А ботинки красивые, красные. А что от них осталось?

— Ты бы, ежик, ботинки тавотом смазал, — говорит старшина, — смотри, они у тебя совсем никудышные.

...А какие ботинки носил я перед тем, как в армию ушел? Не помню. Или у меня были модные туфли шоколадного цвета и белый рант, как полоска приборя? Или я об этом только мечтал? Наверное, носил я черные ботинки «скороходовские». А зимой калоши надевал. Да, да, калоши. На последнем комсомольском собрании я их в школе забыл. Забыл. Пришел домой без калош. А уж война была, и никто не заметил моей пропажи. Так и ушел я. А были у меня новые калоши. Глянцевые. А теперь не знаю, будут ли у меня такие?

А когда было последнее комсомольское собрание, Женя сидела в углу. Она ничего не говорила, пока мы брали слово

один за другим и клялись погибнуть за Родину. Потом она сказала:

— Мне жаль вас, мальчики. Вы думаете, это так просто — воевать? Войне нужны молчаливые, хмурые солдаты. Воины. Не надо шуметь. Мне жаль вас. И ты... — она кивнула на меня, — ты ведь ничего не умеешь еще, кроме чтения книжек. А там — смерть, смерть... И она очень любит вот таких молоденьких, как вы.

— А ты? — крикнул кто-то.

— Я тоже пойду. Только я не буду кричать и распинаться. Зачем? Я просто пойду.

— А мы тоже пойдем. Что ты нам нотации читаешь?

— Нужно быть внутренне готовым...

— Заткнись, Женька...

— Иначе никакой пользы от вас не будет.

— Заткнись!..

— Хватит, — сказал комсорг, — что это мы, как семи-классники, расшумелись?

А когда я в воротах тебя поцеловал, да так, что ты охнула и сама меня обняла, это что же? Это, значит, я, кроме книжек, ничего не умею?

— Завтра поедем минометы получать, — говорит старшина, — еще ночь понежишься, ежик.

— Какие минометы? — спрашиваю я.

— А ты не спи. Завтра пополнение придет. Будешь обучать сосунков?

— А разве я смогу?

— Что ж, тебе три года воевать, чтобы школярам наше дело объяснить?

Наше дело? Мое дело? Это о минометах? Я буду обучать?

— Буду, — говорю я.

...Школяры. Я ведь тоже был школяром. А теперь я не школяр, значит? А на том собрании я был школяром. И когда все зашумели, и я зашумел. Женя сказала:

— Вы шумите, как школяры. А ведь там этого нельзя. Там нужна суровость.

И она посмотрела на меня. Я тоже посмотрел на нее. Кто-то сказал, что, если девушка любит, она не выдерживает взгляда — краснеет и опускает глаза. Значит, она меня не любила. Не любила.

— Пошли всем классом! — крикнул кто-то.

— Пошли! — крикнули мне.

— Заткнись, — сказали мне, — заткнись, трепло...

Потом вошел директор школы, и комсорг сказал:

— Ладно, продолжим повестку дня.

А на повестке стоял один вопрос: учеба комсомольцев.

— Когда с дисками кончишь, зайдешь в каптерку, — говорит старшина и уходит.

...А после собрания мы шли по набережной все вместе. И Женя шла с нами и только не смотрела на меня. Было темно. Настороженно.

— А десятого нам не видать, ребята, — сказал кто-то.

И тотчас завывла сирена. А я очутился с Женей.

— Значит, мы — школяры? — спросил я.

— Конечно, — сказала она миролюбиво.

— Значит, из нас войны не получатся?

— Конечно.

— Чтобы быть воином, нужно быть широкоплечим, да?

— Да, — засмеялась она.

— И равнодушным, да?

— Нет, — сказала она, — этого я не говорила.

— Пойдем туда, — я указал в темный переулок.

Мы шли по переулку. Было еще темнее. Еще настороженнее. И вдруг распахнулось окно. С треском. На третьем этаже. И оттуда посыпался смех. А потом поплыла музыка. Патефон играл старое довоенное танго.

— Как будто ничего и не случилось, да?

— Да, — сказал я.

Окно захлопнулось. Музыка стихла. И снова завывла сирена.

...Я зарядил все диски и иду в каптерку. Это не каптерка, а обыкновенная изба, где старшина остановился.

Старшина греет руки у печки. Наш комбат сидит за столом. Пишет. А комзавода Карпов, розовощекий такой,

бреется у окна. И сквозь белую мыльную пену видно, какие розовые у него щеки.

А перед комбатом стоит руки по швам Сашка Золотарев.

— Значит, воровал чужое ишено? — спрашивает комбат.

— Воровал, — вздыхает Сашка.

— Чужую кашу съел! Когда воровал, думал, что другой голодным останется?.. Думал?..

— Думал, товарищ лейтенант.

— И что же?

— Хотел сам наестся...

— А ты знаешь, что за это?..

— Знаю, а как же... — тихо говорит Сашка.

— Он всем раздал, — говорю я с порога.

Комбат смотрит на меня пронзительно. Ударит? Хоть бы ударил.

— Жулье, а не батарея! — говорит он.

— Разболтались, — говорит Карнов. — Это у них Гринченко — образец... Все про любовь да про жратву разговоры...

— Ладно, Карнов, брейся, — говорит комбат, — я же о другом.

А мне хочется спросить Карнова, где он был, когда мы, необстрелянные, под совхозом № 3 первый бой принимали. Он тогда в училище по режиму питался...

— Кругом! — кричит на меня комбат.

Я иду к себе. Может быть, Желя и права? Может быть, я и в самом деле школяр? Скоро кончится зима. Скоро мы вернемся на передовую. Вот тогда посмотрим, какой я школяр.. И опять я встречу Ницу. «Привет, малявка, — скажет она, — давно мы с тобой не виделись. Посидим покурим, а?»

РАЗГОВОРЫ

Мы стоим в разбитом населенном пункте уже четвертые сутки. Здесь был совхоз.

Большой искромсанный ветряк, как печальная птица, смотрит сверху на нас.

Здесь сошлись потрепанные батареи, обескровленные батальоны, поредевшие в наступлении полки. Здесь в бывших блиндажах возникли склады, и невыспавшиеся интенданты раздают, выдают, снабжают.

Здесь проходят дороги на север. Туда ушло наступление. Оттуда все глуше доносится канонада. А по этим дорогам торопятся на передовую новые части. В новом обмундировании. Как с иголки. На новых машинах. И они разглядывают нас с любопытством и почтением, со страхом и завистью.

Я уже давно не видел Нину. Я уже забываю ее лицо. Я уже забываю ее голос. Как быстро все на войне...

Коля Гринченко начистился, отоспался. Снова весел. Сашка Золотарев через каждые два часа варит себе что-нибудь в котелке в добавление к общей еде. И спит.

Глазки у него совсем маленькие. Щеки еще пунцовые. Теперь и не поймешь, у кого пунцовее — у него или у Карнова. А младший лейтенант Карнов ходит победителем в своем овчинном полушубке, в лихо сдвинутой шапке, с прутиком в руке. Он этим прутиком похлестывает себя по голеницам, как теленок, хвостом отгоняющий мух.

Голос у него стал звонче. И почему-то мы с ним чаще сталкиваемся.

— Ему делать-то нечего, — говорит Коля Гринченко, — вот он и суется куда ни пошло.

— Командир, — говорит Шонгин.

— На передовой-то его и не слышно было, — говорит Сашка, — скоро воспитывать начнет.

Командир, — говорит Шонгин. — Как же без этого?

Он скоро до нас доберется, — говорю я, — вон он как на Колно все поглядывает.

— Он меня не любит, — говорит Коля, — вот комбат, тот любит. А этот нет.

Комбат — это, конечно, другое дело, — говорит Шонгин, — этот с веточкой ходить не будет.

— Он умный, наш комбат, — говорит Сашка Золотарев.

Подходит младший лейтенант Карпов. Он бьет по голенищам веточкой. Он говорит Коле:

— Ты что, Гринченко, пряжку морскую носишь? Мы ведь артиллерия.

— Так точно. Артиллерия, — говорит Коля и улыбается.

— И поэтому сними пряжку и спрячь ее на память.

— Есть снять пряжку, — козыряет Коля и улыбается.

— Я ведь серьезно говорю, — говорит Карпов сдержанно-сдержанно, — здесь на фронте эти фокусы ни к чему.

— Так точно, — говорит Коля и улыбается.

Карпов оглядывает нас. Мы не улыбаемся. Сашка смотрит в сторону. Шонгин стоит смиренно, руки по швам. А я хочу встать смиренно, а не могу. То левая нога согнется, то правая.

— Снять и доложить, — говорит Карпов. И ударяет веточкой по голенищу. И уходит.

Коля торопливо снимает пряжку с ремня. Красивую пряжку с якорями.

— Так я же не противился, — говорит он, — что это его?

— Командир он, — говорит Шонгин, — а ты молокосос. А ну-ка тебя так...

Коля уходит, размахивает ремнем.

— Нарвется, — говорит Сашка Золотарев.

Непонятно, о ком это он: о Карпове или о Коле. Мы уходим тоже. В свою избу. В ней тепло.

Коля сидит на лавке. Меняет пряжку.

— Уйду к разведчикам. Лихие ребята, — говорит он.

Мы сидим и молчим. Сидеть надоело, молчать — тоже, говорить — тоже.

Пополнения нету.

— Отправили бы куда-нибудь подальше, все равно без дела сидим, — говорит Сашка. — Поехали бы мы в городишко... В увольнительную ходили бы. В парке, наверное, оркестр играет. Скоро яблони цвести начнут...

— Тебе бы Карпов дал бы там, — говорит Коля.

— Яблони и без тебя зацветут, — говорит Шонгин, — а оркестров сейчас нету. Ни к чему они вроде... Вот когда я на фронт уходил, тогда оркестр играл.

— Это был последний оркестр, — говорю я, — потом всем дали пулеметы. Все пулеметчиками стали.

— Э-э, болтать-то, — говорит Шонгин.

— Да, да. Теперь оркестры не играют. Теперь только тогда, когда город какой-нибудь освобождается.

...А когда я уходил, оркестр не играл. Была осень. Шел дождь. И мы с Сережкой Гореловым стояли на трамвайной остановке. И на нас были вещевые мешки. А в кармане лежал пакет из военкомата. И в нем — наши направления в отдельный минометный дивизион.

— Сами доедете, — сказал нам начальник второй части, — не маленькие.

Мы и поехали.

Никто нас не провожал. И Женя не пришла. Мы ехали по вечерней Москве и молчали.

А на Казанском вокзале было страшно тесно. И мы сели на пол. И это нам нравилось. Сережка курил и все время сплевывал на пол. Мы с ним играли в солдат, и нам нравилась игра. А я все время поглядывал по сторонам: может быть, увижу Женю. Нет, оркестры не играли нам на прощание. Только на возвышении стоял рояль, и к нему подсел какой-то хмельной морячок и заиграл старинный вальс. И все замолчали и стали слушать. И я слушал, а сам все время поглядывал по сторонам: не идет ли Женя.

Это был какой-то незнакомый вальс, но чувствовалось, что он старинный. Даже дети, которые плакали, вдруг перестали плакать. А морячок раскачивался на стуле, и длинный чуб его свисал и касался клавиш.

— Вот мы с тобой и солдаты, — шепотом сказал мне Сережка.

Морячок играл старинный вальс. Женщины, дети, старики, солдаты, офицеры... И я был счастлив, что сижу на полу вокзала, что рядом — мой вещмешок, что я солдат, что завтра, может быть, дадут мне оружие.

И я был счастлив, что я с ними, что хмельной морячок играет на рояле. И мне очень хотелось, чтобы Женя появилась здесь и увидела нас в этом мире, к которому мы причастились, который так непохож на наши дома, на нашу вчерашнюю жизнь...

А морячок играл старинный вальс. В зале было душно. Но никто не шумел. Все слушали музыку. Они и раньше слушали музыку. И наверное, получше этой. Но эта была особенная. И потому все молчали.

А вальс все звучал и звучал. И офицер с красной повязкой, и два солдата комендантского патруля тоже слушали. Офицер — хмуро, солдаты — удивленно.

— Вот мы с тобой и солдаты, — сказал Сережа.

А морячок продолжал играть. И длинный чуб его полоскался по клавишам. Потом он вдруг опустил руки. Они соскользнули вниз и повисли. А голова ткнулась в клавиши, и рояль издал странный грустный звук. Все молчали. И тогда к морячку подошел офицер с красной повязкой на рукаве, и козырнул, и что-то сказал. Вдруг все, кто был ближе, закричали на офицера.

— Что же это, братишки... — сказал морячок, — а если мою мамашу фрицы сожгли?

— Сидит здесь в тылу, — сказал Сережа, — пошел бы туда, знал бы, как с повязкой ходить...

— И чего он привязался? — сказала какая-то женщина.

И тогда я побежал туда и крикнул офицеру:

— Ты, штабная крыса, нечего к людям приставать!

Офицер не слышал меня. А один из патрульных солдат сказал мне устало:

— Иди-ка, парнишка, домой.

...Фронтные сумерки лезут в окна. Света мы не зажигаем.

— Когда я в кавалерии служил, — говорит Шонгин, — мы, бывало, с марша придем, коней накормим и давай кулеш варить.

— А старшина сегодня опять сахару недодал, — говорит Коля.

— Стала мне теперь жена по ночам сниться, — говорит Сашка Золотарев, — не видать нам, ребята, увольнительных.

— Когда я учился в восьмом классе, — говорю я, — у нас учитель по математике был очень смешной. Только отвернется, а мы подсказываем, а он за это двойку, да все не тому...

ДОРОГА

Мы отправляемся на базу армии за минометами. Мы — это младший лейтенант Карпов, старшина, Сашка Золотарев и я. Карпов забирается к водителю в кабину, мы трое устраиваемся в кузове старенькой нашей полуторки.

И машина идет. Надоело это глупое сидение в населенном пункте. Лучше ехать. И все надоело. Мы улыбаемся с Сашкой и подмигиваем друг другу.

Старшина устроился возле самой кабины на мягком сиденье из пустых американских мешков. К кабине прислонился, руки сложил на животе, ноги короткие вытянул и прикрыл глаза.

— Едем, ежики, — говорит он, — смотрите не вывалитесь, пока я вздремну.

Едем.

Может быть, Нину где-нибудь встречу. «Газик» идет легко, потому что подморозило. Он торопится с холма на холм. А впереди — тоже холмы. А за ними — другие. Нам ехать-то всего сорок километров. Это такой пустык. Посмотрю, как там в глубоком тылу поживают.

Дорога не пуста. Машины, машины... Танки идут. Пехота идет. Все — к передовой.

— А под Москвой сибиряки немцев причесали, — говорит Сашка. — Если бы не они, кто знает, как вышло бы.

— Сибиряки все одного роста, — говорю я, — метр восемьдесят. Специально подобраны.

— Дурачки, — говорит старшина, не открывая глаз, — при чем мамины калоши? Техника под Москвой все решила, техника...

А какой смысл спорить? Пусть себе говорят. Я знаю хорошо, что там было. Мне очевидцы рассказывали. И когда шли сибиряки, немцы катились на запад без остановки. Я знаю. Потому что сибиряки стояли насмерть. Они все охотники, медвежатники. Они с детства смерти в глаза смотрят. Они привыкли. А мы? Вот на нас танки пойдут, ведь мы глаза закроем. И не потому, что мы трусы. Просто мы не привыкли... Смогу я на танк выйти? Нет, не смогу. С минометами это проще.

Тут передовая далеко. Стреляй себе, постреливай, позицию меняй. А лицом к лицу... Хорошо, что мы не пехота.

Вдруг наша полуторка останавливается. Впереди дорога пуста. Только далеко-далеко какой-то одинокий маленький солдатик стоит и смотрит в нашу сторону. Старшина спит. Мы с Сашкой соскакиваем на дорогу. Младший лейтенант Карпов спит в кабине. Нижняя губа у него отвисла, как у старика. Водитель поднял капот.

А солдатик бежит к нам. Маленький солдатик. Меньше и не придумаешь. Он бежит к нам и размахивает руками.

— Гляди, гляди, — говорит Сашка. — Сибиряк бежит.

Я смеюсь. Очень уж маленький этот солдатик. Вот он подбегает к нам, и я вижу, что это девочка. Она в шинели. Аккуратно затянута ремнем. И на плечах — погоны старшины. А лицо маленькое, и нос на нем как крохотный бугорок.

— Подвезите, ребята. Целый час торчу. Все машины — к фронту, а обратно ни одной. А мне вот так надо, — говорит она и проводит рукой по горлу.

Я помогаю ей взобраться в кузов. Мы с Сашкой отдаем ей свои плащ-палатки, и она садится на них.

— Вы откуда, мальчишки?

Мы киваем в сторону передовой.

— А пятнадцатая уже шла?

Мы переглядываемся с Сашкой и пожимаем плечами.

Наш «газик» наконец трогается. Старшина спит. Он даже всхрапывает.

— Это потрясающе! — говорит наша попутчица и смеется. — Храпит, как на печи.

— Он поспать любит, — говорит Сашка.

Когда она смеется, губы у нее уголками загибаются кверху. Как у клоуна.

Старшина! А я солдат. А куда она такая маленькая, тоненькая, совсем девочка?

Что случилось: всех подняло, понесло, перепутало?.. Ползают школьники по окопам, умирают от ран, безрукими, безногими домой возвращаются...

Девочка-старшина... Что случилось?

— Сорок «юнкерсов» позавчера на базу налетели, — говорит она, — это потрясающе! Мы с ног сбились.

— А что бы на передовой ты делала? — спрашивает Сашка. — Там ведь и похуже бывает.

— Плакала бы, наверно, — говорит она и смеется.

...Что случилось?.. Плакала бы, конечно. Я ведь тоже почти плакал. Перед войной я смотрел кинокартину. Там все бойцы были как бойцы: взрослые, опытные, они знали что к чему. А я не знаю, Сашка не знает, и эта девочка не знает... А старшина снит, и Карпов настоящий командир, хоть и хмурый...

— Меня зовут Маша, — говорит она. — Я старшина медицинской службы. Я в классе всех мальчишек била.

— А ты похвастаться любишь, да, старшина? — говорит Сашка.

Старшина просыпается. Он долго смотрит на Машу.

— Ты еще откуда взялась? — спрашивает он.

— А можно не тыкать? — спокойно говорит Маша.

У старшины шапка ползет на затылок:

— Да как ты со мной разговариваешь?

— Это потрясающе, до чего безграмотный мужчина, — обращается она к нам.

Мне хочется смеяться. Старшина долго разглядывает Машу, потом замечает нашивки на ее погонах.

— Я вас спрашиваю, товарищ старшина, откуда вы?

Машина снова останавливается. Водитель снова поднимает капот. Из кабины выходит Карпов.

— Как там дела? — спрашивает он у нас.

— Ваши солдаты замерзли тут, пока вы спали, — говорит Маша.

— Ого! — говорит Карпов. — Какой приятный пассажир. А вы-то не замерзли?

И он приглашает ее в кабину.

Она легко выпархивает из кузова. Машет нам рукой приветственно.

Как, должно быть, в кабине тепло!.. От мотора воздух жаркий, сидеть мягко. Вся дорога — как на ладони.

Карпов лезет за ней.

— Нет, нет, — говорит она, — может быть, мне вернуться, товарищ младший лейтенант?

— Сидите уж, — холодно говорит Карпов. Он забирается в кузов.

— Что это ты, Золотарев, ноги растопырил? — говорит он. — Сидеть по-человечески не умеешь, что ли?

...Едем. Уже темнеет. Если через полчаса не будет базы, замерзну к черту.

Сашка весь замотался, только нос виден. Красный толстый нос.

— Человеку кровать нужна, а не кузов, — бубнит он, — и теплая печка, и еда повкусней, и любовь...

— А работать кто будет, ежик? — спрашивает старшина.

Когда вернусь домой, буду хорошо учиться. Спать буду ложиться в десять часов вечера. Зимой надену меховую шубу, чтобы никакой черт меня не взял...

Мы останавливаем какую-то машину. Спрашиваем. Оказывается, до базы еще около восьмидесяти километров.

— Как же так? — удивляется Карпов. — Ведь сказали, сорок.

— Другой дорогой надо было ехать, — отвечают с машины.

— Проспал дорогу, черт, — шипит Сашка.

Выходит из кабины Маша.

— За первым поворотом отсюда — совхоз № 7, — говорит она.

— Правда?

— Я неправды не говорю, к вашему сведению.

...Мало домов осталось целыми в этом совхозе. Мало. Но когда сводит пальцы, и губы закоченели, и ноги как деревянные — какая разница, сколько домов? Есть дома, и в них пускают, и в них тепло, и можно попить кипяточку.

Карпов выбирает дом побольше и поцелей и приглашает туда Машу:

— Тут вам будет удобнее. — И обращается к нам: — А вы, друзья, вон в тот, окно светится.

— Я пока у машины побуду, — говорит водитель, — после смените меня.

Я смогу выдержать еще одну минуту. Мы с Сашкой бежим к дому. Нам открывает девочка. Она в платке. В валенках.

— Кто пришел? — спрашивают из комнаты.

— Это наши, мама, — говорит девочка.

Девочку зовут Вика. Ее мама тоже в платке и в шали. Она похожа на мою маму.

Очень. Она приглашает нас в комнату. Мы сбрасываем шинели.

— Не найдется ли у вас кипяточку? — спрашиваю я замерзшими губами.

Мы вываливаем на стол дубленые свои сухари.

— Больше, хозяйюшка, ничего не имеем, — говорит Сашка, — рады бы.

— Ничего, ничего, — говорит она, — сейчас я вас покормлю.

— А Карпов-то к Маше полез, — говорит Сашка, — и старшину взял на побегушках быть.

Мы сидим за столом. Вика тоже сидит и смотрит на нас большими глазами. А ее мама ставит на стол сковороду. А на сковороде дымится пирог. Черт знает что! Как она похожа на мою маму...

— Здесь госпиталь останавливался, — говорит она, — подарили мне бутылочку спирту. Выпейте, мальчики, погрейтесь.

У нее большие синяки под глазами. Мы не отказываемся от спирта. Я выпиваю свою рюмку и чувствую, что задыхаюсь. Сижу с открытым ртом. Она смеется:

— Нужно было выдохнуть воздух перед глотком. Я совсем забыла предупредить вас. Заедайте пирогом.

Я ем пирог. Как она все-таки похожа на мою маму. У меня кружится голова.

Кружится у меня голова.

— Это из ваших сухарей сделала, — говорит она.

— Еще тяпнем? — спрашивает Сашка.

— Тяпнем, — говорю я.

Она наливает нам спирту.

— Надо бы и вам, хозяйюшка, — говорит Сашка.

Она улыбается и качает головой. А у меня голова кружится, кружится.

— Маме нельзя, — говорит Вика.

— Немножечко, — просит Сашка.

— Маме нельзя, — говорю я, — чего привязался?

Она гладит меня по голове и подкладывает мне пирог. Кружится моя голова. Жарко стало. Сашка отодвинулся куда-то далеко. И Вика отодвинулась. И мама... Это чтобы мне не так жарко было...

— Вы здешняя? — спрашивает Сашка.

— Мы из Ленинграда, — говорит Вика.

— Как приятно, — говорю я, — а я из Москвы. Какое совпадение... Какая встреча... Где-то у черта на куличках... Я очень рад, очень рад... Если поедете в Ленинград через Москву, позвоните, пожалуйста, ко мне домой...

Сашка ест пирог. Пока он ест, я немного посплю. Положу голову на стол и посплю.

— Погоди, — говорит Сашка, — я тебя доведу.

Он кладет меня на расстеленную шинель.

— Я устал что-то, — говорю я.

— Спи, мальчик, спи, — говорит мама. Она стоит надо мной.

— Мама, — говорю я, — я жив-здоров. Скоро вернусь... С победой...

...Утром в комнате тишина. На Сашкином месте спит водитель. В доме никого нет. Надеваю шинель. Бегу к машине. Вокруг нее ходит с автоматом на груди Сашка.

— А я? — спрашиваю я. — Что же ты меня-то не разбудил?

— А ты спал — не добудисься, — говорит Сашка, — ты зашиб вчера. Тебя разморило.

— А ты так и ходишь? Один?

— А я выспался, — говорит Сашка. — Ну, походи немного, я погреюсь схожу.

Я — подлец и мерзавец. Вот я бы на его месте так, наверное, будил бы, пока не разбудил. Я бы больше своей нормы и не ходил бы, наверное. Я — скотина. Проучить меня нужно. Я — предатель. Хоть бы кто-нибудь полез сейчас в машину, я его перерезал бы очередью. Из дому выходит старшина:

— Ну как, ежик, все в порядке?

Я ничего не отвечаю. А ему и не нужно это. Он забирается в кузов, зевает во весь рот:

— Иди зови ребят. Ехать надо.

— ...Погодите немного, — говорит нам мама Вики, — сейчас пирог из картофеля готов будет.

— Спасибо, нам пора, — говорю я.

— Вы пирог за наше здоровье съешьте с дочкой, — говорит Сашка.

Мы идем к машине. Маша сидит в кузове. Она улыбается нам.

— Выяснили точно. Еще тридцать километров до базы, — говорит водитель.

— Это потрясающе! — говорит Маша.

— Все сели? — высовывается из кабины Карпов.

И вдруг я вижу: бежит от дома через дорогу Вика. Она протягивает сверток. Я на ходу успеваю взять его.

— Это пирог! — кричит она. — До свиданья!

Мы долго машем ей руками.

— Как спалось? — спрашивает Сашка у Маши.

— Мы с хозяйкой — отлично, — смеется она, — а вот товарищ младший лейтенант не спал, кажется.

— Они спали, — говорит старшина.

— Ну, значит, вы не спали, — смеется Маша, — кто-то три раза за ночь будил нас, в дверь стучал: «Маша, мне надо с вами поговорить!»

— Я не стучал, — говорит старшина.

НИНА

Карпов выходит из штаба дивизии. Мы смотрим на него.

— Пополнение уже ушло к нам, — говорит он. — Мы разминулись. Ждать не стали.

— Вот и хорошо, — говорит старшина, — забот меньше.

— Будем американский бронетранспортер получать, — говорит Карпов, — тоже штучка ничего себе. Берите, старшина, сапоги на складе, грузите полуторку и отправляйтесь. Мы в бронетранспортере.

Сапоги! Вот они когда. Настоящие сапоги. Вот теперь только и начнется по-настоящему. Сапоги... А то ведь, как обозник, в обмотках хожу. Даже стыдно. Автомат и обмотки. Ну уж теперь повоюем!

Карпов уходит по всяким отделам.

— В сапоги можно наvertеть тряпок до черта, — говорит Сашка, — никакой мороз не прошибет.

— И не промокнут, — говорю я.

— Хорошо, — говорит Сашка, — тавотом подмазал и гуляй.

— И ложку можно за голенище заткнуть, — говорю я.

— Обуваться-то — одно удовольствие, — говорит Сашка, — потянул, и готово.

— Надо за ушки тянуть, — говорю я.

— Конечно, за ушки, — говорит Сашка. Он уходит знакомых поискать. Земляков. А я тоже похожу. Посмотрю, как тут люди живут.

Идет война. Идет она себе без передышки. Делает свои дела. Ни на кого не смотрит. Идет война. Ржавеет мой автомат. Ни разу я не выстрелил из него.

— Ты откуда взялся, господи?! — слышу я за спиной.

Это Нина! Она в гимнастерке. Пустой котелок в ее руке.
Это же Нина...

— В гости приехал?

— Тебя искал, — говорю я, — с тех пор все ищу.

Она смеется. Она рада. Я вижу.

— Ах ты, мой дорогой... Вот дружок настоящий. Не забыл, значит?

Ей холодно стоять. Мороз ведь и ветер.

— Пойдем-ка поедим. Поговорим, что да как, да?

Она тянет меня за руку. Я иду за ней. Иду за ней.

Мы сидим с ней в штабной столовой. В бараке. Никого нет.

— Все уже обедали, — говорит она, — это я опоздала. Сейчас выпросим у Феди порцию.

— Федя, — говорит она в окошечко повару, — дай, Федя, супу. Ко мне дружок с передовой приехал...

И Федя наливает полную миску супу для меня. А Нина отламывает кусок хлеба от своего.

— С миру по нитке?.. — спрашивает в окошечко черный усатый Федя.

— Здесь тепло, — говорю я.

— Ну как там у вас? — спрашивает она. — Коля как поживает?

— Нина, — говорю я, — а ведь я и в самом деле тебя искал. Думал-думал о тебе... Что же ты молчала?

— А мы сейчас поедим с тобой, а потом покурим, да?

— Что же ты молчала?

— Не пошла бы я обедать, наверное, и не встретились бы.

— Вот теперь я вижу, какие у тебя глаза. Зеленые. А то вспоминаю, а вспомнить не могу. Какие они? Какие? А тут понял наконец.

— Ты ешь, ешь. Остынет. Трудно там у вас?

— Знаешь, я даже представил однажды, как мы с тобой после войны встретились. На тебе — розовая жакетка, а шапки никакой...

— Совсем никакой?

— Мы идем по Арбату...

— Да ты ешь. Холодный, наверное, суп, да?

— Мне ведь скоро уезжать. Обратное. Хочешь, я тебе письмо напишу?

— А я тут девчонкам рассказывала. Там, говорю, у меня дружок есть. Черноглазенький. На всю войну — один. А они мне не верили. Смеялись. А ты ведь помнил меня, да?

— Почему же один? Других у тебя нету?

— А другим-то ведь другое нужно...

Черноусый Федя внимательно смотрит на меня. Чего он смотрит? Может быть, жалеет, что супу дал? Может быть, он тот самый «другой»?..

— Послушай, да я ведь это всерьез. Я ведь думал о тебе. Я никогда ни о ком так не думал, как о тебе.

— Ну вот и ты тоже. — Губы у нее кривятся. — Как хорошо-то было...

А на самом краешке миски, словно червячок, одиноко повисла лапша. Белая, печальная такая. А Нина подперла щеку кулачком и смотрит мимо меня. А в зеленых ее глазах я вижу окно барака. А за ним — зеленые сумерки настают.

— А здесь даже выстрелов не слышно, — говорит Нина, — только раз бомбили.

— Послушай, Нина, — говорю я, — ну, хочешь, я буду письма тебе писать? Просто так. Как мы там живем... А то ведь пропадешь ты. Где тебя искать-то потом?

Дурочка она какая! Неужели она не понимает? Что я, соблазнитель какой-нибудь, что ли?.. Война. Это ведь не Женя. Там все казалось, казалось. А это ведь настоящее. Неужели она не видит? Я теперь понимаю все. Вот дурочка...

— Что ж ты думаешь, я как другие? Хочешь, докажу? Хочешь, при тебе сейчас домой напишу про все. Сама отправишь...

Черноусый Федя все смотрит на меня. Делать ему нечего, что ли?

— Вот и опять у нас с тобой свидание... да?

— И когда война кончится, мы поедем вместе...

— Прямо посередке войны у нас с тобой свидание. Вот только мороженым не торгуют. Федя, — говорит она, — нет ли у тебя мороженого?

— Для вас, Ниночка, все есть, — говорит Федя, — только оно у нас горячее. В виде кипяточка.

— Я когда до войны гулять ходила, всегда мне кавалеры мороженое покупали. А один был такой — не купил. Я его быстренько разогнала... А у нас в городе парк был...

— Нина, скоро мне ехать.

— Жалко мне тебя, — говорит она, — тебе не воевать надо. Много ты навоюешь, а? Только не сердись, не сердись. Это я ведь не к тому, что не можешь. Просто зачем это тебе, да?

— А тебе?

— А мне уж и подавно. Вот Федя в ресторане работал. Ресторан «Поплавок». Да, Федя? Отбивные готовил. Салаты...

— Мне ведь уезжать, — говорю я, — ты скажи, напишешь мне? Мне ведь легче жить будет.

— Напишу, — говорит она, — напишу.

Мы идем к выходу. Позвякивает ложка в котелке.

— Послушай, Нина, а тот майор, он что...

— Тот?

— Да, тот...

— О, ты его заметил.

Мы снова останавливаемся у самой двери. Она стоит рядом со мной. Совсем рядом.

Какая она все-таки маленькая, хрупкая, тоненькая. Какая она незащитная. Я возьму ее за плечи, за круглые ее плечи... Я поглажу ее голову ладонью. Пусть она не объясняет. Я не хотел спрашивать, не хотел...

— Ты что, жалеешь меня, да?

— Нет, только и ты меня не жалеешь, Нина.

— А что ж ты дальше-то делать будешь?

— Буду ждать писем твоих.

— А если не дождешься? Всякое ведь бывает...

— Дождусь. Ты ведь обещала.

— Зачем тебе это, глупый?..

Глупый я, глупый. Что-то я не так сказал. Не о том говорил.

— Вот у тебя крошка хлебная на щеке, — говорю я.

Она смеется. Смахивает крошку.

— Пора идти нам с тобой. Хватятся тебя.

— Пусть хватятся, — говорю я. — Пусть хватятся. Семь бед — один ответ.

— Смелый ты у меня какой, — смеется она. И проводит ладонью по моей голове.

Мы выходим в тамбур. Я касаюсь ее плеча.

Она отводит мою руку. Очень ласково отводит.

— Не надо, — говорит она, — так лучше.

И целует меня в лоб. И бежит в начавшуюся метель.

...У штаба дивизии стоит бронетранспортер. Сашка ходит вокруг. Разглядывает.

— Сейчас поедем, — говорит он.

ПОТЕХА

Бронетранспортер — очень удобная машина. Он словно серый жук. Он всюду пройдет, отовсюду вылезет. В нем уютно. Тепло. Печка электрическая работает. Можно даже поспать на ходу.

Я не сплю. Я подремываю. Что будет к вечеру, когда мы догоним свою батарею?

Может быть, будет тяжелый бой? Может быть, никого мы уже не застанем... Вот приедем на место, буду ждать писем от Нины... А Сашка спит. По-настоящему. А Карпов сидит рядом с водителем и не то спит, не то просто устал — неподвижно в разбитую дорогу.

...А старшина привез сапоги. А если мне не достанется?..

— Товарищ младший лейтенант, — говорю я, — если бы дорога хорошая была, вот бы мы мчались, наверное.

Но Карпов не отвечает. Спит, видно, Карпов.

— Федосьев, — говорю я водителю, — а хорошая теперь у нас машина.

— А я не Федосьев, — говорит он, — я Федосеев. Федосеев я. Все меня путают. И Федоскиным называют,

и по-всякому. А я Федосеев. На войне-то разве разберешься: Федосеев или Федосьев? Некогда разбираться. Было раз — Федишкиным назвали. Потеха ведь. А я Федосеев. Сорок лет уже Федосеев. Как говорится, с самого первого дня младенчества.

Мы возьмем бочку вина. Это на всю батарею. Это фронтальная норма.

— А винцом-то пахивает, — говорит Федосеев.

У него оттопыренные розовые губы, белые брови, зубы редкие, крупные. Он говорит нараспев.

Он, наверное, никогда не выходит из себя. С ним уютно, надежно.

— А винцом-то пахивает, — говорит он.

Бочка большая. Отверстие заткнуто деревянной пробкой. Прочно. Не выбить. Да если и выбить, все равно: как до вина дотянуться? А на батарее сейчас принимают пополнение. Новички. Юные ребята, наверно. Стоят, озираются. Потеха. Школяры.

Коля Гринченко вышагивает, наверное, перед ними. Фасонит. А Шонгин, наверное, покуривает и говорит Коле: «Болтать ты горазд, Гринченко...» А старшина привез сапоги. А если мне не достанется?

— А если газу прибавить, — спрашиваю я, — что получится, а, Федосеев?

— Получится прибавление скорости, — говорит Федосеев, — скорость увеличится. Это если газу прибавить. Только здесь нельзя. Дорога плохая. Трясти будет, если газу прибавить...

— Ну и пусть трясет.

— А зачем нам?

— А интересно ведь, когда трясет...

— Машину-то жалко. И люди спят. Пусть поспят. Это мы с тобой не спим. А они спят. И пусть.

А если я без сапог останусь? Меня не жалко? Гнал бы ты, Федосеев, покрепче. Может, успеет еще.

— А винцом-то пахивает, — говорит Федосеев.

А ведь действительно вином пахнет. Ароматный дух идет от бочки. И есть хочется.

Только вина нам не пить. Оно — в бочке. И пробка величиной с кулак.

— А пробку можно вытащить, — говорит Сашка на ухо мне.

— Вдруг Карпов услышит? Он нам даст...

— Конечно, можно, — говорит Карпов, не поворачивая головы.

— Это только прикажите — пара пустяков, — говорит Федосеев.

Мы съезжаем с дороги и останавливаемся у одинокого столба. Мы вытаскиваем пробку. Легко. Она как по маслу вылезает из своего гнезда. И сквозь морозный воздух пробивается облачко винного дурмана. Все сильнее и сильнее.

— Каждый пробует свою норму, — говорит Карпов, — не больше.

— Закусить бы, — говорит Сашка.

— Закусывать на батарее будем, — говорит Карпов.

Федосеев делает очень просто. Он берет резиновый шланг, которым бензин переливают, и опускает один конец в бочку.

— Котелочки подставляйте, — смеется Сашка, — чтобы не пролилось.

Золотое вино льется в подставленный котелок. Сашка прикладывается. Мы смотрим на него.

— Бензином воняет, — говорит он.

— Это ничего, — говорит Карпов и сплевывает.

От отпивает несколько глотков.

— Чистый бензин, — говорит Федосеев, — шланг ведь. Ну-ка я попробую...

Мы распиваем пробу. Вино крепкое. Это чувствуется сразу.

— Нужно не дышать, когда пьешь, — говорит Сашка.

— Бензиновый дух — это самое полезное, — говорит Федосеев. — никаких болезней не будет. Это привыкнуть надо. Я-то вот ничего. Мне не противно. Привычка. Ну-ка дай-ка котелочек-то...

— Ну, теперь давайте по норме отливайте, и все, — говорит Карпов.

— А какая норма? — спрашиваю я.

Никто не может объяснить, какая норма.

— Пока пьется, — говорю я.

— Но-но, — говорит Карпов, — это что еще за штучки!

Я уже знаю, как будет. Выпью, и теплое, как огонь, пойдет по телу. Станет жарко, томно, странно.

— Ты не пей много, Федосеев, — говорит Карпов, — тебе машину вести.

— Водичка, — говорит Федосеев. — Я этого добра могу два литра, и ни в одном глазу. Водичка.

— Да, — говорит Сашка, — это тебе, брат, не водичка.

Водичка.

Я уже не могу пить. В котелке еще много, а я уже не могу. Губы у меня почему-то стянуло. Трудно рот раскрыть. А у Сашки весь подбородок в вине. Он только успевает передохнуть — и снова к котелку. А Карпов хватается рукой за бронетранспортер.

— Черт, от голода уже сил нет никаких, — говорит он.

— Пора бы ехать, — говорит Федосеев и лезет в кабину.

— Нашел место, где остановиться, — говорит Карпов, — на самых буграх. Ногу поставить некуда. Вот там поровнее место-то.

— А ты здорово ухлестнул, — говорит Сашка Карпову.

— Я еще не так могу. Я чистый спирт могу, — говорит Карпов.

— А тебя как зовут? — спрашивает Сашка.

— Меня Алексеем зовут, — говорит Карпов.

Щеки у него красные-красные. И у Сашки тоже. Они как два брата.

Мы залезаем в машину.

— Тебе дать еще, Алеша? — спрашивает Сашка.

Карпов мотает головой. Сашка сосет шланг. Вино льется в котелок.

— Ну-ка попей, — тычет Сашка котелок Карпову, — попей, Алеша, водичку...

Руки у Сашки короткие, словно два обрубка, а вместо головы винная бочка. Вот это голова!

— А куда же ты пробку-то воткнешь? — смеюсь я. — В рот, что ли?

А Сашка качает своей бочкой и молчит.

— А где шланг? — спрашивает Федосеев.

— В бочке, — говорит Сашка.

— Купается, — смеюсь я.

— Купается? — спрашивает Карпов. — Я и не видел.

— Эх ты, Алеша, — смеюсь я.

Он хороший, этот Карпов, зря я на него обижался. Вон у него губы какие обиженные-обиженные. Я щекочу его шею.

— Эй, Алеша, — говорю я, — не грусти.

Сашка положил голову на бочку и спит. Пусть поспит. Он тоже хороший. Все хорошо. Вот когда мне сапоги дадут, я еще не так восвать буду.

— Сашка, — говорю я, — заткни бочку, противно.

А Сашка плачет. Большие слезы текут по щекам. Как у ребенка.

— Куда я еду? — всхлипывает он. — Надо мне больно ехать с вами! Меня Клава ждет... Где ты там, Клава?

Как противно пахнет. Смесь вина и бензина. А если смешать духи с персиками? Все равно противно. А если розы — с гуталином?.. Вот если тихонечко нить, тихонечко-тихонечко, по-комариному, тогда легче.

— Тебе что, плохо, парень? — спрашивает Федосеев.

А мне не плохо. Только запах противный. И ноги не протянешь. Тесно.

— Приходи ко мне, — говорит Карпов, — я тебе покажу мою собаку.

— Куда приходиться?

— Улица Волжская, дом восемь.

— Потеха, — говорит Федосеев.

А Сашка плачет крупными слезами. Он вспоминает свою Клаву. И утирает слезы ладонями. А мне не хочется плакать. Зачем плакать?.. А у Сашки опять вместо головы бочка. Она кружится, эта бочка, нет спасенья.

— Из-за фрицев этих ты меня, Клавочка, позабудешь... Купи мне пачку «Норда» на память... Простимся у порога, Клавочка, купи себе платок пестрый, — слышится из бочки, — а придешь — еще денег дам...

А я не плачу. Я лучше поною. Так дышать легче. Потому что этот запах проклятый... прости меня, Пина. Тоненькая, маленькая, вся странная... неизвестная... прости меня.

— Куда мы? — спрашивает Карпов.

— На батарею, — говорит Федосеев. — Вон они уже летят, летят.

— Пьян ты, что ли, Федосеев?.. Кто это летит?.. Это ракеты, что ли? Ты на передовую меня везешь.

— Она самая. Вон она, рядышком.

— А на что мне она, Федосеев? Мне там делать нечего. Заворачивай ко мне на чашку чаю...

Я бы тоже чаю попил. А то этот запах проклятый...

...Открываю глаза. Стоит наш бронетранспортер. Впереди выстрелы отчетливо уже слышатся. В голове туман. Сашка спит. Карпов спит. Откинул голову, открыл рот.

Мы вино пили. Противно даже.

— Что это мы стоим?

— Прибыли. А батареи нет. Никого нет, — говорит Федосеев. — Ушел фронт.

Надо догонять... А ты хорош был. Как оно тебя, а?

Машина идет вперед. Фары погашены. Снег идет крупный-крупный. От него светло кругом. Призрачно светло. Как во сне. Я вижу сон. Или я пьян еще? Идет наступление, а мы напились. Это пьяный бред — там впереди белая фигура. Она стоит на нашем пути. Она подняла руки. В одной — автомат, в другой — фонарь «летучая мышь». Желтый огонек ничего не освещает.

— Стой, Федосеев, — говорю я.

Машина останавливается. Карпов проснулся.

Он смотрит на фигуру. Он руку тянет к кобуре.

— Это же свои, — говорит Федосеев, — узнаем-ка, что там такое.

А вдруг это немцы? Где мой автомат? Нету моего автомата. Он где-то там, под бочкой. Под винной бочкой. А фигура приближается, приближается. Федосеев распахивает дверцы.

— Ребятки! — кричит фигура. — Ребятки, помогите нам по-быстрому. Тут дружков наших побило. Зарыть надо...

Фигура приближается к машине. Это солдат. Он весь в снегу. Пола шинели оторвана.

— Чем побило? — спрашивает Карпов и зевает.

Он зевает, словно с печки слез. Он зевает, когда там убитые лежат! Он пьян, этот Карпов.

— Пулями побило! — говорю я.

— Не суйтесь не в свое дело, — говорит Карпов. — Где убитые?

Солдат машет фонарем.

— Тама, тама, — говорит он, — все... семеро. А нас двое живых-то. Помогите, ребятки.

— Там бой идет, — говорит Карпов, — как же мы можем на батарею опоздать?

— И так опоздали, — говорит Федосеев.

— Пить не надо было, — говорю я и удивляюсь, как я смело говорю.

А Карпов смотрит на меня и молчит. Он ничего не говорит, потому что нечего ему сказать.

— Напились все как свиньи. А тут бой идет, — громко говорю я. — Пошли, Федосеев?

Мы вылезаем из машины. Карпов тоже. Молча. Потом — заспанный Сашка. Мы берем лопаты, ломик и идем за солдатом.

— Такое было, такое было, — говорит он на ходу, — с первого дня такого не было. Шесть часов друг дружку молотили. Потом только вперед пошли.

Мы идем по снежным буграм. Нет, не сон это. Там впереди страшный бой продолжается. Мне слышно хорошо. Вот, Ниночка, твой вояка и отличился. А под невысоким холмом долбит замерзшую землю одинокий солдат. А тот, что с нами шел, говорит:

— Вот, Егоров, подмогу я привел. Сейчас мы быстро, Егоров. Ты давай, давай долби ее. Сейчас мы все возьмемся.

А чуть в стороне лежат тела убитых. Их снегом заporошило. Шинели белые, лица белые. Семь белых людей лежат и молчат. Какой же это сон? Это убитые. Наши. А мы вино пили.

— Ничего себе командир, — говорю я Сашке, — сам напился и нам позволил.

— Молчи ты... — говорит Сашка.

— Берись-ка за лопаты, — говорит Карпов.

— Всем надо брататься, — усмехаюсь я.

Сашка и Федосеев смотрят на меня.

— А я тоже берусь, — спокойно говорит Карпов. — Вот и у меня лопата есть.

А семеро лежат неподвижно, как будто их это не касается. Мы роем молча. Час или два. Земля поддается с трудом. Но она поддается. Сейчас мы будем хоронить убитых. Как я на них посмотрю?

— Да погаси ты фонарь, — говорит Карпов.

Егоров гасит фонарь. Но ничего не меняется. Он ведь почти и не светил совсем. И что это Карпову вздумалось фонарь гасить?

Яма получилась глубокая. И вот тот, первый, солдат лезет в нее.

— Ну, давай, Егоров, — говорит он. И я понимаю, что это значит. А Егоров делает нам знак, и мы идем за ним. Неужели мне сейчас брать мертвых руками и тащить их к могиле? Сашка и Егоров берут первого. Несут. Федосеев нагибается ко второму. Карпов смотрит на меня. А почему бы мне и не взять? Возьму за ноги.

Это ведь не голова. Я должен взять. Именно я. Не Карпов, а я. Я беру убитого за ноги. Мы несем.

— Осторожно, ребятки, — говорит из ямы первый солдат, — не уроните.

— Никак Леня, — говорит Егоров, проходя мимо.

— Это наш Леня, — говорит первый солдат, — давайте его сюда.

Он принимает у нас тело Лени и бережно укладывает его.

Потом мы приносим еще одного, еще одного.

— Салтыкова сверху. Он молодой был, — говорит первый солдат, — ему лежать легче будет.

— А ты помолчать не можешь? — спрашивает Карпов.

— А им ведь не обидно это, товарищ младший лейтенант, — говорит солдат, — а помолчать я могу, конечно.

Мы укладываем всех. Аккуратно. Они лежат в шинелях. Они лежат в сапогах. У всех новые сапоги. Мы молча орудуем лопатами. Мы делаем все, что нужно. Все, что нужно. Вот уже и сапоги скрылись под слоем земли. И на холмике лежит каска. А чья — неизвестно.

...Мы снова едем туда. На выстрелы. Мы молчим.

ОТКРЫТЫЙ СЧЕТ

...А кто считал, сколько раз мы уже позицию меняем? Кто считал? А сколько я поросят передал заряжающему нашему Сашке Золотареву? А как у меня руки болят...

Мы ведь не просто позицию меняем: лишь бы переменить. Мы вперед идем. Моздок уже за спиной где-то. Давай, давай! Теперь-то я уже наверняка ложку достану.

Хорошую, новенькую ложку буду иметь. А вот бой кончится, выдаст старшина мне сапоги... Это когда кончится. А когда он кончится?.. Все кланяется Коля Гринченко. Он припадает к прицелу. Выгибается весь. Он ведь длинный.

— Взво-о-од!.. — кричит Карпов. Он взмахивает веточкой. Он стоит бледный такой. — Огонь!

Сашка Золотарев сбросил с себя шинель. Ватник распахнул. Губы белые. Он только закидывает мины в ствол, только закидывает. И ахает каждый раз. И миномет ахает.

Сквозь залпы и крики слышно, как в немецком расположении начинает похрюкивать «ванюша». И где-то за батареями нашей ложатся его страшные мины.

— Как бы не накрыл, — говорит Шонгин. Он даже кричит: — Накроет, и все тогда!

— Отбой! — кричит Карпов.

— Слава богу, — жалобно смеется Сашка, — руки оторвались. Заменить-то нечем.

Приходят из укрытия «ЗИСы». Цепляем минометы. И снова хрюканье «ванюши», и шурушание мин над головой, и визг их где-то за спиной. Пронесло. Опять пронесло.

Как противна беспомощность собственная. Что я, кролик? Почему я должен ждать, когда меня стукнет? Почему ничего от меня не зависит? Стою себе на ровном месте, и вдруг — на тебе... Лучше в пехоту, лучше в пехоту... Там хоть пошел в атаку, а-а-а-а!.. И уж кто кого... и никакого страха — вот он враг. А тут по тебе бьют, а ты крестишься: авось да авось... Вот опять. Похрюкивает «ванюша» все настойчивей, упрямей. Все чаще ложатся мины, все ближе. Истошно кричат наши «ЗИСы», выкарабкиваются из зоны огня... Скорей же, черт!

И снова похрюкиванье. Мирное такое. Раз и еще раз. И вой...

— Ложись!

Шонгин сзади кружится на одном месте.

— Грибы собираете? — кричит Карпов.

— Обмотка...

И он кружится, кружится, ловит свою обмотку, словно котенок с клубком играет.

В бок мне ударяет чем-то. Конец?.. Слышно, бегут. Это ко мне. Нет, мимо. Жив я!

Мамочка моя милая... жив... Снова жив... Я жив... я еще жив... у меня во рту земля, а я жив... Это не меня убили...

Все бегут мимо меня. Встаю. Все цело. Mamочка моя милая... все цело. Там недалеко Шонгин лежит. И Сашка стоит над ним. Он держится рукой за подбородок, а рука у него трясется. Это не Шонгин лежит, это остатки его шинели... Где же Шонгин-то? Ничего не поймешь. Вот его котелок, автомат... ложка! Лучше не смотреть, лучше не смотреть.

— Прямое понадание; — говорит кто-то.

Коля берет меня за плечи. Ведет. И я иду.

— Землю-то выплюнь, — говорит он, — подавишься.

Мы идем к машинам. Они уже трогаются. Возле Шонгина осталось несколько человек.

— Давай, давай, — подсаживает меня Коля.

— Все целы? — спрашивает Карпов.

— Остальные все, — говорит Коля.

...К вечеру въезжаем в какой-то населенный пункт. И останавливаемся. Неужели все? Неужели спать? Подходит кухня. В животе пусто, а есть не хочется.

Мы сидим втроем на каком-то бревне. Я отхлебываю суп прямо из котелка.

— Фрицы сопротивляются, — говорит Сашка.

— Теперь уже пошло, — говорит Коля.

— Теперь наши стали и днем летать, — говорю я.

— А голова-то у тебя цела? — спрашивает Коля.

— У него голова как котел. Все выдержит, — говорит Сашка. Он смеется.

Тихонечко. Про себя.

— Жалко Шонгина, — говорю я.

Мы молча доедаем суп.

— А тебе без ложки-то легче, — говорит Коля, — хлебнул пару раз — и все. А тут пока его зачерпнешь, да пока ко рту поднесешь, да половину прольешь...

— А я тут ложки видел немецкие, — говорит Сашка, — новенькие. Валяются. Надо бы тебе принести их.

И он встает и отправляется искать ложки. Будет и у меня ложка! Правда, немецкая. Да какая разница... Сколько я без ложки прожил! Теперь зато с ложкой буду.

Ложки и в самом деле хорошие. Алюминиевые. Целая связка.

— Они мытые, — говорит Сашка, — фрицы чистоту любят. Выбирай любую.

Ложки лежат в моих руках.

— Они мытые, — говорит Сашка.

Ложек много. Выбирай любую. После еды ее нужно

старательно вылизать и сунуть в карман поглубже. А немец тоже ее вылизывал. У него, наверное, были толстые мокрые губы. И когда он вылизывал свою ложку, глаза выпучивал...

— Они мытые, — говорит Сашка.

...А потом совал за голенище. А там портянки пропревшие. И снова он ее в кашу погружал, и снова вылизывал... На одной ложке — засохший комочек пищи.

— Ну, что ж ты? — говорит Коля.

Я возвращаю ложки Золотареву. Я не могу ими есть. Я не знаю почему...

Мы сидим и курим.

— «Рама» балуется, — говорит Коля и смотрит вверх.

Над нами летает немецкий корректировщик. В него лениво постреливают наши. Но он высоко. И уже сумерки. Он тоже изредка постреливает в нас. Еле-еле слышна пулеметная дробь.

— Злится, — говорит Коля, — вчера небось по этой улице ногами ходил, летяга фашистский.

А Сашка по одной швыряет ложки. Размахивается и швыряет. И вдруг одна ложка попадает мне в ногу. Как это получилось, понять не могу.

— Больно, — говорю я, — что ты ложки раскидываешь?

— А я не в тебя, — говорит Сашка.

А ноге все больней и больней. Я хочу встать, но левая нога моя не выпрямляется.

— Ты что? — спрашивает Коля.

— Что-то нога не выпрямляется, — говорю я, — больно очень.

Он осматривает ногу.

— Снимай-ка ватные штаны, — приказывает он.

— Что ты, что ты, — говорю я, — зачем это? Меня ж не ранило, не задело даже... — Но мне страшно уже. Где-то там, внутри, под сердцем, что-то противно копошится.

— Снимай, говорю, гад!

Я опускаю стеганые ватные штаны. Левое бедро в крови. В белой кальсонине маленькая черная дырочка, и оттуда

ползет кровь... Моя кровь... А боль затухает... только голова кружится. И тошнит немного.

— Это ложкой, да? — испуганно спрашивает Сашка. — Что же это такое?

— «Рама», — говорит Коля, — хорошо, что не в голову.

Ранен!.. Как же это так? Ни боя, ничего. В тишине вечерней. Грудью на дот не бросался. В штыки не ходил. Коля уходит куда-то, приходит, снова уходит. Нога не распрямляется.

— Жилу задело, — говорит Сашка.

— Что ж никто не идет? — спрашиваю я. — Я ведь кровью истеку.

— Ничего, крови хватит. Ты вот прислонись-ка, полежи.

Приходит Коля. Приводит санинструктора. Тот делает укол мне:

— Это чтобы столбняка не было.

Перебинтовывает. Меня кладут на чью-то шинель. Кто-то приходит и уходит. Как-то все уже неинтересно. Я долго лежу. Холода я не чувствую. Я слышу, как Коля кричит:

— Замерзнет человек! Надо в санбат отправлять, а старшина, гад, машину не дает.

Кому это он говорит? А-а, это комбат идет ко мне. Он ничего не говорит. Он смотрит на меня. Может быть, сказать ему, чтобы велел сапоги мне выдать? А впрочем, к чему они мне теперь?.. Подходит полуторка. На ней бочки железные из-под бензина.

— Придется меж бочек устроиться, — слышу я голос комбата.

Какая разница, где устраиваться.

Мне суют в карман какие-то бумаги. Не могу разобрать, кто сует... Какая, впрочем, разница?

— Это документы, — говорит Коля, — в медсанбате сдашь.

Меня кладут в кузов. Пустые бочки, как часовые, стоят вокруг меня.

— Прощай, — говорит Коля, — ехать недолго.

— Прощай, Коля.

— Прощай, — говорит Сашка Золотарев, — увидимся.

— Прощай, — говорю я. — Конечно, увидимся.

И машина уходит. Все. Я сплю, пока мы едем по дороге, по которой я двигался на север. Я сплю. Без сновидений. Мне тепло и мягко. Бочки окружают меня.

Я просыпаюсь на несколько минут, когда меня несут в барак медсанбата.

Укладывают на пол. И я засыпаю снова.

...Это большая, прекрасная комната. И стекла в окнах. И тепло. Топится печь.

Меня тормозит кто-то. Это сестра в белом халате поверх ватника.

— Давай документы, милый, — говорит она, — нужно в санитарный поезд оформлять. В тыл повезут.

Я достаю документы из кармана. Вслед за ними выпадает ложка. Ложка?!

— Ложку-то не потеряй, — говорит сестра.

Ложка?.. Откуда у меня ложка?.. Я подношу ее к глазам. Алюминиевая сточенная ложка, а на черенке ножом выцарапано «Шонгин»... Когда же это я успел ее подобрать? Шонгин, Шонгин... Вот и память о тебе. Ничего не осталось, только ложка. Только ложка. Сколько войн он повидал, а эта последняя. Бывает же когда-нибудь последняя. А жена ничего не знает. Только я знаю... Я упрячу эту ложку поглубже. Буду всегда с собой носить... прости меня, Шонгин, старый солдат...

Сестра возвращает мне бумаги.

— Спи, — говорит она, — спи. Чего губы-то дрожат? Теперь уже не страшно.

Теперь уже не страшно. Что уж теперь? Теперь мне ничего не нужно: Даже сапоги не нужны. Теперь я совсем один. Вдруг Коля войдет и скажет: «Теперь наступление. Теперь лафа, ребята. Теперь будем коньячок попивать...» Или вдруг войдет Сашка Золотарев: «Руки у меня отваливаются от работы, а заменить нечем...» А Шонгин скажет: «Э-э, болтать вы горазды. Паскуды вы, ребята...» А Шонгин

теперь ничего не скажет. Ничего. Какой же я солдат — даже из автомата ни разу не выстрелил. Даже фашиста живого ни одного не видал. Какой же я солдат? Ни одного ордена у меня, ни медали даже... А рядом со мной лежат другие солдаты. Я слышу стоны. Это настоящие солдаты. Эти все прошли. Все повидали.

В барак вносят новых раненых. Одного кладут рядом со мной. Он смотрит на меня.

Бинт у него соскочил со лба. Он его накладывает снова. Матерится.

— Сейчас, сейчас, милый, — говорит сестра.

— А мне и без вас тошно, — говорит он. И смотрит на меня. Глаза у него большие, злые. — Из минометной? — спрашивает он.

— Да, — говорю я. — Знакомый? Знаешь наших-то?

— Знаю, знаю, — говорит он, — всех знаю.

— Тебя когда это?

— Утром. Вот сейчас. Когда же еще?

— А Коля Гринченко...

— И Колю твоего тоже.

— И Сашку?

— И Сашку тоже. Всех. Подчистую. Один я остался.

— И комбата?..

Он кричит на меня:

— Всех, говорю! Всех! Всех...

И я кричу:

— Врешь ты все!

— Врет он, — говорит кто-то, — ты его глаз не видишь, что ли?

— Ты его не слушай, — говорит сестра, — он ведь не в себе.

— Болтать он горазд, — говорю я, — наши вперед идут.

И мне хочется плакать. И не потому, что он сказал вдруг такое. А потому, что можно плакать и не от горя... Плачь, плачь... У тебя неопасная рана, школяр.

Тебе еще многое пройти нужно. Ты еще поживешь, дружок...

Август 1960 — февраль 1961

НОВЕНЬКИЙ КАК С ИГОЛОЧКИ

Повесть

СВЕРЧОК — ВЕЧНЫЙ ТРУЖЕНИК

Сутилов похож на маленького Наполеона перед маленьким Ватерлоо. Он уже всего хлебнул на своем веку. Он знает, что почем на свете. Маленькие его руки скрещены на маленькой груди. Он, конечно, знает наизусть всю Калужскую область, как Наполеон — свое поле сражения... Сюда — батальон, сюда — полк, сюда — армия...

Сутилов распределяет учителей по школам области. Я понимаю, как это трудно. Но ведь и мне нелегко. У меня свои планы...

Сюда — батальон, сюда — полк... А меня?..

— В Шамордино, — говорит он, не глядя в глаза.

— Это что еще?

— Деревня, — говорит он.

— Что?!

Я кричу так звонко, так истошно, что самому страшно. Ничего, пусть знает... У него оцерены крупные желтые зубы. Он часто глотает слюну... Ничего, пусть знает... Но я беру себя в руки. И усмехаюсь прямо в глаза ему. И вдруг мне становится жаль его. За окном — серый полдень. А Сутилову приходится всегда смотреть в это окно. На нем серый мятый костюм из дешевого коверкота. Лицо серое, скучное, как последний липовый лист. Он даже звона трамваев не слышит!

Калуга... И все-таки я усмехаюсь, потому что думаю, как теперь каждый входящий будет кричать на него и топтать ногами. Ничего, пусть знает...

— Я могу только в городе работать, — говорю миролюбиво, — мне деревня противопоказана. В городе — это другое дело. А деревня мне противопоказана...

— Нет, — говорит он.

— Да, да, — говорю я, чтобы окончательно его подавить.

— Город не получится, — говорит он спокойно, словно ничего не произошло.

С ума сошел!.. Что он, не понимает ничего?.. Или разыгрывает?..

— Может, я сам могу выбирать себе место под солнцем?!

— Нет, — говорит он.

— Может быть, в вашем Шамордине́ и публичная библиотека имеется?

— В Шамордине, — поправляет он.

— Значит, я должен плюнуть на аспирантуру ради ваших интересов?

— Нам учителя нужны.

— А мне какое дело?

— А мне какое дело? — говорит он.

Поле боя покрыто пороховым дымом. У маленького Наполеона все продумано. Его не страшат атаки моих легкомысленных гусар. Он и не такое видывал. Он держит меня своей широкой заскоружлой пятерней за горло. Я чувствую, как она жестка.

— Послушайте, — говорю я, — в ваши обязанности входит считаться с запросами людей?

— Да, — говорит он.

— Мне нужна городская школа... Город мне нужен...

— Нет, — говорит он.

В холодных глазах его — только опыт, много опыта и усталость. Он не хитрит. Он прост, как его кабинет, где — только стол, три стула и карта области на стене.

— Вы хотите, чтобы учитель работал с полной отдачей сил?

— Да, — говорит он.

— Радостно, без раздражения?

— Да, — говорит он.

— Так оставьте меня в городе!

— Нет, — говорит он.

— Я не могу ехать в деревню!.. Мне нельзя приказывать!.. Я литератор, а не солдат!.. Чего вы жмете?.. Не желаю в грязи утонуть!..

Он снова обнажает зубы. Может быть, это улыбка? Так улыбаются, когда хотят ударить, когда можно наконец ударить и не получить сдачи.

— Значит, деревня — это грязь? — спрашивает он шепотом. — Колхоз — это грязь?.. Мы двадцать лет создавали грязь?..

— Вы меня не так поняли, — говорю я шепотом.

— Значит, вы считаете, что наши колхозы — это грязь? — шепчет он.

— Я не то хотел... — шепчу я.

Я знаю, как это бывает, знаю. Теперь не будет ни деревни, ни города... Вот почему небо такое серое, и улыбка на сером лице... Я знаю, как это бывает!..

— Я не то хотел, — шепчу я.

Он отпускает мое горло и кладет пятерню на телефонную трубку. И смотрит на меня выжидательно...

До пятидесятого года я дополз, докарабкался... Теперь — все. Я знаю, как это бывает.

— Я этого не говорил, — говорю я.

— А я и не утверждаю, — говорит он. — У тебя хорошее, открытое лицо...

— Как жалко, что ни одного места нет в городе, — говорю я.

— Жалко, — усмехается он.

Он дипломат. Хоть это и не нужно. Куда я денусь? Артиллерия его мощна. Он много лет стреляет в одну цель. Что я могу?

Пока я со школьной скамьи тешил себя — он пристреливался. Теперь его снаряды, каждый весом с корову, летят в меня.

— Может быть, найдется одно местечко?

— Нет.

Это потом я буду смеяться над собой и над ним. Сейчас мне не до смеха. Еще один залп — и мои бастионы рухнут. Это потом я буду смеяться. А еще позже я буду вспоминать, даже с уважением и... с ненавистью. От ненависти отделяться не смогу. Но это потом. Сейчас я просто презираю его. Мне не остается ничего другого — я разбит. Презрение — это единственное, что можно себе позволить после того, как ты твердо был уверен в выигрыше и вдруг проиграл.

— Неужели нет ни одного места?

— Нет.

Маленький Наполеон стоит передо мной, скрестив на груди руки. Может быть, все-таки угрызения совести мучат его?.. Или воспоминания о собственной юности?..

В серых глазах его — серое калужское небо. Я кажусь себе жалким под его взглядом.

Ну хорошо, я разбит, разгромлен, но ведь можно сказать что-нибудь человеческое!.. Скажи, ты, недоносок!.. Стань теплее! Положи руку мне на плечо, сними ее с горла!.. Мне ведь немного надо... Я ведь уже твой... Пообещай что-нибудь доброе... Но он смотрит на карту. Сюда — полк, сюда — батальон, сюда — дивизия...

— Может быть, хоть какое-нибудь место, а?

— Нет.

А то, что я представлял себе вчера? Как быть с этим? Я в черном пальто, в руке — портфель. Я медленно иду из школы. Кружатся золотые листья. Вечер. Я живу на тихой улице, где липы и одинокая рябина меж ними. Старинный дом. Скрипучая лестница — туда, наверх, где моя комната. Книжки, книжки... Милая немолодая хозяйка, которая по вечерам играет Сен-Санса. Идет дождь. Потрескивают в печи дрова. Сверчок какой-то трудится в углу.

— Сверчок, — говорю я, — вечный труженик.

— Он живет у нас с незапамятных времен, — говорит хозяйка.

— Опять дождь, — говорю я.

— Что-то есть в этом очаровательное, — говорит она, — сверчок... дождь...

— Сыграйте еще что-нибудь, — прошу я.

Она играет. Идет дождь. Глухо звенят часы со стены...
Сутилов подходит ко мне.

— Может быть, временное место есть какое-нибудь? — спрашиваю я.

— Зачем так унижаться? — говорит он.

— Мне в городе нужно, — говорю я расслабленно.

— А там, в Шамордине, — говорит он, — бывший женский монастырь. Там Толстой бывал. Можно про это статью написать, диссертацию...

Он даже улыбается. Он заглядывает мне в глаза, словно хочет полюбоваться на мою слабость. Крупные желтые зубы его обнажены в улыбке.

— Чудак, — говорит он, — я же добра тебе хочу. Я ведь любого туда не направлю... Чудак! Понимаю — Москва... А Калуга?.. Разве это город?

Он кладет руку мне на плечо.

— Я тебе честно скажу, — говорит он, — есть в городе одно местечко. Пятый класс. Но неужели ты, филолог, удовлетворишься этим? Городская школа... казарма... штамп... Затеряешься... А там ты — бог, царь, все. Все твое. Там грамотные нужны, а здесь — что? Я ведь специально тебя посылаю, — говорит он шепотом, — именно тебя... — и подмигивает. — Сюда я какую-нибудь дуру бездарную ткну, и сойдет.

Он совсем приблизился ко мне. Прощай, Калуга. Прощай, город. Не вышел наш роман.

Прощай, незнакомая женщина, играющая Сен-Санса...

— Договорились? — спрашивает он.

— Нет, — говорю я.

— А что же ты поделаешь? — улыбается он.

— Почему это вы на «ты» со мной? — спрашиваю я.

И снова — руки на груди. Он презирает меня за слабость. Он отпускает меня на все четыре стороны.

— Черт с вами! — говорю я. — Найду другой город.

Он провожает меня к дверям. Широко распахивает их.

— Видишь? — говорит он.

Я вижу... Вижу. Вся приемная забита вот такими же, как я. Они смотрят на нас выжидательно. Они ждут своей очереди. Там даже такая красивая москвичка мелькает. Она вытягивает шею и подобострастно смотрит на Сутилова.

— Видишь? — смеется он. — Без кадров не останемся.

— Ну и черт с вами, — говорю я и иду через приемную, расталкивая своих коллег.

— Если надумаешь, — кричит он, — возвращайся, примем!

...И я вернулся.

КЕЛЬЯ МОНАСТЫРСКОГО КАЗНАЧЕЯ

Вещи мои лежат на зеленой августовской траве.

Чемодан и одеяло. И авоська с копченой колбасой. И тючок из зимнего пальто.

Мне немного смешно: сельский учитель. Чем я учить буду? Но здесь прекрасно!

Этот холм, мягкий и заросший, это высокое небо, этот полуразрушенный собор, несколько домишек вокруг... А там, за оврагом, — Васильевка, деревенька, похожая на растянувшуюся детскую гармошку.

Куда ты попал, мой милый, мой дорогой?

Мне немного смешно: у жизни свои планы, их не предусмотреть.

Откуда-то из-за деревни выглядывает испуганное и высокомерное лицо Сутилова. Он поглядывает настороженно: а не перемену ли я планов? А не смеюсь ли? Дам ли ему наконец покой?

Как хорошо! Как тихо! И солнце... Внизу, под холмом, счастливой подковкою изогнулась река. На горизонте — лес. Почему я отказывался ехать сюда? Не помню. Уже не помню... Солнце. Ранний вечер. И ни души. Что может быть лучше после грохота поездов, духоты вагонов, суеты большого города, тряских грузовиков, равнодушных чиновников?

Вещи мои лежат на зеленой августовской траве.

Вот здесь мне работать, в этом двухэтажном старинном кирпичном доме.

— У монахинь здесь трапезная была, — говорит мне Шулейкин, директор школы.

— Петухи поют, слышите? — говорю я, улыбаясь.

У Шулейкина маленькие добрые глаза. Он немного смущен. Это хорошо видно.

— Из университета к нам еще не присылали, — говорит он. — Университет — это не пединститут.

— Конечно, — говорю я значительно. — Впрочем, разве в этом дело? — говорю. — Университет, правда, дает больше знаний, но ведь дело-то в человеке...

— В душе, так сказать, — говорит Шулейкин.

— Конечно, — говорю я.

— В умении найти общий язык, — говорит Шулейкин.

— Еще бы, — говорю я.

Потом приходит завхоз.

— Готова квартира, — говорит он.

Мы берем по вещи каждый и идем по дорожке, и лопухи бьют нас по икрам.

— Хорошо у нас, — говорит Шулейкин. — Жаль, что в войну часть дубов повырубили...

— И так хорошо, — говорю я.

Он улыбается. Я улыбаюсь. Солнце садится.

Коридор каменного домика. Прямо — дверь. Небольшая комната. Белая. Большое окно с видом на реку и луг.

— Вот ваша келья, — смеется Шулейкин.

— Чудо! — говорю я.

— Здесь раньше жил монастырский казначей.

— Ого!

— Вид хороший, — говорит завхоз и уходит.

— А не боитесь глухумани? — говорит Шулейкин. — Серости не боитесь?

— Чепуха!

Знал бы он, как это прекрасно, когда солнце и простор... И нет дождя, проливного, осеннего...

— Тут у всех хозяйство. А вы что есть будете? Магазинов-то нету.

Прощупывает!..

— Буду пить молоко.

— Обзаведетесь хозяйством, — говорит Шулейкин. — Приживетесь. Невесту подыщем, — он смеется. — Не захочется уезжать. — Он говорит об этом недоверчиво и потом — тихо: — Народ здесь у нас не очень добрый. Вы это учтите.

— Чепуха, — говорю я.

Вот она, моя келья!..

— Ремонт сделаем, — говорит Шулейкин.

— Какой еще ремонт? Зачем?

— Дыры везде... Замерзнете...

— Чепуха.

— Это не чепуха, — мягко говорит он. — Пойдемте походим.

Мы идем с ним по поселку.

— А вон Виташа, — говорит Шулейкин.

Возле школы играют в волейбол.

— Виташа — это учитель, — говорит Шулейкин. — Виктор Павлович. Любит действовать исподтишка...

Поют пчелы. Пахнет медом.

ПОСТУПАЮТ В СВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО

Разве мог я понимать, как прекрасны люди, пока не попал сюда?

Мои восьмиклассники сидят передо мною неподвижно. Они еще многого не знают, но они прекрасны и они мои. Им еще сладка неграмотность, но это не их вина. И холодная осень стремительно кружится по монастырю и обрамляет их лица.

Лица моих учеников неподвижны, но в их глазах давно горят огоньки здравого смысла, иронии, доброты, непримиримости и надежды.

А в это время на деревьях, что раскинулись вокруг, сидят птицы. И они поют. Они похожи на последние осенние листья. Я отчетливо слышу их звонкое пение даже сквозь двойные рамы окон.

Коля Зимосадов входит в класс в стоптанных сапогах, в залатанном пальтишке, с офицерской сумкой через плечо. Это уже через много лет он станет офицером. А пока он садится на свое место, коренастый и неторопливый, и устраивается, и все раскладывает по своим местам, и смотрит на меня, словно надеется, что именно сейчас-то и раскрою я ему все премудрости учености. Он давно уж перерос свои пятнадцать лет, взрослый маленький мужичок с грубоватыми руками.

— «Окно» пишется, Коля, через «о»... Забыл?

Он краснеет, крутит головой, старательно исправляет ошибку. Кто-то обучал их не очень влюбленно.

— Нравится вам ваша школа?

— Хорошая школа, каменная, — говорит кто-то.

Мне вспоминаются испуганные маленькие глаза Шулейкина, когда я объявил ему, что первый диктант весь класс написал на единицу.

— Что с вами? — спрашивает он.

— Все в порядке, — говорю я. — Вот посмотрите.

Он дрожащей рукой перелистывает странички.

— Может быть, у вас с дикцией не все хорошо?

— С чем?..

— Может, вы диктовать не умеете?

— Ну, знаете!..

— Такой грамотный класс, и нате...

Он так говорит об этом, что я чувствую себя виноватым, хотя и недели не прошло, как я вошел в этот класс.

— Вы отметки в журнал не ставьте, — говорит он. — Кошмар какой-то...

— Что случилось? — спрашивает Клара Ивановна.

Она завуч. Она преподает ботанику. Ботаники они почти не знают. Она просто читает ученикам главы из учебника. Наверное, потому лицо у нее всегда испуганное.

Она смотрит то на меня, то на Шулейкина круглыми коровьими глазами, и полные ее губы слегка приоткрыты в томительном ожидании.

Потом она всплескивает руками:

— Что же вы наделали?!

— Я думаю, нужно еще один диктант провести, — говорит Шулейкин. — Полегче...

— Катастрофа, — говорит Клара Ивановна.

Виташа подмигивает мне по-дружески из другого угла учительской.

— Ну что же, — говорю я, — давайте попробуем.

Мы пробуем.

Шулейкин приносит мне новый текст для диктанта. Текст примитивен и короток.

— Это же для учеников пятого класса, — говорю я.

— Вот и хорошо, — говорит он. — Будет положительный результат.

Он при этом смотрит мне прямо в глаза, и я чувствую себя дураком.

— Вот и хорошо, — говорит он, — сложное мы еще успеем.

— Дурак, — шепчет мне Виташа, — начнешь с простого, отметки будут хорошие, а потом перейдешь к сложному — колы пойдут... А кто обучал? Ты... Кто виноват? Ты... Дурак.

Я диктую этот примитивный текст. Я диктую, как Левитан. Я декламирую, как Яхонтов. Пусть они не думают, что у меня с дикцией слабо.

А птицы поют. Красные, желтые, зеленые, черные, они поют, сидя на ветках деревьев.

А Шулейкин медленно ходит по рядам. Он иногда останавливается. Тычет пальцем в тетради моих учеников.

— Разве здесь одно «н»?..

— Подумай-ка над этим словом... Вот теперь другое дело.

— Запятые-то позабыл...

— Зачем вы подсказываете? — говорю я шепотом.

— Какие же это подсказки? — говорит он громко. — Они волнуются... Это помощь маленькая.

Потом мы вместе проверяем диктанты.

— Ну это можно за ошибку не считать, — говорит он, — и это, пожалуй, тоже...

Он улыбается мне:

— Теперь вам будет легче. Не помоги я, кто знает, что было бы...

Он делает жест правой рукой, словно пытается понять себя. Он доволен. Единиц нету. Двоек нету. Троек много, но это не страшно. У Гены Дергунова — пятерка.

— Ничего не понимаю, — смеется Шулейкин, — это же самый слабый ученик...

— Вы ему много подсказывали.

— Да помогал я! Какие это подсказки? Даже не помогал, а подбадривал.

Потом он сам, собственноручно выставляет отметки в журнал.

Потом он говорит по телефону с заведующим районо. Я слышу:

— Новенький?.. — говорит Шулейкин и улыбается мне. — Отлично. Успеваемость дает стопроцентную...

Я делаю ему знаки. Я пытаюсь его остановить. Это очень неудобно, когда тебя хвалят при тебе же. И за что?

Но что-то теплое обволакивает меня. Теплое и волнующее. На одно мгновение. В детстве, когда тетка говорила обо мне кому-нибудь: «Он самый хороший мальчик», я испытывал то же самое.

Неужели так просто и покупается покой? Я смотрю на Шулейкина. Он скромн, вежлив, сдержан... Он хочет мне добра... Но он учит меня подлогам!.. Нет, он хочет мне добра... и себе... и всем. Он учит меня подлогам.. Легко возмущаться и обвинять... Нет, он учит меня подлогам... Нет, он хочет мне добра... Вот он улыбается и кивает мне. Он улыбается, потому что скрутил меня!.. Но в его улыбке — что-то дружеское и теплое. Приятна его улыбка и нужна. Я совсем одинок. Я пока никого не знаю. Кто-то

нужен рядом. Клара Ивановна глупа и истерична. Виташа смотрит в свой огород... Шулейкин тоже одинок... Нельзя видеть в людях только плохое, нельзя... У него нелегкая жизнь... Ему приходится бороться... За что?.. И Клара Ивановна улыбается...

А птицы горланят во все горло. Их пестрый хор отчетливо слышен сквозь двойные рамы окон.

И Ваня Цыганков, рыжеволосый и косматый, разинув рот, влюбленно вслушивается в их пение. И мне не хочется его будить, отрывать, мешать ему.

Он сидит за партой неуклюже, рассыпавшись на составные части: нога — там, рука — в другом месте, голова под солнцем, под последним... Впрочем, никакого солнца и нет...

А Саша Абношкин, сын председателя колхоза, продолжает свою речь:

— ...После этого они поступали в светское общество...

— Как это «поступали»?

Он мнется. Он самолюбив. И колок. Ну ладно, я ведь тоже все это прошел и знаю. Я тоже самолюбив... Мне только двадцать шесть, а не пятьдесят.

— Как это «поступали»? Это что, учреждение? Школа?

Он молчит. Я сбил его.

— Ну как ты это себе представляешь? Здание такое, да?

— Ну, здание...

— Двери, окна, вывеска над входом, да?.. Написано: «Светское общество», да?

— Кто его знает...

Потом, когда я с грехом пополам вдальбливаю в их неприспособленные, практичные головы эту абстрактную чепуху, Саша Абношкин говорит мне, прищурившись:

— А зачем это нам? Трактор и без этого пойдет.

— Ты это серьезно?

Он усмехается.

— Ладно, — говорю я миролюбиво, — будем считать, что теперь истина установлена.

— А я и раньше знал, — говорит Саша Абношкин.

Голова его вздернута невероятно. Он старается смотреть на меня сверху вниз. Он из тех, кто участвует в соревнованиях только тогда, когда абсолютно уверен в своей победе. Если он не уверен, он откажется от соревнований. Он будет тайком тренироваться до тех пор, пока не почувствует, что готов выйти и победить. Он начинает огрызаться, презирать, ненавидеть...

— Всякий нормальный человек должен любить читать, — говорю я.

— А вот бабка Прасковья не любит, — медленно говорит Гена Дергунов. — Что ж она, ненормальная?

Они объявляют мне войну. Не кровавую, не смертельную, не ожесточенную... Но такую, что держи ухо востро перед их ранней земной мудростью и насмешливостью. Это война добрая. Это означает, что тебя признали... Наверное, это честь для меня, что они снизошли до единоборства со мной. Легкое, изящное «кто — кого», оно ведь нам не в тягость...

— Но оно мешает, — мягко говорит Шулейкин. — С ними нужно быть поосторожнее... Распускать нельзя... всякие вопросы... каламбурчики... Ученик учиться пришел? Вот и пусть учится, а над учителем подтрунивать...

— Мне видней, — говорю я.

— Нет, мне видней, — мягко говорит Шулейкин. — По диктанту тоже спорили, а вышло...

— Вышел подлог, — говорю я шепотом.

Почему я говорю об этом шепотом?

Он молчит.

— Здорово ты его рубанул, — смеется на улице Виташа.

— А ты-то что же молчал? — спрашиваю я.

— Да я не успел, — говорит он растерянно.

Ужасно заставлять людей врать и оправдываться...

— Ладно, — говорю я, — замнем. Я пошутил.

— Мне здесь жить, — говорит Виташа. — Ты-то уедешь. Ты сегодня здесь, завтра — там... А мне здесь оставаться.

А птицы поют...

ПОХОДКА БАЛЕРИНЫ

Она кутается в мамкин платок. И переминается с ноги на ногу. А на ногах ее — старые валенки, подбитые резиной, и большие нелепые латки на тех валенках.

Но когда она делает шаг, в классе становится тихо.

Или это мне кажется?

И она идет в мою сторону. Она идет плавно, слегка покачивается на ходу, как балерина. Это такая особая походка, словно кончиком ноги слегка прикасаются к воде: не холодна ли?

— Скажи-ка мне, Багреева...

А о чем спрашивать — не знаю.

За окнами — голые холмы, серое небо. А может быть, и дождь сыплет... А Багреева держит высоко прекрасную свою голову. Она стоит прямо передо мной, только на меня не смотрит.

В классе очень тихо. Я не должен был ее вызывать первую. Она слишком необычна для этого. Хороша слишком. Еще подумают... Видят ли они, как она хороша?

А она стоит, не глядя в мою сторону, и ее большие ресницы (господи, как нарисованные!) колышутся слегка, подобные мягким темным крыльям.

— Возьмите мел, Багреева.

Для чего этот мел?.. Ну что она будет писать?..

Она берет мел. Маленькая, тонкая ее рука высовывается из рукава. На ней старомодный пиджак. Мужской. А рука маленькая и тонкая. А пальцы красные, и кожа на них потрескалась. И в этих красных, озявших пальцах — белый мел...

Я должен обучать ее прекрасным стихам, и она должна научиться не смотреть мне в глаза так пугливо и даже не отворачиваться, и она должна знать себе цену... Бред какой-то!

Там, за окнами, ветхие крыши Васильевки темнеют над оврагом. Знают ли они, для чего я сюда приехал?

— Вы знаете, кто такой Сен-Санс?

Кто-то тихо смеется. Она вздыхает. Она смотрит на меня громадными карими своими глазищами. Она вздыхает. Кто-то смеется. Я листаю журнал и ничего не могу прочесть в нём. Почему я на «вы» с ней?..

Вот она стоит передо мной, Багреева Вера. Что она думает о себе?.. Хоть бы согрела руки, чтобы пальцы оттаяли, чтобы мел не дрожал и не крошился... Она вздыхает. Почему это я говорю с ней, с восьмиклассницей, на «вы»?..

— Вы не знаете, кто такой Сен-Санс?

— Что?..

За окнами — голые холмы, серое небо. Скоро снег, скоро снег...

— Положи мел, Багреева.

Она кладет мел. Она краснеет. А там, в Васильевке, уже зажигаются огни. Керосиновые лампы с закопченными стеклами стоят, как солдатики, на столах. Туда, через овраг, на те огни, по мокрой скользкой осенней дороге пойдет Багреева Вера. Походка ее будет плавна, как у балерины.

— Багреева, ты была когда-нибудь в театре?

— Нет.

Она вздыхает. Неужели она не знает, как она красива?

— Кто из вас бывал в театре?

Все сидят неподвижно.

— А знаете ли вы, что такое трамвай?

Да, конечно, они слышали. Он гремит по утреннему городу. Я вижу напряженное лицо вожатой и заспанные губы кондукторши. Я покачиваюсь на задней площадке, трясусь... вместе со всеми своими радостями, и раздумьями, и печальюми...И пассажиры толкают меня под бока...

Это старое уродливое электрическое животное — трамвай! Но на нем я уезжал в будущее, кода еще не существовали троллейбусы...

...Она будет идти по скользкой дороге. Будет уже темно вокруг. Ведь теперь темнеет рано. Осень ведь... Знает ли она о том, как она красива?.. И в губах — ничего детского, уже ничего... В деревьях взрослеют рано.

— Что ты будешь делать, когда домой вернешься?

Кто-то смеется. А может быть, кашель сдерживает...

— Воды наносу, — говорит она и смотрит в окно...

И уже ни пиджака мужского на ней, ни старого платка, ни валенок разбитых, ни красных, озябших пальцев... Что-то светлое, легкое, гордое...

Она идет по проходу к своей парте. Вот так она и будет идти всегда мимо молчаливых товарищей, мимо Васильевки, и проход меж рядами — это как продолжение поздней осенней дороги...

— В деревне часто встречаются великовозрастные ученики, — говорит Шулейкин в учительской.

— Какие?

— Ну, переростки. Условия труда, и все такое прочее. Вот, например, Вера Багреева...

Он смотрит мне в глаза прямо и подозрительно.

— Не помню, — говорю я.

— Вера Багреева... Красивая такая...

— Не помню, — говорю я.

— Ей вот, к примеру, семнадцать, а она в восьмом...

— Она что, тупая?...

Он смотрит прямо в меня. Маленькие глазки его не моргают.

Шалишь! Ничего не получится. Я не таковский. Я тоже не дурак.

А за окном — темень. И три керосиновых солдатика с трудом освещают учительскую. И Вера Багреева носит воду. И коромысло изгибается на ее плече. И красными, озябшими пальцами она придерживает мокрое дерево. Сыплет дождичек осенний, а она идет медленно, но легко, покачивается. Она ступает так, словно пробует воду в реке кончиками пальцев.

— Неужели вы не заметили Багрееву? Такая красивая, стройная девица. У нее мать тоже... Особенно раньше... А у этой, у дочери, ресницы мохнатые...

— Не помню, не заметил.

— Городским она нравится. Нынешним летом инспектор молодой из Калуги приезжал... Возвращаться не хотел.

— Не помню, — говорю я. — Не помню Багрееву.

Конечно, если снять с нее эти валенки... Мне двадцать шесть — ей семнадцать. Это значит, девять лет разницы. Не так уж много...

— Вон вы какой красивый, — говорит Шулейкин.

— С чего это вы взяли?

— У вас усики черные, и вообще брונет...

— Ну так что же?

Девять лет — такие пустяки...

— Непросвещенное мнение русских женщин относительно брונетов... — поясняет Шулейкин.

— Да ну что вы...

— Они считают: раз темный, значит, хорошо. Контраст.

Свет падает Шулейкину на лицо, и шрам на носу словно налился кровью. Набух. А в маленьких глазах его — боль и вопрос. Он подстрижен и выбрит на славу. Как это он здесь умудряется?.. Толстые монастырские стены холодные. Печи едва живы. Вот если бы на этом прекрасном холме выстроить прекрасное здание, стеклянное и прозрачное и теплое...

— От холода у учеников руки краснеют, — говорю я.

Он смотрит на меня и слегка улыбается.

— Я видел сегодня: руки красные, озябшие, мел не держат... Обидно...

— У Багреевой Веры руки от кипятка красные, — говорит он, — обварила. — Он смотрит на меня и слегка улыбается. — Конечно, обидно, — говорит он, — такие красивые руки...

Ей семнадцать?.. Вот почему уже ничего детского в молчаливых и неподвижных ее губах.

— Мать у нее красавица, вот увидите... Так сказать, красит наш унылый пейзаж. А летом у нас хорошо.

И он продолжает внимательно вглядываться в меня. И что-то жалкое мелькает в его взгляде. Мне грустно и не по себе. Хочется уйти из этой комнаты, где, кроме стен и стола, покрытого красным сатином, больше ничего нет.

ПУСТЬ КОЛ, ДА СОБСТВЕННЫЙ

И здесь, оказывается, льют дожди. И здесь — холодно и сыро. И келья моя протекает. И четыре кубометра осиновых дров гниют под дождем. Чем я буду зимой отапливаться?

— Еще будут хорошие деньки, — говорит Мария Филипповна, пионервожатая. — Еще в колхозе наработаемся.

— То есть как это?

— Обязательно, — говорит она. — Все пойдем: и ученики, и учителя.

Если бы я был посчастливей, сидел бы сейчас в публичке. Завтракал бы дома. Ходил бы в кино, когда хотел...

— Вы приходите к нам пообедать, — говорит Мария Филипповна. — Что ж на молоке на одном сидеть... Разве можно?.. Живот испортите.

— Я солдат, — смеюсь я. — Я привык ко всему.

А у них дома, наверное, тепло. Они обжились... Дом!

— Мне бы вот сахару достать, — говорю я.

— А вот мы в воскресенье в Козельск за продуктами поедем... Давайте с нами...

Чаю хочется!.. Обыкновенного горячего чаю... Раньше мне хотелось быть великим, хотелось попасть на Северный полюс... Хотелось написать роман... А сейчас хочется чаю...

— А я примус в Козельске куплю. Чай буду варить себе.

Она смотрит на гнилые дрова. Покачивает головой.

— Безобразие, — говорит. — Человек университет окончил, а они дров хороших дать не могли!.. — И оглядывается.

— Кто о н и?

Она смеется. Оглядывается по сторонам.

— Вы потише, — лицо у нее растерянное, — у нас в поселке слышно очень.

— Колхоз тут у вас развалюшка какая-то, — говорю я.

— Тшшш...

Губы у нее становятся белыми. И она шепчет этими белыми губами:

— Что вы... что вы... — И снова громко: — Послевоенные трудности. Ничего, это мы наладим... — И снова шепотом: — А то еще ученики услышат. — Белыми губами: — Они знаете какие?.. — И снова, извиняясь: — Вы мне всю работу испортите...

...Я говорю своим восьмиклассникам:

— Результаты третьего диктанта — колы. Нравится?

Они молчат.

— Не нравится?

Они молчат.

— Цыганков Ваня, тебе нравится?

Он стоит за партой. Крутит рыжей кудлатой головой.

— Ну, нравится тебе такой результат?

— Не-е...

— Кому нравится?

Они молчат.

— Вот и выбирайте. Сами выбирайте, — говорю я. — Как скажете, так и буду поступать.

Что-то подкатывает к горлу. Что-то душит меня. Ну вы, ну поддержите хоть вы меня! Скажите хоть одно слово. Я не знаю, чем это кончится, но давайте воевать...

— Мы можем писать легкие диктанты, как тогда... Если вы хотите. Я даже могу подсказывать вам. Вы меня любить будете за доброту мою... А?

Они молчат.

— Меня все хвалить будут... Хороших дров мне привезут. Будет большой праздник...

Кто-то фыркает.

Или я напрасно взываю к ним?

— И спрашивать я буду очень облегченно. И когда буду спрашивать, буду в окно глядеть, чтобы не мешать вам в учебник подсматривать...

Коля Зимосадов сидит насупившись. У Маши Калашкиной растерянная улыбка на некрасивом лице. Шура Евсиков барабанит по парте пальцами. Он очень сосредоточен.

— Хотите такую жизнь? Да? Одно слово, и все будет по-вашему.

Они молчат.

— Хотите?

— Не хотим, — говорит Гена Дергунов и прячется за развернутую книгу.

— А ты за всех не отвечай, — говорит Саша Абношкин.

— Хотите?

— Лучше, чтоб полегче, — улыбается Маша Калашкина.

Подвел ты меня, Абношкин!

— Полегче не будет, — говорю я.

Они молчат. Бунт?

— Пусть кол, да мой собственный, — говорит Шура Евсиков. — Мне чужие четверки не нужны.

Ааа... Вот оно!

— Зимосадов.

— А мне тоже не нужны...

— А ты, Абношкин?

— А чего я?..

— Нагорит вам потом, — говорит мне Маша Калашкина. — Вам Шулейкин даст...

— Не твоя забота, — говорит ей Саша Абношкин.

— Выставлять колы в журнал? — спрашиваю я.

Они молчат.

— Выставлять?

Они молчат.

— Выставлять или нет?

— Ставьте, — говорит Гена Дергунов и прячется за развернутую книгу.

— Кто за?

Они поднимают руки.

Ну вот, теперь и начнется!.. Зачем мне это? Друг мой, друг мой, за то ли ты взялся?.. А в монастыре бывал Толстой... Забыл ты об этом, забыл... Хватал бы ниточку за неверный ее конец... Потомки спасибо сказали бы!..

— Не тем вы занимаетесь, — мягко говорит мне в учительской Шулейкин. — Возбудили детей.

— Детей? — смеюсь я.

Теперь наши позиции стали хоть определеннее. Теперь легче. Вот — я, а вот — он. Главное теперь — это не нарваться, не раскритичаться, не устроить истерику.

— Детей? — смеюсь я.

— Вы еще очень неопытны, — мягко говорит он. — Можете споткнуться...

Я улавливаю легкую угрозу. Она едва ощутима, как в жару — будущий дождь.

— Они не так безграмотны, как вам кажется, — говорит Шулейкин.

— Вы мне угрожаете?

— Вот видите, как вы поняли товарищеский совет? — качает он головой. — Вот видите?..

— А может быть, и в самом деле, — говорит Клара Ивановна, — начать с колов?.. Ну пусть уж...

Он останавливает ее едва заметным движением руки, и она послушно смолкает.

— Послушайте, Михаил Андреевич, — говорю я Шулейкину, — вы что, боитесь меня? Или я ваши планы нарушил? А?

— Я ничего не боюсь, — говорит он.

— А чего вас бояться, — говорит Маракушев Николай Терентьевич вызывающе, а сам смотрит на Шулейкина, словно ждет его распоряжений.

Я резко поворачиваюсь к нему.

— А вы еще откуда взялись? — говорю я ему очень обидно. Но он не обижается. Только бы не сорваться. Пусть знают!.. Еще бы мне широко улыбнуться, помахать им рукой и выйти... Не могу...

— Вы не вмешивайтесь, — говорит Маракушеву Шулейкин.

Они уже между собой воюют. Ладно, у меня тоже свои соображения на сей счет...

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

— И всю ночь будем работать? — спрашиваю я.

— Всю ночь и будем, — говорит Виташа. — Это вам не в городе в постельке спать. — Он смеется. Он смотрит на меня. — Ничего, мускулы развивать надо. Покрутите машинку!.. — Потом он успокаивается, говорит серьезно: — Надо ведь колхозу помочь...

Как ему приятно сообщить мне это!

— А ты что, против постельки? — спрашиваю я. — Ты считаешь, что это только для городских сибаритов? Да, Виктор Павлович?

— Я пошутил, — говорит он, и сплевывает на пол, и наступает валенком на плевок.

Нет, нет, никаких вопросов. Разве я возражаю?.. Хоть и есть во всем этом какая-то несурязица... Ладно, учись, дурак. Учись высокому искусству веяния овса... Ладно, не спрашивай. Жизнь так коротка... А что, если тот мешок овса, что тебе суждено провеять, и есть главное, во имя которого — всё? Учись, дурак... И торопись... Виташа посмеивается, но у него узловатые сильные руки... Черт! Неужели до сих пор сильные руки — самое прекрасное, что создал человек?.. Ладно, не спрашивай... Ладно. Молчу... Мы будем веять ночью... Ладно. Днем мы будем учить крестьянских детей быть прекрасными. Ладно, мы пренебрежем постельками... Лейся, золотой овес!.. Трещите, закрома!.. Что делают из овса? Крупу «Геркулес», печенье, овсом кормят лошадей... Машинам нужен бензин...

— А вы тоже идете в ночной поход? — спрашиваю у Шулейкина.

— А как же, — говорит он и пытается обнять сам себя правой рукой. Странная манера.

— Почему это он так делает? — тихонько спрашиваю у Виташи.

— А черт его знает. — Виташа сплевывает и растирает плевок валенком.

— Ну, теперь началось, — говорит Маракушев, — теперь на месяц... Понеслась!..

— Вам-то уж не впервые, кажется, Николай Терентьевич, — говорит Шулейкин обиженно. — Вы-то чего возмущаетесь?

— Гы, гы, — растерянно смеется Маракушев, — я не возмущаюсь, я так...

Мы шагаем по грязной дороге. Впереди — овраг. За оврагом — Васильевка. Там — редкие огоньки. Там — Вера Багреева. Она воду несет на длинном изогнутом коромысле.

Все растянулись цепочкой. По одному. Только Виташа идет со мною рядом.

— Надо бы попроще одеться, — говорит он.

— Опроститься? — смеюсь я.

— Пылью все забьет... Грязь...

Воздух ночной свеж и чист. И холодок бодрящий. И что-то есть прекрасное в том, как мы движемся по этой дороге. И я иду... Где-то, куда-то, в какую-то Васильевку. Ладно, Виташа, твоя снисходительность великолепна, но я вдоволь порылся во фронтовой земле, и если ты не знаешь, что это такое...

— Ты знаешь, почему у Шулейкина шрам через весь нос? — спрашивает Виташа шепотом.

Откуда же мне знать...

— Он приударял за одной вдовой тут, а она не хотела... А он в окно к ней полез... Она взяла серп... — Виташа смеется прямо мне в ухо, — и тем серпом его по носу...

— А может, он любил ее?

— Любил, — шепотом смеется Виташа. — Любил, — смеется он, когда Васильевка почти вся остается сзади. — Любил, — смеется он мне в ухо и кивает на крайнюю избу: — Вот здесь она живет. Дочка ее, Вера Багреева, у тебя учится. Как утка ходит... Это мать ее... Вдова эта, — он вертит головой и сплевывает на дорогу. — Любил... — смеется он украдкой.

...Я стою у вейлки. Я верчу ручку барабана. Вертится легко. Хоть до утра верти.

По сараю гуляет сквозняк. Пыли действительно много. И полова золотая кружится в воздухе. Две керосиновые лампы на столбах висят. Лица у всех медного цвета. Из рукава матерчатого вытекает зерно. И какие-то бабы, закутав платками лица, отгребают его. И кто-то погружает в зерно лопату и сыплет его в подставленный распахнутый мешок.

А я кручу ручку. Рраз... рраз... рраз... Одно и то же. Проходит с мешком Маракушев.

— Где Виктор Павлович? — кричу ему.

— Сено в сарае укладывает.

Нашел работенку, сельский житель! Сено... Легкое, как пух, сухое, душистое... сено...

— А Шулейкин?

Маракушев сбрасывает мешок с плеча. Машет рукою куда-то в сторону. Ухмыляется неопределенно.

И этот смыслся... Ну ладно. Берегись, Виташа. Я тебя перекручу, я над тобой посмеюсь...

— Вы крутите, крутите, — говорит мне баба.

— А я и так кручу, — говорю я. — Вот сейчас пиджак сброшу, еще веселей пойдет.

— Не надо сбрасывать, полова по телу разлезется, — говорит другая.

— Жарко, — говорю я.

Там, у Виташи, сено. Оно прохладное и ароматное. Виташа стреляный воробей. Он знает, где получше...

— Вы ее крутите получше, ручку-то...

— Как еще получше? Так, что ли?..

— Да хоть так...

Пожалуйста, могу и так. Как угодно могу. Лишь бы полова эта проклятая не летела в мою сторону... Она забирается за воротник, и маленькие колючие зверьки разбегаются по всему телу, и нет от них спасения. И пыль смешивается с потом. Лезет в нос, в уши, в рот, в легкие...

А вот ходит в распахнутом полушубке председатель колхоза Абношкин (фамилия-то какая!). Он толст и угрюм. И сопит громко. Даже сквозь грохот веялки слышно. Он ходит и понукает... Почему я должен крутить эту ручку?..

Дышать этой пылью?.. Может быть, он будет собирать материал для задуманной монографии о Толстом? А может быть, она и не нужна? И ничего не нужно? Только овес, золотой овес, душистый овес, ядовитый... Только этот несовершенный механизм, унижающий человека?.. Что нужно?

А у Виташи — сено... Проморгал я. Лечь бы лицом в прохладное сено и раскинуть руки, чтобы они отдохнули. И чтобы поясница отдохнула...

Я меняю руки. То левой кручу, то правой. А крутить все тяжелей и тяжелей. А Маракушев по-прежнему щедро овес засыпает в веялку. Так долго не выдержать.

— Вы что-то помногу сыплете! — кричу я ему. И вместе с криком изо рта моего вылетает комок жеваной пыли и летит в глубину сарая.

А Маракушев все сыплет. Медное его лицо сосредоточено. Лампы подмигивают со своих столбов. Кружится золотая пыль...

— Давай, давай! — кричат бабы.

Где это Шулейкин прячется, интересно?

— Директор-то ваш опять у Багреихи под окнами пасется, — говорит мне баба.

Ааа... Ему серпа мало. А может, это любовь? Ну не может он без нее, и все...

— Она ему не даст, — говорит другая, — разве он ей подходит?

Сейчас, когда кончится все, я пойду к тому дому. Я его там застаю. Я ему все скажу... Что? Все, все. Плевать, пусть обижается! Свет клином, что ли?.. Плевать.

— Покрутите кто-нибудь, — говорит одна из баб, — уморился ведь человек.

— Не надо, — говорю я.

Умру, а не отойду. Сейчас придет второе дыхание. Станет легче... Сейчас придет второе дыхание. Там, у Виташи, свежее сено... Ладно, крути, дурак! Крути, дурак, свою дурацкую ручку, учись высокой мудрости простоты, потом учи других любви к прекрасному... Все встанет на свои места... Когда-нибудь ты вспомнишь об этом с нежностью...

— Устали? — спрашивает баба.

— Нет.

— Тогда пошибче давайте.

— Еще шибче?!

— Стало быть, еще.

Невозможно. Пот глаза мне заливает. Он жжет мое тело. Почему это мы должны страдать за этот слабый и нелепый колхоз? Почему всё — такой ценой? Почему учитель истории Маракушев должен носить мешки с овсом?.. И всю ночь?.. И не спать?.. И еще целый месяц?..

Завтра иезуит Шулейкин побежит к нему на урок, потом скажет:

— Вы плохо подготовились.

Самое смешное — это то, что мне не хочется думать о Вере Багреевой... Мне хочется упасть лицом в свежее сено... Хитрец Виташа!..

И снова появляется похожий на ямщика председатель Абношкин. Он стоит и сопит. Он смотрит на Маракушева. Маракушев сидит на мешке.

— Рано отдыхасшь, Николай Терентьич, — говорит Абношкин.

— Гы, гы, — смущенно посмеивается Маракушев и встает.

— Давай, давай! — кричат бабы.

Я кричу из-за веялки Абношкину, прямо в медную его рожу:

— Какого черта вы еще замечания ему делаете?! Вы ему спасибо скажите!

— За что же спасибо? — сопит Абношкин. — До утра успеть надо.

— Да он же не обязан овес ваш носить! Он учитель! Он ведь не обязан! Черт вас возьми!

— Да вы крутите, — говорят бабы.

— А вы если устали... — говорит Абношкин.

— Я не устал! — кричу я. — Я на фронте и не такое пробовал.

— Мало ли что на фронте, — говорит Абношкин, — каждому делу привычка нужна...

А веялка тарыхтит. Уже какая-то баба крутит ручку. И Маракушев засыпает зерно. Я поднимаю над головой совсем чужие руки.

Мы идем по спящей Васильевке. Говорить не хочется. Еще темно, но в окнах желтый свет колышется. И хлопают калитки.

Я не виноват, что не выдержал, привычки нет. Никто и не подтрунивает надо мной... Спокойно.

Когда я притаился к сеновалу, Виташа стоял под самым потолком.

— О, — сказал он, — ну-ка покидай, я покурю пока.

Я взобрался на гору пахучего сена, и чужими деревянными руками схватил вилы, и от кого-то внизу принял первый вилочек, и хотел было его поднять, но не выдержал и сел, широко расставив ноги... Виташа не видел. Он сидел внизу, покуривая. Потом он крикнул мне:

— Ладно, хватит. Слезай, покурим. Тут уж все, последний. Я его потом сам кину.

Я устроился прямо на сене. Оно не показалось мне прохладным. Но тело словно пролилось на него.

— Я здесь посижу! — крикнул я сверху. И тут же словно провалился. И только издалека слышал неторопливый разговор.

— Все руки сбил, — сказал Виташа. — Такую гору первый раз один навалил.

— А он устал, — сказал Шулейкин, — без привычки трудно.

— Еще бы не трудно, — сказал Виташа. — Даже веялку крутить трудно без привычки.

— Я ему уроки переставлю, пусть подольше поспит, — сказал Шулейкин. И все это обо мне.

СНЕГ ИДЕТ

Снег идет. Белый, как сахар, как вата, как бумага. Он белый, как бумага, на которой написаны эти слова, простые и таинственные: «...поздравляю вас с праздником. Ваша ученица».

Праздники давно прошли. Письмо опоздало. И почерк изменен. Это сразу видно. Он аккуратный ученический, девчачий, но изменен. И только характерная завитушка у буквы «а» осталась. И что-то беспомощное проглядывает из нее.

Мне не надо быть следопытом, чтобы не сбиться. Эта буква словно синий четкий след на белом снегу, по которому можно идти до самых дверей. Там — высокое крыльцо, запыленное снегом, дверь, плотная и отполированная временем. Там — сени, в которых бродит знакомый запах первого тепла, бедности и ожидания.

Снег идет. Скоро к келье моей не пробраться. Он идет, но след отчетливо синееет на его поверхности. И я не пойду по этому следу.

— В деревнях взрослеют рано, — говорит Маракушев. — Я сам женился, когда моей Евдокии шестнадцать было.

— А закон?

— Гы...гы...

— К чему вы об этом?

— Слухи ходят... гы...

— Сплетни...

— Да я ничего... слухи...

Снег идет. Темнеет рано. Он уже синий, этот снег. И след по нему — черный. И эти слова: «Ваша ученица»... Ученица...

Чему я успел научить ее за несколько месяцев? Читать стихи нараспев?

— Багреева, почему ты в пол смотришь?

— Я не в пол.

— Смотри прямо, перед собой. Читай вот так:

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей...

Вот так. Это вдохновенно надо читать.

— Я читаю...

— А у нас в программе этого нету, — говорит кто-то.

Программа? Откуда им известно это слово?! Это в программе, а это не в программе... Не выходите за рамки программы... Я ведь говорил, что учитель из меня не получится. Я не могу читать без конца «Я памятник себе воздвиг...». Я не воздвигал. Он тоже не воздвигал. Он шутил. Не делайте серьезных физиономий! А вам, чудачки, зачем эта программа? Учитесь говорить о любви вот так, в перерывах между школой и работой в хлеву. Торопитесь — нам немного отпущено.

— Давайте дополним программу, а? — смеюсь я.

А они молчат.

— Тот, кто составлял эту программу, никогда никого в жизни не любил...

Они молчат. И лица у них неподвижны. Но что-то все-таки теплится в глазах.

— Он был ханжа. Он думал, что он бессмертен, и не торопился...

— А что такое ханжа?

— Вера, неужели тебе не нравятся эти стихи?

Она торопливо проводит красными пальцами по отворотам пиджака, и с трудом поднимает голову, и смотрит на меня. Одно мгновение.

...Шулейкин говорит мне в учительской:

— Вы там, в классе, своевольничаете.

— Я хочу их разбудить...

— Скажите пожалуйста!

— Я хочу...

— А может быть, вам только кажется, что они спят?

...И снова:

Но пусть она вас больше не тревожит...

И красные пальцы замирают на груди. Теперь она смотрит в окно. Дрожат мохнатые ресницы.

Я не хочу печалить вас ничем.

А была ли счастлива та, кому посвящались эти стихи? Или она равнодушно тряхнула плечиком? Или словам нужно пожить и состариться, чтобы они приобрели смысл? Может быть, им стоило большого труда выкарабкаться из альбома и пойти по свету?

Снег идет.

— Зажгите лампу.

Меднолицые мои ученики плавно приближаются ко мне из полумрака классной комнаты. Ко мне, ко мне... Они плывут в бесшумных своих лодках, и красноватое пламя освещает их лица. И я, словно Бог, учу их простым словам, самым первым и самым значительным.

Ты проговори, Маша Калашкина, эти слова своему лохматому трактористу, когда он поведет тебя в клуб... Вот уж он удивится! Ты даже покажешься ему чужой на мгновение. А ты не теряйся, Маша, ты говори их, говори... И вдохновение на твоём некрасивом лице будет ярче, чем самая дорогая корона на голове безобразной королевы... Ты говори, Маша...

Ты станешь стройным и прекрасным, Ваня Цыганков, когда ты проговоришь это, и твои рыжие лохмы покажутся золотыми, и веснушки будут светиться, и толстые губы приобретут изящество и строгость. Даже в старых своих валенках ты будешь поражать совершенством.

Я тоже меднолиц. Мы из одного племени. Вера Багреева сидит в конце класса за своей маленькой партой. Платок сполз с ее головы. И каштановые ее волосы обнажились. Даже отсюда видно, как огромны ее глаза. И в каждом — по огоньку лампы.

— Так нельзя вести себя с учениками, — сказал Шулейкин, — так нельзя. Нельзя с ними запанибрата. Скоро они вас на «ты» начнут...

— Не начнут.

— Это распускает, — сказал Виташа.

— Ученик должен знать свое место, — сказал Маракушев.

— О чем вы беспокоитесь?

— Так нельзя, — сказал Шулейкин. — Вы человек неопытный, а я знаю.

— Да вы не беспокойтесь...

— Так нельзя.

— Не беспокойтесь...

— Так нельзя.

— Да что я, маленький?

— Гы...гы...

...Снег идет. Плывут ко мне мои меднолицые ученики. Это последний урок. А по дороге домой будет пахнуть снегом. То, что полагается узнавать всю жизнь, за один урок не узнать. И за год не узнать. А школа холодна, как склеп...

— Что там случилось?

— Багреева плачет, — говорит кто-то.

— Что случилось? — спрашиваю я громче.

Я иду меж партами. Жалкий огонек лампы, словно пес, бежит за мной следом. Тени мечутся по стене. Багреева уронила голову на руки.

— Что случилось?

— Она не говорит...

— Верк, а Верк, — говорит Маша Калашкина, — да ты что?

— Может, у нее чего болит? — шепчет губами Цыганков.

— Влюбилась, — смеется Абношкин.

— Иди ты! — оборачивается к нему Маша.

Я учитель. Я педагог. Я старший. А она плачет, Вера Багреева. Трясутся ее плечи. Сильно плачет и молча.

— Что случилось?.. Ну что?..

— Можно, она домой пойдет? — спрашивает Маша.

— Проводи ее, — говорю я.

Вера, не поднимая головы, натягивает тулупчик.

— Застегнись! — кричу я вслед.

Свет лампы бежит за ними до самых дверей. Потом он медленно возвращается на свое место.

Снег идет. Желтые хлопья ударяются о черное стекло.

Я вас любил безмолвно, безнадежно...

Когда-нибудь вы поймете, черт вас возьми, что это все значит. И я слышу голос Маракушева.

— Гы... гы... — говорит он.

Ему торопиться некуда. Он любит историю. В его громадном теле есть место для всей истории. Но я жалею его. Сам не знаю почему, но жалею. Мне жалко этого громоздкого испуганного историка.

— А если выгонят? — спрашивает он.

— Да за что же?..

— Гы...

— Не может этого быть.

— Ну, сократят.

— Другое место найдется...

— А дом?.. Гы...

У него две кельи. Это его дом. С видом на речку Серену. И громадная керосиновая лампа. И кадушка с солониной в сенях. И тощая, похожая на старую корову, истеричная жена. И трое детей.

— Чего жалеть об этом доме? Сырость, теснота...

— Гы... Две комнаты, а?

— Да лучше уж в какой-нибудь городишко. Там хоть свет есть, в кино сходить можно...

— Это-то все верно... А у меня здесь поросенок...

— Мясо купить можно...

— А купилка?.. Гы... Я своего осенью под нож — всю зиму щи с мясом. И картофель свой...

Щи с мясом — это хорошо. А у меня в келье — кастрюля вареного картофеля, и ничего больше.

— А нельзя у вас сала немного раздобыть? — спрашиваю я. — Пока в город выберусь...

— Грамм пятьсот смогу, — говорит Николай Терентьич, — пятнадцать рублей. Сало розовое.

— Что?

— Розовое.

Снег идет. Плачет Багреева Вера. Школьный колокольчик раскалывается от усердия. Вот сейчас звон прекратится и трамвай тронется с места.

ЧЕРНАЯ КОШКА

— Грязно-то у вас! — говорит Маша Калашкина. Она стоит на пороге. Холод плывет в комнату. — Хотите, я полы вымою?

— Что я, сам не могу?.. Ты двери закрывай.

— Женской руки вам не хватает.

И это она всерьез... И без хитрости... Это сразу видно.

— Я вымою вам, приберу, ладно? А деньги в получку отдадите, ладно?

Она подбирает юбку. Журчит и плещется вода. Отступает грязь, отступает... Резиночки фиолетовых штанишек виднеются.

— Как твой тракторист?

— Ничего... Любит меня. Сватается.

— Маша, трудно тебе живется?

— А не, мы хорошо живем. Папка-то мой стрижет всех. У нас парикмахера-то нету. И валенки кому подошьет, и галоши залить может. И я кому полы вымою, кому еще как помогу... у нас деньги всегда есть... Хотите, вам одолжу?

— Спасибо, у меня пока есть.

— Конечно, учителям хорошо платят.

Пахнет свежеемытым полом. И дрова горят в печи лучше. Тепло.

— А ты почему учишься плохо, а, Маш?

— У меня мозги такие... Меня и папка бил все раньше... Верка вот Багреева способная... Сила...

— Чего она грустит все?

— А влюбилась...

— Тоже в тракториста?

Она не отвечает. Постукивает мой будильник. Вот так штука! Кто же это? К кому подходишь ты, Вера Багреева, походкой балерины? Меня учили быть решительным, учили... В двадцать шесть лет пора бы уж, а?

— Влюбилась она, — говорит Маша.

Может быть, он на гармонике играет?.. Потом она нарожает ему детей... Будет стряпать... Белое тесто будет

красными пальцами замешивать... на желтой доске... «Что это ты не улыбаешься, Вера Багреева?» — «А не с чего...» И Калашкина хороша! Лишь бы растрепаться.

— Когда тебя не любят, веселого-то мало, — говорит Маша.

— Не любит он ее?

— Не замечает.

— Другого найдет. Трактористов много.

— Не, она исплается вся.

Исплается... Позову ее... Книги предложу почитать... Пока будет выбирать, буду с нею разговаривать... Я сам виноват, она меня не знает... Вера, все, что у меня есть, понимаешь?.. Все, что у меня... Или я пойду сам туда, к ней... Поедем в Москву, а?.. Воистину: человек сложен, а поступки его примитивны. «Что вы...» — скажет она нараспев низким своим сопрано, по-цыгански. И будет красными пальцами, тонкими своими пальцами отвороты пиджака тереть...

— Она-то вообще не грустная, — говорит Маша.

— Ты что это все на дверь смотришь?

— Я ничего...

— Там что, есть кто-нибудь, в коридоре?

— Не.

Уже давно в келье убрано, а она все возится.

— Хватит дрова подкладывать. Жара.

— Грейтесь. — Она улыбается.

Хорошо, что природа не забыла дать ей эту улыбку! Ну что бы она без нее?!

— Бабы у нас в монастыре болтают, что вы пьете сильно.

— С чего это они?

— А я почему знаю.

— Я не пью, Маша.

— Они жалеют вас.

— Себя пусть жалеют.

— Верка пьяных не любит...

— Это она про меня, что ли?

— Что вы!..

— Ну кто там в коридоре?.. Может быть, кошка?

— А кто ее знает... Да вы сидите. Это помстилось мне.

Я нервная стала.

И я словно вижу сквозь дверь: большая черная кошка медленно идет по темному коридору. Она ступает мягко, бесшумно, презрительно.

Дверь закрыта. Маши уже нет. За черными стеклами медленно поднимается луна. Она движется очень заметно. Она приближается. Я сижу боком к окну, но я хорошо вижу, как она плывет по зимнему ночному небу. Это я хорошо вижу. Бледный круг ее движется наискось через все окно. Скоро он достигнет верхней планки. Это какой-то световой эффект.

Калашкина, все шито у тебя белыми нитками. Ты — простофиля, Калашкина. А луна добирается до верхней планки и застывает неподвижно.

Слегка скосив глаза, я вижу это... Я отчетливо вижу сомкнутые ее губы, лоб... Я поворачиваю голову, и луна уносится в мировое пространство. И уже ничего нет, только черное стекло.

— Кто там?!

В коридоре тишина. На дверях Клары Ивановны — замок. Свежий наст у порога хрустит и потрескивает сам по себе.

— Эй!.. Эге-гей!..

Там, в поселке, — свежий наст. Я слышал его сытый скрип. Но нужно еще прожить ночь, чтобы наступило утро. И тогда снова — промерзший класс, и Вера теребит отвороты пиджака красными... Не буду ее вызывать! Пусть тревожится. Буду вызывать других. Потом она подойдет: «Почему вы меня не вызываете?» — «Вера, — скажу я, — ты взрослый человек. Ну сколько же можно в прятки играть?..» Ничего я ей не скажу... Завтра снова — учительская. Там некоторые меня недолюбливают: «Он кичится...» А некоторые равнодушны. А может быть, я не знаю их.

...Я иду с Верой днем мимо домов!.. Учитель чертов!..

— Разговоры всякие идут, — сказал мне вчера Шулейкин. И попытался обнять себя правой рукой, и посмотрел в меня маленькими глазками, и замолк, и притаился, пока я сам не расскажу...

— О чем это вы? — удивленно спросил я.

А рядом сидела Мария Филипповна, поджав губы, в красном пионерском галстуке и тоже ждала, что я скажу, чтобы ринуться с проклятиями...

Я смотрел на Шулейкина, и молчал, и улыбался. Это его всегда очень мучает. Ну же, Шулейкин! Смелей, смелей! Говори! У него даже уши зашевелились, как у гончей, когда она по следу идет. Смелее, Шулейкин... А сам молчу.

— Калашкина заходит к вам часто...

— Мы друзья с Машей.

— А знаете вы, на каком она счету?

— Что?!

— Я хочу предупредить вас, — он очень дружелюбен, — она девочка глупая... Ее засекали неоднократно...

— Как это засекали?

Мария Филипповна засмеялась иронически.

Потом я спросил у Виташи:

— Послушай, что это Шулейкин плетет?

Виташа поплевал на пол:

— Шулейкин спал с ней. Потом скандал был. Потом замяли это дело... Она ему не дает теперь...

— А я-то при чем?

— А ты его класс ведешь теперь... У него все отличники они были... раньше, — он подмигнул мне, — а теперь? У тебя?..

— Какие же они отличники, когда элементарных вещей?..

— Вот то-то и оно-то... — И он засмеялся. — Теперь Шулейкин всем будет доказывать, какой ты плохой.

Скрипит свежий наст. Кончается воскресенье. И нет никакой луны...

КАТАСТРОФА

На пороге класса стоит Виташа. Он — в своем неизменном офицерском кителе. Белые валенки — как ботфорты Петра Великого. А за его спиной покачивается круглое лицо Марии Филипповны.

Класс молчит. Ваня Цыганков смотрит на меня, приоткрыв рот, Саша Абношкин — прищурившись.

— Мы к вам на урок, — говорит Виташа. — Извините...

Ко мне на урок?.. Пожалуйста. Сделайте одолжение. Милости прошу, Виташа. Вы, как-никак, литератор. А вот почему пионервожатая должна контролировать урок литературы — не понимаю...

— Пожалуйста, — говорю я. — Последняя парта пустая. Устраивайтесь, пожалуйста.

— Извините, — говорит Мария Филипповна и закрывает за собой дверь.

— Пожалуйста, — говорю я.

Они на цыпочках, осторожно крадутся к последней парте.

Им нужно доказать, что я плох. Сбываются пророчества Виташи.

Ваня Цыганков смотрит им вслед, приоткрыв рот. Абношкин смотрит на меня прищурившись. Ты злой человек, Абношкин. Ты будешь рад, если у меня что-нибудь не получится. Но ничего... Уж как-нибудь я справлюсь.

— Мы вот здесь будем сидеть, — говорит Виташа. — Вы не обращайтесь на нас внимания.

— Пожалуйста, — говорю я спокойно, даже равнодушно.

Я смотрю в классный журнал. Я вожу пальцем по фамилиям. Теперь главная задача — вызвать таких учеников, которые говорят свободно, без запинки. Они расскажут о Татьяне Лариной, о ее пристрастии к Руссо, о том, как она любит свой народ, и как она вообще незаурядна и прекрасна, и как жалка рядом с ней ее сестра Ольга, пустая и легкомысленная, похожая на нынешних городских девиц, потому что она любит одеваться и развлекаться, и рядом с ней — Татьяна, натура богатая, мягкая, широкая, но решительная

в нужный момент, собравшая в себе лучшие черты... Господи, какая скука!

Мария Филипповна застыла напряженно. Виташа приоткрывает один глаз и подмигивает мне незаметно.

Они — комиссия. Комиссии существуют для того, чтобы вскрыть недостатки в работе. Эти двое тоже призваны вскрыть недостатки. Мои. Если бы существовали комиссии по вскрытию достоинств!

Я должен вызвать лучшего ученика. И ты, комиссия, вздрогнешь от удивления и восторга, и ты разведешь руками и будешь везде и всегда говорить во всеуслышание, как хорошо, когда есть полное слияние интеллекта и чувств, методики и материала.

Комиссия — для того, чтобы вскрыть недостатки.

Я должен вызвать лучшего ученика.

Это похоже на игру «кто — кого». Вечная игра. В нее играют взрослые и дети, играют мудрые и легкомысленные... Впрочем, легкомысленные играют в нее редко. Они не умеют заботиться о своем будущем, о своем престиже. А мне надо заботиться, мне надо расти.

У Марии Филипповны щетки горят от возбуждения. Может быть, ей хочется, чтобы я допустил промах? Не потому, что она относится ко мне плохо. Просто трудно ухаживать с пустыми руками. От волнения у нее белеют губы. Две белые полосы — на красном лице. Ее самолюбие похоже сейчас на раскаленную печь. Пионервожатой с семилетним образованием поручено вскрыть мои недостатки. Это ли не штука?

Я должен вызвать лучшего ученика. И комиссия знает об этом. Она не первый год играет в эту игру. Кому охота самому вскрыть свои недостатки? Смотрите на мои достижения! Не правда ли?..

Вот Коля Зимосадов — серьезный ученик. Сейчас он вам расскажет о Татьяне и цитаты приведет наизусть. Маленький и коренастый, в больших сапогах, он будет смотреть в твои настороженные глаза, комиссия, своими синими глазами, и он приведет тебя в изумление, и ты не сможешь ко мне придаться.

Лучшего ученика ждет и Виташа. Я знаю. Все учителя перед комиссиями вызывают лучших учеников. И все на белом свете поворачиваются друг к другу тем боком, который более совершенен. Может быть, считанные олухи не заботятся о том, как повернуться. Каждому хочется услышать в свой адрес приятное. И споров не хочу, и тяжб не хочу тоже. Не хочу доказывать свою правоту. Кому?! Не хочу подводить философские обоснования под каждый шаг свой. Это, наконец, унизительно.

Комиссия напряглась. Ждет. Тогда я швыряю им Колю Зимосадова. Подавитесь!.. Вы знали, что я вызову именно его. Тем лучше. Вот вы его и слушайте. Он говорит, что Татьяна Ларина — пленительный образ русской женщины... Прав он? Прав Коля Зимосадов? А как он говорит! Это я научил его так говорить. Расскажите об этом всем. Татьяна противопоставлена Онегину, человеку слабому и никчемному... Прав Коля Зимосадов?.. Ага!.. Потом, уже позже, Онегин поймет, как он ошибся, но — дудки... Величественная, как королева, и недоступная, как небо, Татьяна отвергнет его... Поняли? Так было, так есть и так будет... Господи, какая скука!

Коля Зимосадов никогда не ошибается. Он знает учебник почти наизусть и даже то, что напечатано мелким шрифтом. Комиссия, запиши в своем белом блокноте, как прекрасно, как гладко, как без сучка и задоринки, как благополучно протекает...

— Может быть, кто-нибудь хочет добавить? — спрашиваю я, хотя знаю, что добавлять-то нечего.

Но между мною и комиссией медленно поднимается широкая ладонь Абношкина! Она слегка покачивается, как очковая змея, а большой палец, желтый от табака, чуть оттопырен.

— Абношкин? — спрашиваю я.

— Да, — говорит он.

— Ну, говори, — предлагаю я.

Что он может добавить? Еще раз утомительно и трудно будет пересказывать учебник? Или он тоже хочет меня увидеть побежденным?

— Не нравится мне Татьяна, — говорит Абношкин и смотрит на меня прищурившись.

А Маша Калашкина толкает его в бок, смеется громко. И Ваня Цыганков присоединяется к ней. И уже весь класс смеется. И Мария Филипповна смеется, потому что Абношкину, видите ли, не нравится Татьяна Ларина! Пленительный образ русской женщины, самая яркая фигура в галерее образов, созданных великим русским поэтом Пушкиным. Не нравится... Абношкину...

Вера Багреева не смеется. Она смотрит в пол, словно смеются над нею.

А Саша Абношкин стоит, высоко подняв голову, и губы его кривятся и дрожат. Он всегда говорит что-нибудь неожиданное. Мне не следует удивляться. Он всегда петушится, этот паренек. Теперь ему не нравится Татьяна Ларина. Вот он стоит передо мной, и губы у него дрожат, и в глазах — злой огонек...

— Ты что, Абношкин? — спрашиваю я.

— Это он спросонок, — смеется Маша Калашкина.

Но Абношкин на нее не смотрит. Он стоит прямо. Комиссия, ты ждала чуда? Вот оно! Свершилось! Теперь мне следует выгнать этого распоясавшегося громилу из класса? Или позволить ему безнаказанно расправляться с самым дорогим? С привычным?

Абношкин волнуется, он не может говорить дальше.

— Ну же, — говорю я, — продолжай. Значит, Татьяна тебе не нравится? Да? Ну говори... Значит, Пушкин ошибся?

Комиссия смотрит на меня как на сумасшедшего. Мария Филипповна вожаденно глотает слюну: надо же — такое делается! А у меня захватывает дыхание. Так бывает, когда летишь с высокой горы на лыжах. И мне не страшно. Мне даже радостно.

— Ну же, Абношкин, — уже прошу я, — договаривай, если начал.

Абношкин встряхивает головой. Вера Багреева что-то шепчет ему, поглядывает в мою сторону.

— А она, — говорит Абношкин, — Онегина вроде любила, а с другим жила...

Сказал...

В классе тишина. А мне слышатся грохот и крики. И мне хочется кричать самому, словно с меня свалился нелепый и давний груз, но я сижу неподвижно и молча. С каменным лицом. Ай да Абношкин! Если бы ты знал, что ты сделал. Если бы ты знал, что происходит со мной.

И вдруг в тишине раздается отчетливый и тонкий смех. Смеется Мария Филипповна. Я смотрю на нее не очень доброжелательно, и она смолкает.

— Все? — спрашиваю у Абношкина.

— Все, — говорит он.

Класс молчит настороженно.

И вдруг я вижу, отчетливо вижу, как прямо через класс, размахивая черным зонтиком, скользит по проволоке Мария Филипповна. На ней красная блузка и желтая юбка. А Виташа по полу за ней и нелепо подпрыгивает и взмахивает руками. Его рыжий парик сбился на сторону, вымазанное красками лицо плачет...

— Извините, — говорит Мария Филипповна.

— Пожалуйста, — говорю я.

Я вижу все это, и мне не страшно. Меня это не удивляет. И наверное, потому я говорю совершенно спокойно:

— Ничего смешного. Каждый имеет право на собственное мнение.

Класс шумно и с облегчением вздыхает. Маша Калашкина торжественно смотрит на Марию Филипповну. Виташа улыбается и подмигивает мне уже откровенно.

— Что-то есть в том, что ты сказал, Абношкин, — говорю я. — Это даже интересно, то, что ты сказал. Вы подумайте над этим, — говорю я классу. — А тебе я поставлю пятерку, — говорю я Абношкину. — Просто это прекрасно, когда мозги работают по-своему.

И мне даже жаль становится Татьяну Ларину, которой произнесен приговор вот этим пареньком, а мною — подписан.

Мне жаль ее, словно она, живая, стоит передо мною и просит снисхождения, отсрочки. Для нее ведь это так неожиданно! Она привыкла к поклонению. Ну хоть несколько дней, чтобы пересмотреть пережитое.

А Саша Абношкин, как самый неумолимый судья, и бровью не ведет. Он как должное берет эту пятерку из моих рук, как леденцового петушка, купленного на честные деньги... и кладет его за щеку...

Мне очень радостно это видеть.

Теперь мне уже все равно. Комиссия, я вышел из-под твоей опеки!

— Калашкина, — говорю я, — прошу!

Я вызываю ее к доске, как будто приглашаю к танцу. Она медленно и испуганно идет к моему столу и смотрит на меня с недоумением. Держись, Маша. Кто это выдумал, что нужно вызывать только лучших? Комиссия, ты еще не то увидишь!

Я распоясался.

— Судя по всему, урока-то не было, — говорит Шулейкин. — Так, Мария Филипповна?

— Так, — говорит Мария Филипповна, и губы у нее становятся белыми. — Уж такого я нипочем не ожидала.

— Вы, наверное, плохо к уроку готовитесь? — спрашивает меня Шулейкин.

— Бедный Пушкин, — говорит Мария Филипповна.

Она начинает тоненько хохотать.

— Что с вами? — спрашиваю я резко.

— А грубить не надо, — говорит мне Шулейкин.

Виташа молчит.

Они сидят вокруг меня, как кочевники вокруг костра. Словно они долго мерзли и теперь можно погреться.

— Вы записываете? — спрашивает Шулейкин у Марии Филипповны.

— А как же, Михаил Андреевич, — говорит она, — ну конечно... — и записывает. Ведет протокол.

— А что вы скажете об уроке, Виктор Павлович? — говорит Шулейкин.

— Что я скажу... — говорит Виташа и незаметно поприятельски мне подмигивает. — Так уроки проводить нельзя, конечно... Всякую чепуху несут учащиеся. Их нужно направлять. А то сегодня им Пушкин не нравится, завтра — Толстой...

— Правильно, — говорит Мария Филипповна. — А еще университет кончили! — говорит она радостно.

— Вы бы лучше на уроки литературы не посылали пионервожатых, — говорю я Шулейкину. — Делу от этого пользы нет.

— Вы так думаете? — улыбается Шулейкин.

— А вы не кичитесь, — говорит мне Мария Филипповна.

— Класс доведен до катастрофы, — говорит Шулейкин.

— Да, — говорит Виташа. — Теперь до конца года и не выправить.

— Кошмар какой-то, — говорит Мария Филипповна.

— Надо в облоно сообщать, — говорит Виташа, — доигрались.

И он тоже!..

Я встаю:

— Теперь мне остается сдать дела, наверное?

Как я могу объяснить им все? Все, что произошло? Все, что произошло с мной и с ребятами? Что-то рухнуло, упало. Пыль и обломки. А поднять-то и некому.

— Это уже трусость, — говорит Шулейкин. — Надо не бежать, а бороться. Исправлять положение.

— Лучше мне уехать. Это не моя стихия — учительство. Я желаю вам всего лучшего. Я не сержусь на васнисколько. Просто мне показалось, что что-то мы делаем не так... Ничего я исправить не смогу, — говорю я.

— Нет таких крепостей, — говорит Виташа и смеется, поглядывая на Шулейкина.

— Не буду я ничего исправлять, потому что я ничего не портил.

Не может все-таки быть так, чтобы я был прав, а все не правы.

— Не можете — научим, не хотите — заставим, — смеется Шулейкин.

— Это вы серьезно?

— Что вы, что вы, — говорит он, уже не улыбаясь, — это же армейская поговорка.

...Виташа догоняет меня на улице:

— Абношкин-то, а? Мария Филипповна чуть не подавилась.

— А ты? — спрашиваю я.

— А что я? — говорит Виташа. — Что мне с Шулейкиным спорить? Это ведь ничего не даст. Он за свое место держится будь здоров! Он спец других давить.

Большие валенки Виташи похожи на заношенные ботфорты Петра Великого.

ПОТАСОВКА

Ночь.

Грипп, который душит меня, невысок и вкрадчив. Он весь в белом. Только кончики пальцев черны. И глаза у него горят неясным, тусклым пламенем.

Слышали ли вы рассказы о гриппозной иголке? Что-то кружится перед глазами, мягкое и ускользающее; кружится то медленно, то неистово; то становится почти микроскопическим, готовым вонзиться; то разрастается невероятно; и все время слышится звук, похожий чем-то на непрерывный злорадный хохоток, на вой ветра, на пение пчелы. Почему это названо иголкой, не знаю. Но в детстве я кричал сквозь бред: «Иголка!.. Иголка!..» — и старался укрыться от нее, и никто из взрослых не мог меня понять.

— Иголка!..

Ни на фронте, ни в госпитале она не возникала передо мной. А вот сейчас закружилась снова.

Я слышу ее почти забытый голосок и опять, как тогда, не могу ее разглядеть.

И вдруг из облачка, которым она окружена, проявляется лицо Шулейкина. Он смотрит на меня маленькими глазками.

— Здорово вас прихватило, — говорит он.

— Здорово, — говорю я. Шепчу.— Иголлка, — говорю я.

— Давайте я вам полотенце на лоб мокрое... — говорит он.

— А-а-а, — говорю я, — полотенце на лоб?.. А потом пальцами за горло?..

Опять визжит иголлка и устремляется в меня. Распухает, распухает... Холодное, мокрое ложится на лоб... И из э т о г о вылезает Шулейкин. Он отряхивается от воды. Он пытается обнять себя правой рукой. Как это смешно...

— Зачем вы это делаете?.. Что это должно обозначать?

— Мокрое — это хорошо, — говорит он.

Я ведь не о том его спрашиваю.

Жужжит иголлка, похожая на веретено.

— Сильно вы простудились, — говорит Шулейкин. — Надо одеваться потеплее...

— Все вы жулики, поддельватели оценок, — говорю я.

— Беречься надо, — говорит он. — У нас ведь врача не дозовешься...

— Вы меня подлогам учите?.. — спрашиваю я.

— Тут с врачами туго, — говорит он.— Это не Москва.

— А мы ведь налоги платим, — говорю я.

— Ну ладно, ладно, — говорит он, — при чем тут налоги?

— У нас ведь бесплатная медицинская помощь! — говорю я.

— Тсс, — говорит он.

— Вот я умираю, — говорю я, — и никому я не нужен. Разве это справедливо?

— От этого не умирают, — смеется он. Он смеется все громче, все громче, и смех его сливается с воем иголлки, она уже совсем рядом... Сейчас!..

Я просыпаюсь.

Ночь.

Шулейкин ходит по келье. Он весь черный. Он ходит вкрадчиво, тихо, словно и не касается пола. Он что-то переставляет с места на место. Мне страшно и смешно.

— А вы откуда взялись?

— Спите, спите, — говорит он и спрашивает сам себя: — Разгорелся примус? — И сам себе отвечает женским голосом: — Еле разожгла черта!..

Я смеюсь. Он думает, что я сплю, и сам с собой разговаривает так странно.

Иголки нет. Прекрасно!.. Тишина.

— Клюквы хочется, — говорю я.

— А чтобы мама ладонь на лоб положила, не хочется? — спрашивает он.

— Хочется...

Он добр невыносимо!.. Мучил меня, мучил, а теперь добр.

— Да, в Москве все это удобнее, — говорит он, — паровое отопление, телефон... Мне иногда хочется все это бросить к черту — и туда. Серо мы живем...

— А здесь кто останется? — спрашиваю я.

— А гори оно все! — говорит он и машет черной рукой.

И снова, словно из-под подушки, выныривает иголка, и истошно орет, и, приплясывая, движется на меня.

— Иголка!..

Шулейкин наклоняется надо мной и клювом ударяет меня в лоб.

— Пошел прочь! — кричу я и просыпаюсь.

Ночь.

Шулейкин сидит над книгой, скрючившись.

— Зачем вы пришли?

— Вас нельзя одного оставлять... То да се... Я тут почитаю...

— Почитаю... почитаю... — говорю я. — Почитай отца с матерью... — я смеюсь. — Вы ведь директор все-таки. Поручили бы уборщице не спать всю ночь.

— Да бросьте вы, ей-богу, директор... директор... Я — Мишка из-под сохи. Сегодня директор, а завтра — говно-воз... А вам уже полегче стало... Это я вам две таблетки аспирина запихнул. Великое средство.

— А от геморроя оно помогает? — смеюсь я.

— Хорошо бы еще лимончик съесть, — говорит он.

- А вам в любви везет? — спрашиваю я.
- — Одну любил, да она меня не любила, — говорит он.
- Только одну?
- Говорила, что дурак я, деревенщина... Вот так...
- Ну дальше, — говорю я. — Люблю трагедии.
- Какие там трагедии, — смеется он. — В жизни все проще, смешнее.
- Она красивая была?
- Казалась красивой... И вот она меня отвергла... За то, что я — серый деревенский кобелек... А она — городская интеллигентка, с образованием, через день в филармонии бывает...
- Ну, это еще не образование, — говорю я.
- ...Да еще от меня казармой пахнет. Я тогда только что с фронта демобилизовался...

Теплый воздух в келье то сжимается, то разжимается, и, наверное, потому Шулейкин, как лодка, то проваливается куда-то, то взлетает... Смотреть больно. Я закрываю глаза.

— ...Она надо мной посмеивается. «Хорошо, — говорю я, — я тебе покажу...» А у меня — восемь классов образования. Нос брюквой!

Он замолкает.

— Я не сплю, — говорю я. — Просто у меня глаза устали.

— ...Тогда кругом голодно было. А у матушки моей — картофель. Я грузу его на подводку и — в Тулу. И — в институт педагогический. За аттестат зрелости на барахолке мешок отдаю. Два мешка — профессору привожу на дом. Он краснеет весь. Кричит на меня: «Это что, взятка? Взятка, да?!» А сам слюну глотает... «Да не взятка, — говорю я, — какая взятка? Вон у вас дети голодные, да и сами вы...» Одним словом, взял он картошку и заплакал... Вот так. После экзамен у меня принял.. Куда ж ему деваться? И поступил я в институт.

— Эээ, — говорю я, — вот вы как всех облапошили.

— Это для начала, — говорит он, — потом все своим горбом брал. Диплом в кармане. Возвращаюсь. А здесь — три учителя и два ученика. Да и учителя-то все липовые, без дипломов. Назначают меня директором. А я люблю рыбу ловить... Но я помню эту гражданку. И соглашаюсь быть директором.

— Интересно! — говорю я.

— Начинаю командовать. Мне смешно: я — Мишка из-под сохи — за картошку аттестат купил. Директором стал! Дают мне оклад. Покупаю я драповое пальто. Иду к ней... к той самой...

— Ааа, — говорю я, — интересно.

— Ничего интересного: дура дурой...

— И ничего? — спрашиваю я.

— Что — ничего? Ну, переспал я с ней... раз, другой... Ничего... Так вот и ничего. Смешно и скучно. И удрал обратно. Чуть было пальто драповое не оставил... Работаю. Привожу первые сведения по успеваемости в район. Одни двойки... Они — на меня! Угрозы... Я думаю, зачем мне это? Выгонят... Теперь снова за картошку не купишь, не то время... Собираю своих инвалидов и говорю им, что за двойки не с учеников, а с них спрашивать буду... Ну куда им деваться?.. Они ставят тройки... Им-то что? Все идет прекрасно.

— А женщина та?

— А черт ее знает. Я ее не встречал больше.

— А мать Веры Багреевой?

Он сверлит меня своими маленькими глазками.

— Сплетни это, — говорит он.

— Говорят, что вы эту школу создали, — говорю я.

— Говорят, — смеется он.

— Это что, враки? — спрашиваю я.

— Может быть, и не враки, — смеется он.

Он куда-то вдруг проваливается. Потолок бесшумно обрушивается и заслоняет от меня все.

И я просыпаюсь.

Ночь. Лампа еще светит. Шулейкин читает книгу. Нос его выступает из темноты розовым таким уголком.

— Мне сны снятся или это явь? — спрашиваю я.

— Сны, — говорит он. — Это бывает при гриппе...
Реальные картины.

— Вы мне свою жизнь рассказывали, — говорю я.

— Теперь такой грипп свирепствует, азиатский, — говорит он.

— Значит, мать Веры Багреевой — это сплетни? — спрашиваю я.

Он кивает и смотрит на меня внимательно.

— Здесь сплетни любят, — говорю я.

— Конечно, место маленькое. Все на виду.

— И в учительской что ни скажи — сразу везде известно.

Он смеется, потом говорит:

— Анекдот вспомнил. Один жалуется. Безобразие, говорит, вчера одному человеку сказал: так твою мать, а сегодня уже весь город повторяет!..

Он смеется. Действительно смешно. Так твою мать — и весь город повторяет.

— Вы еще молоды, — вдруг говорит он. — В учительской не нужно особенно откровенничать. Люди ведь разные бывают...

— А то мне люди?

— Так, на всякий случай.

— Да плевал я на все.

— Вы ведь говорили, что в нашем просвещении сплошные подлоги?

— Ну и говорил. Плевать мне...

— И что колхоз в Васильевке развалился?

— А что? — спрашиваю я. — Разве не так? Ну и что?

— Ничего, — говорит он.

— А, наплевать, — говорю я.

— Надо поосторожнее, — говорит он.

— А я ничего не говорил! — кричу я. — Не говорил...

И просыпаюсь. Утро. В келье никого нет. Солнце заглядывает в окно. Как хорошо, что весна наконец! И грипп меня оставил. Только слабость — руки не поднять.

Вдруг Вера Багреева зайдет навестить. А может быть, приснилось... А может быть, и не приснилось...

КАРТОШКА

— Конечно, — говорит Маракушев, — без картошки мне нельзя. У меня четверо... Гы-гы... — И говорит Шулейкину благодушно: — Вот этот участочек мне подходит...

— Видите, как хорошо, — улыбается Шулейкин. — А в прошлом году вы все кричали...

— Гы-гы.. — говорит Маракушев, — чего вспоминать...

— А вы помните, как в прошлом году кричали? — говорит Шулейкин.

— Ну чего вспоминать, — говорит Маракушев.

Шулейкин на плане участков делает пометки карандашом. Клара Ивановна записывает в блокноте.

— Мне бы вот этот участочек, — кто-то из учителей тычет пальцем в план.

— Вам ведь уже выделили, — говорит Мария Филипповна, и губы ее белеют.

— А мне бы вот этот, не этот, а вот этот...

— А у меня самый худший в прошлом году был, — смеется Виташа, — вот уж теперь я разговееюсь!

— А вам, Виктор Павлович, — говорит Шулейкин, — остается прошлогодний.

Картошка бессловесна? Это предрассудок. Виташа кричит. А перед моими глазами возникает желтоватое тело картофелины. Она таращит свой глазок. Кожура лохмотьями колыхается на ее теле...

— Тише, — говорит Клара Ивановна и кивает на дверь учительской. — Там ведь учащиеся. Тише.

— Что тише? — говорит ей кто-то из учителей. — Себе лучший кусок забрали, а теперь — тише...

— Да с какой стати я опять ту же самую дрянь брать должен?! — кричит Виташа.

Он стоит у стола. Его растоптанные латаные валенки отбивают какой-то незнакомый танец.

— У меня тоже, разве это участок? — говорит Мария Филипповна словно сама себе. — Две березы посредине. Самый что ни на есть плохой участок...

— Давайте поменяемся, — говорит кто-то.

— А где у вас?

— У пруда...

— Ишь вы какой, — говорит Мария Филипповна. — Деловой какой!..

Шулейкин сидит, наклонив голову. Он делает вид, что углубился в план. У Клары Ивановны испуганное лицо. Растверянная улыбочка дрожит на губах.

— Тише, — просит она, — ну как вам не стыдно!

Желтая картофелина отскакивает от одного к другому. С нее срывают последнюю одежду. Она размахивает руками, пытаясь отбиться.

— Дверь, — говорит Шулейкин. — Закройте же дверь!..

А меня это не касается. Меня это не касается... А картофелина (еще сырая, еще не родившаяся даже) кричит душераздирающе.

— Перестаньте кричать, — морщится Шулейкин.

— Да перестаньте же, — почти плачет Клара Ивановна.

— Вы же учитель, — говорит Шулейкин.

— А чего же вы несправедливости...

— Что?

— Несправедливую...

— Что?

— Да дайте договорить! — кричит Виташа.

— Ну договаривайте, — мягко говорит Шулейкин, — ну договаривайте, пожалуйста...

— Ну? — говорит Клара Ивановна.

— Да брось ты, — говорю я Виташе. — Из-за картошки какой-то...

— Как не стыдно, — говорит Маракушев.

— Ты-то уж молчал бы, — говорит ему Виташа. — Мне бы твой участок...

— Гы-гы, — говорит Маракушев и уходит из учительской.

— Не умеют себя вести, — говорит Мария Филипповна и уходит следом.

И все расходятся постепенно. Только Виташа остается и я.

— Ну ладно, — говорит Виташа, — я ему припомню. Я о нем кое-что знаю... Ну ладно...

А в дверь учительской заглядывает Саша Абношкин.

— А тебе-то еще чего? — поворачивается к нему Виташа.

— А я не к вам, — говорит Саша.

И это как плевок. А мне хочется рассмеяться.

— Ты давно здесь стоишь? — спрашиваю Абношкина.

— Нет, — говорит он и краснеет.

И иду к нему туда, в коридор. Я уйду совсем далеко. Но все маячит перед моими глазами распростертая картофелина в изодранной кожуре...

ВДОЛЬ ПО УЛИЦЕ

Нас подобралась прелестная компания: председатель колхоза Абношкин, Шулейкин, Виташа, Мария Филипповна и я...

Мы идем на заем подписывать!.. Был я студентом, был я черт знает чем... Теперь включили меня в комиссию.

— Как это — чего тебе делать? — говорит председатель Абношкин. — Мы, стало быть, идем по избам... Все... Ну, стало быть, заходим...

— Да что он, не знает, как на заем подписывать? — говорит Виташа.

— Надо научить человека, — мягко говорит Шулейкин.

— Вы знаете, — говорит Мария Филипповна, — это очень просто. Значит, так...

— Да бросьте вы, ей-богу! — смеется Виташа. — Он вас разыгрывает, а вы...

— Я не разыгрываю, — говорю я.

— Послушай, — говорит Абношкин, — пойдешь — все увидишь, как и чего. Надо, главное, чтобы все побольше под писали.

— Ну, у нас все сознательные, — говорит Мария Филипповна белыми губами.

Шулейкин подбородок теревит. Виташа на дорогу сплевывает.

— А может быть так, что не захочет кто-нибудь? — спрашиваю я.

— Ну что вы, — говорит Мария Филипповна, — мы же не себе собираем...

— Ну а если?

— Вот, ей-богу, сколько вопросов! — смеется Виташа. — Ты-то сам подписался?

— Люди ведь понимают, на что они деньги дают, — мягко говорит Шулейкин.

А впереди — Васильевка. Чернеют ее избы... Сейчас мы перебираемся через овраг, потом узкой тропинкой между двумя усадьбами — и улица... Я член комиссии. Мне, наверное, придется молчать. Мне, наверное, придется молчать, потому что ну что я скажу? Они это делают не впервые... Хорошо, я буду молчать. Я погляжу на них, как они это делают.

Нюра Осипова открывает нам дверь, а сама уходит в избу. Даже не здоровается. И мы молча идем за ней. У нее там ребенок по полу ползает. Маленький мальчик в ситцевой рубашке. Красный ситец с белыми рыбками.

— Ах ты, маленький, — говорит Мария Филипповна, — иди-ка сюда, иди-ка...

— Он ходить не может, — говорит от печки Нюра.

— Что ж это ты, молодой человек? — спрашивает Шулейкин. Он пальцем щекочет мальчика за ухом. Мальчику смешно. Он смеется беззубым ртом. Тянется к Шулейкину. И белые рыбки начинают плескаться в красном море...

— Ну вот, Нюра... — говорит Абношкин.

— Чего — ну вот? — говорит Нюра. — Мне давать нечего. Вот сам вернется, тогда... А мне нечего.

— А где он? — спрашивает Виташа.

— В город поехал... За сахаром, — говорит Нюра. А сама не отходит от печки. Тулупчик на плечах. Босые ноги в валенках.

— Ее муж, — говорит мне Шулейкин, — столяр. Первоклассный.

— Ты вот что, Нюра, — говорит Абношкин, тяжело дыша, — ты сама... Его ждать нам некогда. Хозяйка-то ты ведь?

— И чего вы с самого утра навалились?! — говорит Нюра. А лицо у нее молодое, некрасивое. Очень широкие скулы.

— Как вам не стыдно! — говорю я. — Мы все подписываемся. Мы же не себе это. Это для всех. Для всего народа.

— Стыдить ее не надо, — говорит Абношкин. — Она сама про все это знает.

— Нюра — человек сознательный, — бодро улыбается Мария Филипповна. Но губы у нее белеют.

Нюра берет мальчика на руки.

— Меня стыдить нечего, — говорит она. — Сами бы постыдились!

— Ты, Нюра, подпишись, — говорит Абношкин, тяжело дыша, — вот здесь...

Нюра смотрит в ведомость. Мальчик смотрит на меня. Шулейкин смотрит на Нюру, и Мария Филипповна смотрит на Нюру, и Виташа...

— Нет, — говорит Нюра, — пятьдесят не подпишу. На тридцать подпишу, а на пятьдесят — нет.

— Ты, Нюрочка, давай, давай, — подмигивает ей Мария Филипповна.

— Нет, — говорит Нюра, — на тридцать подпишу...

А мальчик вертится у нее на руках, и белые рыбки плывут куда-то за спину...

Мы выходим на улицу.

— Вот кулачка-то!.. — говорю я.

— Какая же она кулачка? — говорит Виташа.

— Пять человек ее уговаривают, а она...

— Когда жрать нечего, не пощедришься, — говорит он

шепотом. И оглядывается на остальных. Но остальные не слышат. — У них колхоз с войны все не оправится...

Мы идем по Васильевке. От дома к дому. Абношкина совсем одышка замучила. Он идет все медленнее. Все молчат. Не очень это веселое дело — ходить вот так по дворам.

— Словно собираемся, — говорю я Виташе.

— Тшшш... — Он оглядывается. — Ты что, ополоумел?

Мы поднимаемся на крыльцо. И тотчас дверь распаивается.

— Здорово, Настасья, — сопит Абношкин.

— Здорово, старый черт, — говорит Настасья и ведет нас в избу. — Все ходишь? Все в карманы глядишь?

— Да что вы, Настасья Иванна, — говорит Мария Филипповна, — не надо его обижать.

— Ты бы уж помолчала, пионерка брюхатая! — говорит ей Настасья.

Она стоит перед нами, маленькая, смуглая, давно уже не молодая. Руки на груди сложены...

Мария Филипповна стоит красная вся. Действительно живот уже заметно выпирает из-под пальто. И красный пионерский галстук выбился на воротник...

— Умора, — шепчет мне Виташа, — пионерка беременная...

— Ты, стало быть, Настасья, знаешь, зачем мы к тебе? — говорит Абношкин.

— Уж мне ли не знать, — говорит Настасья. — Первый раз, что ли, ты ко мне, старый черт, приходишь? Партизан... Абношкин садится к столу. Расправляет ведомость.

— Ну кто я тебе платить буду? — говорит Настасья. — Ты подумал?

— Надо, Настя. Подпишись, и все тут.

— А в сорок первом, когда я тебя, раненого, прятала, ты в глаза смотрел, — говорит Настасья, — а теперь-то не глядишь...

— Ну ладно, ладно, — бормочет Абношкин.

— Стыдно тебе, да?

— Ты подписывай, — говорит Абношкин, и толстое его лицо словно плачет.

Она подписывает, не глядя на лист.

...Мы прошли уже по двадцати избам. Скоро и конец. Я иду по Васильевке, а лица, лица, лица мелькают передо мной... и пальцы, которые коряво держат ручки, и желтая помятая ведомость, по которой эти ручки бегут неохотно.

Мы стоим на крыльце предпоследнего дома. Это маленький дом. В два окна.

— Вот сейчас будет, — говорит Виташа.

— Чего вы смеетесь, Виктор Павлович? — горько говорит Шулейкин.

— Ничего, мы старую уломаем, — говорит Мария Филипповна.

А Абношкин тяжело дышит, со свистом, и молчит. И я молчу.

Потом открывается дверь, и уже в избе я замечаю хозяйку. Она как грибок маленький, сморщенный.

А у окна стоит мой ученик — Ваня Цыганков. Толстые губы его отвисли. Рыжие вихры разлетаются в разные стороны. Он покачивается на длинных своих ногах, как на ходулях.

— В гости пришел, Ваня? — спрашиваю я.

— А не, — говорит он.

— По делу?

— Я живу здесь, — говорит он.

— Он с бабушкой живет, — говорит мне Виташа, — это бабушка его.

А бабушка подходит ко мне.

— Вы, деточка, учитель Ванин? — говорит она. — Он все про вас рассказывает, любит он вас... — Потом она поворачивается к Шулейкину: — И директора он любит... Все старается, старается угодить... Ваня-то... Он сирота ведь...

— Тимофеевна, — говорит Абношкин трудно, — на-ка вот, подпишишь.

— Что, что ты, деточка, — говорит бабушка, — я ж неграмотная.

— Всякий год подписываешься, а тут неграмотная? — говорит Абношкин и пальцем по столу постукивает.

— Вы подпишитесь, Анисья Тимофеевна, — говорит Мария Филипповна, — не первый уж раз.

— Да что ты, деточка!.. — торопится бабка. — Из чего подписывать-то? Мне ведь сироту кормить! Что ты, миленькая...

Врет?.. Притворяется?.. Что это происходит?..

— Какой позор, — говорю я Виташе.

— Тшшшш... Ты потише, — говорит он и оглядывается. Но все заняты бабкой.

И тут вдруг срывается со своего места Ваня Цыганков, натягивает на ходу шапку и бежит к двери.

— Они все по домам сидят... Не работают, что ли? Что это у них ничего нет? Что это за колхоз такой?.. Или врут они все?..

— Тшшшшш...

— Ну яички дам... — говорит бабка, — а денег нечто я наберу?..

— Давай, ладно, — говорит Абношкин, — по тридцать в месяц...

— Да что, деточка!..

— Анисья Тимофеевна, ведь на эти деньги, — мягко говорит Шулейкин, — мы заводов настроим, больниц...

Я вспоминаю: она приходила ко мне в келью несколько раз. Я у нее яйца покупал. Она приносила их в лукошке и синими сморщенными пальчиками отсчитывала их. Я помню.

А в классе спрашиваю у Вани Цыганкова:

— Что это ты в резиновых сапогах ходишь? Холодно ведь.

— А он закаляется, — посмеивается Абношкин-сын.

Вот тебе и закаляется...

— Я ведь, деточка, яички продам... Мы с Ваней и проживем... Разве могу я больше-то вам отдать?.. — говорит бабка и подписывает ведомость.

Теперь дом Веры Багреевой.

Но тут все происходит очень просто. Мы подходим к крыльцу. А на крыльце уже стоит прекрасная, как богиня, мать Веры.

— Давайте сюда, — говорит она цыганским голосом и протягивает руку Абношкину. Он дает ей ведомость. Она подписывает ее быстро, размашисто. Возвращает ему.

— Спасибо, — сопит Абношкин.

— Может, вы нас все-таки в дом пригласите? — спрашивает Шулейкин.

— Как ваши детишки поживают? — спрашивает Мария Филипповна белыми губами.

— А зачем в дом? — спрашивает мать Веры так, что хочется уйти поскорее.

Остается последний дом. Он на самом краю. Мы подходим к крыльцу и останавливаемся. На крыльце стоит молодая женщина с ребенком на руках. Рядом с ней — две белобрысые девочки. А чуть впереди — молодой мужчина в гимнастерке, и в руке у него топор, словно он дрова поколоть собрался.

— Здравствуйте, друзья, — говорит Мария Филипповна.

Они молчат.

— Эх, беда мне с вами, — хрипит Абношкин. — Ну чего ты, Коля? Чего? Впервой, что ли? — А сам глаза отводит.

— А что, председатель, — говорит Коля спокойно, — я сейчас вот их всех порешу, — и показывает на свою семью, — а посла за вас примусь...

— Хулиганство какое, — шепчет Мария Филипповна.

— Партизанский сын, — подобострастно смеется Виташа.

— Вот он весь как есть, — говорит Коля.

— Ну ладно, Николай, — говорит Абношкин, — выходит, мы с тобой после поговорим. Другие вон все подписались...

Мы уходим в поселок.

— Ладно, — хрипит Абношкин, — идите, схожу коровник посмотрю.

— Почему это одни женщины в избах? — спрашиваю я Виташу.

— Или войны не было? — спрашивает меня Абношкин.

— Мы идем молча.

Вдруг что-то похожее на резкий трамвайный звонок прокатывается над Васильевкой... Когда мне исполнилось пять лет, я сел в трамвай, проехал одну остановку по Арбату и очутился на Смоленской площади. Я вышел в незнакомом мире. Было страшно. Мой трамвай, гремя и позванивая, ушел куда-то в небьтие. И уже другие вагоны сновали вокруг так, что дух захватывало... Я вскарабкался в обратный вагон и вернулся к дому. И так я стал поступать ежедневно и знал уже все дома на Арбате между Смоленской площадью и Плотниковым переулком. И была весна, солнце, радость путешествия... А красный трамвай был моим личным экипажем, моим кораблем, моим танком, поездом дальнего следования. И я трясся в нем, прижатый пассажирами к дальней стене площадки, и пытался пошевелиться, но не мог и не вышел на Смоленской площади, а трамвай ринулся дальше... Куда-то... Все кончилось. Я не плакал. Я сошел на следующей остановке. Вокруг простирался незнакомый мир. Он назывался Плющиха. Куда я попал?.. И я заплакал. Ах как страшно было потеряться! Я не верил в спасение. Но оказалось, что даже отсюда трамваи возвращаются обратно. И я втиснулся в вагон, и он понес меня со звоном, с громом и молниями мимо домов и прохожих и высадил возле самого моего дома! Я стоял оглушенный, а он умчался дальше — спасти кого-то другого. И другие красные трамваи, добрые и надежные, бежали мимо меня. И я понял, что они не могут погубить, что они всегда вернут тебя к твоему дому...

Вечером собираемся в учительской. Приехал инструктор из района. У него усталое, небритое лицо туберкулезника.

— Ну как у вас? — спрашивает он у Шулейкина.

— У нас очень хорошо, — говорит Мария Филипповна, — все как один... Все ведь понимают, не первый год...

— В прошлом году сумма-то больше была, — говорит инструктор, поглядывая в ведомость.

— Трудно, — говорит Шулейкин, поглядывая в окно.

— Там ведь ни одного почти мужчины нет, — говорю я, — неужели никто об этом не думает?..

Виташа толкает меня в бок.

— Мы знаем об этом, — говорит инструктор.

— Пошли бы сами, посмотрели бы, что там творится... — говорю я, — позор просто...

— Вы напрасно горячитесь, — говорит мне Мария Филипповна, и губы ее белеют, — товарищ инструктор не мог ведь... Он доложит кому следует...

ВСЕ, ЧТО ВОКРУГ...

— Вот так мы и живем, — говорит председатель Абношкин, тяжело дыша. — Садитесь. Ну хоть сюда вот... — Он усаживает меня на красный облупленный табурет. — Сашки дома нету... — Он говорит с трудом. В груди у него хрипит что-то. — Поговорим... Ты ведь поговорить пришел?

— Поговорить.

— Ну и ладно, поговорим. Может, выпьешь?.. Ну не надо...

— А у вас все заботы?

— Заботы, они всегда, — хрипит он. — Без забот разве жизнь бывает? Это и хорошо, что заботы. Вот только до сына рук не дотяну... Плох он, наверное?

— Саша ваш? Нет, он хорошо учится. Он такой самостоятельный.

— Ишь ты... Строптив?

— Бывает, что и строптив... Разве это плохо?

— Ишь ты, — смеивается он. — Разве хорошо? — И, помолчав: — Попробовал ты крестьянской работы? Ну, как она?

На его мясистом, красном лице — хитроватая улыбочка. Он думает — я сейчас плакаться начну. Сейчас он будет

говорить, что не посеешь — не пожнешь, что городу без деревни не прожить. «Хлеб!» — скажет он многозначительно.

— Скучища у нас, а? — говорит он.

— Это есть.

— Ты бы организовал чего-нибудь, учитель.

— А Шулейкин?

— А чего Шулейкин? Мишка на директорстве своем запутался. Все ведь смеются. Он человек темный. Дела своего не знает.

— А вот вы сельское хозяйство знаете?

— Я знаю, — хрипит он. — Давай по маленькой? Нет?

Ишь ты...

— Что же колхоз ваш скрипит?

Он тяжело дышит и смотрит в окно. Там быстро сумерки густеют. От печки тянет кислым чем-то. Я смотрю ему в глаза. Они громадны и печальны.

Он садится напротив. Подпирает голову широкой ладонью. И молчит.

Он симпатичен мне, этот человек. И убогая его изба не кажется мне убогой. Это ведь прекрасно, когда человек задумывается, пусть даже печально. Тогда его лицо словно освещается, и ты видишь, как оно удивительно со всем, что на нем имеется.

— Понимаешь, парень, — хрипит Абношкин, — я бы тебе сказал, как оно все получается... Да откуда я знаю, кто ты есть? Поймешь ли?

— Я пойму.

Он вертит косматой головой с сомнением:

— Хочешь понять, да не поймешь... Не поймешь.

— Пойму. Что я, идиот, что ли?

— Я сам всего понять не могу... Думаю. По ночам проснусь — а вот здесь схватывает, — он тычет толстым пальцем в темя, — и никуда не денешься... Мокрую тряпочку прикладываю. Говорят, помогает... — Он смеется невесело. — Так это ж голова... На заботы мокрой тряпочки не положишь ведь, а?

Потом он зажигает лампу. И она стоит, как часовой, на самом краешке стола, вытянув свою длинную шею. И большая тень Абношкина медленно шевелится на стене, и хрипит, и стонет. И изба становится похожей на учительскую: там тоже одинокая лампа по вечерам замирает на краю стола.

— Могу тебе ответить, как положено, — хрипит он, — мол, была война... Вот и трудно...

— Это я и без вас знаю.

Он тяжело смеется:

— Это-то ты знаешь, а чего дальше — не знаешь.

— Вот и пришел, чтобы узнать. Ребята ведь спрашивают.

— Нет, этого тебе не понять. Это надо жизнь прожить.

— Живу...

— И живи. Ты человек хороший. Ребята тебя уважают... — И опять после паузы: — А у меня домашняя есть... Высший сорт... А?

— За что же они уважают, когда я ничего сказать не могу?

— Да это они без тебя разберутся. Ты их произведениям всяким учи, стихам, в город их в театр свози... Ну что, по маленькой?.. Несговорчивый ты какой...

Он мне очень симпатичен, этот Абношкин. Как это раньше я мимо проходил? Почему не бывал в этой избе, не сидел на этом красном табурете?

— Гости идут, — хрипит он. — Теперь не миновать разговеться.

Кто-то скрипит дверью, идет через сени.

— Да, — говорит Абношкин, — заходи... Я думал, мужик идет...

Мать Веры, слегка кивнув мне, подплывает к столу.

— Ваших нету, председатель? — низким голосом, поцыгански спрашивает она. — Нету, да? Жаль. Хотела кое-чего из посуды взять. — Голос ее становится вкрадчивее и тише: — Кажется, Верку сватать приехали. Не пойму что-то... — Она смотрит на меня пристально. Глаза у нее такие же, как у дочери. Только Вера смотрит вниз... Да, вниз...

— Событие, — говорю я спокойно.

— Дождалась, — как-то слишком громко говорит Абношкин. — А Верка-то нарядилась?

— Нарядилась, нарядилась, — смеется мать и смотрит на меня.

— А Шулейкин, дружок твой, пришел?

— Пришел, пришел, а как же, — говорит мать. — Может, и ты зайдешь поглядишь. Да у тебя самого гости.

— Ты бери из посуды сама чего, — говорит Абношкин. — У меня гость.

— А вы идите, — говорю я. — А я по своим делам пойду.

— Посидим, посидим, — хрипит он, — и без нас справятся...

Все происходит мгновенно: тарелки гремят, дверь хлопает... Событие! Разве меня это касается?.. Но почему кто-то другой?.. Да разве меня это касается?.. Я же не влюблен... Ах, просто странно: почему кто-то другой!.. Да разве меня это касается?.. Надо мною же смеяться будут там, в Москве... А может, пойти туда и спокойно, как Печорин: «Вера, я пришел за тобой...»

— Что-то она темнит, — хрипит Абношкин, — какие еще сваты? Она женщина железная. На порог-то пускает не каждого. Того и гляди, ухватом сработает. Темнит... И слуху такого раньше не было.

...И вот я говорю это. В комнате молчание. Гости смотрят на меня с ужасом. Мать Веры с грохотом отодвигает стул и выходит из комнаты прочь. А Вера вдруг, такая тоненькая, в черном платье с широким вырезом, и высокая, зажмурившись, словно слепая шаря руками, идет в мою сторону. Плавно идет, едва касаясь пола носками туфель.

— Нет! — кричит главный сват.

Но она идет, идет. Я кладу ей на плечо руку.

— Что же это такое?! — кричат гости.

— Пойдем отсюда, — говорит она сухими губами.

И плечо ее горячее...

— Ты все обдумала, Вера?

Она уводит меня из избы. И там, на улице, обняв меня, прижавшись всем телом, с благодарностью:

— Хочешь, я тебе правду скажу?

— Ну...

— Я знала, что ты придешь... Хотя и говорили все, что не ровня я тебе, чтоб не ждала...

— Чепуха это, не ровня!..

...Никто меня не ждет. Может быть, ее уже сосватали?.. Да разве меня это касается?.. Может быть, она и правда ждет меня?.. Никто меня не ждет... Все идет своим чередом. Спокойно. Ничего непредвиденного не произойдет. Я буду ночевать в своей келье как миленький... Да...

— Темнит она что-то, — хрипит Абношкин, — ну да, темнит... — он вдруг тяжело встает, и лампа начинает покачиваться. — Верка-то с моими в Козельск на базар поехала!.. Ах ты, паралик тебя расшиби! Я ж говорю, темнит.

— А отца у нее нету, — слишком радостно говорю я.

Он садится на свое место. Долго молчит. С трудом дышит. Большая его грудь с клокотанием вздымается и оседает.

— Отец ее до войны в райкоме работал. Вредителем оказался... Видишь как...

— А Шулейкин, значит, тут как тут?

— Он от нее не отступился. Вот как. Не отступился. Понимаешь, как оно... Помогает ей. Верке — тоже. В войну помогал...

— А говорят, он...

— Да это все говорят! — хрипит он яростно.

Он снова встает и начинает тяжело, как медведь, ходить по избе:

— Тяжело мне, черт! Будто воды в меня налили.

Неладное с ним что-то.

— Ты видал осенью, какие луга у нас? — вдруг спрашивает он. — Видал, травки сколько?

— Видал, — говорю я.

— Ага... А скот с голоду ложится... Ну?

— Ну?..

— А к Семеновым нынче зашел, а ребятишки кисель картофельный хлебают. Из крахмала. А я зашел и говорю: давайте, отец и мать, на работу. Что это вы, мол, расселись, а?

— Да?

— А с Васькой Семеновым мы вот здесь в партизанах ходили. Вот на этом самом месте... И по Смоленщине...

— А вы бы плюнули на это... Поехали бы полечились.

— Ишь ты, — хрипит он. — Это ты можешь плюнуть, а мне нельзя. Это же мое все кругом. А?

Лампа отчаянно борется с темнотой. Она как маленький стеклянный донкихотик. Разве ей справиться?

Абношкин подходит к полке, отодвигает марлевою занавесочку:

— Ну что, по маленькой?

— Нет, спасибо...

Жаль его обижать, да неудобно как-то сейчас пить.

— Ребята затеяли столбы ставить, свет проводить, — говорит он.

— Слышал, — говорю я.

— Столбы я дам, — хрипит он. — И ты будешь?

— Буду, — говорю я.

Он мне кажется очень большим, этот председатель. Он до конца не раскрылся. Он велик, как вся Васильевка. Но что-то с ним неладное происходит. Это я вижу по его глазам.

— Вы песни любите?

— Было, было, а как же, — хрипит он. — Самый заводила был.

Мне хочется погладить его по щеке. Хочется посентиментальничать. Но я креплюсь. И воспоминания собственные делают меня (на один час хотя бы) суровее и строже. Я был солдатом. Я воевал. Я!.. Я многое успел уже попробовать. И он воевал... Мне хочется говорить с хрипотцой, встать перед ним с распахнутым воротом, сказать: «Вот так, брат Иван...» — и, попрощавшись, выйти и услышать вслед калужское «до свиданьца», теплое, как парное молоко.

— Туман какой-то, — говорит Абношкин, — с глазами что-то. Вот в двадцать первом было ой как худо кругом, а здоровья хватало... В войну — и говорить нечего, а не жаловался... Машину за передок поднимал будь здоров. И видел все. Далече. Вот — я, а вон — мироед... И в войну: вот — я, а вон — фриц... Поистрепался, ну что ты скажешь?! Вот беда... Может, пропустим, а?

— А давайте, — говорю я.

И потом, опрокинув стопочку и прокашлявшись, он говорит:

— Голод был на Волге в двадцать первом ужас какой... А нас у самих вот-вот... Мы, значит, комсомолия голожопая, ну чего делать? Чем помогать?.. Где чего возьмешь?.. А ну, ребята, айда побираться! Братья с голоду пухнут! Наши!.. Вот, значит, ходим по дворам, просим. Кто что дает... Разжалобить ведь тоже уметь надо, а как же... Ну, значит, дают. Ну там горсть проса, корочку, огурец соленый, лепешку. Так до вечера ходим с торбами. Вечером в общую торбу сыпшем. И опять с утра понеслись. По всему уезду три подводы собрали... Скорей, скорей!.. Ребятишки мрут!.. Собрали — и в Калугу. Вот скрипят наши возы, а мы — рядом. От мешков едой пахнет, а у нас ноги от голода не идут... А никто ни крошечки ни махонькой не берет. Агитировать не надо было. Видишь как...

Он долго и с трудом кашляет. Потом молчит. Смотрит в темные окна большими своими глазами.

— Ну, давай еще по одной?

— А давайте. За вас...

— А это все равно, — хрипит он. — Наши чего-то запаздывают... Может, в кино зашли... Я вот прошлым летом картину смотрел. Такую жизнь хорошую показывали. Колхоз тоже какой-то... — он смотрит на меня прищурившись, — земля у них лучше, что ли?.. Или, может, климат такой подходящий, а? Ты как думаешь?

Неладное с ним что-то.

— Не знаю, — говорю я. — Может, и климат. Я этой картины не видел.

Потрескивает огонек в лампе. Словно она рассказывает что-то. А что, никак я понять не могу. Слов слышать не умею.

— До света тоже руки вот еще не дотянулись, — говорит Абношкин и смотрит на лампу. — Мужиков мало...

— А Вере, наверное, и в самом деле замуж пора, — говорю я.

— Приглянулась она тебе?

— Ну что вы!

— А что ж? Она красивая, скромная. Тут за ней один инспектор молодой бегал, — он смеется с натугой, — потом узнал про нее: батюшки, отец — вредитель. И все. Кому охота с пятном-то ходить. Верно?

— Неверно, — говорю я.

— Ну, как знаешь, — хрипит он и смотрит на меня с прищуром, словно изучает.

Ладно, Абношкин, я ведь не ребенок. Нечего меня изучать. Я не из пугливых. Нечего...

— Только ты учителей-то ваших не соблазнишь столбы копать, — говорит он.

— Почему это?

— Они свое любят... А бесплатно-то копать...

— Что же, я один буду? — говорю я. — На черта мне...

— А это как хочешь... — хрипит он. — Ты огурчика возьми. Они в самый раз. Бодрые...

И большой огурец с хрустом исчезает в его губах, больших, мягких и медленных.

ПУТИ ТВОИ НЕИСПОВЕДИМЫ

Вечер. Мы с Виташей идем на педсовет. В учительскую. Это будет знаменитый педсовет.

— Сейчас Шулейкин с тобой счета сведет, — смеется Виташа. — Он давно готовится. Он это умеет.

Пришла пора. Я знаю. Я чувствовал приближение грозы. То бьет, то ласкает. Непокойно ему со мной.

— Потягаемся, — говорю я спокойно.

Он смеется.

— А ты, Виктор Павлович, как раз и припомнишь ему все, да? Припомнишь? — говорю я. — Ты ведь помнишь, как в драку рвался?

Он смеется. Потом говорит:

— Ладно, не горюй. Одна голова хорошо, а две лучше. Что-нибудь придумаем.

— Смотри, — говорю я.

Он смеется:

— Ладно, ладно. У нас тоже свои принципы.

А в учительской, как всегда, все уже расселись. Шулейкин отдает последние распоряжения. Вот сейчас наш корабль отвалит от причала и уйдет в неизвестность. Он стар, этот корабль. Корпус его скрипит. Ржавчина его изъела. Лишь краска свежа на его бортах и дыры аккуратно заткнуты тряпочками; хоть и тряпочками, а заткнуты... Но чего-то все-таки не хватает... Не пойму чего. Уж очень тихо все сидят. И лица у всех немного вытянуты.

Виташа подталкивает меня в бок. Я вижу: в углу сидит заведующий районо Петунин. Маленький круглый человечек с наголо обритой головой.

Я здороваюсь с ним. Он кивает мне едва-едва. Ну вот. Меня будут бить по всем правилам и в присутствии начальства. Крикнуть, что ли: «Э-э-эх!.. Да ну вас всех к черту» — и уйти?... Это им важно запротоколировать комедию. А мне она не нужна... Мне самолюбие дороже. Я не жулик...

Мы садимся с Виташей у печки. Две лампы льют желтый, тусоватый свет. Курить можно. И уже дышать нечем. Что же дальше-то будет?..

Идет педсовет. Обсуждаются всякие дела. Я почти ничего не слышу. Ерунда какая-то все... Меня не упоминают... Пока. Интересно, как Шулейкин будет меня уничтожать? Я скажу ему: «Все вы врете!» — а он скажет: «Ну вот, видите?..» — а Мария Филипповна скажет: «Он всегда кичится!.. Подумаешь, университет окончил...» Только бы мне не принимать всего всерьез. Не поддаваться. Пусть не думают, что я готов в петлю... Черта с два!

Вдруг кто-то произносит мою фамилию. А я ловлю себя на том, что, как собака, поворачиваю ухо в ту сторону и настораживаюсь. И это меня смешит...

— Сейчас драчка начнется, — шепчу я Виташе.

Он ободряюще улыбается мне.

Потом объявляется перерыв. А шума обычного нет. Все сидят почти неподвижно. Все косятся на Петунина. А он встает и катится в мою сторону. И спрашивает меня:

— Ну, как у вас дела?

— Да вот сечь меня собираются, — говорю я.

Виташа мелко смеется.

— Сечь? — говорит Петунин. — Ну не без этого...

— Конечно, — говорю я.

— Наверное, есть за что...

— Наверное, — говорю я.

— А на вас жалуются, что успеваемость низкую да-ете, — говорит Петунин.

— Не все сразу, — говорю я.

Мне теперь все равно. Я прекрасно понимаю, к чему он клонит.

— Значит, конфликт с директором?

— Вам видней, — говорю я.

— А может быть, на вас наговаривают?

Мне чудится издевка в его словах. Петунин откатывается на свое место. Я сажусь.

— Ничего не понимаю, — говорю я.

— Н-да, — говорит Виташа. — Дело темное...

И снова, но уже тихо-тихо, звучит моя фамилия. И Шулейкин, едва освещенный лампой, рассказывает о моих грехах. О мои грехи! Их так много, и они так ужасны...

— ...Откололся от коллектива... Противопоставил себя...

— Правильно, — говорит Мария Филипповна.

Я смотрю на Петунина. Он слушает Шулейкина и кивает головой.

— ...Самая низкая успеваемость по письменному русскому... Был Виктор Павлович... Катастрофа...

— Был я на уроке, — говорит Виташа, — и не на одном...

Скажи им, Виташа, скажи...

— ...Такой отсебятины я еще не встречал... Для чего же существует Министерство просвещения, а?

— Может быть, мне уйти?! — вскакиваю я.

— Может быть, вы мне договорить дадите? — говорит мне Виташа.

— Спокойнее, — говорит Петунин.

— Вот так он всегда, — говорит Мария Филипповна.

Ну погодите, погодите же!..

— Вы хвастались ученикам, — говорит мне Шулейкин, — что вам на всех наплевать, что у вас своя, мол, голова на плечах, что программы — это чепуха...

— Кто вам сказал? — говорю я.

— Это неважно, — говорит он.

— Я говорил, что программу нужно дополнять! Я говорил, что очковтирательство... — Я кричу.

— А зачем кричать? — спокойно говорит Шулейкин.

— Умейте ответ держать, — говорит Мария Филипповна и смотрит на Петунина.

А мне плевать на Петунина! Плевать!..

— А может быть, вам пора ответ держать, Михаил Андреевич, — негромко говорит Петунин из своего угла...

Становится ужасно тихо. Дым папиросный уносится к потолку. Виташа подталкивает меня под бок. У Марии Филипповны белеют губы.

— Вы оскорбляете учителя, не имея на то основания, — говорит Петунин Шулейкину.

— У меня все факты... Вот, — говорит Шулейкин и показывает кипу бумаг.

— Без фактов нельзя вести серьезный разговор, — говорит Петунин.

— Да вот же факты, Петр Сергеевич! — говорит Шулейкин и пытается улыбнуться.

— Взяли вдруг и обвинили, — говорит Петунин, — а фактов-то и нету...

— Да вот факты, — растерянно говорит Шулейкин.

— Эдак мы все друг друга начнем поносить. Что же будет? — говорит Петунин жестко. — Без фактов нельзя.

— Я все факты имею, — почти шепотом, безнадежно говорит Шулейкин.

— Вы лучше скажите, куда вы девааете контрольные работы, — говорит Петунин, — которые вам лень проверять? Сжигаете, да?

Шулейкин молчит. Что это происходит? Меня защищают?

— А во что он школу превратил! — кричит Виташа. — Все из-за него перегрызлись. Вы бы посмотрели, как он несправедливо картофельные участки распределял! И всякие разговоры... И на стенках всюду написано: «Кобель». Это о ком? Разве таким должен быть директор?!

Шулейкин пунцов, как переспевший помидор. И жалкая улыбка шевелится на его губах. А может быть, он плачет?.. А Виташа кричит, как Шулейкин по ночам прокрадывается к одной вдове...

— Это уже сплетни, — тихо говорит Шулейкин.

— Продолжайте, Виктор Павлович, — требует Петунин из своего угла.

Что делается?! Неужели это все из-за меня?

— Гы-гы, — говорит Маракушев, — а вы ведь, Михаил Андреевич, мне дров нарочно не давали, пока снег не пошел.

— Врете вы все, — говорит Шулейкин, не поднимая головы.

— Нет, он не врет! — стучит Петунин ладонью по столу.

— Гы-гы, — говорит Маракушев. — Вру, вру... А вот не вру!

— Так ему, гаду, — шепчет мне Виташа. — Допрыгался...

Что делается!.. Шторм. Ураган. Корабль сейчас на дно пойдет. Во все дыры вода льется. А тряпочки поверху плывут... Кто прав? Кто?.. Почему я тоже не кричу? Что, Шулейкина жаль? За что мне его жалеть? Топите его! Топите! Пусть знает!

...А потом я догоняю Петунина в коридоре.

— Что же теперь будет с Шулейкиным? — говорю я. — Теперь что, снимут его?..

— Решение облоно о снятии есть, — говорит он. — Почему «теперь»? Засиделся Шулейкин...

— Значит, это все из-за меня? — говорю я.

— А при чем здесь вы? — говорит он, и смотрит куда-то мимо меня, и быстро уходит прочь.

Все расходятся. Почти никого не осталось. Только Шулейкин стоит у дверей учительской. Курит. И Мария Филипповна стоит рядом. И я слышу:

— Да вы успокойтесь, Михаил Андреевич...

— А я и не волнуюсь, Мария Филипповна...

— Вы не обращайтесь внимания...

— Да что вы...

— Мало ли что говорят...

— Вы сами успокойтесь, Мария Филипповна...

— Как они это нехорошо!..

— Ничего, ничего... Пустяки...

Уже пять дней прошло, как Шулейкина сняли. Нового директора пока нету. Обещали прислать. Экзамены на носу. Клара Ивановна пока робко командует. Все ходят тихие.

— Как же теперь Шулейкин будет? — говорю я Марии Филипповне. — Уедет?

— Зачем же ему уезжать? — удивляется она.

— Да трудно ведь... Быть директором... Теперь насмешечки...

— Я с ним говорила об этом. Я ему говорю: «Вам бы лучше уехать, Михаил Андреевич...» — а он мне: «Зачем мне ехать? И куда мне ехать?.. Что, учителем не могу работать?..» Да и вообще, я давно знаю... — она говорит шепотом, — он ведь не очень-то директорством своим дорожил... Он ведь не хапуга...

— Хапуга?..

— Ну он покой любит. А директору-то, знаете?.. Каждому ведь свое. Директором надо быть энергичным. Правда? А он книжки любит читать... Помечтать.

Теперь почти вся школа взялась рыть ямы и столбы устанавливать. Уже десять столбов вкопали.

Маракушев посмеивается:

— Гы-гы... А мне свет ваш не нужен... Я и с лампой хорош...

— Эх вы! — говорю я. — Ученики мозоли натирают... А вы?..

— Гы-гы... — смеется он. — Молодым везде у нас дорога...

Но он приходит все-таки.

— И вы здесь, Михаил Андреевич? — удивляется он.

— А что ж тут странного? — говорит Шулейкин из ямы.

— Да вроде бы директором были... Неудобно, должно быть...

— А вы помогайте лучше, — говорит Маша Калашкина.

А Шулейкин ничего не говорит. Он роет. Почти одной левой рукой. Правая у него какая-то странная.

А ЕЩЕ ПРОВЕДЕМ ДОРОГУ

— Вы все-таки решили уехать? — говорит мне Шулейкин.

Мы сидим на круглом гладком бревне под вековым дубом. Сквозь свежую листву ударяют тонкие солнечные струи. В поселке тишина. Ваня Цыганков сидит рядом. Он в резиновых сапогах. Рядом с ним — Коля Зимосадов.

— Решил, — говорю я. — В город тянет... Я ведь бродяга. — Я смеюсь. — И вообще дела всякие. В газету меня зовут.

— Да, — говорит Шулейкин. — Вон и учителей новых прислали. Все с высшим образованием.

— Нам бы еще печи в школе починить, — говорит Ваня Цыганков.

Жара. Июнь.

Коля Зимосадов сидит как на семейной фотографии — ладони на коленях. Неподвижно.

Вот так же он сидел на экзаменах. Потом вышел и сказал все, без запиночки. О Коля!.. Шулейкин присутствовал на экзамене у меня в классе. Он ставил всем лучшие оценки, чем ставил я.

— Зачем же так сурово? — сказал он мне. — Они же прекрасно отвечают...

После письменных экзаменов получилось шесть двоечников!

— Вот так, — сказал я.

— Ничего, — сказал Гена Дергунов. — Осенью пересдадим.

— Лучше бы не пересдавать, — сказал Шура Евсиков.

— А я уже не пересдам, — сказала Маша. — Все.

— Замуж Машка собралась, — сказал Саша Абношкин.

— Не, — сказала Маша, — я на торф поеду. Работать. Там по семьсот рублей заработать можно. Эх вы, колы мои, колы!

— Зато без обману, — сказал Ваня Цыганков.

После этого как раз я и сказал им:

— Я тоже уезжаю.

Они не кричали. Не побежали ко мне. Было недолгое молчание. Потом Ваня Цыганков сказал:

— Я бы тоже уехал...

И все засмеялись.

— Вот теперь вы и уезжаете, — говорит Шулейкин, вытирая пот со лба.

Жара. Полдень. Ребята встают и уходят.

— Мы скоро, — говорит Коля Зимосадов.

— Ребята, вы не забудьте вернуться, — смеется Шулейкин.

Он вытирает пот со лба. Он сидит в черном пиджаке.

Он машет рукой.

— Такая жара, — говорит он, — что даже глупостей делать не хочется.

— Сняли бы пиджак, — говорю я.

— А жаль, что вы уезжаете, — говорит он. — Мы цапались тут с вами... Все равно жаль...

— Мне и самому это трудно, — говорю я. Мне совсем не трудно. Это чтобы не обидеть его. Все пришло к концу... Надо ехать. Вот вкопаем сегодня последние столбы, и поеду я. Хватит с меня холодной кельи, сплетен, голодовки... Пусть новенькие попробуют...

— Без хозяйства своего здесь, конечно, трудновато, — говорит Шулейкин.

— А как Виташа вас прижимал на педсовете, а? — говорю я, как распоследний иезуит.

— Тоже жить хочет, — без злобы говорит он. — Обстоятельства... Такие обстоятельства... — Это магическое спасительное слово. — Зато Виташа предмет знает свой. Его голыми руками не возьмешь.

— Послушайте, — говорю я, — это правда? Ну, теперь дело прошлое... Это правда, что вы некоторые контрольные работы... ну, не проверяли?..

— Я их в сортир спускал, — говорит Шулейкин. — Это очень удобно... — И после паузы: — А вы не пробовали у Виташи в долг просить? Вы бы попросили.

— Мне не нужно.

— Ну ради интереса...

— Да ну его к черту.

В Васильевке петухи кричат. Такая тишина, что даже отсюда слышно. Они кричат о жаре, о синем небе. Вон она, Васильевка, серой цепочкой протянулась там, за оврагом. И жизнь по этой цепочке и идет. И у каждого своя...

— Абношкина-то снять хотели, — говорит Шулейкин. — Народ не дал.

— А что он?

— Обижен он... Молчит.

Я вижу большую грузную тень Абношкина. Она, покачиваясь, поднимается над крышами Васильевки. Медленно и беспокойно. Она тяжела. Она разбухает от забот, от любви и от печали. Она встает уже над всем горизонтом, пытается что-то сказать... Трудно ему там, председателю. Я вижу большие печальные его глаза. Он то встает во весь рост, то наклоняется, копошится в большом своем нелепом огороде.

Кричат петухи. Огромное облако выкатывается в небо и уплывает куда-то в сторону.

— Я видел его вчера, — говорит Шулейкин. — Сам не свой...

Целадное с ним что-то, с Абношкиным. Я чувствую. А помочь не могу.

Какая-то молодая женщина идет к нам по дороге. Она одета по-городскому. Она подходит ближе. У нее приятное умное лицо, правда немного растерянное.

— Новая учительница, — тихо говорит Шулейкин.

Она подходит прямо ко мне.

— Мне сказали, что вы москвич, — говорит она. — Я бы хотела поговорить с вами.

Мы идем с ней по дороге, под дубами.

— Ну как здесь? — спрашивает она. — В этой дыре?

— Ничего, — говорю я, — по-всякому.

— Какая жуткая тишина, — говорит она.

— В Москве, конечно, интереснее, — говорю я.

— Я знала, куда еду...

— О чем же тогда спрашивать?

Губы у нее кривятся. Но в них — сила. Это сразу бросается в глаза... А там Абношкин о своем страдает. Маша Калашкина любит своего тракториста. Коля Зимосадов, набычившись, идет куда-то с полевой сумкой через плечо...

— Почему дыра? — говорю я.

Она не отвечает. Что-то нетерпеливое сквозит в каждом ее движении. Мне вдруг вспоминается Сутилов и прохладная его улыбочка.

— А знаете, — говорю я и сам пытаюсь улыбнуться, — это ведь знаменитое место...

— Ну?

— Здесь бывал Толстой... Лев, — говорю я.

— А где вы покупаете продукты? — спрашивает она.

— В Козельске, — говорю я. — Всего пятнадцать километров... Сестра Толстого была здесь монахиней.

— Электричества, конечно, нету, — говорит она.

— Пока нету, — говорю я. — Мы вот столбы вкапываем...

— Почему вы?

— Мы и ученики...

— Почему?... Почему?..

— Не знаю... А кому же еще?.. А что?

— Что же вы бежите из вашего рая? — Губы ее кричатся. Но лицо остается приятным. Ей идет быть немножко злой. — Почему же вы бежите?

— Не знаю... Приглашают в районный центр... Не знаю...

Она смеется. Что я могу ей объяснить? Пусть поживет, а потом встретимся, поговорим.

— А вы что, — говорю я, — приехали посмеиваться?

— Я приехала работать, — говорит она жестко. — Вот именно.

Действительно, как это получилось с отъездом? С моим отъездом? А вот так и получилось. Копилось, копилось... И получилось... Вот и пора. Ты рад? Чертовски... Рад? Не знаю...

Мы возвращаемся к бревну, на котором сидит Шулейкин.

Мне не жаль ее, эту москвичку. Чего ее жалеть?

— Вон там расположена деревня, — говорю я. — Там вы будете работать... периодически.

— Представляю себе! — говорит она.

— Вон идут мои ученики, — говорю я. — Впереди идет Гена Дергунов. Видите? Это самый слабый ученик. Но прекрасный парень...

— Слабый ученик, но прекрасный парень?!

Я ей не угодил.

— Вы зря уезжаете, — усмехается она. — Вы очень вписываетесь в эту обстановку, — она обводит рукой вокруг. И смотрит, как я обижусь. Но так жарко, что мне лень обижаться. Да и необидно.

Мы подходим к бревну одновременно с ребятами. Гена Дергунов протягивает мне плоский сверток в газете. Ваня Цыганков смотрит в сторону. Коля Зимосадов — в землю.

— Это вам, — говорит Гена Дергунов.

Я разворачиваю газету. Легкая коричневая рамочка для фотографий ложится на ладонь. Она обклеена аккуратными квадратиками золотой соломы. Искусный узор золотится под солнцем. Это похоже на инкрустацию из перламутра.

— Мне? — говорю я и, наверное, глупо улыбаюсь при этом.

— Вам, — говорит Гена Дергунов. — Это вам на память. — И он краснеет.

— Вот так штука! — говорит Шулейкин.

Ваня Цыганков смотрит куда-то в сторону. Коля Зимосадов — в землю. Жара. У новой учительницы кривятся губы. И на ресничке дрожит зеленая слеза.

— До свидания, — говорит она. — Я пошла.

— А вот мои ученики! — кричу я ей вслед. — Уж вы их не обижайте...

Ваня Цыганков смеется. Она уходит, не обернувшись. Только шевелит рукой, словно отмахивается.

— Жаль, что не сфотографировались, — говорит Шулейкин.

— Давайте копать, — говорит Коля Зимосадов.

— В самую-то жару? — говорю я.

— Давайте, — говорит Шулейкин. — А то уснуть можно.

Мы роем последнюю яму. Вкапываем последний столб. Шулейкин работает в пиджаке. Он весь в поту.

— Да снимите же, наконец, пиджак!

— Ничего, — говорит он. — Это даже полезно.

Работа подходит к концу. Ребята копают молча. У меня спина болит и шея горит от пота. Ничего, ничего, сейчас — все... Зачем я ковыряюсь в этой земле?... А вот затем и ковыряюсь... Зачем же... А вот затем... А у этой зеленая слеза на реснице висела... Ерунда... Все — люди, только пегушатся иногда...

— Абношкина жаль, — шепотом говорит Шулейкин. — Они на него все навалились.

— Им бы только давай-давай, — громко говорит Коля Зимосадов.

— Тише, тише, — говорит Шулейкин.

— Да никого же нету, — улыбается Гена Дергунов.
Неладное с Абношкиным. Я видел его позавчера. Он еле поздоровался со мной.

— Как здоровье? — спросил я.

— А вот как, — прохрипел он и пошел прочь.

Неладное с ним что-то.

— Так ведь и затравить недолго, — говорю я.

— Тише, тише, — просит Шулейкин.

Кончим копать — пойду к Абношкину. Попрощаюсь.
Хорошие слова какие-нибудь ему скажу.

— Все, — говорит Шулейкин и утаптывает землю у столба.

— А еще проведем дорогу, — говорит Ваня Цыганков. — Камнем выложим.

Мы идем к Серене купаться. Мы спускаемся к ней гуськом. Серена — ослепительно зеленая. Она извивается. Она зарывается в прибрежные кусты, словно сама жары боится.

— А где же Михаил Андреевич? — говорю я.

Шулейкина нет.

— А он со всеми не купается, — говорит Ваня Цыганков. — Он один всегда. Вон там, за поворотом, его место.

Я понимаю... Был директором. Командовал. Теперь, после всего, с мальчишками в воду лезть...

Я плыву за поворот. Осторожно вылезая. Прячусь за куст. Мне хорошо видно, как Шулейкин ныряет. Потом он вылезает на берег. Скачет на одной ноге... Конечно, разве поскачешь перед мальчишками?.. Он хорошо сложен. Невысок, коренаст... «Мишка из-под сохи»... А в волейбол играть не умеет. Он ложится на траву. Закрывает глаза. Я смотрю и ничего не понимаю: вместо правой руки — что-то лиловое, бесформенное, страшное... Веточка из-под моей ноги падает в воду. Шулейкин вскакивает и быстро натягивает рубаху. И смотрит по сторонам...

Почему он не дал Виташе по шее, когда тот потешался над его рукой? Так вот оно что!.. Шулейкин, Шулейкин...

Что ж ты свои раны бережешь? Почему не бряцаешь ими? Только и знаешь, что пытаешься обнять себя самого...

И вдруг звон, похожий на далекий трамвайный звонок, раздаётся над рекой и стихает.

Зовет. Зовет меня. Ждет... И красный листок какой-то лежит на траве, словно красный вагон, остановившийся на последней остановке где-то в лесу...

Шулейкин медленно уходит вверх, в поселок. Он все время оглядывается. Черный пиджак его мелькает среди зеленых ветвей.

Я иду по дороге в Васильевку. Птицы кричат над самой головой. Из оврага поднимается горячий воздух, и жаворонок купается в нем. Жара.

Они кричали на Абношкина. А он, наверное, хрипел и переминался с ноги на ногу. Он молчал, но запоминал каждое слово. Он долго помнит... Он, наверное, чувствует себя виноватым. А простить себя — самое сложное. Для партизана это нестерпимо — чувствовать себя виноватым, когда не виноват. Так? Правильно я все понимаю?

И почему такая тишина, как будто все ушли куда-то? Большое молчаливое кочевье снялось с места, и — поминай, как звали!.. Почему такая тишина?

— Эгееееей!.. — кричу я и сам себя не слышу.

Неладное с Абношкиным что-то... Я прибавляю шаг. Я почти бегу. Я словно и не купался в реке. Снова весь в поту...

Случись что, и никто ведь не услышит. Никого нет. Я почти бегу.

Саша Абношкин спускается с крыльца.

— Где отец?!

Надо бы спокойнее...

— Дома отец?

— Дома, — говорит Саша Абношкин. — Пошел в сараюшку ружье почистить.

Ружье? Вот как!.. Я вбегаю в сарай. Сперва ничего не вижу. Потом темень рассеивается. Абношкин сидит на чурбачке. Голову подпирает одной рукой, в другой — ружье охотничье.

— Здравствуй, — хрипит он. — Уезжаешь?

— Попрощаться пришел... — еле выговариваю я. —
Что это вы ружьем занялись?

— А что?

Он смотрит на меня внимательно большими своими, печальными глазами.

— Мы все столбы врыли, — говорю я. — Вроде бы не сезон сейчас для охоты...

— Хорошо, что врыли, — хрипит он.

— Рано вы что-то к осени стали готовиться, — говорю я и киваю на ружье.

— Теперь бы еще к Васильевке столбы протянуть. Без света плохо ведь... — говорит он.

— Ребята дотянут, — говорю я. — А вы не обращайте внимания...

Он смотрит то на ружье, то на меня:

— Ты это о чем?

— Мало ли трудного бывает, — говорю я.

— А я думал: и не увидимся больше, — хрипит он.

— Что?!

— Ну, уедешь... не зайдешь... Ты пройди в тенек. Чего в дверях стоять.

Он усмехается и вешает ружье на стену сарайчика. Потом оборачивается ко мне и снова усмехается:

— Ну что, упрел? Да? Бежал, что ли?

— Жара, — говорю я.

И мне хочется обнять его.

Ленинград, 1962

ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕКРЕТНОГО БАПТИСТА

Повесть

1

Вкрадчивый баритон в телефонной трубке осторожно спросил:

— Андрей Петрович?.. Наконец-то я вас разыскал. Здравствуйте, Андрей Петрович. — Голос был незнаком, приятен. — Я приехал из деревни, где вы когда-то работали, и привез вам приветы от бывших ваших сослуживцев...

— Очень рад, — сказал Андрей Шамин, — очень рад. Спасибо.

Три года назад он работал учителем в глухой деревушке. Видимо, его еще помнили. Впрочем, должны были помнить, ибо областная газета, в которой он теперь работал, иногда писала об этой деревне, и имя Андрея Шамина мелькало на полосах.

— Хотелось бы встретиться, Андрей Петрович, — настойчиво проворковал баритон. — Тут кое-что для вас у меня...

— Сейчас или вообще? — спросил Шамин. — Если сейчас, то никак: горячее время. — И засмеялся как мог учтивее.

— Ну, Андрей Петрович, голубчик, вырвитесь на пять минут, — попросил баритон и вроде бы тоже засмеялся очень дружески. — Я ведь, знаете, в двух шагах от вас, в гостинице, уж не откажите...

— Ладно, заходите, — согласился Шамин.

— Андрей Петрович, — сказал баритон смущенно, —

видите ли... у меня этот... жарок... Боюсь выходить. Убедительно прошу вас...

В условленное время Шамин был в вестибюле гостиницы. Вестибюль был пустынен. По лестнице медленно сходил человек лет сорока в отличном костюме, невысокий, плотный, в безукоризненной белой сорочке под черным галстуком, розовощекий, мягко потирающий руки, настороженный, улыбающийся. Не деревенский, не деревенский...

— Андрей Петрович? — И протянул сильную горячую ладонь. — Сергей Яковлевич Лобанов. Поднимемся ко мне. — И, не ожидая согласия, отправился вверх по лестнице.

Идти молча было неловко, поэтому Шамин спросил:

— Ну как там все? Что у вас там?..

Сергей Яковлевич покивал улыбчиво, но не ответил.

При их появлении дежурная по этажу почему-то поднялась со своего места, и не успели они подойти к ней, а она уже протягивала ключ от номера.

Шамину показалось, что редакция, из которой он только что вышел, теперь где-то далеко, в другой жизни.

Номер был маленький, аккуратный, нежилой. Никаких посторонних предметов, если не считать небогатого пальто Сергея Яковлевича.

— Ну вот, — сказал Сергей Яковлевич, — располагайтесь. Раздевайтесь, можно повесить сюда...

— Раздеваться я не буду, так как времени у меня в обрез, — сказал Андрей и развалился в кресле. — Так что же вы мне хотели рассказать о моих бывших сослуживцах? Как они там?..

— Нет уж, Андрей Петрович, — с мягкой настойчивостью сказал хозяин номера, — вы уж разденьтесь, пожалуйста, — и улыбнулся по-дружески, — а то выйдете, простудитесь... Давайте ваше пальто, вот так...

Он медленно повесил пальто Шамина на вешалку, затем подошел к двери и повернул ключ.

— Это чтобы нам не мешали, — пояснил он, затем неторопливо устроился в соседнем кресле и протянул Шамину красную книжечку...

— Я уже догадался, — сказал Андрей сухими губами. — Не понимаю, к чему эта таинственность? Как будто нельзя проще...

— Да можно, Андрей Петрович, можно, конечно, можно, — сказал Лобанов мягко, — вы после все поймете... Простите меня за маленький обман, но это в ваших интересах... Все своим чередом, как говорится, — и вдруг стал похож на маминого брата Михаила. Не сводя с Шамина внимательных глаз, сказал: — Просто хочу с вами побеседовать...

Андрею было страшно и интересно: он встречал многих сотрудников госбезопасности, но все эти встречи были официальными и сухими, и даже зловещими, а здесь грозы не чувствовалось, вкрадчивая манера Сергея Яковлевича успокаивала, и Андрей поймал себя на том, что с нетерпением ждет этой беседы.

— Видите ли, Андрей Петрович, — сказал чекист тихо, по-домашнему, — вы человек просвещенный и знаете, какие нынче времена, какая переделка идет в стране... Это вам не тридцатые годы, а пятьдесят пятый... И эта переделка, как вы понимаете, коснулась и наших органов. В них проведена большая чистка, мы избавились от людей, скомпрометировавших и себя, и нашу организацию. Да, много горя испытали советские люди от злоупотреблений всяких мерзавцев, пробравшихся в органы. Теперь наша задача по возможности, насколько это возможно, вы понимаете, насколько это возможно, залечить раны невинных и честных людей, вы понимаете? Залечить и вернуть нашей организации доброе имя...

— Да, конечно, — сказал Андрей с трудом.

— Теперь, — продолжал Сергей Яковлевич, — мы должны заниматься не столько карательной деятельностью, сколько профилактической, вы понимаете?

Андрей кивнул и почувствовал в горле ком.

— Значит, теперь наша задача, Андрей Петрович, по возможности излечить от травм, от страшных моральных травм многих советских людей, которые в течение долгих лет подвергались гонениям, оскорблениям, подозрениям и тому подобному, ну, таких, как вы, например, вы понимаете? Мы

хотим, чтобы не на словах, а на деле вы увидели, что времена изменились и что ваша родина снова доверяет вам... Доверяет вам даже свои тайны, вы понимаете? Хочет доверять, вы понимаете?

— Понимаю, — сказал Андрей Шамин, и помимо его воли глаза наполнились слезами.

2

В детстве Андрей Шамин мечтал умереть на баррикаде или в крайнем случае стать бесстрашным разведчиком. Но к тому времени баррикад что-то не было, а в разведчики не приглашали. Друзья его отца, такие как Зяма Рабинович, уезжали в европейские страны и в Америку под вымышленными именами и там обучали французских, немецких, бразильских и прочих пролетариев высокому искусству разрушения несправедливого мира, в котором одни эксплуатировали других, — чтобы переделать мир и чтобы все пошло наоборот.

Его отец, Петр Шамин, вел суровую жизнь партийного аскета, лихорадочно переделывая Россию. Он почти не ел, вовсе не спал, метался по вверенному ему участку, повторяя про себя вслух:

«Давай! Давай!»

Когда приемник передавал речи Сталина, он забывал все кругом, и на его лице выражалось столько счастья и влюбленности, что хватило бы на десятерых.

Семья жила по тем же законам. Андрей учился в школе, знал наизусть имена всех выдающихся коммунистов планеты, презирал капиталистов, ненавидел вражеских шпионов, троцкистских двурушников и мечтал погибнуть на баррикаде.

Наконец подошла середина тридцать седьмого года, и вдруг выяснилось, что и его отец не кто иной, как матерый германский шпион и тот самый троцкистский двурушник. Конечно, это было больно и стыдно, тем более, что в пятом классе, где он учился, об этом сразу же стало известно, и на него указывали пальцами. Впрочем, через неделю стало полегче, ибо у большей половины учеников родители тоже

оказались германскими, английскими и даже японскими шпионами и диверсантами. Да, стало полегче, как это всегда бывает в коллективе.

Его мать, которую в день ареста отца исключили из партии, кинулась в Центральный Комитет, чтобы объяснить недоразумение, происшедшее с отцом Андрея. Она ходила туда в течение целого месяца. Славные чекисты, на которых с грудного возраста молился Андрей, работали четко и безошибочно и однажды в прекрасную ночь увезли и его мать. «Значит, она виновата тоже», — сказал он сам себе, не сдерживая слез.

Тут не мешало бы упомянуть об одном маленьком эпизоде. Андрей проснулся ночью оттого, что чем-то металлическим проводили по батарее центрального отопления. В комнате горела лампочка, за окном стояла ночь. Возле батареи на корточках стоял домовый слесарь Паша и что-то проверял.

— Паша, — спросил Андрей, — ты почему ночью?

Паша обернулся, и Андрей увидел незнакомого человека.

Тут в комнату вошла заплаканная мама, и Андрей понял, что идет обыск. Потом она поцеловала его и ушла, втянув плечи.

В этом эпизоде, в общем весьма ничтожном, был, видимо, некий мистический смысл, ибо он запомнился на всю жизнь.

И вот партия очистила свои ряды от скверны, коммунисты на Западе поздравили своих русских братьев с очередной своевременной победой, и строительство социализма продолжалось.

Конечно, Андрею было трудно. Быть сыном врага народа вообще не легко, а такому, как он, особенно. Потому что, надо же, чтобы именно с ним произошло все это, с ним, знающим наизусть имена всех видных коммунистов на планете и мечтающим умереть на баррикаде. Но он не отчаивался и мужественно преодолевал тяготы, выпавшие на его долю.

Они жили вдвоем с бабушкой на ее маленькую пенсию. Он ходил в рванье, недоедал, но на облупившейся стене над его кроватью висела фотография великого венгерского коммуниста Матиаса Ракоши.

Коммунальный сосед Тяпкин заглядывал иногда в комнату и с опаской спрашивал: «Это кто?» — а услышав, кто это, говорил: «Какой человек! Личность. Замечательно!.. Друг Сталина, говоришь? Ну, слава богу...» Потом Андрей напоминал забывчивому и не очень искушенному в политике соседу, что Ракоши находится в героическом подполье и борется с фашистами. «Да неужели? — изумлялся Тяпкин. — Ну надо же, какой человек! Вот это человек!..»

Да, сознавать себя сыном врага народа было горько. Особенно горько было представлять, как его отец ползет сквозь ночь с динамитом, чтобы взорвать водокачку или трансформаторную будку, а его мать тем временем отравляет городской водопровод. Но еще страшнее и невыносимее было ощущать себя одиноким, без мамы.

Бабушка втихомолку плакала, а он на нее за это сердился и говорил: «А если бы их вовремя не разоблачили, наша страна не жила бы так счастливо... Ты думаешь, социализм так вот, тяп-ляп — и построили? Да?.. А враги, думаешь, спят? А ты знаешь, если бы, к примеру, в гражданскую войну Ворошилов бы узнал, что его помощник — враг, он стал бы его жалеть?.. Ведь этот враг мог их всех ночью перестрелять... Вот тебе и а-а-а». Когда же бабушка робко заикалась о маме, он говорил хмуро: «Ну что «мамочка»... Значит, что-то было». Но тайком думал с обидой неизвестно на кого о том, что это несправедливо, что его мать — такая коммунистка, и вдруг — диверсантка... а вот Тяпкин, театральный администратор, и не шпион, и не диверсант. И по ночам он иногда просыпался, и проклятые слезы душили его.

Иногда он воображал, что его вызвали в Кремль и там лично сам товарищ Сталин, добро шурясь, вдруг раскрыл ему невероятную тайну: оказывается, отец Андрея вовсе не троцкистский двурушник и все это придумано, чтобы тайно переправить Петра Шамина в одну фашистскую страну с особым заданием на неопределенное время. «А мама?» — спрашивал Андрей. «Мама тоже», — говорил Сталин и гладил его по голове. А вокруг стояли соратники вождя: Ворошилов, Молотов, Каганович — и тоже улыбались.

Так он воображал, постепенно стал в это смутно верить, и это давало ему облегчение.

Однажды он столкнулся на улице с близким другом своего отца да и вообще всей семьи, которого он обожал и которого давно уже не видел. Друг стоял на остановке автобуса и читал газету. Андрей вспомнил, как играл с ним этот высокий, красивый коммунист, весельчак и выдумщик, какие дарил ему подарки, как водил его в зоопарк и в кино, как любил отца и мать, и ниточка, протянутая из детства, задрожала вдруг, тенькнула, кольнула: «Дядя Саша, дядя Саша!.. Пойдем же к нам, к бабушке!..» Друг очень удивился, увидев Андрея, потрепал его по щеке и впрыгнул в подошедший автобус. Бабушка, слушая его взволнованный рассказ, как всегда, пустила слезу, а после объяснила ему, что дядя Саша живет далеко от Москвы, и что он уже звонил, и, если выберет время, обязательно зайдет к ним. И действительно, зашел, но, к сожалению, тогда, когда Андрей был школе. Он оставил ему конфеты «Мишка» и убежал, так как опаздывал на самолет. «Где он живет?» — огорченно спросил Андрей. «А в этом самом, — сказала бабушка, — ну в этом... ну как его...» — и снова заплакала.

Через несколько дней Андрей встретил дядю Сашу на той же остановке. Дядя Саша поглядел на него, отвернулся и вскочил в автобус. Андрей был хорошим пионером и все понимал. Понял он и это.

А дома все тот же Матиас Ракоши глядел с обдурившейся стены, и неутихшие бури с новой силой вспыхивали в душе Андрея.

Вдруг грянула война с япошками. Япошек, конечно, разбили. Потом освободили Западную Белоруссию и Украину, Молдавию, и вовремя это сделали — немецкие и румынские фашисты прихватили бы эти территории и превратили бы их в концлагеря. А тут вошли наши красноармейцы, выпустили из тюрем коммунистов и стали помогать народу строить новую, счастливую жизнь.

Потом полезли финны. С финнами пришлось повозиться. Дело в том, что у них все оказались снайперами, даже дети. Это вместо того, чтобы учиться в школе, финские дети вы-

нуждены были обучаться стрельбе. Впрочем, какие дети? Не дети рабочих, конечно, а дети лавочников и буржуев. И вот теперь, маскируясь в лесах, они убивали наших красноармейцев, командиров и политработников, которые хотели установить у них социализм и жертвовали собой, замерзая в финских болотах, а эти, ослепшие от буржуазной пропаганды, стреляли в них и стреляли. Где же были финские рабочие? Почему они молчали? Неужто все томились в фашистских застенках?

Все эти вопросы очень мучили Андрея, когда он выстаивал длинные очереди за хлебом в сорокаградусные морозы, одетый в дырявый плащ и дырявые брезентовые сапоги. Эти вопросы мучили его и тогда, когда, не выдержав мороза, бросился на несколько минут в здание ближайшей почты, и тогда, когда возвращался домой с хлебом и когда глядел на портрет непреклонного венгерского борца за народное дело.

Он был пионером и все понимал. И если его не избирали в школу куда-нибудь, он не обижался и вожатой, которая краснела и бормотала мало вразумительные утешения, говорил гордо и внушительно: «Я понимаю, что мне нельзя доверять. Конечно, лично я себе ничего не позволю, но среди нас могут быть и такие, у кого связь с родителями... А как узнать, кто честный, а кто нет, правда?» Вожатая смотрела на этого тринадцатилетнего патриота с благодарностью и страхом.

В классе изучалась сталинская Конституция. Учитель Конституции был коммунистом. Он все время напоминал об этом. «Мы, коммунисты, знаем...» — говорил он при всяком удобном случае. Или: «Мы, коммунисты, видим...» Конституцию Андрей изучал с увлечением, так что мог объяснить каждому, что жизнь в Советском Союзе потому и хороша, что она развивается по сталинской Конституции, а в капиталистических странах такой конституции нет или есть какая-нибудь буржуазная, и потому в этих странах творится черт знает что.

«А где же финские рабочие? — спросил он однажды у учителя. — Почему они не поднимают восстание?» Учитель очень расстроился и сказал, что знает, откуда в голове

Шамина эти провокационные мысли, и что не мешало бы выяснить социальную природу его бабушки... Андрей все понял и виновато покраснел.

Наконец наступила весна сорокового года. Финны были разгромлены, и у них отняли большой кусок территории, чтобы они не могли угрожать Ленинграду. Все встало на свои места.

После школы он выходил во двор поиграть. Ребята были во дворе разные, и судьбы у них были тоже разные, и среди них было много таких, как Андрей, детей врагов народа. Как это водится у детей, один из них был главным. Это был Витька Петров. Ему было уже почти шестнадцать, и он собирался бросать школу и идти на завод. «Мы рабочий класс», — говорил он и при этом страшно матерился. Каждому из своих подчиненных он дал кличку: Юрку Хромова, например, он назвал шпионской мордой, потому что отец Юрки был английским шпионом; еврея Моноу — жидом; Андрея — троцкистом; Машу Томилину — проблядушкой, потому что у ее матери часто сменялись кавалеры. Обижаться на клички не полагалось, а кроме того, можно было от Витьки зарабатывать «по рылу». Долгое время «порыла» была для Андрея таинственной, непонятной угрозой, пока, наконец, Витька однажды не ударил Андрея по лицу за строптивость, и тут все стало ясно: оказалось, что «по» — предлог, «рыло» — рыло, и писать все это следовало раздельно.

Игры были разные, но чаще всего играли в Чапаева. Конечно, Чапаевым всегда был Витька, а остальные — белыми. Они должны были набрасываться на него, а он кричал: «Врешь, Чапаева не возьмешь!» И бил ребром ладони по чему попало: «Бей троцкистов! Бей жидов!» ...Хрясь-хрясь... «И тебе, шпионская морда!.. И тебе... И тебе!..» Хрясь-хрясь... После игры, усталые, но счастливые, они обычно отдыхали на скамейке, обмениваясь впечатлениями и хватаясь ранами. Иногда Андрей говорил: «Эх, вот бы нам всем на баррикадах очутиться!..» И тогда Витька беззлобно, по-дружески проводил по его лицу: «Куда тебе, троцкист..» Все смеялись. «Да я знаю, — виновато улыбался Андрей, — но ведь хочется...»

Иногда они играли в разведчиков. Это происходило так: если разведчиком был Витька, то все остальные становились немецкими или французскими полицейскими. В глубине двора на видном месте клали какой-нибудь предмет, чаще всего обломок кирпича или обрывок газеты. Полицейские охраняли этот предмет, а Витька должен был его выкрасть. Игра начиналась. Витька богатой фантазией не отличался, он сразу бросался к предмету, полицейские пытались ему помешать, но... Хрясь-хрясь... «Вот тебе, шпионская морда!.. Бей жидов! Бей троцкистов!..» Хрясь-хрясь ребром ладони по чему попало, и задание выполнено.

Если же Витька желал быть контрразведчиком, то все остальные становились матерыми шпионами, и уже они должны были выкрасть условный предмет, и тогда Витька становился у этого предмета, а остальные пытались до него дотянуться, но... Хрясь-хрясь... «Вот тебе, жиденюк!.. На тебе, троцкистская харя!.. Куда прешь, шпионская морда!.. Врешь, рабочего не возьмешь!.. А ты куда, проблядушка!..» Хрясь-хрясь...

На Витьку никто не обижался. Витька был свой. И когда однажды во двор пришли чужие ребята и стали приставать к Моне и даже ударили его, Витька накинулся на этих ребят, бил их и приговаривал: «Нашего жида бить?! А вот вам, так вашу!..» Затем взял одного из чужих за шиворот и сказал Моне: «А ну-ка, жиденюк, дай ему». Моне сначала заколебался, но Витька прикрикнул, и Моне ударил парня по лицу. В этот момент Андрей восхищался Витькой, потому что Витька заступался за слабого, а кроме того, проучил хулигана, оскорблявшего национальность, как фашист. Ведь вот Зяма Рабинович тоже был евреем, а бесстрашно уезжал в капиталистические страны и жил там нелегально, а в Аргентине сидел в тюрьме, а в Германии за ним охотилось гестапо, а этот высокий голубоглазый коммунист ничего не боялся и выполнял задания Коминтерна.

Прошел год, другой.

Андрею было уже пятнадцать. Он бредил комсомолом, но в комсомол его не принимали по понятным причинам, и он не обижался.

Игры во дворе прекратились. Витька работал на заводе, а после работы выпивал со старшим братом. Остальные учились, а тут еще началась любовь. Сначала Юрка Хромов полюбил Машу, но не успели они вдоволь погулять, как во дворе появились чужие ребята и отбили Машу у Юрки. Маша бросила школу, начала покуривать. Ее мать, посудомойка в ресторане, который помещался в их же доме, бегала за ней с палкой, но вскоре перестала, махнула рукой. Чужие ребята уводили Машу на чердак и там вместе с ней распивали краденую водку. Потом они исчезли, а Маша рассказывала своим ребятам, как она там, на чердаке, давала им всем по очереди и теперь, наверно, скоро забеременеет. Играть было не во что да и вроде бы стыдно. Они все влюблялись в Машу, и она с ними не чинилась. Потом она навела своих подружек, и образовались пары. Теперь они все вместе залезали на чердак и развлекались там кто как умел.

Андрей уже было совсем свыкся с мыслью, что его родители находятся на особой работе за рубежом, и втайне надеялся, что вот-вот они объявятся и жить станет легче и проще, как вдруг приехал кто-то откуда-то, побывал в доме в отсутствие Андрея и рассказал бабушке по секрету, что отец и мать живы, но находятся в лагере со строгой изоляцией и потому не могут о себе сообщить.

Это был сильный удар. Миф развеялся. Надежда на чудо заколебалась и рухнула. Вместо возвышенного служения Родине вновь были лагерь, троцкисты, германские шпионы, заплаканная бабушка и дырявые сапоги. Но Андрей и на этот раз не пал духом. Он смог убедить себя, что именно с его родителями произошла ошибка, а с остальными все было правильно. Потому что, если бы они и вправду занимались диверсиями и шпионажем, то их расстреляли бы, а если живы, то их вопрос выясняется и скоро выяснится. И эта мысль дала ему снова маленькое облегчение.

Лето сорокового года было жарким и многообещающим. Вообще летом было хорошо: легче было наесться, не нужно было кутаться, хватало тапочек и маек. Летом можно было гулять, а не сидеть в обшарпанной комнате перед заплаканной

бабушкой. Можно было мечтать о поступлении в техникум связи, чтобы стать полярным радистом, как Кренкель, и, героически поединоборствовав с ледяной стихией, вернуться в Москву знатным полярником, а не сыном врагов народа. Кто-то подал эту мысль, и Андрей бросился в техникум. Но его не приняли туда как сына врагов народа, так как средства связи нельзя доверять врагу.

К Тяпкину приехала из деревни тетка, старуха с морщинистым, печеным лицом и с грубыми, узловатыми руками, вскоре выяснилось, что она не такая уж старуха, а просто «...денек с землицей помаешься — сам печеным станешь...»

Она всего в городе боялась и никуда не выходила, сидела на коммунальной кухне, смотрела в окно или пила чай.

«Ну, как у вас в деревне? — спрашивал Андрей. — Хорошо теперь без кулаков?» И вглядывался в бледно-голубые глаза старухи. «Теперь, слава богу, хорошо, — отвечал за нее Тяпкин, — раньше ведь кулаки эксплуатировали, а теперь без них хорошо». — «Вот в капиталистических странах, например, — говорил Андрей, — крестьяне с голоду умирают». — «Да, — говорил Тяпкин, — во Франции, например». — «Или в Германии, — говорил Андрей, — крестьяне трудятся на помещика, а самим есть нечего». — «Не то что у нас, — соглашается Тяпкин, — там безобразие сплошное». — «Да не только есть нечего, — продолжал Андрей, — попробуйте, например, в Германии сказать что-нибудь не так — сразу в концлагерь посадят...» — «Они там понастроили лагерей, — объяснял тетке Тяпкин. — Вся страна в концлагерях». Тетка пила чай и молча слушала. «Мы боремся с врагами народа, — восклицал Андрей, — а они с народом! У нас колхозник — хозяин земли, он сам решает... А у них что?» — «Безобразие одно, — возмущался Тяпкин. — Ну ничего, Андрюша, товарищ Сталин и до них доберется». — «Красная Армия самая сильная в мире!» — провозглашал Андрей. «Самая!» — откликнулся Тяпкин. «Разве мы смогли бы жить счастливо, если бы она не стояла на страже? — спрашивал у тетки Андрей. — Сразу бы напали капиталисты и разрушили все колхозы!» — «Ужас! Ужас! — говорил Тяпкин, вглядываясь в рваные тапочки

Андрея. — Они не только разрушили бы колхозы, они перестреляли бы всех коммунистов!» — «Моя бабушка получает пенсию, а у них старым пенсию не дают! — кричал Андрей. — Постарел — умирай с голоду!» — «Там дети чахнут, — объяснял Тяпкин тетке, — а у нас, например, вот Андриюша может бесплатно учиться в школе, он может стать полярным радистом...»

Так кричали они, перебивая один другого, а тетка пила чай и молчала.

Тем временем Витьку Петрова призвали в армию. Перед уходом он напился с братом и вышел во двор прощаться. Все уже собрались там. Однако прощание вышло странным. Витька был сильно пьян, ничего толком сказать не мог, а лишь схватил Андрея за горло, сдавил его и спросил: «Ну... чво отцу-то твоему сказать?» Андрей еле вырвался. Все разбежались. Витьку увели.

3

— Конечно, — сказал Сергей Яковлевич. — Что уж говорить о безвинно замученных, но ведь дети... дети несли на себе эти клейма, вот вы, например, такие, как вы, их многие сотни и тысячи! Еще предстоит все это проанализировать, понять причины...

— Честно говоря, — сказал Андрей, — я уж и верить перестал, что кончится вот так...

— Это как?

— Ну, то есть вы мне будете говорить, что произошла ошибка, мои родители не виноваты, и сам я не отрезанный ломоть...

— Преступление, Андрей Петрович, — сказал Сергей Яковлевич, ударив кулаком по колену, — не ошибка, а преступление! Что уж теперь скрывать-то... Но я вижу, что в газете к вам отношение...

— У меня все хорошо, — сказал Шамин, — теперь-то все хорошо.

— Вы мне очень симпатичны, — сказал Сергей Яковлевич, — я вам чертовски сочувствую, ей-богу. Ваш дядя Саша, этот Лемешко Александр, его тоже судить нельзя...

— Какой Лемешко? — спросил Шамин недоумевая.

— Ну этот, дядя Саша, друг вашего отца, который испугался встретиться с вами...

— Откуда вы-то знаете? — поразился Андрей.

Сергей Яковлевич мягко улыбнулся:

— Мы все знаем, Андрей Петрович, и даже больше того, но не в этом дело... А в том, что Лемешко тоже погиб в лагере, — он покачал головой, — хороший был человек...

За дверью лежал гостиничный коридор, там раздавались шаги, там шла своя жизнь. Все прошлое казалось в тумане, все: и боль, и недоверие, и отчаяние, и одиночество, и липкий страх на ладонях изгоя...

— Вы человек молодой, здоровый, талантливый, — сказал Сергей Яковлевич, — вас уже широко знают по газетным публикациям, как будто все уже в порядке... Да, кстати, как вам даются языки?

— Сейчас занимаюсь английским, — сказал Андрей.

— Славно, — улыбнулся Лобанов, — натуры романтические обычно хорошо воспринимают чужие языки... Слух тонок, что ли, или какая-то там струнка... струнка...

— Что же во мне романтического?

— Ну как же, Андрей Петрович, такое детство, порывы и это... слезы на глазах, — он засмеялся по-доброму, — повышенная эмоциональность... — и снова напомнил маминого брата, — вот, собственно, и все, что я, собственно, хотел... — Они прощались с открытым сердцем. — Большая просьба: не рассказывать о нашей встрече. Пусть это будет между нами. Хорошо? Ну и отлично.

Лицо его было прекрасно. Улыбка старого друга и мягкие жесты из боязни поранить.

— Да, кстати, — сказал Сергей Яковлевич на самом пороге, — там эта история с военным училищем... ну вы их здорово провели... это говорит о сметливости... вы человек сметливый... сметливый...

...Началась война. Сразу не стало масла, хлеба, сахара, мяса. Фашистские полчища приближались. Прав был товарищ Сталин, уничтожая внутренних врагов. Они бы сейчас подняли голову, и стране пришлось бы туго. Однако их успели обезвредить, и народ взялся за оружие, не опасаясь пятой колонны.

Правда, немцы засылали своих шпионов и диверсантов, которые наводняли Москву и окрестности, и уже каждый второй казался шпионом, но все-таки их легче было обезвредить, потому что они сами выдавали себя «ненашим» поведением.

Наши отступали и отступали, потому что немцы напали внезапно. Наконец Сталин послал Ворошилова на Западный фронт, а Буденного — на Южный. Теперь можно было ждать победы... Но наши отступали и отступали. Андрей бросил школу и пошел на завод. Это был маленький завод, где раньше делали кастрюли, а теперь ручные огнеметы, и Андрей работал по четырнадцать часов в сутки, и никто не вспоминал, что он сын врага народа.

Так прошел год. Андрею исполнилось семнадцать лет, и он добился в военкомате, чтобы его взяли в армию. Это был один из самых счастливых дней в его жизни. Теперь он мог сам с оружием в руках драться с фашистами. Скоро кончится война, и фашисты будут разгромлены, и Красная Армия пойдет вперед, освобождая Европу от фашизма и капитализма. Но война не кончилась ни на второй год, ни на третий. Она кончилась лишь на четвертом году. Когда Андрей был уже дважды ранен. Он прошел всю войну, и никто за четыре года ни разу не напомнил ему, что он сын врагов народа, если не считать двух случаев, да и то сам Андрей был в них повинен.

Первый был вот такой.

После ранения и госпиталя занесло Андрея Шамина в запасной полк на Кавказе. Это была отставная часть, где не было никакой муштры, а просто тихое прозябание за колючей проволокой на голодном пайке в ожидании вербовщиков. Вербовщиков ждали как манны небесной, ибо в полку все

были бывалые фронтовики, а это прозябание становилось с каждым днем все унижительнее и унижительнее. Пусть смерть, раны, бессонные сутки, только бы не это полуарестантское безделье. Кто-то даже предположил, что кормят впроголодь и жить вынуждают в тесных вагончиках с общими нарами, где повернуться на другой бок можно только по команде всем вместе, чтобы осточертела такая жизнь и фронт грелся избавлением. Очень может быть.

Какой-то злой гений планировал настроения армии, и армия проклинала запасные полки и одуревших от сна и голода командиров.

По утрам были разводы на занятия. Затем взводы расходились по окрестностям военного городка, добирались до укромного овражка, и тогда под общий невеселый смех раздавалась команда спать. Пустые животы урчали. Некоторые и впрямь располагались под кустиками, остальные курили до одури, собирали съедобные корни, разную травку, с ужасом говорили о предстоящей осени. Дотягивали так до обеда, затем швыряли несколько боевых гранат в глубину овражка и с вялой песней отправлялись в полк. Эхо разрывов доносилось до полка, чтобы все знали, как славно потрудились солдатики. В обед разливали по котелкам жидкую баланду, в которой по-нищенски шевелились редкие ржавые галушки. Животы начинали урчать сразу же после обеда. И так каждый день, и никакого просвета. Раздражали слухи, что вот опять из соседней части ушла на фронт маршевая рота. Плакали от беспомощности. Но наконец и в их полку сформировалась маршевая рота: с песней в баню, по большому куску мыла, новое обмундирование — голубая мечта, особенно — американские ботинки. С песней из бани, а утром эшелон. Маршевая рота направлялась в Батуми, а оттуда путь лежал к Новороссийску, в самое пекло. Замечательно! Давай-давай! Поезд тронулся, и тут началась несусветица. Андрей смутно помнил детали. На первой же станции большинство обменяло у крестьян американские ботинки на чачу, хлеб, сыр, получив взамен кроме продуктов по паре старых сношенных ботинок. Поезд тронулся, и по вагонам раздалось

пение. Маршевая рота была пьяна. Андрей выпил тоже и закусил, и умилился, и на следующей остановке ловко обменял свои ботинки, натянул на ноги бесформенную, стоптанную кожу, получил чачу и кукурузные лепешки. Затем начали обменивать новые гимнастерки и штаны, за все получая старую рухлядь, и питье не прекращалось. К Батуми рота преобразилась до неузнаваемости. Андрей, чтобы хоть немного протрезветь, уселся на вагонную подножку. Прохватило ветерком, мазутным духом. Потом пошел дождь. Небо было ясное, а дождь не унимался. Андрей поднял голову и увидел, что над ним навис командир роты: белое лицо, невменяемые глаза, пальцы на ширинке. «Эй!» — крикнул Андрей, заслоняясь от струи, но комроты ничего не соображал.

Так, хмельных и истерзанных, довели их до Батуми, и они добрались до загородных казарм и повалились на солому. Проснулись утром — толпа оборванцев. Ждали возмездия, но наказывать было некого: все отличились. День был свободный, и кто-то предложил пойти осмотреть загородный дом Берия. Так отделением и пошли. На противоположной окраине Батуми, на высоком холме, им открылся роскошный особняк кремовых тонов. Охраны не было. Походили вокруг, заглянули в большое окно — прохладная столовая комната предстала перед ними. «Ничего дачка!» — сказал кто-то восхищенно. Длинный овальный стол, шестнадцать кресел, старинный дубовый буфет, посверкивало серебро, голубел хрусталь. «Ни сторожа, ни собаки...» — удивлялся Коля Гринченко. «Он сюда прилетает на день-другой выпить-закусить», — сказал Сашка Золотарев. Почему-то обстоятельства жизни у Андрея никак не связывались с именем владельца дачи. Какая-то невероятная сказка стояла перед глазами. Отец, мать, все его прошлое были где-то там, в холодном тумане, а здесь — край земли, кремовая крепость, море, безлюдье и покой.

Ночью Коля Гринченко и Саша Золотарев исчезли, растворились в синей дымке, а на рассвете прокрались на свои места, но Андрей проснулся. Они его опекали, как младшего, и шепотом поделились с ним. Оказалось, что они пробрались на заветную дачу, вскрыли замок и в скатерти унесли оттуда

серебро и хрусталь. Где-то умудрились найти перекупщика и спустили все по срочной фронтowej цене. И Андрею перепала белая булка с пахучим куском колбасы, и ему передались от них лихорадка, и дрожь, и ожидание наказания. На следующий день грабителей разоблачили. Как уж это получилось, трудно сказать. Их арестовали, но к вечеру выпустили: все равно на фронт идут, все равно под пули... И вот их освободили перед лицом возможной гибели: некогда было с ними возиться или что-то другое. А утром пришел приказ вернуть маршевую роту в запасной полк на доработку. И поехали. Вот вам и трибунал!

В запасном полку продолжалась прежняя жизнь, однако недолго. Их снова одели в новое, заменили им командира. Тут приехала тетя Сильвия, сестра матери, навестить Андрея. Свидание было коротко и странно. Андрей ликовал по поводу скорой отправки, а тетка грустила и пыталась умолить командиров... Затем она уехала, а роту подняли по тревоге, чтобы вести на вокзал. Тут всех построили, выкрикнули Андрея. Он вышел перед строем... Остальным скомандовали: «Направо! Марш!» И рота отправилась на вокзал, оставив Андрея на плацу в одиночестве. Он бросился к политруку, дознавался, выспрашивал, но ему сказали: «Рота пошла на пополнение гвардии». «Ну и что же?» — не понял он. «А то же, что сами должны понимать, — сказали ему, — не всем в гвардию можно». «Так ведь у многих отцы арестованы!» — крикнул он. «Кругом!» — крикнули ему, и он отправился в свой опустевший вагончик.

Только после войны в припадке откровенности тетка рассказала, как привезла с собою несколько бутылок коньяка и еще кое-какие дары, благо было за что ухватиться. Но это стало известно после войны, а тогда, когда о нем забыли, он умудрился записаться в военное училище. Случилось это так. Через два месяца после печального расставания с ротой нагрянули вербовщики, и Андрей попал в артиллерийскую бригаду. Отсюда было до фронта рукой подать, и действительно спустя месяц бригада была брошена на передовую, и там в первом же бою Андрея контузило. После госпиталя

он записался в стрелковое училище, чтобы избавиться от тягот солдатской жизни: надоело рыть окопы начальству. Так он подумал и записался, а через неделю пожалел, да было слишком поздно. Это было долговременное училище с жестокой муштрой, от которой Андрей успел отвыкнуть, но вырваться из него было почти невозможно. Тогда Андрей явился к начальству училища и сообщил, что его родители — враги народа. Начальник вздрогнул, но сказал: «Что с того? Сын ведь за отца не отвечает...» «Так точно, — сказал Андрей, — я понимаю, я просто не хочу, чтобы вы думали, что я скрыл». На следующее утро был приказ об его отчислении, и он отправился в запасной полк.

5

— Нет худа без добра, — рассмеялся Сергей Яковлевич, — а история с коньяком нам известна, тетка у вас была виртуозная.

— Тетка как тетка, — сказал Андрей, — откуда же это вам известно?

— Нам все известно, — вновь рассмеялся Сергей Яковлевич, и снова, как при первой встрече, Андрей почувствовал доверие к этому человеку. — Но ведь это и хорошо: никакой злоумышленник не сможет эти сведения использовать вам во зло... Тут вы можете не сомневаться...

Конечно, Андрей рассказывал об этой истории, иначе как бы она стала известна? Но вот кому — это вспомнить не мог.

— Я дам вам адрес, — сказал Лобанов, — и если, ну мало ли, нам понадобится еще раз встретиться, так уж не здесь, а там, ладно?

— Ладно, — легко согласился Андрей.

С этим человеком ему было хорошо, от него исходило тепло, спокойное и уверенное. Была надежность в его жестках, в улыбке. Вообще уже много лет никто с Андреем не разговаривал столь дружелюбно, по-свойски, никто не слушал его так внимательно, так сочувственно, как Лобанов.

Какие-то неясные предчувствия носились в воздухе, дух захватывало, и голова кружилась, и Сергей Яковлевич спросил:

— А как с английским? Думаю, у вас здорово получается. Уверен.

— Получается, — сказал Андрей, — мне нравится заниматься языками.

— И это хорошо, что английский, — сказал Сергей Яковлевич. — Очень хорошо.

— Чем же? — не понял Андрей.

Тот засмеялся вкрадчиво и дружески. Да, старший друг, похожий на дядю Михаила, свой человек.

— Есть одна задумка, Андрей Петрович, очень конкретная... Отчего бы вам не съездить в Америку?.. — Он дал время Андрею прийти в себя, усмехнулся и сказал: — Вот именно, отчего бы?.. Ну, допустим, отправитесь туда в качестве баптиста, а? И будете там жить-поживать...

— Какого баптиста? Зачем? — прошептал изумленный Андрей.

— Да нет, — сказал Сергей Яковлевич, — не сразу, конечно, — постепенно... Это же интересно, при вашем воображении, фантазии. Вы едете, допустим, в Сибирь, в сибирский город, и там вступаете в баптистскую общину, понимаете?

— Кто же меня?.. Как же я туда?..

— Это наша забота, Андрей Петрович, дорогой, наша... И вот вы вступаете в общину, привыкаете к их порядкам, правилам, знакомитесь с соответствующей лексикой, понимаете? Затем уж мы переправляем вас в Штаты, там у них существует обмен, ну, такая форма, понимаете?

— И что же я делаю?

— А ничего, — сказал Сергей Яковлевич, вглядываясь в Андрея, — ничего, живете, и все тут...

— Странно, очень странно, — сказал Андрей, — я что, должен быть шпионом?

— Ну почему шпионом, Андрей Петрович, — засмеялся чекист, — уж если на то пошло, то разведчиком, но это, понимаете, чистая условность. Живете, и все тут, вырастаете в их быт, нравы... Ну, мы поддерживаем связь, и вы информируете

нас о настроениях... И все... Ну, конечно, это в отрыве от дома, от семьи...

Пудрит мозги, подумал Андрей, а если и в самом деле?

— Внешние данные ваши очень годятся, — сказал Лобанов, — и обаяние у вас есть, и способности, вот язык вам легко дается.

— Легко, — заторопился Андрей.

— Ну вот и ладно... Бывают люди тугие на ухо, вот им трудно.

— У меня хороший слух, — сказал Андрей, — легко запоминаю мелодию, интонации...

— Вот, — сказал Сергей Яковлевич, — то, что надо, понимаете? Именно это.

— Ну а если меня раскроют, что же будет тогда? — спросил Андрей.

Карие глаза Лобанова сверкнули.

— Это безопасно, Андрей Петрович, никто вас не тронет...

Внезапно Андрей подумал, что обманывает себя, но это длилось лишь одно мгновение, а после все заволочло розовой дымкой приятных сновидений, даже галлюцинаций, потому что человек всегда хочет верить в лучшее, и сон представляется подлинным, ведь нельзя всю жизнь сомневаться в собственном предназначении, в тех, что вокруг тебя...

Он отправился в редакцию и, пока шел по улице, видел себя со стороны: высокий, сильный, упруго ступающий, знающий больше, чем выдает взгляд. Ночью видел прерывистые сны: себя в странном одеянии в незнакомой обстановке... На следующий день хотелось куда-то бежать, с кем-нибудь поделиться. Пришло письмо от мамы. Получалось так, что она вот-вот вернется в Москву. Как переменялись времена! Он подумал, что надо почитать о баптистах, о том, что придется играть в верующего, как-то очень искусно притворяться. Хорошо ли? Впрочем, это дурно в частной жизни, но в большом деле, а это большое государственное дело... И потом, он всегда любил театр и играл в драмкружках, и перевоплощался, и угрызения совести не мучили его, а напротив... Он ждал

возвращения мамы уже давно, со смерти Сталина, пожалуй. Последние месяцы это стало реальностью, и острота первого предчувствия сгладилась... Она должна была приехать, а ему предстояло отправиться в Америку. Невероятно!.. Он взялся еще усерднее за английский язык. Тут ему крайне повезло. Дело в том, что он снимал маленькую комнату в частном доме на окраине. В соседнюю комнату въехала новая жиличка... Жиличку звали Анна Ильинична. То была невысокая женщина с большими печальными глазами, энергичная и приятная, но на ее лице лежал тревожный отсвет иной жизни, иных пространств, окруженных охранниками и колючей проволокой, и это угадывалось, да и на Андрее лежала печать, которую Анна Ильинична разглядела без затруднений, и они узнали друг друга и подружились... Анна Ильинична преподавала английский язык, интересовалась делами Андрея, и как-то так случилось вскоре, что стала играть в его жизни заметную роль, наподобие близкой родственницы. Она узнала о его занятиях английским и предложила свои услуги, просто, без вознаграждения, предложила так, что он не смог отказаться. Конечно, она ничего не знала о его блестящей перспективе, просто видела в нем азарт и сама загорелась, и теперь они по несколько часов в неделю трудились вместе.

6

Недельки через две позвонил Лобанов и предложил встретиться, но уже в новом месте. Окончив работу в редакции, Андрей заторопился по известному адресу. Захватывало дух от предвкушения перемен в жизни. Вот уже две недели он жил в какой-то лихорадке и мутным взором сподобившегося высших благ обводил помещение редакции и ее сотрудников, погрязших в своих постылых областных буднях; и уличная толпа казалась ему жалкой, он готов был усмехнуться им в лица; и вообще все вокруг было из иного мира, чуждого и ничтожного рядом с тем, что предстояло ему.

И вот он вошел в подъезд обычного жилого дома, и поднялся на нужный этаж, и нажал кнопку звонка.

Дверь ему отворила хмурая женщина. Ни слова не сказав, она удалилась прочь, а из ближайшей комнаты вышел Сергей Яковлевич. Комната, куда они вошли, была маленькая и нежилая.

Небольшой письменный стол, два стула и канцелярский шкаф — вот и все ее убранство. Сергей Яковлевич был в том же сером костюме, но в свитере и белых брюках.

— Ну, — сказал он, — как я понимаю, у вас все в порядке...

— У меня все в порядке, — сказал Андрей, — учу английский.

— Читал ваши материалы в газете, — сказал Лобанов, — замечательно.

— А что с моими делами? — спросил Андрей нетерпеливо.

— Ну, Андрей Петрович, дорогой, не все сразу, — друг улыбнулся по-доброму, — нужно время, время нужно, Андрей Петрович...

«Так зачем же вы меня вызывали?» — подумал Андрей.

И Лобанов словно услышал.

— Дело есть, Андрей Петрович. — И лицо его стало серьезным и сосредоточенным. — Вот какое дело. В Калужской области у нас идет строительство атомной электростанции...

— Я знаю, — сказал Андрей.

— И, как вы понимаете, западные разведки ищут пути проникновения туда, — сказал Сергей Яковлевич. — И вот, Андрей Петрович, дорогой, стало известно, что один из них движется в том направлении, понимаете? Возможно, что по пути он появится и здесь, в Калуге... У нас все поставлены на ноги.

Андрей вспомнил арбатское детство и Витьку Петрова с кирпичом, отбитым у полицейских, и улыбнулся.

— Вам ничего специально предпринимать не нужно, — сказал Сергей Яковлевич, не замечая улыбки, — для этого у нас есть люди, но на всякий случай, чем черт не шутит, хочется, чтобы вы были в курсе дела: вдруг он встретится, — и он достал из ящика фотографию шесть на девять и протянул ее, — вот его внешность.

С фотографии на Андрея хмуро смотрел немолодой мужчина с пушистыми бровями. Взгляд его был тяжел. Губы плотно сжаты. Темные волосы сходили короткими бакенбардами на виски.

У Андрея от волнения начали дрожать ноги, он переставлял их с места на место, чтобы не выдать себя. Потом задрожали руки. Он вернул фотографию и спросил:

— А если он ускользнет?

— В том-то и задача, — сказал Лобанов спокойно, — если вдруг встретите, то есть когда ни встретите — звоните. Вот номер. Я у аппарата... да, кстати, придумайте-ка себе псевдоним.

— То есть? — не понял Андрей.

— Ну, псевдоним, чтобы не трепать своего имени, ну, что-нибудь простое, запоминающееся...

— Коробов?.. — спросил Андрей.

— А хоть и Коробов, — засмеялся Сергей Яковлевич, — вот и славно, теперь здесь черкните, мол, буду пользоваться псевдонимом Коробов, вот бумажечка, вот так, и подпись, вот так... А теперь идите, Андрей Петрович, и помните, что от вас тоже многое зависит...

И Андрей вышел в февральский вечер.

Стужи он не чувствовал. О доме думать не хотелось. И заскользил, словно гончая, неслышной тенью по вечерним калужским улицам, высматривая запомнившееся лицо... Заглядывал в поздние магазины, повертелся у билетных касс кинотеатра «Центральный», прошел всю улицу Кирова, потом Ленина, погрелся на почтамте, заглянул в редакцию, пожалел ночного дежурного, хотел кому-нибудь рассказать о своей удаче, но сдержался, вновь заскользил со своей тайной, вглядываясь в лица редких прохожих, наконец отчаянно замерз и заскочил в аптеку. Посетителей не было. В аптеке было чуть теплее, и закутанная аптекарша спросила, что ему надо.

— Замерз, — признался он.

Она оставила его в покое. Скрипнула дверь, и вошел посетитель. Он пошарил взглядом по витрине и попросил аспирина. Она пошла за лекарством, и тут Андрей увидел

короткие темные бачки и вздрогнул: это был тот, с фотографии, за которым, сбившись с ног, охотились калужские профессионалы, тот, кто добрался почти до цели, живой и невредимый, и теперь дальнейшая его судьба зависела от расторопности Андрея. Жалости не было. Был азарт. В ближайшем автомате он набрал номер и услышал воркующий баритон Сергея Яковлевича.

— Коробов, — выдохнул он, — встретил в аптеке на Энгельса.

— Очень хорошо, — без удивления проговорил друг, — можете идти домой. Мы примем меры.

Было немного странно, что все кончилось так просто и буднично. Даже обидно. И не было ни борьбы, ни погони...

И все-таки, высокий и сильный, к дому он шел легкой, пружинистой поступью.

7

Был уже канун мая. Мама написала уже из Москвы! Она была свободна! Ей дали квартиру. Перед ней извинились... Она ждала Андрея. Какое настало время! Анна Ильинична предложила отметить эти чудеса. Уж она-то знала, что это значит. Купили водки. Выпили за маму, за всех возвращающихся, оставшихся в живых. Помянули погибших. Прослезились.

— Какое страшное время, — прошелестела Анна Ильинична, — даже не верится, что все это можно было выдержать. И тебе, Андрюша, досталось не приведи господь! Теперь все пойдет иначе, я уверена. Вон ты уже и в газете работаешь. Доверяют... Скоро и я в Москву переберусь. Ну, давай помянем твоего отца.

Выпили, помянули. Так и пили за здоровье, за упокой, за здоровье, за упокой...

Потом Андрей неожиданно сказал шепотом:

— Скоро я в Америку попаду...

Она рассмеялась, и он рассказал ей все, даже о последней охоте в конце февраля... Она слушала опустив голову, изредка

изумлялась, быстро взглядывала на него, трезвая, зарумянившаяся, и снова никла. Он бодро завершил свой рассказ.

— Ты веришь во все это? — спросила она.

— Конечно! — воскликнул он шепотом. — Они же неспроста это доверили. Да и потом, не боги горшки обжигают...

— Ну-ну, — сказала она и выпила.

Как-то вдруг все свернулось, погасло, что-то произошло.

— Ты с мамой посоветуйся, — сказала она без интереса.

— Вы мне не верите? — удивился он.

— Т е б е я верю, — сказала она, — верю, но с мамой посоветуйся, поговори обязательно, — и выпила снова.

Он так и решил после этого разговора: на майские праздники едет в Москву.

В редакции его отпустили на четыре дня. Накануне целый день он провел в хлопотах, в завершении всяких дел, а к вечеру позвонил Сергей Яковлевич и предложил встретиться... Предложение Андрей встретил без особого энтузиазма. Весь день думал о редакционных делах и, казалось, вовсе забыл и о вчерашнем разговоре с Анной Ильиничной, и об Америке, и новом качестве, в котором очутился. Но телефонный звонок все напомнил, и все стало на свои места. И радости не было. Не было того, что случалось обычно накануне встречи: подъема, возбуждения, тайны, причастности к ней, когда все вокруг кажется маленькими, жалкими и скучными. Не было этого. А была легкая апатия, и маячило перед глазами грустное, удивленное лицо Анны Ильиничны, ее большие трагические глаза, и она опрокидывала рюмку и качала головой, слушая его торопливую, захлебывающуюся, хмельную историю. Облачко недоумения витало вокруг него, пока он шел на свидание с другом, что-то не так грело мягкое рукопожатие и вкрадчивые интонации, даже, чего не бывало раньше, раздражение коснулось его своим крылом, и потому, не успев усесться, он спросил:

— Что слышно с Америкой?

— Все идет как по маслу, Андрей Петрович. Скоро отправимся, скоро уже, — сказал Сергей Яковлевич с улыбкой, однако в тоне его просквозила легкая укоризна.

— А чем кончилась история со шпионом? — спросил Андрей.

— С каким шпионом? — не понял Лобанов.

— Ну, с тем... ну, помните, в конце февраля? Он шел к атомной...

— Ах, с этим... — удивился друг. — Да все в порядке, тогда же и взяли, — и наклонился к Андрею, — ваша помощь была замечательна! Вы так оперативно действовали... просто железно...

Андрею бы расслабиться, насладиться бы, но он был напряжен, сидел как-то углом, жестко, большие трагические глаза Анны Ильиничны маячили перед ним, все было несурово... За окном шумело ранней зеленью дерево. Двигались прохожие. В Москве ждала мама.

— Как движется с английским? — спросил Сергей Яковлевич вяло.

Андрей кивнул и подумал внезапно, что все не так просто, что Америка не может быть фикцией, не может быть...

— Вам что, тогда было неприятно? — спросил Сергей Яковлевич. — Ну, тогда, с этим шпионом? Что-нибудь было не так?

— Нет, отчего же, — сказал Андрей.

— Мне показалось, что вы недовольны...

— Нет, просто... с Америкой как-то так... поматросили и бросили...

Друг хмыкнул:

— Какой вы, ей-богу!.. Это же ответственное дело, понимаете? Надо же все взвесить, — и засмеялся, — это же не в район съездить, Андрей Петрович...

Андрей собрался было сказать, что на праздники едет в Москву, к матери, что вскоре сам туда переберется, как Сергей Яковлевич спросил:

— В Москву собираетесь? Как кстати...

Андрей вздрогнул: откуда стало известно о его отъезде? Но он не спрашивал, ибо ниточка, протянувшаяся от мыслей к словам, была все та же, знакомая и загадочная. Зато теперь он сидел на стуле маленький, сторбившийся, усохший, а где

находился сейчас тот прекрасный недавний великан с легкой раскованной походкой, было неизвестно.

— Есть одно дело, — сказал Сергей Яковлевич. — Только вы можете его выполнить, то есть у нас есть, конечно, люди, опытные и умелые, но они без этого... без шарма, что ли... без вашего шарма. В вас есть шарм. Надо бы вам взяться. Это по пути в Москву, очень удобно...

— Какое дело? — спросил Андрей. — Опять ловить шпиона? — Он решил как-то так встать на одну ногу с Лобановым: и пошутить, и усмехнуться, и призадуматься серьезно.

— Это по пути в Москву, — повторил Сергей Яковлевич, не придавая значения шутке, — вот какое дело: в Малоярославце проживают отец с дочкой — бывшие эмигранты, из Парижа вернулись. Фамилия Ковригины. Старик занимается на опытной станции селекцией растений, а дочь — санитарный врач. Работает на санэпидстанции, Ковригина. Красивая, понимаете, молодая женщина. Настасья. Понимаете, какое дело: есть сигнал, что у них собираются бывшие эмигранты, такие же как они, и кое-кто из бывших репрессированных, ну и, естественно, всякие там разговоры, то есть как бы такой клуб... Вы поймите правильно, ведь, может быть, ничего такого и нету... пустая напраслина, клевета на них, понимаете? Тогда мы дадим клеветнику по мозгам, понимаете? Вы собрались в Москву завтра? Вот бы денек задержаться в Малоярославце, познакомиться с этой красавицей, ну, как-то там очаровать, что ли, и все будет ясно... уже из общения с ней многое станет ясно... в общем, не мне вас учить, Андрей Петрович... Ведь речь идет о репутации, может быть, очень хороших людей. О разоблачении клеветы...

— А если она не захочет со мной разговаривать? — спросил Андрей без энтузиазма.

— Что значит не захочет? Вы корреспондент областной газеты, ну, там всякие производственные вопросы, а потом общечеловеческие, да? — Он засмеялся.

— Попробую, — сказал Андрей.

В Малоярославец Андрей приехал поздно, часов в одиннадцать вечера. Пошел по городу к гостинице, не очень надеясь получить место. В холле было тихо и пусто. Только у стойки высокий мужчина вполголоса любезничал с молодой администраторшей.

— Мест нету, — сказала она, мельком оглядев Андрея.

— А я и не сомневался, — сказал Андрей.

— Дай место человеку, Надюша, — сказал мужчина, — у меня же вторая койка пустует.

— А вы не против? — сказала она кокетливо. — Тогда пожалуйста, — взяла паспорт Андрея и оформила его.

— Какое счастье! — сказал Андрей и пошел устраиваться.

Действительно, иначе как счастьем это не назовешь: не успел войти, как вот уже место, и не нужно кланчить и унижаться.

Комната была небольшая. Две койки одна против другой, столик с графином и старый запыленный фикус в горшке. Тусклая лампочка без абажура в потолке. За окном темно. Завтрашнее свидание с Настасьей Ковригиной. Вкрадчивые наставления Лобанова. Мама, ожидающая его в Москве (узнает ли он ее?).

Андрей разделся и, не погасив света, улегся. Все-таки есть справедливость на свете! Что скажут теперь те, кто называл его сыном врагов народа? Как посмотрят в его глаза? Но как ни силился Андрей, так и не мог вспомнить ни одного из них. Они были надежно скрыты ночью, временем, расстоянием, отходчивой памятью. Испытанный камуфляж надежно прикрывал их от возмездия...

Пофлиртовав с администраторшей, пришел милосердный сосед. Быстро разделся и улегся в свою постель. Перед тем спросил у Андрея, можно ли погасить свет. И когда свет погас, раздавался его глуховатый голос:

— Вам привет от Сергея Яковлевича...

Это было похоже на игру. Играли взрослые. Андрея

приобщили к великой тайне. Большие глаза Анны Ильиничны погасли. Где-то недалеко прекрасная Настасья Ковригина, ничего не предчувствуя, лежала в своей постели.

— Очень приятно, — пробубнил Андрей.

— Значит, вот что, Андрей Петрович, — сказал сосед из тьмы. — Завтра с утра вы туда? Ну, часика три вам хватит? А после мы встретимся, и вы все доложите. Значит, встретимся мы у вокзала на площади. В двенадцать ноль-ноль.

— Давайте в час, — сказал Андрей.

— Хорошо, давайте в тринадцать ноль-ноль, — отозвался сосед, — вы пройдете площадь к станции, а я навстречу. Сойдемся на середине площади. Я, значит, попрошу у вас прикурить...

— Да? — прохрипел Андрей.

— ...пока буду прикуривать, вы меня и проинформируйте... Спокойной ночи, Андрей Петрович.

Андрей заснул под утро. Спал беспокойно и в восемь поднялся. Соседа уже не было. Аккуратно заправленная его кровать не напоминала о вчерашнем. Он наскоро побрился и вышел из гостиницы. Было солнечное утро. Деревья стояли в зеленом пуху. До Америки было далеко. Прохожие не казались жалкими. Предстояла встреча с Настасьей Ковригиной. От этой встречи, видимо, зависело многое. Он готовил себя к ней, но походка его от этого не становилась пружинистой. Что-то мешало распрямиться, выглядеть бравым.

Наконец он нашел районную санэпидстанцию. Это был одноэтажный домик с палисадником. В маленькой приемной сидела некрасивая блондинка. Андрей с тоской оглядел ее.

— Я из областной газеты, — сказал он и протянул удостоверение. — Мы готовим материал, хочу побеседовать.

— Настасья Николаевна сейчас придут, — сказала блондинка, — с нею и беседуйте.

У Андрея отлегло от сердца. Слава богу, подумал он, не нужно охмурять эту выдру. И тут же в комнату вошла королева. Андрей вздрогнул, увидев ее. Это была настоящая парижанка, во всяком случае в представлении Андрея. Она

была высока, стройна, хороша и одета не по-малоярославецки и смотрела как-то сверху вниз. Это была по-настоящему красивая молодая женщина, ну, может быть, ровесница Андрея, сероглазая брюнетка с аккуратной челкой на высоком лбу, истинная Анастасия! Еще не хватало, подумал он, чтобы она заговорила по-французски...

— Ко мне? — спросила она не очень любезно на чистом русском языке.

— К вам вот из газеты, Настасья Николаевна, — подобострастно откликнулась блондинка.

— Я из газеты, — сказал Андрей как мог небрежно, — мы готовим материал.

Она не удивилась, не вздрогнула. Была холодна и неприступна.

— Что вас интересует?

— Все, — сказал Андрей и многозначительно улыбнулся, — специфика работы, трудности, перспективы...

— Специфика в названии учреждения, — сказала она, — трудностей не больше, чем у других, перспективы расплывчатые.

Он достал блокнот. Она не предложила сесть, всем своим видом выпроваживая незваного гостя.

— Ну и что же? — спросил он, усмехнувшись.

— Ну и все, — ответила дочь эмигранта.

— Понимаете, — сказал он, глядя прямо в глаза этой заграничной штучке, — я ведь не для себя стараюсь. Вам что, не хочется, чтобы о вас было в газете?

— Лично мне это не интересно, — сказала она, глядя на него в упор, — но вы спрашивайте, спрашивайте, если у вас есть вопросы, спрашивайте...

— Понимаете, — сказал он обиженно, — такое впечатление, что я вас чем-то обидел... мне ничего не известно о вашей работе, ну, что вы делаете, для чего, как это вообще...

Не за что было ухватиться.

— А вы им микроскоп покажите, — сказала блондинка.

— Ах да, — откликнулась Ковригина, — микроскоп. Пожалуйста, — и жестом пригласила его в соседнюю комнату.

Комната была побольше первой. Несколько шкафов, стол, на нем микроскоп.

— Это? — спросил Андрей.

— Да, это, — ответила она.

«Вот отсюда и нужно тянуть ниточку», — подумал он.

— А как вы работаете с микроскопом? — спросил он.

— Смотрим вот сюда, — она ткнула пальцем. Разговорить ее было трудно.

Он представил на мгновение, что все же ему удалось ее разговорить, растормошить, и они подружились... Какая женщина!.. И он стал наезжать в Малоярославец или она к нему в Калугу. Она ему нравилась. Она ему очень нравилась. И чем больше она ему нравилась, тем больше он терялся перед ее серыми глазами...

— Как интересно! — сказал он с надеждой. — Как вы в него смотрите?

Она пожала плечами и наладила микроскоп.

— Вы что, и в школе этого не видели? — спросила она.

— Нет, не видел, — соврал он и покраснел и припал к окуляру.

Там, в матовом пространстве, передвигались кружки и палочки, а в дверях стояла дочь эмигранта и разглядывала его с укоризной. Пора начинать, подумал он и спросил, не отрываясь от окуляра:

— Скучный у вас городок?

— Для меня нет, — ответила она.

— Что же вы делаете по вечерам? — спросил он.

— А вы? — спросила она насмешливо.

— Ну, хожу в кино, в ресторан, — ответил он, хотя ни в кино, ни в ресторане не был уже с полгода, — а вы?

— Предпочитаю читать, — сказала дочь эмигранта словно отрезала, и тут же, не давая опомниться: — Ну, посмотрели? Какие еще вопросы?

Вопросов больше не было. Все разбивалось о явную недоброжелательность Настасьи Ковригиной.

— А здесь кинотеатр есть? — спросил он.

— Есть, конечно, — сказала она.

Тогда он выдохнул с отчаянием:

— Давайте вечером сходим?

Она усмехнулась и ответила жестко, не отводя взгляда:

— Я в кино не хожу.

Как он с нею распрощался, как выскочил из этого кошмара, было не понять. Овеваемый весенним ветерком, он бежал к вокзалу, не спрашивая дороги. Ноги сами несли его. Он семенил с портфелем в руке, маленький и сутулый, счастливый, что благополучно унес ноги. «Дочь эмигранта» звучало как «сын врагов народа».

Ровно в тринадцать ноль-ноль он резко направился через площадь к зданию вокзала. Папироса дымила в руке. Видно было, как сосед по гостинице оттолкнулся от тротуара и пошел навстречу. На самой середине площади они сошлись. Сосед наклонился прикурить, и Андрей торопливо отчитался.

— Все отлично, — сказал сосед, — счастливого пути.

9

Замереть на маминой груди, позабыв все на свете: и Калугу, и горькие годы разлуки, и громадные, удивленные зрочки Анны Ильиничны, и серые, отдающие холодом, прекрасные — Анастасии, и маленькие, въедливые, карие — Сергея Яковлевича, и вчерашнюю войну, и завтрашнюю Америку... Маме он ничего не рассказал. Она была потухшая и выжатая. Восемнадцать лет лагерей и ссылки в один день не перечеркнешь. Это надолго. Стоит взглянуть на нее, как тотчас перед глазами — решетки, сырые стены, колючая проволока и матерщина следователей, и тяжелый кулак, и конвоир... Мамочка, мамочка, как бы встретить этих людей, нелюдей этих, прикасавшихся к тебе своими лапами! Где-то ведь есть их тихие квартиры, где ждут их счастливые жены и счастливые дети; где-то мелькают они в заячьих шапках и в кепочках, в сапогах и штиблетах, сухощавые и страдающие одышкой; где-то ведь звучат их оплеухи и вкрадчивые баритоны и истеричные, похмельные хриплые тенора. И сколько

бы Андрей ни глядел на мать, всякий раз видел бьющую руку, почему-то в рыжих волосах, и маленькие раскаленные карие глазки, направленные на нее; и ее лицо в уродливой гримасе боли, ужаса и отчаяния... Мамочка, мамочка, что же сделать, чтобы позабыть все это? Как отмыть тебя от унижающих оплеух, плевков и мата?! Мамочка, мамочка!..

Он все рассказал ей, все, кроме глупого фарса со шпионами и Америкой, и она говорила обо всем, кроме того, что пережила за восемнадцать лет. Только и сказала: «Когда этот умер, я поняла, что все переменится...»

Маме дали квартиру, работу. Предложили войти в комиссию по реабилитации. Ехать нужно было на Северный Урал, мотаться по лагерям и освобождать, освобождать, освобождать таких же, как она, избитых, изможденных, потухших.

Три майских дня пролетели незаметно, и Андрей ворочился в Калугу. В редакции его сердечно поздравляли с возвращением матери, и те, на кого он еще совсем недавно смотрел с жалостью, снова выглядели нормальными людьми, его товарищами. И Анна Ильинична предложила немедленно выпить по глотку за мамино возвращение, потому что она-то уж лучше других понимала ситуацию. И они выпили, и Анна Ильинична, нацелив на Андрея свои громадные печальные глаза, спросила:

— С мамой советовался? Нет? Ничего ей не сказал? Испугался? Ей не до этого. Понимаю, понимаю...

— Да вообще,— сказал Андрей,— надо с этим кончать...

— Ты знаешь,— сказала она,— знаешь, чем может кончиться американская эпопея? Кончится она тем, что тебе предложат следить за близкими тебе людьми... например, за мной...

— Ну уж! — сказал он и покраснел, и тут же вспомнилась роскошная Анастасия Ковригина.

Через месяц позвонил Лобанов, и они встретились. Уже в телефонном разговоре Андрей дал понять, что с ним не пообедает, и потому Сергей Яковлевич спросил, встретиться:

— Какая-то грусть в вашем голосе. С матерью-то все в порядке?

— Ну, пока она о вас не знает, у нее все в порядке, — сказал Андрей с невеселой усмешкой.

Лобанов вскинул брови.

— В каком смысле, Андрей Петрович? Надеюсь, вы с нею не откровенничали?

— Да нет, — сказал Андрей, — ее волновать нельзя.

— Вот и отлично, — сказал Сергей Яковлевич, — а грусть у нас откуда?

— Если нужно, — криво улыбнулся Андрей, — я расскажу о поездке в Малоярославец... У меня там не все получилось...

— Пустяки, Андрей Петрович, все вышло отлично.

— Э, — сказал Андрей, — ваш сотрудник не знает подробностей.

— Все хорошо, все хорошо. Анастасия меня проинформировала... Вы действовали отменно.

Он провел по столу, и солнце заиграло на рыжих волосах.

Он нервничал, Андрею это было заметно. Чекист поправил галстук, проглотил слюну — кадык шевельнулся. Сказал улыбаясь:

— Есть одно дельце, Андрей Петрович.

— А как с Америкой? — нагло спросил Андрей.

— Да вот уже совсем скоро, — сказал Лобанов с ленцой. — Тут вот какое дело...

И тут Андрей приготовился выпалить слово «нет», но сдержался. Опять началась лихорадка. Мелкая дрожь охватила тело — то ли ужас, то ли гнев, то ли крайняя решимость. Сергей Яковлевич глядел на него с грустью.

— У вас там с английским все в порядке?.. Анна Ильинична, видать, педагог крепкий, не правда ли? Это я сузу по вашим впечатлениям...

— Да я ничего и не говорил...

— Говорили, Андрей Петрович, впрочем, пожалуй, и нет, но это чувствуется, это видно, у вас даже легкий акцент проскальзывает, вот, я думаю, какого человека держали заперти, такого специалиста, Анну Ильиничну, вместо того чтобы пользоваться ее знаниями... Вы с ней дружите?

— Конечно, — выдавил Андрей.

— Ну что она, как она после всего? Настроение какое? После стольких лет лагерей человек ожесточается, он перестает ручаться за свои поступки.

— Сергей Яковлевич, — тихо сказал Андрей, — вы напрасно это, я ведь не гожусь на эту роль...

— Да вы что! — забеспокоился Лобанов. — Вы меня не поняли... Вы думаете, что я что-то там хочу выяснить для каких-то там целей? Я просто хочу с вашей помощью, потому что вы ее близкий человек, выяснить, нуждается ли она в нашей помощи, в нашей защите после того, что пришлось пережить, а вы решили, что я вмешиваюсь в личную жизнь. У вас такое настроение в последнее время, вы неправильно думаете обо мне... Ну, пожалуйста, если не хотите...

— Не хочу, — сказал Андрей. Лихорадка прекратилась. Лобанов потирал лоб пухлыми пальцами. — Вообще не хочу, я для этого не гожусь...

— Да пожалуйста, пожалуйста, — сказал Лобанов. Его карие глаза сверкнули и тут же погасли.

— Поиграли в шпионов, и хватит, — сказал Андрей, — и хватит.

— Вы меня неправильно поняли, — сказал Лобанов, — ну да бог с вами. — Потом, глядя мимо Андрея, сказал без интереса: — Я позвоню, когда что-то выяснится, позвоню...

Андрей пошел к дверям. Лобанов молчал.

...Больше он не звонил. Месяца через три, уже перед самым окончательным отъездом в Москву, Андрей встретил его на улице. Он шел навстречу. Андрей собрался было поздороваться по старому знакомству, но Сергей Яковлевич отвернулся.



Булай Оксуджава

**ГРАЖДАНИН
ВЕЧНОСТИ**

*статъи
воспоминания*

Анатолий Курчаткин

СОБЕСЕДНИК

Булат Окуджава сам был истолкователем своего творчества. Во всяком случае, феномена своего начального успеха в 50-е годы. Вот как он написал об этом в автобиографическом рассказе «Подозрительный инструмент», прозрачно зашифровав себя под именем Ивана Иваныча, который на самом деле был Отаром Отарычем: «Ивану Иванычу было уже за тридцать, когда его жизнь резко переменялась. Дело в том, что Иван Иваныч запел. То есть не просто запел, а стал придумывать мелодии к собственным стихам... Должен заметить, нисколько не пытаюсь унижить достоинство Ивана Иваныча, что его некоторый успех был вызван не столько, может быть, его творческими данными, сколько ситуацией, которая господствовала в стране в то время, то есть в пятьдесят шестом — пятьдесят седьмом годах. А было вот что: после XX съезда общество вдруг раскололось, все начали ощущать себя людьми, начали скорбеть об ушедшем, задумались о душе, ну просто обезумели от всяких разоблачений, от понимания собственного рабства. Цепи лопались со звоном... И хотя в обществе произошел такой переворот, официальные песни оставались старые, из прежних времен... А Иван Иваныч, во-первых, запел о себе, просто о себе, а во-вторых, грустно и откровенно, ибо поводов для грусти было множество — такая уж была в стране ситуация... Короче говоря, он задел какие-то струны интеллигентов, и они жадно откликнулись».

В этом анализе — энтомологическая беспристрастность, холодная несуетность очень трезвого, порядком «глаженного» жизнью человека, принижающая ироничность: как бы вы, господа читатели, не подумали обо мне лучше, чем я есть на самом деле. Что ж, писатель волен смотреть на себя так, как велит ему собственная натура и жизненный опыт, оценивать сделанное им высокопарно и чванно или же с последним самоунижением. Правда, тут есть одна закономерность. Чем значительнее писатель, тем чаще он непомерно суров к своей работе, критичен и внутренне скромнен. Вспомним, как пренебрежительно высказывался о своей гениальной «Анне Карениной» Лев Толстой. А Чехов полагал, что после смерти его будут читать пять-шесть лет, а потом забудут.

Вот и Булат Окуджава, когда говорит, что его успех был вызван не столько его творческими данными, сколько ситуацией, господствовавшей в стране, атмосферой его жизни, безусловно, самоумалется. Конечно, совпадение со временем — великая вещь, и для любого творчества это уже немало, но сколько мы знаем примеров, когда писатель (драматург, режиссер, художник), однажды совпав со временем, так в нем и остается, хоть проживи он после того еще век. Совпадать с любым временем, какое ни будь на дворе, оказаться нужным и в 60-м, и в 70-м, и в 80-м, и даже в 90-м — это уж никак не случайность, не прихоть судьбы, не счастливый лотерейный билет, действие которого, как правило, ограничено указанной на нем суммой; закончилась сумма — и снова в карманах ветер.

Булат Окуджава, совпав с «оттепельным» временем 50-х — начала 60-х, в дальнейшем как творец сам сделался временем — вот разгадка его совпадения и с 60-ми, и с 70-ми, и прочими, прочими. Ему оказалось дано не просто жить в определенную эпоху, а формировать ее, создавать ее дух, ее атмосферу. Он стал ее сущностью. Ее плотью и кровью.

Почему? Что за странность? Не перечисляя, скажем, что не он один писал мелодии к своим стихам и пел их, не он один был так талантлив и изящен в этом — отчего же другим не выпало такой чести, не досталось этой роли — стать лепщиком времени?

Ответ на прозвучавший вопрос нужно искать в самом Окуджаве. Вернее, в его творчестве.

Да, безусловно, Окуджава был в высшей степени искренен и ненапыщен, удивительно естествен даже в своей романтичности, но этого, конечно же, не хватало бы для того, чтобы время избрало его в свои лепщики. У него был редкий, необыкновенный дар, дар собеседничества — вот в чем дело. Пел ли он со сцены, с магнитофонной катушки, а позднее кассеты, с экрана телевизора или из динамика радио, это собеседничество одинаково звучало в его голосе. Он вас не развлекал, он не являл себя вам в своей виртуозной, блестящей артистической сути, чтобы вы полюбовались, насладились его обществом, — он беседовал. Делился своими воспоминаниями о Леньке Королеве, царствовавшем во дворе, ушедшем на войну и не вернувшемся. Обращался к вам под камуфляжем «Старинной студенческой песни» с трогательно-доверчивой просьбой-приказом: «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке». И, как бы отвечая на заданный вопрос, открывался в сокровенном: «А душа, уж это точно, ежели обожжена, справедливей, милосерднее и праведней она».

Умение быть собеседником — великий поэтически-писательский дар, отпускаемый Небом немногим. А между тем именно собеседничества и ждут читатели от писателя. Ну да, учительство, проповедничество, откровение о мире и слове, развлечение, наконец, — все необходимые составные части писательского дела, но что они стоят, если читателю с тобой не интересно, а то и откровенно скучно, а если все же и интересно, и не скучно, то долго ли он выдержит учительство, не покажется ли ему твое откровение старой, избитой истиной, не надоест ли в конце концов хохотать над твоими клоунскими ужимками — ведь делу время, потехе час?

Если писателю не дано быть собеседником, читатель, даже и ценя его, рано или поздно переметнется от этого писателя своим интересом к другому. Не найдя собеседника в этом другом, отдаст свою любовь третьему. Да, история может быть рассказана писателем с блеском, стихи — поражать виртуозной техникой, но если читатель чувствует, что все это — с холодком

и равнодушием, ради убогаторения собственного писательского тщеславия, и никакого интереса к нему, читателю, как личности, то и ответно — холодок и равнодушие, благодарность без любви и особого желания встретиться вновь.

В интонационном строе стихов-песен Булата Окуджавы, в обнаженной доверчивости его речи, в невысокопарной романтичности лексики было нечто такое, что читатель тотчас ощущал писателя, который разговаривает с ним, а не поучает, беседует, изливая свою душу, а не пророчествует. (И вот, кстати, как по-другому передать эту тонкую субстанцию, создающую ауру поэтической речи, кроме как словом «нечто»?)

Слушатель-читатель не мог не отплатить поэту любовью. Другое дело, что раньше той самой середины 50-х Булат Окуджава просто не мог появиться. Во-первых, нужно было общее воодушевление времени той поры, весенняя капель, чтоб «Иван Иванович запел». А во-вторых, пусть противу всех внешних обстоятельств он бы запел в конце сороковых или начале пятидесятых — что бы с ним случилось? Понятно что. И не надо в том сомневаться. А ко всему тому еще и магнитофонов тогда не было, так бы и умерли три-четыре его первые песенки среди узкого круга его первых слушателей, которые в большинстве своем разделили бы печальную судьбу соловья.

Но случилось то, что случилось. Оттепель, весна, капель, свежий ветер, всеобщее воодушевление — и тридцать с небольшим лет, молодой еще возраст для человека романтического склада. А разлюбить слушатель-читатель своего соловья мог уже в одном случае: начин тот высокомерничать и упиваться своей обретенной над собеседником властью, примись пророчествовать, учительствовать, витийствовать, потеряй естественность своих чувств, прямодушие интонации, глубину переживаний.

Ничего этого с Окуджавой не произошло. Мудреца с годами и становясь усталее, он оставался все тем же замечательным, чудным собеседником — доверяющимся, открытым и равно желающим вашего ответного доверия, — как же можно было отшатнуться от него, потерять

возможность общения с ним? Вот так и оказалось, что голос его вплелся цветной яркой нитью в тот суровый канат, что представляла из себя эпоха, следовавшая за «оттепелью», и без этой нити представление о ней никогда не будет полным.

Ко всему тому Окуджава начал писать и прозу. То есть он начал писать ее вскоре после того, как запел. Повесть «Будь здоров, школяр» датирована 1960-1961 гг., но тогда, да и позднее, в конце 60-х, когда в серии «Пламенные революционеры» вышла его повесть о Пестеле «Глоток свободы», казалось, что проза для него — нечто вроде отхожего промысла, ремесла на стороне, которым занялся в свободное от главных занятий время. Однако подобное впечатление было обманчивым. Проза оказалась для него таким же серьезным занятием, как и поэзия. И — удивительное дело! — мало-помалу открылось, что и в прозе он такой же замечательный собеседник, как в своих стихах-песнях. То есть собеседничество действительно было дано ему как Дар, который он сумел не протранжирить зазря и попусту, а, храня его в себе, как бы пересесть с уже освоенного места за одним столиком, на одном диване, за другой столик, на другой диван.

«Когда я очнулся, никого рядом не было. Крови натекло с полведра, ей-богу. Откуда взялись силы приподняться, не знаю. Но приподнялся и пополз вдоль сарая, покуда не поравнялся с дверью. Внутри никого не было, но соломы и сена хоть отбавляй, и треногий стол у стенки, а на нем, ей-богу, полкаравая хлеба, бутылка с водой и кружка, все свежее, видно, хозяева ушли недавно, так все и бросили. Я кое-как перевязал себе рану, зарылся в сено и не то уснул, не то потерял сознание, и слава Богу, потому что рану начало сильно жечь».

Я взял для цитирования буквально первое место, которое произвольно открылось в верхней из его книг, лежащих сейчас передо мной. Это — из романа «Свидание с Бонапартом». Совершенно очевидно: никаких профессиональных, существующих в прозе приемов, чтобы расположить к себе читателя, заинтересовать его, приковать к рассказу его внимание, — а между тем текст и располагает, и заинтересовывает,

и приковывает. Окуджава и в прозе оказался тем же самым собеседником, каким был в стихах-песнях. И — что также весьма существенно для собеседничества — самоироничным.

Эта самоирония особенно замечательно работает в его автобиографических вещах. Кажется, Окуджава даже и выбирает для рассказа истории своей жизни, где можно посмеяться над собой, осудить себя, а то и горько вздохнуть: братцы, вот таким был, сожалею — но это я, а не кто другой. В этом отношении в высшей степени характерен рассказ «Около Риволи, или Капризы фортуны». Окуджава описывает в нем свое первое пребывание в Париже в далеком 1968-м. (Ну, то есть в рассказе действует тот самый Иван Иванович, который на деле Отар Отарыч, но истинное имя героя нам прекрасно известно.)

Герой рассказа, приехавший в Париж как в мировой заповедник всего запретного в Советском Союзе, жадно пытается прикинуть к этому источнику запретного — и вот на площади перед Нотр-Дамом соблазняется покупкой у артистичного молодого человека, как ему кажется, порнографических открыток, потратив едва не треть всех имеющихся у него франков, едет в автобусе, не смея открыть пакетик, до отеля, а когда в одиночестве номера открывает его, то оказывается, что приобрел скверного качества черно-белые фотографические снимки с полотен великих мастеров прошлого.

А вот герой рассказа после триумфа выступления перед русским Парижем, после записи на студии, что сделало его обладателем весьма приличной для советского человека суммы во франках, оказывается в магазине, где лихорадочно принимается набирать в громадную сумку все, что попадается под руку. Стыдится сам себя — но набирает. Апофеозом этого стыда становится история с магнитофоном, который едва герой выходит из магазина, падает и перестает работать. Сгорая от стыда, герой уговаривает гида-француза пойти, обменять магнитофон, понимает, что это скверно, и ничего не может с собой поделывать: ему так хотелось такой магнитофон, а денег купить новый больше нет — все потрачено.

Поменять магнитофон герою удастся. А дальше — еще большая удача: оказывается, в Париже, о чем герой не имел и понятия, вышла его книга, издатель оплачивает двухнедельное пребывание героя в Париже сверх того срока, что он уже здесь пробыл, и вновь гонорар — фортуна улыбается герою во все лицо! С карманом, полным денег, герой бродит по Парижу, наслаждается его видами и набредает, как ему представляется, на кинотеатр порнофильмов. Первая его попытка приобщения к запретному была неудачна, теперь ему должно повезти. Он заходит в «кинотеатр», на лестнице его встречает прекрасная женщина... И вот он, наконец, спустя недолгое время, вновь оказывается на улице, но уже без гроша в кармане: то был вовсе не кинотеатр, как герою пришло в голову по рекламе, а ресторан со стриптизом, где все устроено так, чтобы ободраť посетителя как липку.

Надо непременно отметить, что помимо замечательной собеседнической интонации рассказ еще и восхитительно выстроен — с тем новеллистическим тщанием, с каким невольно выстраивает свою историю в застольном разговоре любой рассказчик, если хочет, чтобы его выслушали. «Не заносись, не гордись, не попустительствуй низкому в себе» — произнесенное, звучит голосом уже не Ивана Ивановича, а самого Окуджавы за пределами рассказа, когда дочитана последняя фраза. Мораль в настоящем произведении слова не должна быть высказана. Она должна итогом его прозвучать в читательском сознании помимо читательской воли.

Но, конечно же, и тут ничего не поделаешь, так есть, и это неизбежно, прежде всего Булат Окуджава для культуры — поэт, певший свои стихи. Бард. «Давайте понимать друг друга с полуслова, чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова»; «Ваше благородие госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе. Девять граммов в сердце постой — не зови... Не везет мне в смерти, повезет в любви», — эти и другие строки долго еще будут звучать в нас голосом ушедшего поэта.

Долго ли они будут звучать после того, как уйдем мы, знавшие его, слышавшие его вживе и в записях?

Знать подобное не дано никому. Вспомним уже помянутого Чехова: он полагал, что его забудут вскоре после смерти. Как нам известно, не забыли. Читают и будут читать. И вот мне кажется: если мы и сейчас поем романсы столетней и даже полуторастилетней давности, то почему не петь через новые сто лет «По смоленской дороге», «Опустите, пожалуйста, синие шторы», «Песенку о ночной Москве»? А будут петь — будут и читать. Наслаждаясь беседой с незаурядным ироничным собеседником из второй половины XX века.

Москва

Валентин Берестов

ВЕСЕЛЫЙ БАРАБАНЩИК

Представьте себе вечер поэтов в городском парке. Объявляют: «Выступает Булат Окуджава!». И ни один человек в публике не ждет, что Булат споет песню, и самому Булату даже не приходит в голову что-либо спеть, попросить гитару...

Так было году в пятьдесят четвертом, когда Окуджава жил в Калуге и еще не думал писать песни. Я — один из немногих, кто слушал его таким. Он читал стихи о войне — хорошие стихи. Читал отрывки из поэмы про Циолковского. Видимо, он ощущал себя чуть ли не прирожденным калужанином, и в то же время старался быть очень советским человеком — таким же, как и все кругом. Поэтому он прочитал такие строчки о революции: «Калуга вышвыривала Афончиковых...». И тут я понял, что он — не калужанин: калужане к своим купцам так не относились. Потом я посмотрел в телефонный справочник — там было много Афончиковых и других купеческих фамилий. И я подумал: «О! Не только остались целыми, но и телефоны себе пробили!» Калуга вообще была городом с вольнолюбивыми традициями: сохранила все свои церкви, не допустила, чтобы ее переименовали в Циолковск, не позволила строить Калужскую ГЭС...

Булату было тогда тридцать лет. Я был на четыре года моложе — это очень большая разница в таком возрасте. И потом: он воевал, а мое поколение уже не успело. В общем, подумал я, пожилой уж человек, ветеран, пишет хорошие стихи, но имя его неизвестно, в центральной прессе он не публикуется... И мне стало его жалко. Оказалось, что в Калуге он живет недалеко от дома моего детства, дома моих

родителей — на улице Труда. Я к нему пришел и сказал, что могу посодействовать и предложить какие-нибудь его стихи в журнал «Юность». И тут я заметил, что угольки его глаз загорелись, и прочел в них: «Вот еще тоже, нашелся покровитель!..»

Однажды я приехал в Калугу, и мне спели песню Окуджавы «По Смоленской дороге». И тогда я понял, что Булат, хоть он уже вернулся в Москву, наконец-то стал настоящим калужанином, потому что эти «две вечерних звезды, голубых моих судьбы» я увидел еще в детстве, на той самой Смоленской дороге, по которой из калужской глубинки переезжал в город. В Калуге вообще какие-то особенные звезды и дали. Недаром Циолковский, глядя на них, придумывал свои маршруты «Земля — Луна», «Калуга — Марс». Недаром Чижевский именно в Калуге сделал открытие, что ритмы космоса, Солнца и ритмы событий, происходящих на Земле, совпадают.

А раньше, еще не зная, что Булат уже переехал в Москву, я привозил из Калуги (куда он, видимо, продолжал ездить довольно часто) от друзей и знакомых Окуджавы его новые песни, которые так мне нравились, что я их без конца распевал, надоедая своим домашним. Потом стал являться с этими песнями к знакомым, и пришел как-то к артисту Театра драмы и комедии Леониду Сергеевичу Вейцлеру, который очень хорошо читал стихи. И я сказал ему: «Леонид Сергеевич, а ведь стихи можно не только читать, их можно петь». Вейцлер записал мое исполнение на магнитофон, и я сам не подозревал, что уже соперничаю с Окуджавой!.. Но очень скоро пленки с его песнями распространились по Москве, и этот самозванец, Лжедмитрич, то бишь я, уступил место самому Булату.

В конце пятидесятых — начале шестидесятых скромное учреждение при Союзе писателей — Бюро пропаганды художественной литературы — переживало эпоху расцвета и величайшей эйфории. Женщины, работавшие там, с утра до вечера принимали людей из институтов, НИИ, общежитий, просивших у них поэтов, — такая была потребность у людей. Я вспоминаю строки Сологуба:

...Где объявление найдешь:
«Поэта приглашаем на дом,
Затем, что стало невтерпеж
Обычным изъясняться складом»?..

Поэтов эти дамы выдавали трепетным просителям пачками, по несколько человек. Теперь я соображаю, что одного Окуджаву, одного Евтушенко или одного Межирова было страшновато давать, потому что на это пришлось бы получать специальное разрешение. Множество лиц и инстанций приглядывало бы за этим поэтом: а ну как он прочитает что-нибудь «не то»... Это казалось опасным. Легче было, когда нас собиралось много. И я стал попадать в одну компанию с Окуджавой. Сидя на сцене, я наслаждался его песнями, иногда подпевал, совершенно забывая, что публика видит не только Булата, но и меня... Мне очень нравилась его «Песенка о дураках»: «на каждого умного по ярлыку повешено было однажды...»; «...и умным кричат: дураки, дураки! А вот дураки — незаметны...». Да, так оно и было: генетикам кричали «дураки», кибернетикам кричали «дураки», Зощенко называли пошляком, Ахматову клеймили как могли... Все умные в стране были «дураками». Многим казалось очень приятным, когда вдруг знаменитые писатели, прославленные академики, великие композиторы (такие, как Шостакович) оказывались «дураками»! Песенка Окуджавы все расставляла по своим местам.

...Но я совершенно не отдавал себе отчета в том, что на наших совместных выступлениях и Окуджаве приходится слушать меня. Я тоже хотел оваций, и я их добивался. Булат знал все мои приемы и хитрости, знал какое стихотворение за каким я прочту. Иногда я повторял самые удачные свои ответы на вопросы — бедный Булат!!! Но я задумался об этом только тогда, когда составил программу из совсем других своих стихов; у Булата было такое счастливое лицо, и он сказал — «Наконец-то!».

И вот за что я успел извиниться перед Булатом... Однажды физики (а это были самые модные люди начала

шестидесятых, так много открывшие и так много обещавшие) в кафе «Арфа» на улице Горького решили устроить ужин с поэтами. Бюро пропаганды выделило им Ахмадулину, Окуджаву и меня. Мы расположились за круглым столиком посредине, а физики сидели, держа вилки над пустыми тарелками, и предвкушали удовольствие от встречи с поэтами. Они планировали просидеть с нами весь вечер, угостить нас от души, выпить сухого вина, закусить... Но Белла прочла свои стихи и убежала, Булат прочел стихи, спел и убежал. За столиком остался один я. И тогда я решил как-то утешить людей, чтобы они не обижались на моих товарищей. Я сказал: «Знаете, что? Я попробую заменить вам Булата Окуджаву!» После этого моего нахального заявления глаза физиков оторвались от уже наполненных винегретом тарелок и устремились с интересом на меня.

К тому времени я тоже изучил манеру Булата и знал, что на своих выступлениях он сначала читает стихи, и среди них непременно — «Берегите нас, поэтов...» В этом стихотворении он обращался к девушкам, а история мировой литературы знает, что они не очень-то берегли воспевавших и любивших их поэтов. Обращался он и к властям, которые во все времена обходились с поэтами круто, и к читателям, которые могли бы спасти поэтов от властей и от девушек, да вот — не спасли... И я прочел написанные за пять минут на салфетке стихи следующего содержания:

Берегитесь нас, поэтов, берегитесь нас!
Берегитесь каждый месяц, каждый день и час!
Ох, не каждое творенье — это высший класс!
О поклонники искусства, берегитесь нас!
Любят девушки поэтов, с них не сводят глаз, —
О доверчивые души, берегитесь нас!..

Что-то такое я прочитал... После этого я решил убить двух зайцев сразу: я объединил Окуджаву с другим популярным певцом того времени Ивом Монтаном, и спел:

Вы слышите: грохочет барабан?
Вы слышите: бренчит гитара в лад?
На черта нам Монтан, Монтан, Монтан,
Ведь есть у нас — Булат, Булат, Булат!

Публика встала и устроила мне овацию! И целый вечер она изливала на меня те чувства, которые приготовила для Булата и Беллы. И когда нас стали выгонять из кафе, то физики повлекли меня на Пушкинскую улицу, в квартиру одного из профессоров, и продолжали там пировать, и все вместе пели вроде бы не рассчитанные на хоровое исполнение песни Окуджавы.

...Одно время я заведовал отделом поэзии в «Литературке». Три месяца я вытерпел. Поэты то и дело приезжали ко мне домой, чтобы заодно, как они говорили, заправить машину (я жил возле бензоколонки). Официантки из соседнего с редакцией ресторана «Нарва» сопровождали поэтов до моего кабинета, чтобы я расплатился за тех, кто не имел при себе денег... Когда я убегал в библиотеку или куда-то выходил, мне подсовывали стихи под дверь. Я вынужден был вынести диван, чтобы поэты не сидели на нем с одиннадцати утра до окончания моего рабочего дня. Тогда поэты стали сидеть на моем кресле и на столе. В общем, я проявил необычайную мягкотелость и сбежал с этого поста, став спецкором «Литгазеты». На мое место пришел Булат, и только он пошевелил усами, как весь этот ужас, весь этот безумный карнавал исчез. И вот как-то мы с Владимиром Лифшицем зашли в мой бывший кабинет, там стоял диван, пахло Булатовыми сигаретами, на стене висела гитара, стол был повернут к двери. Самого Булата не было. И мы ушли, оставив ему такой стишок:

Спичка слева, спичка справа,
Стол пустой в дыму густом...
Что такое Окуджава —
Человек или фантом?

А потом «Литгазета» стала посылать своих сотрудников по разным городам — агитировать за тираж. В Вильнюс мне выпало поехать с Окуджавой. Поскольку я — калужанин и Булат стал настоящим калужанином, нам было легче общаться друг с другом. Мы были очень загружены, так как работать приходилось много. Для того, чтобы подняться на гору Гедимина и посмотреть на исторический Вильнюс (я же археолог, я не мог без этого обойтись), надо было проснуться как можно раньше, пока нас еще не ждут, пока гостеприимные литовцы еще не кормят нас завтраком... Я сказал: «Булат, встань пораньше!..» И мы действительно встали очень рано (не помню, кто кого разбудил), побежали на гору Гедимина и насладились красотой еще пустого древнего города. Нам показалось, что мы проникли в какие-то былые века. Настроение у нас было прекрасное, и я вдруг заметил, что Булат начинает что-то напевать, мычать какие-то слова: «Над горою, над горою Гедимина...» Ритм он уже нашел, мелодия мне понравилась. Но ничего про гору Гедимина и про этот поход он не написал, а сочинил на этот мотив песню с такими строчками:

Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше,
Когда дворники маячат у ворот.
Ты увидишь, ты увидишь, как веселый барабанщик
В руки палочки кленовые берет...

Теперь-то мне уже под семьдесят, и сегодня мне не очень стыдно сказать, что долгое время я тешил себя мыслью, будто веселый барабанщик — это я. И те, кто меня хорошо знает, могут подтвердить, что я всегда старался быть таким вот веселым барабанщиком.

В 1967 году мы с Булатом в одной большой компании были на Днях российской литературы и искусства в Таджикистане. И однажды по старой привычке решили прогуляться по улицам Душанбе задолго до завтрака, каким нас кормили на пригородной правительственной даче, после чего начинался насыщенный приемами и выступлениями день.

Встали на заре, ежась от веющего с гор утреннего ветерка, разглядывали дома, любовались громадными деревьями, вслушивались в шумы улиц, уже начинавших наполняться людьми, арбами и машинами. Среди бирюзовых таджикских халатов показался полосатый. Значит, узбек! Приветствую по-узбекски. Узбек ответил, пожал мне руку. Еще почтительнее он пожал руку Булату. Глядел на него с преклонением. Но ведь почтенный человек в полосатом халате, почти не владеющий русским языком, конечно, не знает, что перед ним Окуджава. И никак не может быть поклонником его песен. Он ведет разговор с Булатом, я — только переводчик. Приглашает его, а заодно и меня как переводчика, посмотреть на перепелиный бой. Это особое доверие. Перепелиные бои проводятся в секретном месте и втайне от властей, азартное увлечение с огромными денежными ставками на перепелов-фаворитов преследуется законом. Власти охотятся за организаторами таких боев. Даже, как рассказал собеседник в полосатом халате, для этой цели в их среду заслали какого-то «истукоча», но и тот не мог ничего выведать. Загадочного восточного слова «истукоч» перевести не могу, в чем честно признаюсь. «Стукач!» — спокойно «переводит» Окуджава.

Благодарим доброго прохожего, но посетить перепелиные бои все-таки не решаемся. Человек в полосатом халате, не отрывая глаз от лица Булата, почтительно пожимает его руку обеими руками и удаляется. Булат вопросительно смотрит на меня. Откуда у незнакомца столько обожания и почтения к нему? К счастью, могу это объяснить. Как-то на раскопках я спросил своего рабочего-землекопа Сабура Джумаму-ратова: почему, хотя в Средней Азии, конечно, есть и хулиганы, и бюрократы, и нервные продавцы, никто из местных людей ни в моей ранней юности, в военном Ташкенте, ни теперь, когда я езжу сюда почти двадцать лет, никогда ничем меня не обидел? «Ты, Валентин-ака — шайр (поэт), — ответил Сабур. — Кто же у нас обидит шайра?» Но ведь почти никто не знал, что я пишу стихи! И все же, как я сейчас

убедился на примере Булата, поэтов распознают с первого взгляда!

Песни Булата сопровождали меня всю жизнь и очень мне помогали. Одно время я жил один, уйдя из дому, писал стихи день и ночь. И меня спасала одна только песня — «Надежды маленький оркестрик». Когда мне становилось тяжело, я сразу же начинал петь ее. И однажды описанное в ней сбылось: на зеленый пригорок в той местности, где я жил, поднялись кларнетист, трубач, человек с фаготом и барабанщик. Я увидел этот маленький оркестрик во плоти! То ли они возвращались с какой-то свадьбы, то ли просто хотели посидеть своей компанией... И этот маленький оркестрик сыграл для меня!..

Когда смертельно болела моя вторая жена, известная сказочница Татьяна Ивановна Александрова, я шел к ней в больницу, раз двадцать прокрутив пластинку, где Нина Ургант пела: «Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилён он...» И это давало силы мне и Татьяне Ивановне. Грустно это вспоминать, но так было...

А не так давно я вдруг услышал: «После дождичка небеса просторны...» И опять, как в молодости, стал петь эту песню каждому встречному, пока не появилась пластинка, где она записана.

А потом я испугался, когда услышал, как в Америке Окуджаве сделали операцию на сердце и как борются врачи за его жизнь. Но слава Богу, Булата спасли. Я встретил его на Поварской. Он шел в черной курточке — легкий, такой же, как всегда. Я обнял его и спросил: «А что, Булат, хорошо все-таки задержаться на этом свете?» И он ответил: «Хорошо!»

...Булат — человек вне времени, всегда молодой и всегда взрослый. Он и запел свои песни не просто так, но зная, что поэзия была песней при самом своем рождении. И он вслед за Вертинским вернул поэзию к ее основам. Но представим себе, что Булат не спел ни одной песни, что он вообще не умеет играть на гитаре и считает профанацией образа поэта, когда люди поют свои стихи... Что было бы тогда? Булат, конечно, почти ничего бы не потерял, потеряли бы мы. Но все

Булат Окуджава

равно множество композиторов положило бы его стихи на музыку, и среди них был бы тот же Исаак Шварц, тот же Сергей Никитин и многие другие. Так что стихи Булата не ушли бы от своей судьбы! Но, может быть, тогда бы для современников стала несколько заметнее его проза. Я особенно люблю его автобиографические рассказы и повести — по моему, это блестяще! И в них тоже есть та самая зрелость. Он — взрослый человек, ему незачем показывать, как он владеет стилем, какая у него литературная мускулатура. Он пишет тем слогом, который доходит до сердца, хочет, чтобы читателю было с ним хорошо, и делает для этого все, что может. За это я его и люблю. Мне с ним — хорошо!..

1994

Владимир Мотыль

«ПОКА ЗЕМЛЯ ЕЩЕ ВЕРТИТСЯ...»

Никто так не писал о войне, как он, интимно и доверительно. Следуя за робким, тщедушным героем, проза повести будто бы становилась застенчивой в устах очевидца и участника событий, с грустной улыбкой вспомнившего недавнее прошлое с его окопным бытгом и фронтовой лексикой. В 1964-м, вторично перечитав «Будь здоров, школяр!», я почувствовал, что задуманный для кино мой сюжет «Жени, Женечки и “катюши”» в чем-то сродни повести Окуджавы и отправился к нему с предложением писать сценарий вдвоем.

Месяцы наших совместных трудов открыли один из коренных секретов его человеческого обаяния. Он был напрочь лишен способности кривить душой. Мы начали писать в весенней Ялте, в писательском Доме творчества, в пору, когда пьянящие запахи цветущих деревьев будоражили кровь. Окуджава все убеждал меня, что с драматургией он не в ладах, что не умеет придумывать действие, но я диву давался, с какой легкостью, сходу и начисто отстукивал он на машинке диалоги для предложенных мною коллизий. Однако стоило мне оговорить поворот сюжета, который он не чувствовал, как Булат переключал все на меня, как это было с историей героя, спяна залетевшего в расположение немцев, или с трагическим финалом фильма. Зато за какой-нибудь час-полтора он мог сочинить «телефонный диалог» сидящего на «губе» героя с Женечкой, с репликами «невпопад» охранника Захара — одну из наиболее ярких комедийных сцен.

Предельная искренность Окуджавы, помноженная на особенный слух его гения, сотворила неповторимый мир его грустно-иронической поэзии:

Каждый пишет, как он слышит.
Каждый слышит, как он дышит.
Как он дышит, так и пишет,
не стараясь угодить...

Когда в «Нью-Йорк таймс» появилась статья об отсутствии творчества в СССР, где в качестве примера упоминалась судьба Окуджавы, в ЦК КПСС принялись изобретать очередную отповедь «заокеанской клевете». Булат был вызван на Старую площадь к главному идеологу Ильичеву. Показав поэту заготовленный «пряник» («Дадим команду издавать, разрешим выступления с гитарой»), Ильичев обусловил поблажку заявлением Окуджавы в печати с опровержением «вражеской клеветы».

Булат подробно рассказал мне ход этой беседы. О, как заманчивы были посулы ласкового данайца! Ведь требовалось всего несколько строк в «Литературке»: «С глубоким возмущением я, советский поэт, прочел...»

— Но я не получаю «Нью-Йорк таймс», — простодушно сказал Булат, — и народ эту газету не читает. Полемицировать с никому не известной публикацией?.. Меня действительно не печатают и выступать не дают...

— Это мы исправим, — пообещал Ильичев.

Но не было таких благ земных, которые заставили бы Окуджаву солгать во спасение, подобно Галилею, согласиться на время, что Земля по команде мракобесов из ЦК уже не вращается...

Пока Земля еще вертится, пока еще ярок свет,
Господи, дай же ты каждому, чего у него нет...

— С вами, наверное, больше я не увижусь, — ответил Булат, — а мне с собой жить до конца моих дней...

Наш фильм партийная печать заклеимила, и путь в кинодраматургию был для Булата заказан на многие годы. Я предпринял попытку прорвать блокаду, предложил вместе писать сценарий «Звезды пленительного счастья». Тема была

уже включена в темплан Госкино. Булат нуждался в зарботке, но, прочитав подробную заявку, развел руками:

— Здесь все строится на подлинных событиях, документах, мемуарах. А я так не могу... В «Жене, Женечке» ничто не мешало придумывать, а тут все повязано фактами...

— Но ты же пишешь «Глоток свободы», роман о Пестеле — та же эпоха...

— Пестель у меня появляется изредка, как фигура призрачная, мистическая, как бы глазами писаря Авросимова. Мой герой — этот маленький человечек придуманный. А Пестель — ширма: тема «пламенных революционеров» спущена издательству. Может проскочит мой Авросимов...

Исторический роман
Сочинял я понемногу,
Пробиваясь, как в туман,
От пролога к эпилогу.
Были дали голубы,
Было вымысла в избытке,
И из собственной судьбы
Я выдергивал по нитке...

Я вспомнил тогда, как Вениамин Каверин рассказывал мне о признаниях Юрия Тынянова, работавшего над лучшим своим романом «Смерть Вазир-Мухтара». Обилие белых пятен в судьбе «дважды сожженного» Грибоедова (при следствии о декабристах и в персидском мятеже) освободило писателя, дало свободу домысла.

Словом, к «Звезде...» Булат согласился написать лишь романс для поручика Анненкова («Кавалергарды, век недолог»). После «Белого солнца пустыни» с песенкой Верещагина о «госпоже удаче» я уже не мыслил обходиться без песни Булата, и для экранизации «Леса» он также сочинил куплеты бродячих актеров:

Бог простит, беда научит,
Судьба с жизнью разлучит.

Кто что стоит, тот получит,
А не стоит — пусть молчит.
Наша жизнь — ромашка в поле,
Пока ветер не сорвет.
Дай Бог воли, дай Бог воли,
Остальное заживет.

Слова эти, как и сам фильм, вызвали негодование в Госкино. Кто, кроме Партии, вправе судить, кто что стоит и что получит? К какой воле зовет Окуджава в «самой свободной стране?» Вместе с «вредным» текстом песни были вырезаны «алкогольные» и «сексуальные» сцены, «искажающие русскую классику». В конце концов, фильм отправили на полку, а режиссера изгнали из кино.

Пройдет много лет, и уже в нынешней России Булат переосмыслит понятие свободы и воли: первая ограничивает личность законами нравственными, юридическими, вторая — ни с чем не считается, кроме корысти тех, кто в хаосе перемен успел урвать богатства, власть или оружие, чтобы «навластиваться всласть...»

В 1983 году, после похорон мамы Ашхен Степановны, Булат рассказал, что ускорило ее гибель. В юности революционерка-большевичка, она отбыла почти двадцать лет ГУЛАГа после расстрела мужа — отца Булата. Но, выйдя на свободу, продолжала верить в социализм, проклинала лишь злодея Сталина. Не раз она вступала в спор с сыновьями и их приятелями, отстаивая веру в идеалы Октября. Но год от года аргументы ее слабели. Однажды Ашхен Степановна молча просидела все застолье, пока Булат и его друзья обсуждали факты из книг революционеров-эмигрантов, высланных или бежавших на Запад, где они писали о злодеяниях не только Сталина, но и Ленина с его гвардией. Выражение ее лица всех заставило умолкнуть.

— Боже мой, что мы наделали... — глухо проговорила Ашхен Степановна и обхватила голову руками.

Вскоре она слегла. Оборвалась вера, составлявшая смысл ее жизни, оборвалась и ее жизнь.

В последние годы Булат не раз говорил во всеуслышанье, что свое предназначение он выполнил. Особенно после перенесенной в Штатах операции на сердце.

Тянется жизни моей карнавал.
Счет подведен, а он тянется, тянется.
Все совершилось, чего и не ждал.
Что же достанется? Что же останется?

Словно бы загодя Булат приноравливался к уходу из жизни. И все-таки печаль и грусть, временами им овладевавшие, были связаны не только с предчувствием неизбежности. Его угнетала неодолимость рабского наследия в душах людей, воинствующее невежество и тоска толпы по красному крепостному праву.

Один из его друзей воскликнул об итогах выборов: «Россия, ты одурела!». И ведь было с чего одуреть в уходящем веке: после бездарного царствования Николая II, после кровавой селекции большевиков, итог которой подвел недавно старый друг Окуджавы Лев Разгон, писавший, что для того, чтобы истребить двадцать миллионов, сталинскому режиму требовалось никак не меньше служителей ГУЛАГа: палачей, охранников и обслуги. Поколения их потомков — опора нынешней реакции.

Что ж, век иной. Развеены все мифы.
Повержены умы.
Куда ни посмотри — все скифы, скифы,
Их тьмы, и тьмы, и тьмы.
И с грустью озираю землю эту,
Где злоба и пальба.
И кажется, что русских вовсе нету,
А вместо них толпа.

Булат Окуджава

...Последняя подаренная мне и моей жене его книга, «Чаепитие на Арбате», написанная 5 мая 1997 года, заканчивается маленькой поэмой «В карете прошлого». Две последние строки, на которых кончается книга:

Да не покинем дома своего,
Чтоб с нами не случилось бы чего...

С Булатом случилось бессмертие. Он был и остается совестью русской интеллигенции XX столетия. Вместе с Пастернаком и Мандельштамом, Ахматовой и Бродским. Они не дали порваться связи времен, обрубить нить гуманизма, связующую век прошлый с веком грядущим.

1998

Юлий Ким

ВЕСНА 94

Мой дорогой Булат! Неправда ли, прекрасно:
Клубятся облака, и гром ворчит вдали.
А в льющемся ручье безудержно и страстно
Бормочут голоса очнувшейся земли.

И медлит мудрый взор оглядывать порядок,
По коему весна опять творит свое.
А этот вкусный дым от греющихся грядок
Мне возвращает все счастливое мое.

Неправда ли, Булат? Все то же ожиданье,
Все то же нетерпение в груди...
Мы говорим: «Прощай!» — а мыслим: «До свиданья».
Нам говорят: «Прощай!» — мы слышим: «Подожди!..»

СОДЕРЖАНИЕ

МЕЖ ПЕСНЕЙ И СУДЬБОЮ. *Стихи*

Капли Датского короля	8	
«Мгновенно слово. Короток век...»	10	
«Былое нельзя воротить...»	11	
Прощание с новогодней елкой	12	
Старый король	14	
«Не верю в бога и судьбу...»	15	
«Нацеленный глаз одинокого лося...»	16	
Два великих слова	17	
Ночной разговор	18	
«В чаду кварталов городских...»	19	
«Сестра моя прекрасная, Натела...»	20	
Размышления возле дома, где жил Тициан Табидзе	21	
«Ваше благородие госпожа разлука...»	22	
«Я сидел в апрельском сквере...»	24	
Я пишу исторический роман	26	
«Восемнадцатый век из античности...»	28	
«Вот комната эта — храни ее Бог...»	29	
Работа	30	
«Убили моего отца...»	31	
«О чем ты успел передумать...»	32	
Письмо к маме	33	
Мой отец	34	
«Давайте придумаем деспота...»	35	
«Стоит задремать немного...»	36	
«Собрался к маме — умерла...»	38	
«Не слишком-то изыскан вид за окнами...»	39	
Песенка («Король ушел на пенсию...»)	40	
«Не будем хвастаться...»	41	
«Черный ворон сквозь белое облако глянет...»	42	
«Осудите сначала себя самого...»	43	
«Не успел на жизнь обидеться...»	44	
«Поздравьте меня, дорогая...»	46	
«Ах, что-то мне не верится...»	47	
«Ах, оркестры духовые...»	48	
Проводы у военкомата	49	
«Все глуше музыка души...»	50	
Шарманка старая крутилась	51	

Воспоминание о Дне победы	52	
Арбатское вдохновение, или Воспоминания о детстве		53
«Старики умирать не боятся...»	55	
«Быстро молодость проходит...»	56	
«Живые, вставай — подымайся...»	57	
«После дождичка небеса просторны...»	58	
Разговор с сыном	59	
«Совесть, благородство и достоинство...»	60	
«В день рождения подарок преподнес я сам себе...»		61
«У Спаса на кружке забыто наше детство...»	62	
Краткая автобиография	63	
«Дама ножек не замочит...»	64	
«Не сольются никогда зимы долгие и лета...»	65	
«В нашей жизни, прекрасной и странной...»	66	
«Отчего ты печален, художник...»	67	
О Володе Высоцком	68	
«Как наш двор ни обижали...»	69	
«Ну чем тебе потрафить, мой кузнечик...»	70	
«Витя, сыграй на гитаре...»	71	
Кабинеты моих друзей	72	
«На полотне у Аллы Беляковой...»	73	
«Что-то знает Шура Лифшиц...»	74	
«Почему мы исчезаем...»	75	
Дерзость, или Разговор перед боем	77	
«Когда начинается речь...»	78	
«Все забуду про тревогу...»	79	
«Я умел не обольщаться...»	80	
«Строка из старого стиха...»	81	
Звездочет	82	
«Переулочек Божественным...»	83	
«Дома лучше (что скрывать?)...»	84	
«Гомон площади Петровской...»	85	
Детство	86	
Державин	87	
«Читаю мемуары разных лиц...»	88	
Памяти Обуховой	89	
«Мне не хочется писать...»	90	
«От нервов ли, от напряженья...»	91	
«Взяться за руки не я ли призывал вас, господа...»		92
«Сижу на опушке лесной...»	93	
Мое поколение	94	
Черный «мессер»	95	

«Неистов и упрям...»	96
«Над глубиной бездонных вод...»	97
«Распахнуты дома. Безмолвны этажи...»	98
«На полянке разминаются оркестры духовые...»	99
«От войны войны не ищут...»	100
«Не каждому поэту удача выпадает...»	101
«Над площадью базарною...»	102
«Хочу воскресить своих предков...»	103
«Клубничины сорваны с грядки...»	104
«Вот музыка та, под которую...»	105
«Мне не в радость этот номер...»	105
«Под Мамонтовкой жгут костры...»	106
«Чувствую: пора прощаться...»	107
Пожелание друзьям («Давайте восклицать...»)	108
«По Грузинскому валу воинственно ставя носок...»	109
«У поэта соперников нету...»	110
«По какой реке твой корабль плывет...»	111
«Малиновка свистнет и тут же замрет...»	111
Сентябрь	112
«Поэтов травили, ловили...»	113

КАПРИЗЫ ФОРТУНЫ. *Рассказы*

Утро красит нежным светом	116
Частная жизнь Александра Пушкина, или Именительный падеж в творчестве Лермонтова	125
Отдельные неудачи среди сплошных удач	136
Искусство кройки и житья	151
Уроки музыки	177
Девушка моей мечты	192
Нечаянная радость	205
Подозрительный инструмент	216
Выписка из давно минувшего дела	263
Около Риволи, или Капризы фортуны	305
Как Иван Иванович осчастливил целую страну	338

ЧТО БЫЛО, ТО БЫЛО. *Повести*

Будь здоров, школяр	356
Новенький как с иголки	427
Приключения секретного баптиста	508

ГРАЖДАНИН ВЕЧНОСТИ. Статьи, воспоминания

- Анатолий Курчаткин. Собеседник* **546**
Валентин Берестов. Веселый барабанщик **554**
Владимир Мотыль. «Пока земля еще вертится...» **563**
Юлий Ким. Весна 94 **569**

**Булат Шалвович
ОКУДЖАВА**

**Стихи
Рассказы
Повести**
Переиздание

Ответственный за выпуск С. Семухина
Художественный и технический редактор
Т. Шабурова

ЛР № 064283 от 08.11.95

Подписано в печать 28.12.98. Формат 84x108 1/32.
Гарнитура Бодони. Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 30,24. Тираж 20 000 экз. Заказ № 486.

ООО «У-Фактория»
620142, Екатеринбург, ул. Большакова, 77

Отпечатано с готовых диапозитивов
на ФГУИПП «Уральский рабочий»,
620219, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13

Издательство

«Ц-Фабрика»

представляет серию

ЗЕРКАЛО

XX ВЕК

В серию входят авторские сборники:
**Леонида Филатова, Александра Галича,
Булата Окуджавы, Геннадия
Шпаликова, Владимира Высоцкого,
Андрея Сахарова**

и других поэтов и прозаиков, артистов и художников, ученых, которые своей личностной позицией и творчеством оказали заметное влияние на духовное развитие России в XX веке.

Телефоны: 8(3432) 22-96-26, 22-85-89;
Факс: 8(3432) 22-85-35.







МЕЖ ПЕСНЕЙ И СУДЬБОЮ
стихи

ЧТО БЫЛО, ТО БЫЛО
повести

КАПРИЗЫ ФОРТУНЫ
рассказы

ГРАЖДАНИН ВЕЧНОСТИ
статьи, воспоминания